



Алексей Бадмаев

ЗУЛТУРГАН-
ТРАВА
СТЕПНАЯ

Роман

Авторизованный перевод
с калмыцкого *Н. РОДИЧЕВА*

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1987

Бадмаев А. Б.

- Б15 **Зултурган — трава степная: Роман/Пер. с калм.
Н. Родичева.— М.: Современник, 1987.— 447 с.,
порт.— (Б-ка русского романа).**

Роман «Зултурган — трава степная» лауреата Государственной премии Калмыцкой АССР А. Бадмаева был опубликован в издательстве «Современник» в 1979 году и тепло встречен читателями. Это монументальное полотно, повествующее об исторической судьбе калмыцкого народа на протяжении нескольких десятилетий — от начала нашего века до тридцатых годов. Обращаясь к глубинам народной жизни калмыков, к преданиям, легендам и эпосу, писатель широко раздвигает временные рамки, уводя читателя к истокам народной памяти.

4702240000—016
Б М106(03)—87 — 249—87

ББК84Калм7
С(Калм)

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Степь... Опаленная зноем, продутая ветрами, ровно раскатаанная, будто испанский кусок кошмы, не однажды оплаканная проливными дождями, снова высушенная, задумчивая, седая, с проплешинами, скудная земля отцов!.. Сколько радостей и горьких слез, сколько крови людской и горячего пота видела степь и вобрала в себя за века!.. И сейчас разлеглась она, разметалась, будто сомлевший в забытии человек, донельзя изнуренный трудом.

Пожухли, скрючились побеги трав, смолкли птицы, ушли в поднебесную высь редкие облака. Да и само небо, что выцветший полог, вздутый ветрами, уныло блекнет над таким же бесцветным пространством. Ни суслика, ни тушканчика в безлистой, ошетилившейся траве. Разве что на кургане, возвышающемся над равниной, будто оставленный побежденным батыром шлем, увидишь нахохлившегося коршуна с раскрытым от жажды клювом. Да где-нибудь над размытой в мареве линией окоема медленно взойдет кругами одинокий орел — крылатый хозяин степи. Но вот и он, устав от напрасных забот, не увидев ни с какой стороны добычи, уныло опустится вниз.

Немая, притаившаяся в своей безысходности, забытая богом земля! Тишина такая, что кажется, замерло, остановилось время и немеренное пространство вокруг погружено в пучину безмолвия.

Вдруг, пробуждая застойную тишину стуком копыт, из-за кургана показались двое верховых. Один из них, на гнедом жеребце, вырвался вперед. Похоже, он топчется первым напасть на примету, откуда их ждет

сворот на прямой путь к еще не близкой реке, к переправе.

— Не спешн, Вадим! — окликнул переднего тот, что чуть приотстал. — Забыл, что отцом сказано? Степь коварна! Местами здесь болота!.. Река недалеко проходит!

— Да вот же, вот тот самый камень, — ответил Вадим. — Гряди камыша вижу! А за нею небось и горловина между озерами.

До темнеющей издалека гривки они скакали с полчаса, пока путь не преградила синяя полоска воды.

Вадим отер лицо рукавом, прищипорил коня, не дав ему передышки. Вспенив прозрачную гладь озера, гнедой рванулся через неширокую заводь и быстро вынес своего седока на другой берег.

Высокий, длиннолицый, в веснушках, Вадим то и дело поправлял спадающие на лоб мягкие волосы цвета ржаной соломы, ждал товарища. А тот, сердясь ли на дружка, а может, просто по молодой дурости своей, вдруг так огрел плетью вороного жеребца под собой, что скакун свечой встал на задние ноги и, зло всхрапнув после второго удара, прынул с берега в воду.

— Эй, Борис, зачем обижаешь жеребчика? — крикнул Вадим спутнику, выбравшемуся на берег. — Вороной мог бы нискупать тебя в отместку.

Борис недовольно сдвинул черные брови, качнулся в седле плотно сбитым телом и лихо спрыгнул на землю. Он хотел показать, что все это привычно для него и Вадим напрасно о нем беспокоится. Однако по его лицу, заметно побледневшему, можно было понять, что рад он такому исходу. И тогда Вадим, чтобы сгладить неловкость минуты, поспешил на выручку.

— Bravo, Борис, bravo! — воскликнул он. — Я бы наверняка свалился с коня, как мешок с зерном! А ты, право, джигит! Диких лошадей уже можешь объезжать.

— Какой он дикий?! Буян — обычный верховой конь, только немного капризный. — Борис хотел было погладить Буяна по длинной и гладкой, как у лебедя, шее, но жеребец со свистом потянул ноздрями, сердито фыркнул, ковырнул копытом землю и надменно попятился от руки хозяина, только что огревшего его плетью.

— На вот, дурачок, не мудри! — Борис вынул из кармана кусок сахара и сунул Буяну в рот.

Раньше жеребец охотно похрумкал бы гостинцем и

снова потянулся к руке. На сей раз он нехотя взял ку-
сочек губами и тут же выронил на землю.

— Ты смотри, Вадим, до сих пор злился. Ну и характер! — Борис снова попытался погладить Буяна, но тот, мотнув головой, отпрянул от хозяина. Мускулы его напряглись, и дрожь пробежала по коже живота.

— Лошадь не человек, а тоже нрав проявит, если обидят без причины, — сказал Вадим и подошел к вороному. — Молодец, Буян, умница! Всегда держи себя гордо.

Жеребец, словно бы поняв, что ему говорят, успокоился, перестал настороженно прядать ушами.

— Ишь ты, понимает ласку и к голосу прислушивается... Но ты, Борис, все-таки настоящий джигит. Теперь я убедился.

— То ругаешь меня, то хвалишь... А ну тебя! Давай-ка лучше купаться, отдохнем немного и тронемся в путь, тут уже недалеко.

Они спутали лошадей и стали раздеваться.

— Да, — повторил Борис, — осталось немного. Скоро все будет к твоим услугам — мягкая постель, восточное гостеприимство, сытная еда. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь... — Он усмехнулся, взглянув на оживленного Вадима. — Народ, вековая степь, самобытная культура, и прочее в этом роде. А по мне все это — дичь беспросветная. Живут грязно, от цивилизации отстали на сто лет. Если будут жить и впредь так, вымрут до единого...

Вадим не стал возражать Борису. Раздевшись, он подошел к берегу и прыгнул в воду.

— Песочек, смотри! — крикнул он, подняв со дна горсть чистого белого песка.

— К камышу не подходи, засосет, — сказал Борис и тоже вошел в воду.

Они долго плескались, давая освежиться разгоряченному телу, отдохнуть от долгой езды верхом по сухмении. Потом понежились на берегу под горячим солнцем.

Светлая, еще не нагревшаяся с прохладной ночи вода так взбодрила парней, что Борису захотелось подурачиться. Обхватив колени ладонями, Вадим сидел поодаль и наблюдал за приятелем: тот гоготал, взбрыкивал, валяясь на траве, затем принялся кепкой носить воду и ополаскивать своего вороного. Он то и дело по-

глядывал на Вадима, как бы приглашая последовать его примеру.

Вадиму же хотелось просто отдохнуть, почувствовать под собой не колышущееся седло, порядком надоевшее с непривычки, а твердую землю.

Тихо улыбаясь в ответ на шутки своего спутника, иногда отвечая тем же, Вадим снуждался понять: что за характер у Бориса? Переменчивый, взрывчатый, подвижный... Он мог накричать порой, озлиться, тумака отвесить, если что не по нему. В этих его привычках самодовольного, беспечного человека проглядывал будущий барин, а сейчас — барчук. Да и было ли отчего печалиться в его-то годы! Отец — владелец миллионного состояния, деньги у Бориса всегда водятся... Как-то проигрался в карты незнакомый студентик, много спустил в азарте — все, что было при нем. И в долги залез. Пришло время отдавать долг — решил повеситься: за кои чести! Не садиться же в долговую яму! Об этом узнал Борис — вытащил пачку ассигнаций:

— На, бери, жив будешь — расплатишься.

Вадим не случайно сторонился таких парней, слишком щедрых за родительской спиной. Смолоду — свон в доску, а заматереет — по жадности и деляческой хватке не уступит родителю.

И все же судьба свела их на такой узкой тропе, что не разминуться, не подав друг другу рук, нельзя было, да и просить-то помощи пришлось Вадиму.

На исходе дня, когда Вадим в компании студентов вернулся с прогулки за Волгу, у причала его встретил знакомый дедок с мельницы.

— Домой не ходи, голубок, тебя ищут... — оглядевшись, старик передал шепотом адрес новой квартиры, где Вадиму полагалось перебыть до подыскания нового места. — А если по всем статьям действовать, то тебе, голубок, полагалось бы исчезнуть на полгодика — на год... Уж больно за тебя взялись ироды!

— Куда же, на такой срок? — растерянно спросил Вадим.

— В заволжские дебри, в Камышин, — бойко толковал дедок. — А еще лучше — в степь, к калмыкам!.. Нет ли кого там из знакомых?

— Есть! — отозвался Вадим, но потом чуть не пожалел: кроме упитанного арендатора с бременем через

брюшко да его отпрыска Бориса, которого Вадим исподволь готовил к экзаменам в университет, по всей степи до Астрахани шаром покати — нет близкого человека. А ведь и тот и другой, и старший Жидков, и младший, наперебой звали погостить на свой хутор!.. Была не была!

Едва Вадим намекнул Борису о давнем их приглашении, сынок скотопромышленника чуть не подпрыгнул от радости:

— Вот папа будет доволен! Он же у меня тоже политик, любит поспорить со свежим человеком.

Узнав о том, что выезд может оказаться непростым, сняться с насиженного места нужно скрытно, чтобы постороннему не запасть в око, Борис предложил несколько своих вариантов: от каюты первого класса на пароходе в устье Волги до пары оседланных скакунов, — их будут ждать в имение управляющего.

Выбрали третий вариант, разработанный Вадимом и подпольщиками. В этой операции Борису отводилась роль... кучера упряжки.

Ночью Вадим должен был прийти в дом рабочего, расположенный на тракте, на самом краю города. Неблизкий путь от дебаркадера до мазанки под вишнями Вадим преодолел лишь к рассвету. Хозяин препроводил его на сеновал в сарае. Там он просидел почти весь день.

Когда наступили сумерки, у трактира напротив мазанки остановилась линейка, в упряжке — пара сытых, лоснящихся вороных. Линейка эта с откидным верхом, сейчас сложенным в гармошку, была хорошо известна жителям окранны: на ней разъезжал управляющий паровыми мельницами обрусевший немец Гульбах. Завидев сытых, нетерпеливо грызущих удила рысаков Гульбаха, городовые издали брали под козырек, а сезонники опускали головы в почтительном поклоне.

Уступить свою линейку управляющий мог разве сынку Жидкова, да и то по его настырному желанию. Гульбах долго расспрашивал, зачем Борису линейка на целый день, выпучил от удивления бесцветные глаза, причмокнул языком, видимо не поверив: Борис хотел прогуляться в заречную рошу с курсистками...

Как было условлено раньше, Борис сойдет с линей-

ки и заглянет в трактор. Если там окажется полицейский или кто-либо подозрительный, Борис тут же вернется к лошадям и отгонит упряжку в нмение. А Вадим будет терпеливо ждать другого случая и условного сигнала. Более-менее длительная задержка Бориса в тракторе означала, что там посторонних нет, никто не мешает Вадиму спокойно приблизиться к линейке и устроиться на заднем сиденье. Неопытность Бориса едва не обошлась Вадиму новым заточением в тюрьму.

Борис легко спрыгнул с линейки и, посвистывая, вошел в трактор. У стойки хозяина был лишь один посетитель — невысокий человечик в грубых самодельных сапогах, жилетке и приношенном картузке-шестиклинке. «Какой-то ремесленник пришел пропустить шкалик перед ужином», — рассудил Борис.

— Пива мне! — выкрикнул через плечо посетителя Борис и шумно задвигал табуретками, усаживаясь. Едва пригубив кружку, Борис пошел на выход. Его подмывало засвететь, как на голубятне, поторопить Вадима. Он уже заложил два пальца в рот... Однако выйти ему не удалось. Из-за линялого полога шагнули двое в штатском. Один — высокий, с длинным приплюснутым носом и густыми бровями, больше напоминающими усы, чем брови. Этот схватил Бориса за руки. Борис со злым выкриком пнул наглеца в грудь, отступил на шаг, затем со всего маху ударил длинноносого по щеке.

— Убери руки, мерзавец! Не знаешь, за кого хватаешься?

Напарник длинноносого взял под козырек, хотя был в шляпе. Тихо проговорил в сторону шефа:

— Обмшнулись, ваше благородие... Не того берем.

— Прекратите болтовню, Нашестов!.. Здесь велено брать любого подозрительного.

— Сынок Жидкова! — не сдавался Нашестов.

— Молчать! Взять его! — рявкнул пристав, оттирая Бориса в угол.

Любой из этих двоих был сильнее Бориса.

«Что же делать? — растерялся Борис. — Вадим думает, что я его жду!.. Он может вот-вот появиться».

И Вадим действительно возник в проеме дверей — небритый, со впалыми щеками и даже соломинка на

плече. Его отгородила от улицы громадная фигура еще одного шпика.

Борис долго не мог понять, почему Вадим не сопротивлялся. Ему тут же скрутили руки и повели вон, а вход в трактир заперли. Нет, Борис не думал так просто сдаваться. А главное — отдавать в руки жандармов друга. Мысленно он уже видел, как они пересекают степь на линейке, как их встречают на хуторе сестры и мать. Борис окончательно убедился: здесь их подстерегала засада. Коварно подвел проклятый немчур!

Увидев в окно, что двое шпииков ведут Вадима к линейке, Борис перемахнул через буфетную стойку, чуть не сбив хозяина, и устремился по коридорчику во двор.

Шпики действовали согласно всем инструкциям при поимке особо опасного преступника. Один из них забрался в линейку, подготавливая место для задержанного, другой стоял сбоку, подталкивая арестованного, помогая ему взойти на широкую ребристую ступеньку линейки. Третий держал лошадей за поводья. Борис с ходу ударил того, что подсаживал Вадима, прихваченным во дворе березовым полешком, заскочил в линейку и толкнул изумленного Вадима в объятия рассеявшегося уже шпиика. Линейка резко качнулась — Вадим вытолкнул лишнего пассажира. Шпик кулем повалился в дорожную пыль.

Еще мгновение — и третий шпик отскочил в сторону, оттертый крутой грудью пристяжной. Он отчаянно свистел, призывая на помощь.

Кони рванулись в галоп.

Лишь отъехав от трактира саженей на двести до сворота в лог, Борис оглянулся и с ужасом понял: линейка переехала оглушенного поленом шпиика. Двое склонились над ним, позабыв о пистолетах и погоне...

Впрочем, один выстрел все же прозвучал, когда кони спустились уже в ложбину. Стреляли с бугра, из-за камня. Ранили пристяжную... Кони вынесли линейку с беглецами к лозняку у переправы. Затем парням пришлось спешиться. Кровь так и хлестала из простреленного крупы вороного. Животное, подрагивая всем телом, жалобно смотрело на людей.

Но это было все же спасение для Вадима! Условившись о том, где он будет ждать Бориса с новой упряжкой или с лошадьми под седлом, Борис отпряг пристяж-

ную — конь тут же рухнул, заржал. Борис повел другого коня за повод. В именье управляющего его уже ожидал наряд полиции. Борис и не думал сопротивляться.

Когда готовилась эта операция, Вадим спросил Бориса:

— Ты ведь рискуешь угодить под арест со мною вместе... Не боишься?

— Не считай меня за мальчишку! — с обидой заговорил тот. — Здесь все продумано: расчет на вмешательство отца... Да и кто всерьез примет сына Николая Павловича за революционера? Сочтут за баловство, только и всего.

Вадим просидел в камышах у полузатопленной лодки до глубокой ночи. Борис не появился.

И тогда Вадим, изрядно помучившись сомнениями, поддавшись чувству товарищеского долга, решил вернуться в город. Он знал дом, где останавливался Николай Павлович, знал он от Бориса и о том, что именно сегодня старший Жидков должен вернуться из коммерческой поездки в Симбирск.

Несмотря на глубокую ночь, в доме горел свет.

Николай Павлович, одетый по-дорожному, неестественно возбужденный, заложив руки за спину, сновал в припыленных юфтевых сапожках по дорожному ковру. Он внимательно выслушал рассказ Вадима о том, что произошло под вечер у трактира. И, видимо, растроганный тем, что один юноша готов ради освобождения из-под ареста другого, его сына, сдать властям, рассудил так:

— Пристав Сушков переусердствовал и получил от Бориса поленом по холке, — Николай Павлович, имевший дело со скотом, часто употреблял в речи профессиональный жаргон: вместо причесок у дочек его были «длинные гривы», вместо шеи у пристава — «холка». — На моего сына пристав донесение не напишет, а если напишет — возьмет обратно, никуда не денется. А Борису, если хотите знать мое мнение, даже полезно одну ночь посидеть в околотке, вшей покормить... А вообще я не ожидал!.. — воскликнул Жидков, ковыряясь зубочисткой в зубах. Он, видимо, пожевал после дороги холодного мяса.

— Чего не ожидали? — уточнил Вадим.

— Да такой прыти от Бориса!

Вадим принялся нахваливать Бориса, рисуя его храбрым и даже самоотверженным. Но Николай Павлович как-то не воспринимал в тот вечер добрые слова в адрес сына или был сильно взволнован непривычным для него самого положением отца арестанта.

Жидков прервал запальчивый рассказ Вадима о стычке с переодетыми жандармами, где Борис проявил себя настоящим другом и героем.

— Что касасямо сдачи себя властям, — важно изрек Николай Павлович, развалиясь в кресле, — моих здесь советов вам не последует. Откровению говоря, я не верю в вашу с Борисом игру в революцию... Подойдут года — женитесь, как все, пойдут дети... Крикливая же-на попадется, нужды придавят — забудете обо всем, что выходит из круга непосредственных семейных забот... Мне вас просто жаль, молодой человек.

— Ну, это вы зря! — не стерпел праздной болтовни барина Вадим.

— Жаль в том смысле, — уточнил Николай Павлович, — что из-за Бориса не стоит являться в участок. Борис завтра уже будет курсисток щекотать в камышах и бражничать, а вас упекут годика на три, поди, на Соловки.

— Если вы так уверены насчет Бориса, — заговорил Вадим, тронутый откровением Жидкова и скрытой заботой о нем самом. — Мне, в самом деле, нет смысла идти к властям. Но мы собирались с Борисом в степь...

— Вот это дело! — воскликнул Николай Павлович и тут же с уверенностью знающего цену своим словам человека рассудил: — Я ведь тоже собираюсь на хутор... Взял бы и вас с Борисом, да не умею драться с полицией! И не люблю драться! — закончил он ночной разговор.

— А вы можете, Николай Павлович, сказать Борису... Сказать, что я жду его там же?

— «Там же!» — машинально повторил Жидков и презрительно ухмыльнулся. — Так и быть, скажу, в связные между вами гожусь, а вот в дальнейшем... В дальнейшем по-родительски советую избрать себе иной путь...

Борис привел-таки оседланных коней к затопленной лодке. Эта его верность юношеской клятве, быть может и высказанной сгоряча, в запальчивости, очень сблизила молодых людей.

Сейчас, оказавшись среди немеренных просторов, вдали от родных и знакомых, вдали от пережитой совместно беды, они шутили, плескались в воде, орали во все горло, прислушиваясь к замирающим отголоскам собственного крика в степи, волтузили друг друга в потасовке. И сторонний человек так и не понял бы, до чего же эти парни были не похожи друг на друга!

— Ты знаешь, как называется эта речка? — спросил Вадим, возвращаясь мыслью от пережитого к нынешнему.

— И речка, и вся местность называется Хагта. Вот эти озера тоже носят имя Большой и Малый Хагта. Но сами калмыки не называют их озерами, для них все это река, продолжение одной и той же реки — Шорвы. Наверное, они правы. От самого Царицына, от Волги, в нашу сторону тянется цепь озер: Цаца, Барванцык, Хорта, Хагта... Дальше вниз — Цаган-Нур. Все они соединяются балками, ручейками. Видимо, раньше здесь протекала большая река, бравшая начало у Волги, а может, и впадала в нее. Потом Волга обмелела, и вода в Шорве упала, остались заводи, озера. По одной их стороне, к югу на двести с лишним верст и к северу, к Царицыну, проходят цепи небольших возвышенностей. С них-то весной и набегают во впадины вода.

Если зимой ляжет хороший снег, а весной и летом пройдут дожди, озера выходят из берегов, заливают прилегающие поймы. Травы здесь поднимаются по грудь человеку. Красотища! И покосы богатые, и стадам нет числа.

— А ты, оказывается, хорошо знаешь эту землю, — сказал Вадим. — Вот если бы к калмыкам был поближе, знал историю людей, живущих среди такой красоты, было бы, думаю, еще лучше.

— Когда было узнать? — без сожаления рассуждал Борис. — До гимназии приезжал я с отцом сюда отлучая к случаю. Он-то и рассказывал мне кое-что. В хуторе, куда мы едем, живет приятель отца — немолодой уже калмык. Себе на уме мужичок! А знанием их историй не может похвалиться даже мой отец, хотя он с ними и дружбу водит.

— Жаль, конечно, — сказал Вадим. — Все-таки живете вы и хлеб добываете не где-нибудь, а на этой

земле. Отец твой говорил вчера, что вот уже семь лет пользуется и покосами, и пастбищами. Сколько земли он арендует? Чуть ли не две с половиной тысячи десятины, если я верю запомнил... А скота сколько здесь его выгуливается? Извини, конечно, я бы на твоём месте, хотя бы из чувства благодарности, что ли, за свой достаток поинтересовался этой землей.

— А зачем? — возразил Борис. — Если бы я даже и захотел викинуть во что-то, я бы не смог этого сделать. Ведь у них ни один человек не знает по-русски. Когда приезжает сюда отец, он пьянствует со старостой, обтяпывает через него все, что нужно, — и забота с плеч. Тот староста вроде вождя туземцев здесь, его слово для калмыков — закон. Поэтому отец ни с кем, кроме старшего, не водит знакомства. Да и все они — бестолочи, серые и колючие, как эта земля.

— Так уж и бестолочи?! А я хотел бы поговорить с ними запросто, не таясь, увидеть их жизнь своими глазами.

— Сколько угодно, — сказал Борис, — но ведь на пальцах не объяснишься, а языка калмыцкого ни я, ни ты не знаем.

Вадим не ответил. Оба замолчали. Потом Борис сказал:

— А знаешь, у меня идея?

— Ну?

— Мы приедем в хотон¹ никогнито. Если кто и видел меня здесь, то — мальчишкой... Не будем открываться, что я сын Миколы Жидко, как здесь зовут отца. Невелик секрет: еду по делам в Астрахань или в Яихал, а ты со мной, мой товарищ.

— А зачем врать, не понимаю?

— Что же тут непонятного? Если эта лисица Бергяс, приятель отца, узнает, что я сын Жидкова, ни на шаг не отпустит от себя, будет ухаживать, угощать, ластиться — хитрющий, как бес. Вообще калмыки гостеприимны, последний кусок отдадут гостю. У них есть пословица: «Самую вкусную пищу гостю отдай, самую хорошую одежду сам носи». Правда, неплохо сказано?

— Согласен. А ты, значит, и от угощений бежишь?

¹ Хотон — стоянка кочевников.

— Нет, Вадим. Ты, я вижу, не хочешь меня понять. Если мы попадем в руки старосты, он не даст нам шагу ступить по хотону, мы не сможем встретиться ни с кем другим, а ведь ты хочешь познакомиться с жизнью не одного только богатого калмыка, тебя тянет к простолюдникам. Когда я приезжал сюда, меня не пускали к хотонским мальчишкам, а отца — к бедным пастухам. Вот о чем я толкую.

— Да, ты прав. С одной стороны, конечно, так. А с другой — зачем же людей дурачить?

— Да что тут особенного? Два молодых человека решили пошутить немного. Ничего страшного. Ей-богу, ты как пятидесятилетний старик, слишком все взвешиваешь. Для тебя же стараюсь!

— Сойдет и такой план, — сдался Вадим. — Говорить, что ты сын Жидкова, сразу не будем, но и скрывать себя слишком долго тоже нет смысла. К Бергясу вашему не поедem, попросимся ночевать у кого-нибудь другого. Пойщем все же человека, который поможет объясниться. С ним будем ходить по кибиткам, знакомиться. Так, что ли? — спросил Вадим, он поднялся и стал внимательно вглядываться в степь.

— Борис! Встань-ка, посмотри! — крикнул он. — Что это такое? Корабли? Раз, два, три... Слушай, больше десятка кораблей. И дальше, дальше, совсем как точки. И нельзя сосчитать. Откуда же тут море?.. Мираж, пожалуй! Степной мираж! Синяя, как море, степь! Даже волны видно, и корабли качаются на волнах, плывут! В какие края ты меня затащил, бродяга!

— Ха-ха, море! — Борис обнял Вадима. — Это же тот самый хотон, куда мы едем. Ты что, не видишь: это войлочные кибитки? Если уж сравнивать с чем-то эти вонючие шалаши, то не с белоснежными кораблями, а с дырявыми лодками, заброшенными в море.

— Я не сравниваю, Борис. Только мне почему-то видятся корабли, а тебе дырявые лодки. Мы, наверное, по-разному смотрим на мир.

— Ладно тебе, я пошутил, без всякого умысла. Ты знаешь, мой дед, когда приехал сюда, чуть не пропал из-за миража. Косит себе сено один в степи. Пришло время на стоянку возвращаться, пошел и заблудился. Шел, шел, а конца травам не видно, и никакой стоянки. Полдня прошел, устал, пить захотел. Вдруг видит

впереди себя озеро. К нему направился. Идет, а озеро как синело впереди, так и синеет, не приближается. Ворту пересохло, обессилел совсем, наконец упал и потерял сознание. Нашел его калмык-табуищик, еле живым привез домой, в чувство привел. Одним словом, спас. Если бы не этот табуищик, лежать бы деду моему в степи... Вот такая история.

2

Весть о том, что в гости к Лиджи приехали два русских парня, птицей облетела все кибитки хотона Бергяс. Девушки и молодые женщины скореейко закончили вечернюю дойку коров и поспешили к Лиджи. Вслед за ними потянулась и хотонская детвора, мальчишки и девочки. Мужчины тоже собрались вместе, но в другом конце хотона, у кибитки Чотына Хечиева. Так предписывал им закон чести, мужского достоинства. Не будут же они в самом деле, как безмозглая ребятня, заглядывать в чужие двери, где остановились незнакомые люди. Конечно, они тоже ведут разговор о приезжих. Откуда парни? По каким заботам? Если проездом, то почему нет с собой никакой поклажи? Заявились в родовой хотон, почему не к старосте, как другие, а к Лиджи? Не только русские, но и калмыки никогда у него не останавливаются. Конечно, и мужчины разбирает любопытство. Не так уж часто навещаются сюда гости, тем более русские. В хотоне их бывает двое: одни — это Яшка-рябой, по-калмыцки хорошо говорит, приезжает сюда два раза в год, весной и осенью, когда стригут овец. Собирает шерсть, кожу, рога-копыта, кости, тряпье. В обмен на сатин, ситец, шерстяные ткани, нитки, иголки, сахар, пряники, баранки и прочий мелкий товар. Другой русский — Микола Жидко... Этот всегда знает одну дорожку к хуторскому старосте Бергясу Бакурову. И уже давно больше никто из дальних тут не появлялся.

Ребятишки, высыпавшие к кибитке Лиджи, наделись полакомиться сладостями. Девушкам и молодым женщинам хотелось купить табаку, ниток, иголки, но к седлам приезжих поклажи не было приторочено. Это всех огорчило.

Борис и Вадим условились подъехать к хотону на

закате солнца, чтобы быть менее заметными, но они ошиблись. У калмыков, говорят, глаза узкие, но видят далеко. Почему? А потому что калмык весь день — с отарой овец, с табуном лошадей, со стадом верблюдов или коров и никогда не сводит с них глаз. Скот ходит по всей степи, и пастух видит всю степь. Поэтому двух всадников заметили еще тогда, когда они подъезжали к реке. Заметили их даже из соседнего хотона Ик-Хагта.

Борис знал от отца, да и сам понял, когда приехал сюда, что по внешнему виду кибитки можно сказать, кто в ней живет: богатый или бедный. Богатый калмык держит много овец и не реже чем через пять лет меняет войлок на кибитке, она у него почти всегда белая. Среднего достатка человек сменит войлок раз или два в жизни, кибитка у такого серая. Бедный калмык не меняет отцовский войлок на новый, разве что подбирает то, что выбрасывает богатый, и этим латает свой джолум, то есть полукибитку. Жилые у бедняка темнее иочн, снаружи и внутри.

Посоветовавшись, путники решили попросить ночлег не в белой и не в черной, а в серой кибитке — и попали в пристанище Лиджи, двоюродного брата старосты хотона.

Когда они спешили, хозяйка — молодая смуглая женщина — доила корову. Взглянув из-под брюха коровы на неожиданных гостей, она бросилась в кибитку и стала будить спавшего мужа:

— Яглав! Яглав!¹ У нашей кибитки два русских парня! Вставайте, они уже слезают с коней.

— Русские? Возле нашей кибитки? — спросил удивленно муж и сел на топчане. Гости надо встречать на улице, таков закон у калмыков. Лиджи вышел, кивком головы поздоровался с приезжими, стоявшими возле лошадей. Потом, не говоря ни слова, взял оба поводья, провел по лошадиным спинам ладонью. Нет, лошади не потные! Отвел их к коновязи, привязал чумбуром. Вернувшись к гостям, так же без слов, жестом пригласил в кибитку. Там показал в передний угол, на возвышение, где было сложено все богатство его семейства — постель, подушки, шубы, кошма, а на самом вер-

¹ Яглав! — возглас удивления.

ху стоял маленький будда. Сооружение это называлось бараном. Гости поняли жест хозяина и сели на войлок у барана. Хозяин продолжал молчать. Тогда Борис взглянул на него и спросил:

— Можно переночевать у вас?

— Толмач уга¹, — ответил Лиджи.

Вошла хозяйка. Молча взяла прокурениую трубку мужа, набрала мелко порубленным табаком-самосадам и наклонилась над потухшим очагом. Покопалась в золе, отыскала крошечный уголек, прикурила от него и подала трубку Борису. Потом сказала что-то мужу. Тот снял со стены захватанный руками почерневший от дыма деревянный ларчик, открыл его, достал клочок старой измызанной бумажки, передал жене. Та неумело скрутила цыгарку, прикурила от нового уголька и вручила Вадиму.

Ни тот, ни другой не курили, но отказываться было нельзя. Перед отъездом Николай Павлович, отец Бориса, предупреждал их, что, куда бы они ни зашли, им в первую очередь подадут табак, потом сварят чай. Надо курить и чай пить. Отказ от гостеприимства глубоко ранит хозяина.

Гости старательно курили. Борис переусердствовал, закашлялся. Вадим хитрил, затягивался не глубоко, набравши в рот, выпускал дым тоненькой струей.

Хозяйка тем временем вели оживленный разговор.

— Что же мы так и будем молчать? Толмача позвать? Или послать их к ааве?² — сказала жена Лиджи.

— Что ты мелешь?! Они приехали к нам. Пошлем к ааве — люди осудят.

— Вы правы, мой муж, — вздохнула та, — но как мы объяснимся с ними. По-русски-то не знаем.

— Не твое дело! — сказал Лиджи. — Чем болтать без толку, лучше чай сварю.

Жена поспешно удалилась, а хозяин, важно посасывая трубку, сидел молча.

У входа в кибитку толпились женщины и детвора, кое-кто уже переступил порог. Смотрели на гостей, прислушивались к разговору хозяев.

— В нашем хотоне один человек знает по-русски,

¹ Толмач уга — не понимаю.

² Аава — обращение к мужчине, старшему по возрасту.

сын Нохашка, Церен. Может, его привести? — несмело обратилась к Лиджи худая женщина, с хриплым от табака голосом.

На лицах осаждающих дверь читалось нетерпеливое любопытство: всем хотелось узнать поскорее, кто такие эти парни и зачем приехали?

Не дождавшись, что скажет хозяин, женщины еще оживленнее запереговаривались, и затем послышались удаляющиеся от кибитки шаги.

Вскоре появился белолыцый, с черной курчавой головой босоногий подросток в длинной до колен бязевой рубашке. Женщины от дверей что-то наперебой подсказывали ему, но толмач молчал. Хозяин дома, поджав под себя ноги, сидел справа от гостей. Он был большеголов и плотен, оплывшие щеки делали его схожим с суслнком, отъевшимся и уже приготовившимся к зимней спячке. Бязевая рубашка Лиджи, видимо не знаящая мыла, была грязно-серого цвета. Поверх рубашки надет поношенный черный бешмет¹ из сатина, перехваченный широким ремнем. Лиджи сердито нахмурился и что-то сказал, но его не услышали ни галдевшие у дверей женщины, ни даже гости, сидевшие рядом. Тогда хозяин поднялся, подошел к двери и принялся вышвыривать за порог женщин и ребятишек. Толпа шарахнулась от кибитки. Попятился к выходу и мальчик-толмач, но Лиджи схватил его за шиворот и толкнул к скамье. Мальчик пролетел мимо скамьи, ударился о терме² и отскочил назад. Гости были не только удивлены таким обращением, но и порядком напуганы. Однако Лиджи некогда было глядеть на гостей. Очистив кибитку от посторонних, он сказал несколько слов мальчику. Тот взглянул исподлобья на гостей, переступил босыми ногами. Гости с недоумением смотрели то на хозяина, то на мальчика-толмача. Хозяин повторил свои слова теперь уже сердито, повысив голос. Мальчик повернулся испуганным лицом к Вадиму и Борису.

— Мужчины, господа, — сказал он по-русски и снова замолчал. И только после долгой паузы продолжил: — Хозяин спрашивает, с чем вы приехали и куда держите путь?

Мальчик говорит по-русски чисто. Лица гостей по-

¹ Бешмет — верхняя мужская одежда.

² Терме — разборные деревянные решетки кибитки.

светлели. Когда люди долго блуждают по степи и в конце концов находят дорогу, они испытывают радость. Точно так же почувствовали себя в эту минуту Борис и Вадим. Пришел маленький человек, понимающий их, и все стало на свои места.

— Хорошо говоришь, — похвалил Вадим мальчика. — Как тебя зовут?

— Мое имя Церен. Я — сын Нохашка, — ответил мальчик.

— Славно, Церен, сын Нохашка! Теперь скажи хозяину, что нам от него ничего не надо. Мы едем в Янхал, хотели бы переночевать у него, если можно. Ты нас понял, Церен?

Мальчик кивнул в знак того, что все понял, повернулся к хозяину и передал все услышанное по-калмыцки.

Хозяин улыбнулся.

— Теперь ты скажи им в ответ, — велел он Церену. — Кто приехал к калмыку, зашел в его кибитку, считается гостем и не должен спрашивать разрешения на ночлег. Говори, фамилия моя... нет, не так. Скажи, я — брат известного во всех Малых Дербетах Бергяса Бакурова. Нет, скажи лучше так: во всей степи, где есть владения Бергяса, все люди беспрекословно подчиняются мне, то есть Бергясову Лиджи. А еще скажи: если всю мудрость, данную богом хозяину этой кибитки, погрузить на верблюда — сильное животное это не поднимет той поклажи. Скажи, есть брат у меня — багша¹ Богла, в голове которого и в животе все учение святого будды... Он преемник всеблагого Бааза-багши, побывавшего в Тибете. И еще скажи — мой гнедой скакун не раз брал первые призы на скачках... А жену мою зовут Бальджир, она славится красотой на всю степь.

Хозяин закончил, широко ухмыляясь, а Церен начал переводить, стараясь ничем не выдать своего отношения к произносимым словам. Но кто-то не выдержал за стеной кибитки. Раздался смех женщины, ее поддержали другие — и вот уже хохот стал заглушать голос Церена. Гости с удивлением повернулись в ту сторону, откуда раздавался смех. Сквозь щели в кибитку глядело множество насмешливых глаз. Хозяин резко поднялся и выскочил наружу — сразу же сыпанул топот убега-

¹ Багша — настоятель монастыря.

ющих. Вернулся он еще больше нахмуренный, молча сел. Хозяйка принесла черный котел и опустила его на треногу, сняла закопченную крышку с котла, и кибитка наполнилась ароматным запахом чая и мускатного ореха. Гости внимательно следили за каждым ее движением. Вот она достала с полочки над дверью деревянную миску, взяла из нее двумя пальцами большой кусок коровьего масла, подошла к котлу, опустила масло в чай, миску поставила на место, облизала пальцы и вытерла их белым платком, висевшим у нее на боку за поясом. Потом Бальджир принесла засаленные деревянные пиалы, протерла их грязной тряпницей, поставила перед мужем и гостями, помешала в котле ковшком и разлила чай.

— Спроси теперь, — сказал Лиджи Церену, — в каких они должностях? Или, может, по торговой части?

— Мы не занимаем никаких должностей, — разъяснил Вадим. — Учимся в университете в большом городе. Студенты мы.

— Они учатся в городе, — перевел Церен и записался.

— Русские сказали много слов, ты — мало, говори дальше, — потребовал хозяин кибитки.

— Если не все понял, ты не стесняйся, спрашивай, — вставил Вадим.

— Не все понял! — признался Церен. — Студент? Университет?

— Университет, — объяснил Вадим, — это самая большая школа, там учат на доктора или учителя. Молодые люди, которые там учатся, называются студентами.

— Студент, — улыбнулся Церен, — студень... На Дону, когда мы там жили, из ножек и головы барана делают студень. Моя мать хорошо это умеет.

Вадим, сдерживая смех, замотал головой. Борис спросил:

— Ты был на Дону?

— С отцом еще, — ответил мальчик. — Мы жили там на хуторе, пасли скот.

— О чем болтаешь? Почему не переводить? — сердито напомнил хозяин, сурово посмотрев на Церена, взял пиалу и с шумом втянул чай.

Вошедшая Бальджир с гордым видом положила перед каждым по куску лепешки. Гости попробовали лепешку и отложили, а Борис вдруг поднялся и с окаме-

невшим лицом, низко пригибаясь, торопливо выбрался из кибитки.

«Что с ним? Лепешка не по вкусу? Сидеть неудобно?» Вадим чувствовал, как ломило в ногах без привычки сидеть, сложив ноги калачиком, но он терпел, не показывая виду, прихлебывая из пиалы маленькими глотками.

А Бальджир было чем гордиться. Сегодня в ее кибитке пили чай с лепешкой. В целом хотоне, а жили тут тридцать семей, ни у кого, кроме Бергяса, не найдешь горсти муки. Бальджир сбегала к старшей снохе, к Бергясовой Сяяхле, выпросила у нее лепешку, небольшую, с полсковороды, — и за то спасибо. Если бы не русские гости, даже добрая Сяяхля никогда бы не поделилась такой едой. Как же! Двоюродный брат Бергяса будет угощать русских чаем — только чаем, об этом позоре узнает вся степь. Пришлось поделиться.

— Церен, скажи хозяину, что мы хорошо поели и благодарим за угощение. Мы хотим выйти на воздух, немного проветриться, а потом вернемся на ночлег.

Вадим, сказавши это, сложил руки, ладонь к ладони, и повернулся к хозяину. Он читал где-то, что люди Востока так выражают свою благодарность. Церен перевел, и Лиджи ответил:

— Хорошо, пусть идут проветрятся.

Слова Вадима и его жест понравились хозяину. А вот почему тот, другой, вышел из кибитки без всяких слов? Поступок этот был ему непонятен. Может, у русских другой закон? У калмыков закон — уважать дом и старших. Разве нехороший закон?

В кибитке горела лампа без стекла. На дворе стояла густая темень. Вадим вышел вместе с Цереном.

— Борис, ты где? — позвал он друга.

— Я здесь, — отозвался тот из темноты.

Пошли на голос. От коновязи доносилось фыркание лошадей, временами слышно было позвякивание железных колец на уздечках. Вздыхали сытые коровы, лежа пережевывая жвачку. Где-то на краю хотона брехали собаки. В высоком небе перемигивались звезды. С севера тянул легкий ветерок. В ночном воздухе еще стояли запахи недавно надоенного молока, прогоревшего кизяка и горькой полыни. Бориса нашли сидящим под двуколкой.

— Ты что тут делаешь? Почему выскочил из кибитки? Хозяин что-то бормочет, недовольный.

— Меня тошнит, Вадим. Не подходи близко. О... — простонал он. — Разве ты не видел, как хозяйка брала масло, облизывала пальцы, как вытирала пиялы какой-то онучей...

— Удивляюсь я тебе, — сказал Вадим улыбувшись, — говоришь, не впервой здесь, а до сих пор не привык... Нельзя их винить во всем, кругом жуткая бедность. Ну, ладио, вставай, хлебни холодной водицы, пройдемся с Цереном по степи, за околицу. Поднимайся! — Вадим тронул друга за плечо.

Прошли мимо кибитки Лиджи. Следующая за ней даже в темноте выделялась мягкой белизной. С южной стороны селения она стояла крайней и как бы вела за собой весь хотон, а сейчас, в ночном сумраке, напоминала гору со снежной вершиной. Кто-то, распевая, на всем скаку подлетел к ней, две тени вышли встретить позднего всадника. Церен забеспокоился, быстренько спрятался за горкой кизяка. Борис и Вадим последовали за ним.

— Это Бергяс, — зашептал Церен. — Староста всего хотона. Где-то в гостях был, хмельной.

Спутники Церена не поняли, отчего мальчик прячется. Боится Бергяса или так уж сильно уважает его?

Когда они выбрались за околицу и оказались в открытой степи, Церен стал рассказывать по просьбе Вадима и Бориса о себе.

...В год его, Церена, рождения на Шорву обрушился страшный зуд¹. С весны, как только растаял снег, до самой осени не было ни одного дождя. В мае подул «астраханец» и высушил степь. Уже в самом начале лета от зноя земля потрескалась. Овцы остались без корма. Бергяс угнал в Царицын половиину своего скота, продал купцам. Другую половиину разделил на две части, одну оставил дома, у него-то был небольшой запас кормов, другую отправил на зимовку к Черным землям с отцом Церена Нохашком. Отец взял с собой коня и трех коров, дома для пропитания семьи оставил двух овец. Другие жители хотона тоже угнали скот на Черные земли, оставили только дойных и стельных коров.

¹ Зуд — бескормица.

Как назло, в ту зиму, уже в месяц гал тьялгн¹ на Черных землях, где снегу почти никогда не бывает, а если и выпадет небольшой, скот разгребает его без труда и пасется всю зиму, — а в ту зиму, как назло, выпал снег по пояс человеку. Он лежал до самой оттепели. А в середине цаган-сар² началась метель и бушевала целую неделю. Зуд унес все поголовье. Отец Церена и другие люди вернулись домой с веревками в руках и пустыми торбами за плечами. Но как-то нужно было жить. Бог дал скот, бог его взял... Вместе с павшим скотом уходят все грехи. Бог не без милости. Наступят другие времена... Так говорили калмыки.

Много горя и слез увидел жители хотона Бергяс в тот год барса. Почти у половины семей не осталось ни овцы, ни коровы. Как жить в калмыцкой степи без скота? Отец Церена побыл дома три дня и в ночь ушел. Куда — даже матери не сказал ничего толком. Да и сам он не знал, куда пойдет и где будет искать спасенья для семьи. Велел ждать вестей через месяц. Ушли с ним еще двое. Вернулись через два с половиной месяца. Отец привез две торбы муки и немного денег. В его отсутствие умер четырехлетний сын, младшенький Церен еле живой лежал в люльке; от матери только и осталось — кожа до кости, черные веселые глаза ее потухли. Отец решил уехать из хотона. Нанял подводу, погрузил жалкие пожитки, Церена и больную жену.

Десять лет прожили они в казачьем хуторе. Отец пас станичный скот. Заработал денег, купил трех коров, коня, обжился. Но заедала тоска по родной степи. Так и не научился говорить по-русски — только с пятого на десятое. И вот в прошлом году, когда выпал первый снег, сдал хозяевам скот и вернулся в родной хотон. Двадцатого числа месяца зул³ все они как раз проезжали через Дунд-хурул⁴, заночевали у родственника-монаха. Багше отец преподнес подарок — мешок пшеничной муки, кусок сала, пять метров ткани, два горшка топленого масла и двадцать рублей денег, чтобы тот прочи-

¹ Гал тьялгн — ноябрь; буквально: жертвоприношение огню.

² Цаган-сар — первый день весны, праздник весны, отмечается у калмыков в середине или конце февраля.

³ Зул-сар — декабрь.

⁴ Дунд-хурул — центральный монастырь.

тал молитву по давно погибшим родителям, а также сотворил гавг¹ наследнику главы семьи, то есть Церену — ему через год должно было исполниться тринадцать. Для отправления подобных обрядов богатые люди дарят хурулу оседланного коня, две-три коровы, побольше десятка овец. Но дар Нохашка тоже умилил настоятеля. Он не помнил случая, чтобы бедняк из бедняков, каким был отец Церена, преподнес такой щедрый подарок хурулу. Поэтому в тот же вечер Богла-багша пригласил к себе двух гелюнг² и совершил обряд для Нохашка.

— Десять лет ты прожил вдали от своего рода, от монастыря, от степи. Из восьми твоих детей в живых остались сын и дочь, — начал выговаривать Нохашку багша. — Мальчик скоро превратится в мужчину. Если ты и дальше будешь вдали от сородичей — забудет он свой язык и, чего доброго, напялит на шею крест... Мой совет тебе — постарайся вернуться в свой род, пока не наступил год барса. Минувшие годы были страшными для всех нас, это правда. Но сейчас люди перебедовали, стада их пополнились, в кибитки пришел достаток.

Слово багши считалось непререкаемым. Нохашк возвратился в степь. Но возвращение для него оказалось роковым. Вскоре после переезда Нохашк заболел и умер. И Церен остался с матерью и сестренкой.

3

Прежде чем гости переступили порог жилья Нохашков, мальчик счел нужным пояснить:

— Сейчас наш джолум дырявый и невзрачный. Но зато дом, где зимует, лучше всех. Когда переехали с Дона, отец продал две коровы и сложил мазанку из самана. Этому он научился у казаков. Завтра вы на нее посмотрите. Если не считать кибитки старосты, наш дом самый просторный в хотоне, большой и светлый, на три окна... Только беда вот: сестренка расхворалась... Такая послушная, умная девочка, а не убереглась, схватила

¹ Гавг — чтение молитвы, чтобы продлить жизнь.

² Гелюнг — монах.

простуду. Теперь вот который уже день ничего в рот не берет, кроме воды кипяченой — так велел Богла-багша.

Церен рассуждал о страданиях сестры с озабоченностью взрослого.

— Как зовут твою сестренку? — спросил Вадим.

— Нюдля. Ей восемь лет, — ответил Церен.

— А кто сказал, что она умная?

— Мать говорит, да и все, кто ее увидит.

— Ну, хорошо. Проведи в свой джолум. Я хочу посмотреть сестренку, — сказал Вадим.

— Зачем?

— Он доктор, лечит больных людей, — объяснил Борис.

— Не надо к нам ходить! — испуганно произнес Церен. — Русские доктора могут лечить только те болячки, что на виду. А что внутри человека, доступно лишь священнику. Он знает молитвы.

— Разве ты видел когда-нибудь русского доктора?.. Знаешь, что он может?

— Никогда не видел.

— Зачем глупости повторяешь? — спросил Борис.

— Так всегда говорит Богла-багша. Когда у человека много грехов, у него появляются болезни. Если веруешь в бога, знаешь молитвы и поступаешь, как велит священнослужитель, болезнь отступится сама, уйдет.

Мальчик твердил это как заученный урок.

— Пусть будет по-твоему. Но я все-таки хочу взглянуть на сестренку, — настаивал Вадим.

Церен согласился не сразу:

— Мама заругает.

— Мы скажем, что не ты привел, сами пришли.

— Тогда идемте! — почти обрадовался Церен.

Кибитка Лиджи показалась Вадиму и Борису тесной, неуютной и грязной. Но войдя в джолум Нохашка, они увидели нечто похожее на логово. Справа от входа на кошке лежала и стонала маленькая исхудавшая девочка. Да и можно ли назвать входом узкий лаз, едва прикрытый лохмотьями. Когда гости протиснулись, согнувшись вдвое, пожилая женщина, сидевшая на куче шерсти возле барана, что-то испуганно спросила у Церена. Сын наскоро все объяснил ей, смущенно поглядывая на пришедших.

— О, дярке!¹ Неужто ты послал их нам в помощь!— сказала хозяйка и, сблизив ладони, подняла их на уровень лица, стала благодарить бога.

Вадим подошел к девочке, взял за левую руку, нащупывая пульс, и попросил Церена перевести, чтобы та показала язык.

— Она сама знает русский, — ответил Церен и приказал сестренке: — Ну-ка, Нюдля, открой рот!

Девочка не отзывалась и даже не пошевелилась в ответ.

Вадим приподнял ей веки, заглянул в глаза.

Словно птица, защищающая птенца, мать подскочила к дочери и села у ее изголовья. «Ты пришел помочь или посмеяться над несчастным?» — говорил ее новорожденный взгляд.

— Давно ли болеет девочка? Чем вы ее лечите? — спросил Вадим и посмотрел на мать, затем на Церена. Мальчик уже вошел в роль и переводил без запинок.

— Сегодня девятый день, как слегла. Три дня в беспмятстве, не говорит ни слова, — сказала женщина.

Девочка была укрыта большой шубой. Поверх шубы навалено еще какое-то тряпье. Вадим приподнял шубу — пахло потом и немытым телом. Матери не понравилось самоуправство гостя. Она снова укрыла дочь. Вадиму стоило большого труда уговорить женщину освободить больную от лишней одежды. Он хотел послушать сердце. К худому тельцу у девочки прилипла тесная матерчатая одежда на многих пуговицах. Камзол сдавливал ей неразвнутую грудь, мешал дышать. «Вы же душите своего ребенка», — вертелось у Вадима на языке.

— Если вы не выполните мои указания и будете напирать на девочку камзол, — сказал он строго, — дочь продержится не больше чем до утра. Нужна вам дочь — слушайте меня! Постараюсь спасти от смерти. Силенок у нее осталось совсем немного.

Слова русского доктора будто ожгли женщину. Она покорно отвела руку от камзола. В голову нахлынули горькие мысли.

«Из восьми детей у меня осталось двое. Девочка одна. Теперь и ее терять? Неужели она заболела от того,

¹ О, дярке! — О, боже!

что я раньше времени обрядила ее в красивенький этот камзол? Но кто может сказать с уверенностью, когда следует его надевать?» — думала Булгун. Знала она лишь одно: камзолы девчонки носили с давних времен и сегодня носят. И она носила эту привычную для калмычек одежду с малых лет. Выросла тонкой, узкогрудой, как все. Лет с двенадцати у Булгун начало развиваться тело и расти груди. Булгун как-то сказала об этом матери, на другой же день мать надела на нее сатиновую куцую одежку с длинным рядом пуговиц. В шестнадцать лет ее выдали замуж. В тот вечер, когда привезли ее в кибитку жениха, пришли молодые женщины — родственницы со стороны мужа, сняли с нее камзол, давивший много лет ее грудь и сделавший под мышками глубокие вмятины. Бросили пропахшую всеми потами одежду в огонь, а тугую косу ее разделнили надвое и объявили, что с этого дня она женщина.

Нюдля родилась на казацком хуторе Аржанов. Там с малых лет играла она с русскими подружками, ела вволю яблоки и груши и выросла не по годам развитой, стройной, здоровой девочкой. Когда родители возвратились в хотон Чоносов, Нюдля была ростом заметно выше своих сверстниц, крепче их. Хотонские старухи и женщины тотчас приметили это раннее развитие Нюдли, подступились к матери с предупреждениями:

— Булгун, не видишь, что ли: у твоей девочки груди, как у женщины!

— Она еще в куклы играет, — защищалась, как могла, Булгун. Но когда пошла к Богла-багше, чтобы прочитал он молитву против болезни мужа, тот не преминул напомнить в свою очередь:

— Ты, Булгун, говорят, потеряла стыд, распускаешь свою дочь? С этих лет хочешь превратить ее в женщину, нарушаешь калмыцкий обычай?..

А сейчас русский врач говорит, что камзол чуть не задушил ее дочь! Но, может, Богла-багша сказал бы то же самое, если бы видел, как ее девочке плохо?

— О, будда... — проговорила Булгун и принялась стаскивать камзол.

Вадим взглянул на Бориса, и тот быстро вышел.

— Церен, тебя Бергяс зовет, — слышался со двора мальчишеский голос.

— Подожди, Церен, — забеспокоилась мать. — Зачем

староста может тебя позвать в эту пору? Всех ли телят ты пригнал? Может, они в степи с коровами смешались, молоко сосали? — Булгун со страхом смотрела то во двор, то на разметавшуюся в бреду Нюдлю.

Вадим хоть и не понимал, о чем говорят мать и сын, но тревога их передалась и ему.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Бергяс проснулся, открыл глаза. Он хотел встать, но голова тянула вниз, будто чугунная. Все тело ныло, как у человека, впервые косившего день-деньской. Отверстие для дымохода и боковые щели кибитки пробились солнечные лучи. Кровать жены, стоявшая слева от входа, была уже убрана. У Бергяса пересохло в горле, но ему лень было встать, чтобы взять со стола кувшин с кумысом. Да и вставать ему не пришлось. В кибитку вошла женщина лет тридцати пяти. Она была по-утреннему свежа, будто цветок, омытый росой. Продолговатое белое лицо, черные лучистые глаза, густые брови, ямочка на левой щеке и тонкая, как у молоденькой девушки, талия. Это была Сяхля, жена Бергяса. Она поставила ведро с молоком справа от входа, гибко выпрямилась, прошла по кибитке легкой походкой.

— Сяхля, налей-ка мне пиалу кумыса, голова трещит. Вчера с улусным попечителем пили водку, араку¹, затем красное вино. Все смешалось, не могу поднять головы. Да, о каких русских гостях вчера толковали? Кто они? Ты ничего не узнала? — спросил Бергяс.

— Как вам не стыдно! — наполняя пиалу, сердито заговорила жена. — Вы натравили этого разбойника Таку на сиротку Церена, ваш сын избил его.

— О чем ты толкуешь? — поднял голову Бергяс.

— У них и без того полно горя, — продолжала Сяхля. — Не прошло и сорока девяти дней, как умер отец. Сестренка Церена при смерти. Мальчик так тяжело переживает, а вчера ваш сын едва не изувечил его...

— Так ему и надо, — отхлебнув кумыса, заключил

¹ Арака — самогон, изготовленный из коровьего молока.

Бергяс. — Пусть не связывается со всякими проезжими. Если Церен уже сейчас с нимн якшается, когда вырастет, нам покоя от его гостей не будет. — Бергяс наконец вспомнил: да, действительно вечером он вызывал Церена. И было все так...

...Церен уже в сумерках вошел в кибитку и стал у дверей. Бергяс, поджав под себя ноги, грыз бараанью кость. Справа от него сидел его брат Лиджн, только он не притрагивался к пище. А слева от Бергяса уселся сын его, Така — крупноголовый, с покатыми, как у бабы, плечами парень. Короткими пухлыми пальцами он крошил в чашку мясо. На небольшом столнце — полная пиала араkn, в стороне бортха¹ с аракой.

— Ты о чем там шепчешься с русскимн, дьяволенок? — строго спросил Бергяс у Церена.

Церен молчал, низко опустив голову.

— С чужимн болтать не стесняешься, а когда у тебя спрашивают свои, молчишь, как немой?.. Человек ты или нечистая сила? — крикнул Бергяс и со злостью швырнул обглоданную кость в гулмуту².

— Я переводил только то, что спрашивал у приезжих Лиджн, — сказал мальчнк.

— А о чем разговаривали, когда вышли из кибитки и пошли в степь? Что они спрашивали у тебя? Зачем приехали? — допрашивал Бергяс мальчнка.

— Отец, те русские парии сейчас у него в джолуме, — сказал Така Бергясу и этими словами еще больше разъярил отца.

— Правда? — спросил Бергяс.

— Да, — был ответ.

— Сейчас ты все расскажешь, ничего не утаивая! Говори же, откуда и зачем они приехали, чем интересовались? Для меня все важно! Понял? Только не вздумай соврать.

— Я никогда не вру, — с достоинством проговорил Церен.

— Вот и отвечай!

¹ Бортха — кожаный сосуд для жидкости.

² Гулмута — очаг.

— Один из них доктор, а может, оба, — сказал Церен. — Как узнали они о болезни сестренки, сразу запросились в джолум посмотреть больную.

Весть о том, что приезжие — доктора, несколько успокоила Бергяса.

— Так бы и сказал сразу...

В тот давний год, в год черной обезьяны, когда в калмыцкую степь пришла страшная болезнь оспа, приезжали из Астрахани несколько людей в белых колпаках, делали прививки. Целых два года они не покидали степь. Если эти русские парни пожаловали по тем же делам, то почему сегодня попечитель улуса ничего не сказал о них? Значит, они еще не доехали до улусной ставки? Значит, они едут в Яихал?

— Да, тут многое непонятно, — подлил масла в огонь Лиджи. — Зачем в таком случае они приехали ко мне, а не к вам, к законному старосте хотона?

Этими словами Лиджи задел жгучее самолюбие брата.

— Ты прав! Если наш дом им не нравится, пусть ночуют в поганой дыре у Нохашкиных. Умные люди должны понимать, у кого в этом хотоне уют и сытный ужин, — сердито проговорил Бергяс.

— Они приехали, когда было уже темно, — осторожно заметил Церен.

— Ах, ты хочешь быть умнее всех нас! — вскипел Бергяс. — А язык для чего? Когда подъезжали к хотону, предположим, не знали обо мне, но потом почему не пришли? Могли же спросить у кого-нибудь?

Церен стоял словно в оцепенении, не понимая, к нему ли обращены все эти гневные восклицания Бергяса.

— Чего стоишь как столб, врытый в землю! — крикнул Бергяс на Церена и облокотился на большую подушку. — Така, помоги же этому щенку убраться с моих глаз.

Така проворно поднялся, подошел к Церену и толкнул его к двери. Вышли вместе. Отойдя от кибитки в сторону, Така неожиданно дал подножку Церену и тут же ударил его в затылок. Тот, не ожидавший подвоха, упал и дважды перевернулся. Но Церен умел и постоять за себя в мальчишеских сшибках. Он быстро вскочил и подошел вплотную к Таке.

— Зачем бьешь меня, что я тебе плохого сделал?

— Не шепчись с синеглазыми! — наставительно, как отец, потребовал Така. — Без тебя найдется, кому с нами разговаривать.

Така еще раз ударил мальчика. Но сейчас Церен упал, а лишь отступил назад. Напрягшись от обиды, он, как сайгак, подпрыгнул и головой ударил в подбородок обидчику. Така неуклюже повалился на бок. Церен мог убежать домой. Коротконогий, прихрамывающий с малолетства Така не смог бы угнаться за ним до самого джолума. Но Церен считал позорным для себя улепетывать с места драки, пока схватка не окончена. Он отвернулся от Таки брезгливо и силился понять происходящее: «Что я плохого сделал Таке и его отцу? Почему они издеваются надо мной и показывают свою силу? Они хотят унижить меня лишь потому, что некому заступиться!» Слезы сами покатались из глаз Церена. Пока он рассуждал так и вытирал слезы, недруг его вскочил, схватил Церена за ворот сорочки и рванул на себя. Сорочка расползлась до самого подола. Таке исполнилось восемнадцать, и он, будто забавляясь, бросал из стороны в сторону худенького двенадцатилетнего Церена.

Их разняла Сяхля, выскочившая на шум из кибитки. Церен вернулся домой в изорванной рубашке и с синяками. Увидев сына, мать испугалась, расплакалась. Вадим и Борис, сделав примочки, дружески посочувствовали юному толмачу. Борис порывался пойти в кибитку Бергяса, пристыдить сына старосты, но Вадим остепенил его, напомнив советы Жидкова-старшего насчет местных обычаев...

— Дети подерутся и помирятся. Мы тоже так росли. Ничего страшного нет, — рассуждал о вчерашнем, все еще лежа в постели, Бергяс. — Хотелось бы знать: где сейчас эти русские парни?

— Ночевали у Нохашкиных. С утра ищут своих лошадей, кто-то увел их... Какой позор! — ответила мужу Сяхля.

— Так им и надо! — захохотал Бергяс.

— Чему вы радуетесь? — возмутилась Сяхля. — Завтра во всех малодербетовских хотонах, да и в соседних русских хуторах станет известно, что гостей, ос-

тановившихся проездом в хотоне Чонос, обворовали... И вы будете спокойно слушать это?

— Разве они были гостями Бергяса? Если бы они приехали ко мне и случилась беда, исчезли лошади, я выбрал бы из своего табуна самых лучших коней и восполнил ими пропажу, — сказал Бергяс.

— Хотон — ваш, Бергяс. И все, что здесь происходит, ложится на имя старосты. Разве позор ваших сородичей не ваш позор?

Бергяс пытался оправдаться, впрочем, без уверенности.

— Но они же не калмыки...

— Такой умный человек, а говорит глупые слова! — шла наперекор мужу Сяхля. — Разве не издавна повелось так, что если в калмыцком хотоне появился путник, его полагается встретить и проводить по чести? А если бы такое случилось с вашим другом Жидко Миколой?

— Уведи кто его лошадь, я достал бы ее из-под земли! — воскликнул Бергяс.

— Чем обидеть гостя, лучше попасть в зубы тигра, — отозвалась Сяхля пословицей. Она хотела уже идти по своим заботам, взяв бортуху, но муж окликнул ее:

— Сяхля! Сходи к Лиджи. Пусть возьмет с собой Чотына и пойдет по следам воров. С ними поедет и Така. Парню пойдет на пользу эта поездка. Я думаю, лошади далеко не могли уйти.

«Если Бергяс на что решится, то доведет до конца. Лиджи не вернется без лошадей. Любому характер старосты известен», — подумала Сяхля, довольная тем, что уговорила мужа, и направилась к кибитке Лиджи.

2

Вадим наведалься еще раз в джолум Нохашков. Принес завернутый в бумагу белый платок, хорошо протер тело девочки и укрыл ее куском выстиранной занавески. Поднимал голову Нюдли, давал выпить жидкое лекарство и белый порошок, растворенный в воде. Еле дышавшая девочка после этого почувствовала облегчение, зашевелилась, попыталась подняться. Вадим про-

сидел около нее больше трех часов, вытирал платком пот, выжимал, сушил, снова протирал. Затем жестом попросил Булгун, чтобы та сделала это сама.

Девочка дышала трудно, прерывисто, а к утру как бы успокоилась, задышала ровнее, без хрипов. Приложившись ухом к ее груди, Вадим вдруг отстранился и, улыбнувшись, подмигнул:

— Ну, поздравьте меня! Это первый пациент в моей жизни, которого я, кажется, вырвал из лап смерти!

Булгун, наблюдавшая за ним, подумала, что русский доктор совершает молитву, и сама прошептала со слезами слова, обращенные к богу.

— Мама, он говорит, что Нюдля спасена! Болезнь отступает! Ты слышишь: Нюдля будет жить! — шептал Церен матерн.

Булгун готова была молиться на Вадима.

А некоторое время спустя девочка открыла глаза и что-то сказала. Вадим не понял. Но было ясно, что она пришла в сознание. Этого пока было достаточно. Выпив два глотка молока, девочка уснула, а успокоившаяся мать присела с шитьем у ее изголовья.

Вадим сидел у ног больной, поглядывая ей в лицо. Вдруг девочка открыла глаза и посмотрела на него долгим, осмысленным взглядом. Вадим вспомнил, что она разговаривает по-русски.

— Девочка, покажи, где у тебя болит? — спросил он, улыбнувшись ей.

— Пить! — Нюдля шевельнула рукой, произнесла еле слышно. — Дайте воды!

— Ты молодец! — похвалил ее Вадим. — Сейчас дадут молока. Ты скоро будешь бегать. А пока лежи спокойно.

— Бегать... — повторила за Вадимом девочка и хотела улыбнуться. Повернула голову к матери, потом отыскала глазами лицо Вадима.

— Кто вы? — услышал Вадим ее тоненький прерывистый голосок.

— Я — доктор... зовут меня Вадим. Я хочу, чтобы ты скорее встала на ноги и побежала играть к подружкам. Только ты не спешь, ладно? И во всем слушайся маму... Как тебя зовут? Ты не забыла?

— Нюдля, — сказала девочка, двинув бровками. По-

том обратилась к матери: — Мама, пить хочу, хоть глоточек воды. Молоко в горле застревает.

— Сейчас, деточка... — шептала растроганно мать. — Сейчас. Цереи, иди на улицу, побыстрее вскипяти воду.

— Горячей не хочу, — протестовала Нюдля.

— Цереи, о чем она говорит? — спросил Вадим.

— Она просит холодной воды, а мать посылает за кипятком, — перевел Цереи.

— Кипяченая лучше, — согласился с матерью Вадим. — Но остуженная. Дай-ка вот ту кружку, Цереи. Как раз то, что нам нужно.

Нюдля с жадностью выпила полкружки.

Раньше мать давала ей питье только с огня. Девочка стала бояться горячего.

— Очень хорошо! — похвалил ее Вадим. — А сейчас поспи. Скоро ты будешь бегать быстрее всех в хотоне, — пообещал Вадим, — но — позже. Если встанешь сейчас, снова простудишься и заболеешь. Ты совсем ослабела!

— А я заболела не оттого, что простудилась. У меня есть грехи.

— Что же за грехи у тебя, Нюдля?

Девочка с серьезным видом начала рассказывать.

— В тот день я пасла телят на берегу Малого Харты, а Цереи ушел домой. Был жаркий день. Я оставила телят у камышей, сама пошла купаться. Все было так хорошо. Но вот появились большие черные тучи, хлынул дождь с градом. Я выскочила из воды, побежала к одежде и незаметно наступила на лягушку. О, хяэрхан!¹ Что я наделала? Ведь лягушка тоже жить хочет. Мне нужно было прочитать молитву, а я побоялась грома и забыла помолиться.

Вадим слушал ее невинную исповедь и думал о другом. Он видел маленькую пастушку, идущую по степи под палящим солнцем. Целый день она в раскаленной от жары степи, сомлевшая, одурманенная зноем... Потная, полезла в воду. Вышла из воды, попала под холодный дождь. Не сменила мокрой одежды, ходила так до самого вечера. Этого было достаточно для ее слабенького, еще детского организма.

— А еще какие грехи у тебя, Нюдля? — горько усмехнувшись, спросил Вадим.

¹ О, хяэрхан! — О, всевышний!

— Больше у меня нет грехов, — с серьезным видом ответила девочка и пояснила: — Маму и всех старших я слушаюсь, телят в коровье стадо не пускаю, гелюнгам низко кланяюсь, молитвы знаю.

— Какой грех, Нюдля, по-твоему, самый большой? — спросил Вадим.

Нюдля задумалась или принялась вспоминать о чем-то. Наконец сказала:

— Убьешь лягушку — это все равно, что лишить жизни семь монахов.

Как ни сдерживался Вадим, не утерпел и рассмеялся.

— Значит, монах стоит меньше, чем болотная жаба?

Девочке был непонятен смех русского доктора. Она нахмурила брови в недетской обиде на него.

— Лягушку жаль, — пыталась объяснить Нюдля, — она маленькая, каждый может обидеть. Ей нечем защищаться от врагов, вот почему за нее заступается бог.

Вскоре Нюдля уснула. Вадим думал: еще совсем кроха, а борется за свои убеждения, спорит! Дай такой возможность приобщиться к грамоте, к культуре... Пробуди веру в себя, введи в мир науки — каким умным человеком выросла бы эта юная степнячка! Глядишь: бедный лягушоночек этот обернулся бы, как в сказке, прекрасной царевной. Восемь лет, а судьба уже определена — вечная пастушка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Семья Бергяса держит у себя дома восемь дойных коров. Еще с десятков буренок они отдают на время бедным родственникам, живущим здесь же, в хотоне. Остальное стадо пасется в степи. Коровы телятся там и выгуливаются круглый год. Приплод не отбивают от материнского стада по пять-шесть месяцев.

Если посмотреть со стороны на Бергяса, то можно подумать, что он человек — душа нараспашку! Иной бедолага в долгах как в шелках, а жизнь свое требует — детишек куча. Бергяс и не вспомнит о прежнем — даст на лето и осень дойных коров и тем, кто еще не расплатился за полученное, бывает, семь-восемь годков ждет...

Если бедному сородичу понадобится конь или телега на выезд, и здесь Бергяс покажет свое понимание нужды, даст, не откажет. Овчин на полушубок, клочок шерсти вдове, чтобы связать пару носков сиротке — иди, проси у Бергяса, с пустыми руками не возвратишься. Выслушает и уважит Бергяс. Далеко ли ходить за примером?

Дочь Окаджи Бораева, Харада, на выданье, но приданого кот наплакал. Узнав об этом, Бергяс сам позвал к себе отца невесты.

— Я слышал, Окаджи, что твоя дочь засватана. Отдать дочь замуж — не простое дело, — поучал Бергяс. — Молодой семье нужен крепкий зажиток для начала. Гляди, если нужна помощь, не таись. Я ведь тебе не чужой человек. Знаешь небось степную погудку: «Лучше останусь с одним посохом в руке, чем допущу о себе худую славу».

И без напоминания Бергяса Окаджи порывался было идти к старосте за подмогой, да отступал. Ох не проста эта помощь! Крепко впрягал в хомут глава хотона своих сородичей за любую услугу! Крепко и надолго! Иногда и детям приходилось отрабатывать долги своего родителя. Поэтому Окаджи не спешил к Бергясу за щедрым займом, искал: нельзя ли обойтись поскромнее да без долгов. Не одну бессонную ночь провел бедняк, вздыхая. Старший сын, спасибо ему, на все был согласен ради любимой сестренки, да ведь и сына жаль! И вот Бергяс решил-таки приласкать семью бедняка, сам идет навстречу.

Окаджи выслушал Бергяса и, помявшись минуту, принялся вслух рассуждать о том, чего еще недоставало для свадьбы. Ему требовалось четыре девскюра¹, пять ширдыков² и десятка два отрезков ткани для подарков родственникам.

— Было о чем горевать! — возмутился Бергяс. — Да у меня этого добра — хоть даром бери!.. Ты о деньгах говори, сколько тебе деньжат подбросить?

Нет! Не узнать сегодня Бергяса! И отцом и братом прикидывается, будто все его богатство и не его вовсе. Любой протяни руку — бери, сколько донесешь. Однажды вот так, как нынче, кое в чем подразжился бедняк Окаджи Бораев у Бергяса. Шесть лет назад... И столь-

¹ Девскюр — большой кусок кошмы.

² Ширдык — войлочный узорчатый коврик.

ко же бродит теперь по степи Окаджи со своим старшим, как привязанный, за чужим стадом — пасет восемьдесят двухлетних телок Бергяса. А весной в тот гурт староста добавил сто двадцать холощеных бычков-трехлеток русского скотопромышленника Миколы Жидкова.

За целый год непростого их труда положил Бергяс Окаджи и взрослому его сыну плату натурой: две коровенки, пять овец, портки из овечьей шкуры тому и другому, кожаные сапоги старшему, три плитки калмыцкого чая и одну шубу — на двоих... А как будет оплачен выпас ста двадцати бычков? Окаджи ничего не знает. Бергяс молчит, а его дружок, русский, Микола, глаз не кажет, будто забыл о своем стаде. Окаджи хотел бы спросить о бычках, да боится разгневать Бергяса. Сам лишь думает с надеждой: «Может, бергясовы нынешние дары к свадьбе нами уже отработаны, за чужих бычков подвалило нам такое счастье?»

Возвратившись от Бергяса, Окаджи не пошел в степь, заночевал дома.

Проснулся по привычке рано, на душе было тревожно. Сын остался в степи возле скота один. Вчера весь день дул сильный низовой ветер. От его ударов кибитка гудела. Перед утром ветер вроде стих. Окаджи вышел на улицу до восхода солнца. И тут же понял, что, заночевав дома, совершил ошибку. Ветер просто сбивал с ног.

Сиоха Окаджи и еще одна молодая женщина доили коров Бергяса. У калмыков так заведено: помогают друг другу коров доить, пасти телят... Неважно, что у тебя две коровы, у соседа — десять. Настал час — молоко нужно выбрать, хоть всей улицей помогай хозяину. Такая работа, у соседа, не считается зазорной. Это обычай. Любой старик скажет: только ленивый человек не помогает другому.

Коровы при доме Бергяса — это уже хозяйство Сяххли. Кто не откликнется на зов приветливой хозяйки? Сяххля внешне строга, да и то лишь с мужчинами. А скольким людям она помогла: не обошла ни джолума голодающих, ни того, кто в неастье занемог от хвори. А чего стоит мудрое слово ее совета? Опыт и ум близкого человека иной раз важнее куска хлеба!

«Который год она живет с Бергясом? — Окаджи задумался, прикидывая в уме. — Вышла замуж — через

год родила мальчика. Нежное имя дала ему — Сарай. Сейчас ему двенадцать. Значит, в год коровы она вышла за Бергяса замуж». Умна, поделчива, приветлива Сяхля. Своим покладистым характером она покорила всех в округе. Поэтому молодые женщины хотона тянутся к ней, будто к старшей сестре. Бегут поутру помочь выдоить ее коров, сгрести в кучу навоз и налепить кизяков, помешать кумыс. Сяхля при всем при том, что она жена аймачного старосты, не выглядит госпожой. Сама мечется с помощниками по двору, подбадривает, шутит. Настанет час расставаться, каждая будет обласкана. Про детей не забудет, всех в хотоне знает по именам.

«Отчего бог не дал такой души Бергясу, как у его жены?» — напрасно ломал голову над этой загадкой Окаджи, набивая трубку около кибитки.

Ветер между тем крепчал. Сяхля закрыла жестью отверстие дымохода, сняла с треноги кипящий котел с чаем и пошла в кибитку.

В это время из крайнего черного джолума Нохашкиных вышли два русских парня с маленькой кожаной сумкой в руках и направились к подворью Бергяса. Увидев их, Сяхля вернулась в кибитку.

— Эй, хозяин! Вставайте! К нам идут эти русские парни, — тормошила она мужа.

Бергяс лежал на кровати вверх лицом. Услышав голос жены, он хотел встать, облокотившись на руку, попытался приподняться и затем снова лег. Ему полагалось встретить гостей. Таков обычай. Но все в нем бунтовало против этих неучтивых пришельцев.

— Чего колготишься? Не царь приехал! Надо мне перед ними раскланиваться. Да и прихворнул я, видно... — Бергяс похрапел, перевернулся в постели, но так и не встал.

Сяхля видела, что Бергяс не мог переломить упрямый свой характер.

— Молодой молодому — рознь! — рассуждала Сяхля. — Где только не бывают теперь молодые, с кем не встречаются! Уедут, разнесут весть о том, что хозяин аймака даже не поднялся навстречу гостю. Если вам все равно, что о вас скажут, подумайте о детях, о родственниках. Ведь из-за вас окрестные люди будут носить весь род!

Сяхля сделала вид, что готова исчезнуть из кибитки подальше от позора.

— Куда наострылась? — окликнул жену взбудораженный ее словами Бергяс. — Когда мужчина в доме, бабе не полагается выходить навстречу гостям.

Бергяс стал поспешно одеваться.

— Приходил старик Окаджи, отец Пюрвы, сам вызвался собрать меньшую кибитку, для очага. Хочу показать ему место. Дует сильный ветер, на улице в зуухе невозможно топить, — объяснила Сяхля причину, почему она все-таки должна отлучиться, несмотря на приход гостей.

Бергяс отсутствующим взглядом уставился в дымовое отверстие. Он обдумывал предстоящую встречу с приезжими.

2

В другое время Бергяс вылежал бы до обеда. Но сейчас слова жены о чести рода словно кольнули его острой иглой и заставили подняться с постели. Сяхля была права... На следующий год назначены перевыборы старосты аймака. Во всем Дунд-хуруле десять родов, около тысячи семей. Сначала избираются хотонные, родовые старосты, затем — аймачный. Бергяс смолоду числился головою своего родного хотона Чоносов¹. Пять лет назад его впервые поставили старостой всего аймака Дунд-хурул. Два года тому назад он второй раз прошел выборы и снова занял этот пост.

«Да... через год опять будут избирать аймачного старосту, — размышлял Бергяс. — При выборах берется во внимание все. Умение вести хозяйство, поддерживать обычаи, ладить с людьми. Быть строгим, но не сеять недовольства своим правлением. Если чем-либо запятнаешь свое имя, могут и не поставить над людьми... Так и должно быть, по совести, по правде. Только пощипи этой правды в неоглядной степи! Нужного им человека подбирают в узком кругу: багша хурула и русский улусный попечитель. И первое, когда прикидывают, и последнее слово — за ними! Не было такого случая, чтобы выборы пошли против их воли и согласия. Так вот. Эти двое — мои люди, — рассуждал Бергяс дальше. — Багша Дунд-хурула — двоюродный брат, а

¹ Род Чоносов — буквально: волчий род.

русский попечитель перебрал от меня — не пересчитаешь.. Что в узел ни завяжи — поволок. А в долг возьмет, считай, пропали деньги. Вчера содрал сто рублей. Да еще врет: жена заболела, в Саратов везти... Как будто это моя обязанность — чужих жен лечить... Чувствует, собака: приближаются выборы... Я и не заикнусь о долге. А терять такое почетное место кому охота? Приходится и самому лишку взыскивать с батраков. Вот и вертишься юлой. Гостю улыбайся, а на своего волком смотри... Как бы ни подсоблял попечитель в день выборов — нельзя скидывать со счетов волю скотоводов. Их много, тысячи... И всегда найдется человек, затаивший обиду. Один слово скажет, другой подхватит, а то и прибавит. Глядишь, целый ком на тебя покатился... Неспроста говорят: «Слово и камень рушит»... Не время сейчас злить людей, будь они и проезжие путники. Ох, Сяххля, Сяххля!.. Тебе бы в старосты, да бог создал бабой!»

Бергяс, уже ополоснувший лицо теплой водой, напялил на себя белую рубашку, а поверх нее — черный шерстяной бешмет. Он подошел к двери и начал обуваться. Начищенные до блеска хромовые сапоги ждали своего хозяина с вечера.

В дверь кибитки тихо постучали. Когда в кибитку заходит калмык, он не спрашивает разрешения. Значит, пришли те парни. Бергяс не отозвался на стук. Быстро вернулся к барану и сел на ширдык, подобрав ноги под себя. Стук повторился. Бергяс неторопливо снял с угла шкафа набитую еще утром обрамленную серебром трубку и с гордым видом, громко причмокивая, затянулся. Этот звук услышали гости и, поняв, что в жилище кто-то есть, вошли.

3

После кибитки Лиджи с шестью терме и убогого джолума Нохашка просторное, на восемь терме, жилье Бергяса показалось Вадиму и Борису хоромами. Посередине кибитки здесь не было очага, где по обыкновению чадит кизяк. По правую руку от входа — деревянная кровать, отгороженная ширмой из цветастого сатина. Налево от входа — уута¹. От постороннего глаза

¹ У у т а — кожаный сыромятный мешок.

все это укрыто дорогим ковром с азиатским узором. В кибитке, тщательно убранной заботливыми руками, были еще два сундука с внутренними замками, отделанные рельефной блестящей жстью. По углам сундуков искусно вырезанные латунные будды, рядом с которыми поставлены зулы — горящие лампадки. В глубине кибитки, за сундуками, отведено место для котла. Через прорезь в деревянной крышке пробивался пар, пахло калмыцким чаем.

Парни поздоровались с хозяином.

— Исдароф! — ответил им Бергяс. Немного погода дал знать рукой, чтобы гости сели на ширдыке перед кроватью.

«В каком настроении мой друг Бергяс и что он хочет сказать, можно скорее понять по его жестам, по игре лица, — толковал им вчера перед отъездом Николай Павлович. — В первое время многое мне было в диковину, после — привык. Сейчас мы обходимся без переводчика. Но вам будет нелегко понять Бергяса».

Парни молча сели на указанное хозяином место. Бергяс прикурил трубку, вытер конец мундштука о подол бешмета и подал сидевшему рядом Борису. Тот, покурив немного, передал трубку Вадиму. Затем Борис показал на свою сумку и что-то хотел сказать Бергясу, но тот поднял руку и жестом остановил гостя.

— Калмык — говорил: гость — ашай! — произнес Бергяс повелительно, при этом показывая рукой на свой рот. — Потом — говорит, эшо говорит, мнуго говорит! Твоя моя понимай? Чичас чай пить надо, чичас ашай надо, понимай? — Бергяс, довольный тем, что может так ловко разговаривать по-русски, улыбнулся, обнажив совсем желтые от табака зубы.

— Поиятио! Ясно! — отозвались гости и по-молодому щедро заулыбались.

В это время вошла Сяхля, она извлекла откуда-то и застелила перед гостями низкий столик. Вскоре на столике оказались три деревянные пналы, сваренное крупными кусками баранье мясо в большой миске. В такой же миске боорцыки¹, масло и калмыцкий чай. Сяхля наполнила чаем пналы. Хозяин первым взял свою пналу, поднес к губам, и гости последовали его примеру.

¹ Боорцыки — тесто, жаренное в масле.

— Молчать нехорошо, угощайте гостей, — скороговоркой заметила мужу Сяхля.

— Кунак, ашай махан¹, ашай боорцыки, — сказал Бергяс и обвел рукой яства.

— Спасибо! — ответил Вадим и оставил свою пиа-лу, взявшись за мясо.

Со вчерашнего утра они почти ничего не ели. Вид горячей пищи был им приятен.

— Мал-мал ашал, дорога большой, муног ашать надо. Курсак пустой пулохо, курсак полна корошо, ашай! — говорил Бергяс гостям, сильно жестикулируя.

— Спасибо! Мы наелись... У нас к вам есть дело.

Бориса так и подмывало заговорить на таком же ломаном языке, — может, так хозяину будет понятнее? Но вспомнил советы отца: не спешить со своим словом, пока хозяин не выговорится.

«Бергяс хитрый человек, — говорил отец. — Он знает, что сам говорит по-русски плохо, трудио подбирая слова, но для того, чтобы собеседник проникся вниманием к нему, Бергяс иногда вставляет такие мудреные словечки, которых нет ни в русском, ни в калмыцком языках. Самое удивительное, — предупреждал отец, — что этот речевой суржик, одобренный мимикой и жестами, отнюдь не лишен смысла. Но если русский человек проявит нетерпение, станет кривлять язык на манер Бергяса, самолюбивый человек этот тут же замкнется, подумает, что его дразнят. Очень спесивый, обидчивый мужик...»

Борис иногда подсмеивался над отцом, не видя смысла в этой странной дружбе между ним и Бергясом.

«Что ты понимаешь в жизни? — хмурился отец. — У старосты полмиллиона десятин земли, тысяча семей под его рукой! Владыка, хозяин огромного поместья! Бергяс умен и вместе с тем невежда, хитер и нанвен, богат и скуп, приветлив и отвратен порой... И все это в одном человеке! Он, как никто, знает обычаи своего маленького народа. Пятнадцать лет я дружу с ним и при каждой встрече нахожу в нем перемены — к худшему, к лучшему. Сознание его не стоит на месте, развивается, обрастает опытом. Чем иметь в лице Бергяса врага, не лучше ли иметь друга? Тем более что многого

¹ Махан — мясо.

он от дружбы этой не просит, а для нас только польза...»

Вадим, присутствовавший при этих беседах, внимательно слушал Жидкова-старшего. Ему давно хотелось вырваться куда-нибудь в нехоженные места, увидеть то, чего совсем не знает. Вадим и раньше интересовался калмыками, читал о них в книгах, но рассказы достаточно образованного и умного Николая Павловича еще больше подталкивали его любознательность.

В последние годы Вадим посещал марксистские кружки в Саратове и много думал о судьбе окранных народов, населяющих огромные просторы России. В тех кружках часто возникали споры о путях решения национального вопроса, если революция совершится... «Вот бы заехать куда-нибудь в татарское или калмыцкое село да поговорить с простыми скотоводами? — думал студент Семиколенов. — Их самих послушать, что они на этот счет думают!..»

«Да, Бергяс, конечно, не тот собеседник», — отметил сейчас про себя Вадим.

Бросая взгляд на Бориса, Вадим с любопытством наблюдал за Бергясом. «По лицу этому надменному калмыку можно дать чуть больше сорока... Говорил, что Лиджн, у которого мы вчера остановились — его младший двоюродный брат по отцу. Но Лиджн на вид куда старше Бергяса», — думал Вадим.

На широком и большом лбу Бергяса ни одной морщинки, черные быстрые глаза из-под густых бровей будто сверлят человека, и кажется, что он нарочно говорит по-русски плохо, чтобы проверить собеседника. Под широким носом черные усы, аккуратно причесаны всякие ниже ушей густые волосы.

— Калмык говорил: ашал карашо, шалтай-балтай можно, куда твоя пошоль, кибитк твой гнде, чнчас можн, говорил можн, — вел застольную беседу Бергяс и острым внимательным взглядом обводил лица парней.

Настало время развязать дорожные котомки.

— Мой отец, Николай Павлович Жидков, передал вам привет и прислал небольшой подарок, — сказал Борис.

Парень развязал кожаную сумку, извлек оттуда литровую бутылку водки, поставил ее перед Бергясом на столыке. Затем достал отрез зеленого цветастого шелка.

— Этот шелк послала моя мать вашей жене в подарок.

Имелась у Бориса еще одна ценная вещица для Бергяса — часы «Павел Буре», в виде луковицы, с серебряной цепочкой. Борис осторожно опустил их на столик, пояснил:

— Это часы... Тоже от отца.

Когда этот незнакомый русский парень начал доставать из сумки такие ценные подарки, Бергяс очень удивился. Насторожили его и слова Бориса, хотя половины он и не разобрал, но то, что подарки прислал ему «отец», понял. «Что за отец? Какой отец?» Когда же перед ним появились часы «Павел Буре» и Бергяс успел присмотреться к глазам и чуть удлинённому носу юноши, его произила догадка: «Неужели часы прислал друг Микола?.. А этот юноша — сын Миколы?»

Лицо старосты, минуто назад приветливое, передернулось, будто в него брызнули кипятком.

«Почему сын друга обошел мое подворье и иочевал на стороне? Любои здесь днем и иочью покажет кибитку старосты. Когда весной пригнали бычков Миколы, а затем пожаловал и сам хозяин, мне поиравились часы Миколы. Он это заметил и сказал, что может подарить и часы, только они сейчас иеисправны — стукиул дорогой о луку седла. Вместо этих, испорченных в дороге, Микола обещал привезти другие, что тикают днем и иочью. И даже с надписью «Моему другу, Бергясу». Выходит, обещание выполнено, часы прибыли скорее самого Миколы? Их привез сын Миколы? Когда только этот постреленок успел вымахать почти в сажень?»

— Ты... ты... сын Миколы Жидко? — волиуюсь, спросил Бергяс у Бориса.

— Да, я — сын Николая Павловича Жидкова, — ответил Борис. Он тоже кое-что понял по игре лица Бергяса, но продолжал опустошать сумку: выложил на стол пятнадцать креиделей и кулек с конфетами. Однако взгляд хозяина кибитки стал непроищаемым. От одной мысли, что редкостные часы с его, Бергясовым, именем иочевали где-то под чужой крышей, где их могли украть, дыхание у старосты сделалось прерывистым от гнева. Он побелел как бумага, уши медленно иаливались кровью.

Вадим тоже заметил эти неясные пока перемены. Од-

нако здешним людям было хорошо известно: когда у Бергяса краснеют уши, наливаются кровью белки глаз, Бергяс звереет, теряет управу над собой и может натворить много бед.

Все произошло в мгновение ока.

Бергяс вскочил и носком сапога опрокинул столик, покатались по полу подарки. Вадим и Борис тоже поднялись на ноги и, увидев горящие злым огнем глаза старосты, переглянувшись, направились к двери.

— Вон из кибитки! Вон! Пока я не поубивал вас! — кричал Бергяс им вслед, обхватив голову руками.

Заглянувшие на шум Сяххля и ее дядя Чотын увидели сновавшего взад-вперед по кибитке Бергяса. Он уже не обращал внимания ни на Чотына, ни на жену. Как дикий скакун в загоне, метался из угла в угол. Сяххля с Чотыном решили не трогать его сейчас. Они молча закрыли двери, обменявшись понимающими взглядами.

Приехавшие парни удалялись в сторону джолума Нохашкиных. Тот, что помоложе, черноволосый, возбужденно говорил и размахивал руками, другой, судя по всему, успокаивал его.

Вдруг дверь кибитки распахнулась, из нее выскочил багроволицый Бергяс. Ничего не говоря, вскочил на оседланного коня, на котором только что приехал Чотын, и пустил коня в галоп по степной дороге.

— О, пусть бог поскорее вернет ему рассудок, — проговорил Чотын.

— Такого идиота ты когда-нибудь еще встречал? — спросил Борис у Вадима в пути. — Это же настоящий зверь! И он вершит судьбы людей!

— У нас один взгляд на окружающую жизнь, а у него совсем иной, — рассуждал Вадим. — В своем хотоне он и бог и судья. Здесь против него никто не пикнет, а пойдет встречу — голова долой. Я, кажется, понял причину его взрыва. Он считает для себя позором то, что сын его русского друга, приехав в его хотон, не заявился сразу к нему, а доверился другому, менее достойному. Здесь своя ревность, правда, необузданная... А что ты от него хочешь? Дипломатии, джентльменству в степи не учат. Все они — дети природы, а природа очень часто неласкова с ними.

— Пошли пешком домой, Вадим! До нас каких-нибудь три десятка верст, — сказал Борис и, остановившись, взглянул на часы. — О... еще рано. Всего десять... Повалеемся в копешке сена на полпути, к ночи будем дома. Хорошо, что плеть этому дураку под руку не попала, говорят, он плетью волка убивает.

— Подожди! Интересно, чем все это кончится. Уж больно любопытная фигура этот Бергяс. Да и с людьми потолковать хочется...

— Уверю тебя, Вадим, ничего интересного.

— А вот Пушкин бывал в этих краях, много интересного для себя отметил и о степняках с любовью писал...

4

Когда подошли к джолуму Нохашков, из него бежала Булгун, услышавшая поблизости русскую речь. Она тронула Вадима за рукав, другой рукой распахнула дверь, сказала, ломая русский язык:

— Басиб, муног, басиб... — А потом уже продолжала по-калмыцки: — Долго живи на свете! — И поклонилась гостям.

Хотя семья Нохашка прожила десять лет в русском хуторе, Булгун не научилась говорить по-русски. «Надо было научиться, хотя бы кусок хлеба попросить», — шутил всегда ее муж, Нохашк. Булгун была и среди своих очень стеснительной, робкой, тем более боялась, что осмеют ее скорые на пересуды насмешливые казаки, если скажет что-то не так. А потому сторонилась излишних встреч, не общалась даже по своим женским заботам. Только однажды Булгун пришлось посетить соседей. Нохашк долго ей втолковывал, что следовало сказать, когда переступишь порог, но все нужные слова растерялись из памяти по дороге. У порога казачьего курения она стояла, беспомощно разводя руками. Гостеприимная старая казачка насильно усадила редкую гостью за стол, накормила борщом и варениками. Хозяйка спросила у Булгун, зачем она пришла. Булгун, конечно, не разобрала слов, но догадавшись, показала рукой на чашку. Чашка была пуста, и это озадачило хозяйку. Та пошла в сени и принесла ведро картошки. Затем — туесок с пшеном. Булгун, болезненно переживая свою беспомощность, отрицательно качала головой, потом

указательным пальцем постучала по столу: тук-тук-тук. Хозяйка принесла из кладовой молоток, которым отбивают косу. Тогда Булгун, собравшись с духом, вытянула шею и пропела по-петушину: «Ку-ка-ре-ку!» Старая казачка — Катря, хлопнув себя по лбу, рассмеялась и тут же принесла большую жестяную посудину яиц. После этого случая зачастила к Булгун соседка. Катря так скоро говорила, что отделить одно слово от другого было невозможно. Зато руки ее были красноречивее слов. Эта бойкая Катря и научила Булгун готовить борщ, лапшу, вареники.

Вадим нагнулся, заглянул в джолум и увидел Нюдлю, которая сидела на постели и старательно одевала куклу в разноцветные лоскутья. Глаза ее повеселели.

— Вы пришли?.. А я сегодня совсем быстрая, только встать не могу. Как поднимусь, в глазах темнеет, голова кружится и вижу перед глазами черные кружочки, — рассказала Нюдля, увидев в дверях Вадима.

— Все идет как нужно! Сегодня лежи и завтра лежи, а потом, если не появятся кружочки, можешь встать и погулять немного, — сказал Вадим.

— Ой, какой вы хороший! — ликовала Нюдля, прижимая к себе куклу.

Пока они разговаривали, Чотын подозвал к себе Булгуна:

— Сейчас придет Сяхля, принесет муки и мяса. Приготовь гостям что-нибудь русское. А мне нужен Церен. Хотелось бы кое о чем расспросить парней.

— Ах, Церен! — сокрушенно сказала мать. — Он пасет телят. Может, Нюдля выручит. Слышали, она ведь тоже что-то там лопочет.

— У меня совсем не женские разговоры, — махнул рукой Чотын. Старик не верил, что такая кроха может помочь объясниться с русскими. А потому решили послать кого-то из мальчишек попасти телят за Церена.

Через некоторое время появился Церен с двумя подростками, такими же замурзанными, как он сам.

— Его зовут Лабсаном. Мы вместе пасем, — представил друга Церен и кивнул на широкоскулого мальчугана, у которого пучки давно не стриженных волос торчали клоками у висков, на лбу и на макушке. Из-за спины Лабсана выступил еще один — худенький, длинношей.

— А этот — Шорва, — продолжал Церен. — Тоже при телятах.

Глаза у Шорвы слезились, веки были припухшие, красные. Мальчик стыдился своей болезни и прятался за спину Церена.

— У него же трахома первой стадии! Почему до сих пор не лечили? Мне совершенно непонятно, почему взрослые спокойно наблюдают, как слепнет еще не живший на свете парнишка? — воскликнул возмущенно Вадим.

— У Шорвы еще терпимо. А вот у отца его глаза совсем слиплись. Говорят, болезнь эта у них передается по наследству. Сегодня утром Шорва еле открыл правый глаз. Мы с Лабсаном настоем табака ему глаза промыли. Только тогда он стал немного видеть, — рассказал Церен.

— Ахинея какая-то! — возмутился Вадим. — Кто это вас надоумил? Вы же без глаз оставите дружка.

В их разговор вмешался Борис.

— Погляжу я на тебя, Вадим, — все-таки ты неисправимый чужак. Чего ты хочешь от этих пастушков? Вот поговорил, поругал, пристыдил — и они все стали враз такими умными! Как бы не так, дорогой Вадим! Разве мы с тобой сможем за один вояж по степи сделать людей зрячими, если они сотни лет живут, как кроты во тьме? Оставь ты, ради бога, этого Шорву в покое. Может, табак — народное средство! Давай-ка займемся действительно полезным делом: найдем лошадей, чтобы выбраться отсюда. Если назвать имя моего отца, то наверняка кто-нибудь даст нам хотя бы одну лошадь.

— Только Чотын может дать. Вы ему понравились. И ему Бергяс ничего не сделает... — деловито кивнул Церен.

6

Когда вчера Вадим и Борис спешили у кибитки Лиджи, свободные от занятий мужчины собрались в другом конце хотона у Чотына и строили всякие догадки о неожиданных гостях. Приблизиться к кибитке Лиджи не позволяла мужская гордость. Сегодня они освоились, стали подходить по одному, по два к джолуму Нохаш-

ка, и уже столпилось десятка полтора любопытных. Содержание разговора приезжих парней насчет трахомы, осмотр больного мальчика заинтересовали степняков. Они и раньше знали, что Церей говорит по-русски, но сегодня сами услышали, как бойко рассуждает их юный однохотонец на ином языке, как ловко у него это получается. Русские парии с ним запросто, как свои.

— Смотрите, мужчины! Когда Церей говорит по-русски, у того светловолосого пария глаза еще больше синеют! — сказал один из чабаинов. Другому вздумалось убедиться, правда ли у русского в глазах синий цвет, и он подошел к Вадиму поближе.

— Бросьте трепаться... Глаза как глаза: были и есть синие. Ничего в них не меняется.

Его тут же осмеяли за излишнее любопытство.

Подошедший Чотыи дал знак рукой Борису и Вадиму, чтобы заходили в джолум, и когда те скрылись за низенькой дверью, принялся стыдить собравшихся зевак.

— Эй, мужчины, расходитесь! Как вам не стыдно! Раскудахтались, как наседки!.. — Выждав, пока толпа поредела, Чотыи сам зашел в джолум.

Старик сел рядом с гостями. Церен занял место у двери. Борис и Вадим, со света, чуть не споткнулись о кучу золы, которая возвышалась у входа.

— Церей, переведи им мои слова, — обратился Чотыи к мальчику. — Пусть не удивляются... Сорок девять дней после похорон зола из гулмуты остается в кибитке. Так велит наш бог. Сорок девять ночей добирается покойник до врат рая. Зола не должна помешать ему на этом пути. Столько же дней и ночей нельзя из дому выносить огонь и пищу. Огонь и пища — основа благополучия в доме. Все это может уйти вслед за умершим.

Вадим и Борис внимательно слушали не только переводчика, но и самого Чотына. Говорил старик мудро и спокойно, с достоинством. В его словах слышалось уважение к тем, кто хочет познать обычаи его народа.

Пришли Булгун и Сяхля. В их руках были вареная бараанина, чай, боорцыки. Поставив ужины для парней у очага, женщины удалились. Вскоре вошла Булгун и что-то шепнула Чотыну. Тот вздрогнул и стал собираться. Его слишком поспешные сборы встревожили Бориса.

— Подождите, — сказал Борис и обратился к Цере-

ну. — Напомни ему, что мы просим у него подводу... Пусть отвезет нас на хутор. Мы хорошо заплатим.

Чотын задержался у порога.

— Яглав... яглав! Если я это сделаю, мне несдобровать! Бергяс пришибет меня. Давайте лучше подождем до утра. Лошади найдутся.

— Ты слышал? — вскрикнул Борис. — Мы же не заложники, чтобы сидеть в хотоне Бергяса и ждать, пока нас выкупят богатые родственники.

— Не спеши с выводами, — успокоил друга Вадим. — Завтра доберемся. Да и с лошадьми какая-то шутка. Может, тот же Бергяс их упрятал, отдаст.

— Был бы жив мой отец, сразу же вас отвез. И совсем-совсем без денег, — привстав с постели, заверила их Нюдля.

Церен строго посмотрел на сестру.

— Нюдля! Этот разговор не для тебя!

— Конечно, не для меня, — вздохнула Нюдля. — Ведь я — девочка. А если бы я была парнем и мне пошел тринадцатый год, я и сама запрягла бы лошадь в двуколку.

— Браво, малышка! — воскликнул повеселевший Вадим.

В это время в джолум вошел улыбающийся Чотын.

— Бергяс возвратился! Совсем другой, будто с похмелья! Просит у вас извинения и приглашает к себе в гости. Говорит: хороший разговор будет!

Это сообщение вызвало у Вадима легкую усмешку. Борис вскричал оскорбленно:

— Видите ли, он просит извинения! Нет и нет! Чтобы терпеть подобное! — Передайте — мы требуем от Бергяса подводу, больше ничего нам не нужно.

Церен перевел все слово в слово.

— Не кричи так громко, Борис, а то Чотын подумает, что он что-то не так сказал и ты сердишься на него. Вот пойдем к Бергясу за подводой, ты и выскажешь ему все, что о нем думаешь. Иначе из-за нас достанется и Чотыну, и Церену. Ты же знаешь: вчера старший сын Бергяса избил Церена лишь за то, что мальчик был нашим толмачом, — уговаривал друга Вадим.

Из джолума вышли вчетвером. Первым в кибитку Бергяса вошел Вадим, за ним — Борис. Церен замыкал шествие.

В середине кибитки на месте очага стоял большой стол, накрытый белой скатертью. Вокруг него — новые венские стулья. На почетном месте восседал улыбающийся Бергяс, одетый в красную с расшитым воротником сорочку, и жестом хлебосольного хозяина показывал, где кому садиться. Церен остался у двери.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Хорошо, когда водка крепкая, а единственный сын удачливый», — Бергяс всегда вспоминал какую-нибудь пословицу, поднимая первую стопку. У его отца, Бакура, было тринадцать детей. Отец дал мальчику такое же имя, как назывался весь их род — Бергяс. Удивляться здесь нечему: все отцы на земле, матери тем более, желают своим детям здоровья, благополучия в семье, преуспеяния в делах. Садясь за стол, калмыки прежде всего приносят дань всевышнему, лишь потом приступают к еде. Когда гость здороваается или прощается с хозяевами, не преминет пожелать здравия детям: «Будь здоров, малыш!.. Долгой жизни тебе!»

В каждой семье появлялось на свет десять и того больше, случалось — восемнадцать детей. Выживут двое-трое, считай, род не только продолжен, но и приумножен. Причину недолгой жизни младенцев знали и сами скотоводы. Вся их сила и жизненный опыт уходили на поиск пастбищ, прокормление скота, борения с голодом. Дети оставались без присмотра. Отец Бергяса, Бакур, в своем аймаке считался крепким, зажиточным хозяином. Ради спасения детей, особенно в угоду самому младшему, он решался подчас на такое, что вызывало удивление других степняков.

Когда-то, еще более ста лет тому назад, на перекрестке четырех степных дорог, решили поставить хурул. Чтобы молиться в нем и поддерживать обряды богослужения, решили со всех Малых Дербет послать к месту хурула от каждого аймака по десять семей. Зайсан Бога-Чоноса безоговорочно послал в новый хотон десять семей, их впоследствии стали называть людьми Му-Чонос аймака Дунд-хурул. Зайсан Ики-Чоноса для под-

держки хурула выделил трех непослушных братьев с семьями. Сыновья Ики-Чоноса в иных делах не праздновали ни бога, ни самого зайсана. Этими братьями были: старший — Узюк-Манин Темир, средний — Узюк-Манин Лалла и младший — Узюк-Манин Геннур. Со своими семьями братья образовали хотон Бергяс-Чонос. Бакур, будущий отец Бергяса, родился от Темира. Он считался в своем хотоне старшим из десятских. Поэтому на свадьбе при свершении обряда жертвоприношения огню или на поминках он садился на почетном месте и произносил первый тост. Отец Бергяса по уму и жизненному опыту считался человеком недалеким. Про таких калмыки говорят: «У него нет рысака, чтобы доскакать до луны, нет ума, чтобы долететь до солнца». Погодка такого рода — не редкость в калмыцком речении. У степняков, привыкших глядеть на небо целыми ночами, немало легенд и сказок, связанных с небесными светилами. В одной из сказок говорится о том, что степные люди доходили до других планет, подружались с Луной, поигрались с Солнцем и вернулись на Землю как ни в чем не бывало.

Так и не достигнув своей луны, Бакур все же прожил семьдесят шесть лет, три раза женился, народил тринадцать детей и самого последнего, оставшегося в живых сына, нарек именем родного племени — Бергяс. Бакур не очень-то баловал наследника с детства. Рано научил сына охотиться, пасти табуны и ночевать с ними в степи. Натаскивал его в выносливости, умении постоять за себя. Бергяс в молодости много раз обижался на отца за эти строгости, в слезах бежал к матери. Позже он все понял и простил отца. Всякий раз вспоминал родителя добром, когда в тяжелых схватках брал верх над сильным противником. Бергясу исполнилось шестнадцать, Бакур решил женить его и просватал дочь одного зайсана из Манычского улуса. Тот зайсан слыл мудрым, удачливым человеком. В семнадцать лет Бергяс был уже главой семьи. Однако семейная жизнь как-то не заладилась у привыкшего к вольнице молодого человека. По-прежнему днями пропадал он среди табунщиков или засиживался за игрой в карты, а то напрашивался поохотиться со старшими. Домой мог заявиться и через неделю. Его жена по имени Отхон была тихой, безропотной женщиной, никогда не задавала юному мужу

лишних вопросов, терпеливо ждала его из отлучек. Один за одним пошли дети — четверо. Но трое из них быстро угасли... Остался в живых лишь четвертый сын. У младенца еще при родах обнаружилось, что правая ножка короче левой... Когда мальчику исполнилось четыре года, он вдруг стал наступать на нее и пошел без опоры... Нога все же не выровнялась с другой, осталась короче на вершок...

Внезапная смерть первых трех детей, хромота выжившего единственного сына не очень обеспокоили отца. Был он молод, мускулы его наливались силой. Бергяс верил в удачу. Однако жизнь исподволь готовит любому из нас неожиданные испытания.

2

Бергяс любил охотиться на волков, по первопутку случилось ему полевать и другую дичь — помельче. Увлекался он гоном на сайгаков, отслеживал лис, бил влет диких уток. Тем не менее это не означало, что так уж он неразборчив и довольствуется той удачей, что бог пошлет. Нет, Бергяс заранее выбирал себе цель: соберется полевать пернатую дичь, — на зайца уже и не глянет, хоть косой сам под ружье прется!

Одно время в степи расплодилось много волков. Осмелевшие звери нападали на пастухов, а если удавалось отбить у испуганного чабана отару, то один такой разбойник успевал порвать горло десяткам двум овец. Еще больше погибало под копытами обезумевшего от страха стада.

На волков охотились самые сильные, самые удалые, безбоязненные люди! Бергяс с подростковых лет заводил дружбу только с такими.

3

...Шел последний осенний месяц. Однажды ночью выпал обильный пушистый снег. С двумя молодыми парнями Бергяс рано утром выехал из дому. Взяли с собой запасных лошадей. Ехали долго. Во второй половине дня охотники оказались на землях аймака Налтанхин. Спустились в глубокую балку, кое-как наскребли на взлобках сухой травы, развели костер и начали жарить

мясо, захваченное из дому. Когда парни уже завершали трапезу, мимо них вдруг пронеслась с опущенным хвостом рыжая лиса. За нею гнались две собаки. Погоня, видимо, продолжалась долго, потому что уставшие гончие, почуяв запах жареного мяса, прекратили погоню и подбежали к костру. Бергяс мигом вскочил на коня и устремился за лисой. Собаки, словно опомнившись, помчались вслед верховому. Спорый в ходу, хорошо отдохнувший гнедой конь Бергяса быстро догнал плутовку. У Бергяса была толстая маля, собранная из гибкой, хлесткой сыромятины. Бергяс ударил лисицу плетью по голове, и она вытянулась. Охотник слез с коня, поднял добычу и привязал к седлу. Выехав из низины, Бергяс увидел пожилого человека, подъезжавшего к костру. Незнакомец тот уверенно сидел на сером в яблоках иноходце, с длинной и гладкой, как у лебедя, шеей.

— Менде¹, парень! — подъехав поближе к Бергясу, поздоровался незнакомец.

— Менде, аава! Я с друзьями грелся у костра — и вдруг мимо нас пламенем прошмыгнула огневка. Показалось, что собаки выбиваются из сил, я и решил догнать ее на коне... Возьмите, это ваша добыча, — сказал Бергяс.

— Дай бог удачи! — ответил привычными словами старый калмык, не торопясь принять из рук Бергяса отгулявшую свое лисицу. — Но огневку сполевал ты, добрый молодец... Ты и хозяин добычи. Собаки мои все равно не настигли бы зверя. Я уже окликал их, чтобы вернулись... Через версту, не больше, здесь начинаются хляби, камыши, а там уже не пройти ни коню, ни собаке. Лисица шла напрямик в заросли.

— Почтениый аава, если бы ваши собаки не напали на след лисицы, зверь не позвал бы их потягаться, кто быстрее бежит. Но дело даже не в том. Мы собирались на охоту за волками. В хотоне нас ждут с иной добычей. Увидят лисицу — засмеют...

— Значит, охотники на волков?! — удивился и обрадовался пожилой калмык, обладатель красивого серого иноходца. — Здесь этого добра хватает. Хоть день и ночь не отходи от стада. — Он слез с коня, присел к огню. В это время Бергяс крепко приторочил куском сыромятины лисицу к седлу иноходца.

¹ Менде в т — здравствуйте; менде — здравствуй.

— Самое горькое для человека — старость, — прикуривая от тлеющей былннки, пожаловался незадачливый охотник. — В ваши годы, ребята, лет тридцать назад, чего только я не выделял на коне! В молодости силы не занимать! Ума, богатства — в обрез! И сам ты мало кому нужен. Теперь же, когда слабеет тело, и ум есть, и богатство пришло... всяк твое имя назовет с почтением, молодая жена в доме. Самое бы время пожить-потешиться. Да немощи вяжут по рукам, по ногам... Тебе сколько лет, парень? Чей ты, из каких краев будешь? Вижу: не здешние вы.

Бергяс охотно ответил на вопрос.

— Да, знал я твоего отца... Толковый был человек... Так, говоришь, тебе тридцать? Возраст для мужчины — лучшего не надо. За тридцать сейчас и бешмет и махлу¹ с себя снять готов!.. И серого скакуна в придачу, — незнакомец озорно кивнул на нноходца, нетерпеливо звеневшего нарядной уздечкой.

Бергяс усомнился в его словах, чем еще больше распалил словоохотливого старика.

— Подари мне кто из вас свою нынешнюю легкость в теле, свежесть лица — беру весь скот взамен, все добро, что имею, что нажил за долгую жизнь. И аймак отписал бы в придачу, — разговорился веселый человек. — А вот жену оставил бы себе... Молодой, здоровый, красивый, ездил бы с ней по степи, спал под открытым небом... И ничего больше не нужно! Слышите, мужчнны! Не проглядите своего счастья, не разменяйте молодость на стадо баранов!

Спутники Бергяса только дивились этнм словам. Кроме Бергяса, не очень дорожившего своей безропотной супругой, все парни были еще неженаты. Их не тревожили мысли о будущем, которое рисовалось бесконечным. Это были парни из состоятельных семей, они знали, что любая девушка пойдет за них замуж. Счастье в женщине? Не рехнулся ли старик?

— Ну, ладно, поговорили, пора знать меру, — запоздало остепенил себя незнакомец, собираясь ехать своей дорогой.

— Как же вас зовут, добрый человек? — спросил Бергяс. Ему не хотелось так просто расставаться с ним.

¹ Махла — головной убор.

Не часто встретишь в степи пожилого мужчину, готового вот так распахнуть душу перед другим.

— Имя мое — Хембя, я — зайсан из Налтанхина, — не без гордости назвал себя тот.

Бергяс внутренне вздрогнул. Слишком громким было имя Хемби среди степняков, о многом оно говорило старому и молодому.

— Сколько вы, ребята, за нынешний год ухлопали серых разбойников? — спросил Хембя, откровенно завидуя.

— В этом году — первый наш выезд. А в прошлую зиму один я зарубил малей восемнадцать. У нас в хотоне есть и не такие добытчики. Поэтому волков поблизости почти не стало. Мы и забрались в ваши владения... Вы уж не обессудьте.

— Только спасибо скажу! — обрадованно воскликнул старик, направляясь к своему коню. — Поубавьте хищников в наших аймаках — отблагодарим щедро. А теперь вот что, парни! День уже на убыль пошел. Молодость молодостью, а побережь себя никогда не лишне... Ночевать умные люди прибывают под крышу. Милости прошу ко мне в аймак.

Планы Бергяса были ными.

— Не знаю, что и сказать... Мы хотели устроить ночную засаду. Захватили приманку.

— Слушай, парень... Ох, что делать с памятью? Я уже забыл твое имя.

— Бергяс.

— Да, Бергяс! Ты же человек из рода Бергяс-Чоноса, но почему имя твое звучит как кличка: Бергяс? — спросил Хембя.

— Прихоть отца, не больше.

— Ясно. Ты нравишься мне, Бергяс! Сегодня вы все переночуете у меня, разбуду на рассвете. Если сам отлежусь после долгой тряски в седле, утром составлю вам компанию. Идет?

«Нужен ты нам, рохля! Только возись с тобой на охоте!» — подумал было Бергяс. Но и отказывать такому почтенному старику не хотелось. Всем известно: Хембя дружит с дербетовским нойоном. В аймаке Хемби полтысячи семей! Коротко посоветовавшись с друзьями, Бергяс согласился завернуть в гости к зайсану.

Солнце садилось. Четверо верховых неторопливо

объезжали небольшой кургаи. За ним показался раскидистый хотон. Вскоре легкий кизячий дым, лай собак встретили их.

Бергяс насчитал более пятидесяти дворов. Посреди хотона возвышался, как островерхая гора, двухэтажный деревянный дом. К нему жалко лепилось десятка два самаиных мазанок, остальные — кибитки.

«У зайсаиа Хемби так много табуиов и другого скота, что недостает места для пастьбы. А деньги он хранит в Царицыне, в баике», — припомнилось кое-что из степных легенд о Хембе.

О роскошном доме зайсаиа Бергяс ничего не слышал. Возможно, он совсем недавно его выстроил. Увидев этот дом, Бергяс еще больше зауважал старика. «Если Хембя дом и все нажитое готов отдать за возвращение молодости, то стоит взглянуть и на его жену, — думал Бергяс. — А чему, собственно, удивляться? За такого богача любая красавица пойдет!»

Они подъехали к высокому крыльцу. Когда слезли с коней, к ним подбежали два ловких пария, взяли коней за повод. Из землянки, стоявшей позади дома, вышла пожилая жеищина с трубкой во рту.

— Остынут кони — дайте корма. А сейчас накройте попоной, — распорядился Хембя и, указав рукой на спутников Бергяса, добавил: — Эти молодцы разместятся после ужина в землянке. А ты, Бергяс, со мной пойдешь в дом... Сяхля дома?

— Я здесь! — послышался чистый, звонкий голос.

— К нам приехали гости, готовь ужин, дорогая! — в тон ей нежно проговорил Хембя.

«Какая молоденькая и послушная дочь у Хемби!» — подумал Бергяс, стараясь разглядеть лицо Сяхли. Но она лишь на миг показалась в проеме дверей.

4

Хембя, а за ним Бергяс поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, прошли через две комнаты — в них горели большие керосиновые лампы. Мужчины оказались в просторной гостиной. Бергясу и раньше приходилось бывать в домах калмыцких зайсанов, а также у богатых русских. Но нигде он не видел такой чистоты, такого блеска, каким отличалось убранство дома Хемби.

В комнатах ничего лишнего, мебель размещена удобно, как бывает лишь в квартирах нойонов или ученых людей.

Бергяса усадили в кресло, обшитое мягкой черной кожей. В такое кресло сел и хозяин.

Когда Хембя снял верхнюю одежду, Бергяс очень удивился. Он никогда не видел раньше, чтобы калмык в солидном возрасте носил русскую одежду. «Такой пожилой, верующий человек носит куций, плотно облегающий тело пиджак... Неужели он не боится греха?»

Старик давно заметил замешательство молодого гостя. Но на этом сюрпризы для Бергяса не закончились. Хембя медленно встал, подошел к красивому дубовому столику, выдвинул ящик. Звонко щелкнул позолоченный портсигар. Зайсан предложил Бергясу папиросу, взяв сначала одну себе.

— Тебя удивляет то, что я балуюсь папиросой, а у костра курил трубку... Не надо удивляться, мой юный друг. Папиросы сделаны из табака, который вырастет на тюркской земле. Запах у папирос, как чувствуешь, приятный, такие курят саиовиные люди. Не хочу я вонючим самосадам осквернять воздух в доме. Я здесь побыл и уехал, а жене целый день дышать.

— Где вы добыли такую прелесть? — спросил Бергяс о папиросах и тут же мысленно отругал себя за чересчур наивный восторг.

— Недавно мы с нойоном Дяявидом ездили в Петербург. Там я запасаюсь пахучим куревом, — ответил хозяин дома.

Слова о поездке в далекую столицу подействовали на молодого гостя еще сильнее, чем приятный запах ароматных папирос. Поехать с нойоном Дяявидом в Петербург — это было для Бергяса все равно что побывать на Луие или на Солице, провести несколько дней в раю. И дело не только в близком общении с нойоном. Ведь князь Дяявид когда-то учился вместе с младшим братом царя, Михаилом, у одних и тех же наставников. Значит, нойону доступны встречи с русскими князьями, а может, и с самим царем? Где нойон, там и Хембя — они тоже друзья!

Потрясенный Бергяс решил больше ни о чем не спрашивать, чтобы не обнаружить свою зависть. «Чем только жизнь не балует избранных! Мне бы хоть кру-

пищу его счастья! — размышлял, сидя в мягком черном кресле, Бергяс. — Старикам оно вроде бы и ни к чему».

Малодербетовский нойон Дявид Тундутов в молодости действительно учился в Московском лицее цесаревича Николая. Курс учебы калмыцкий князь закончил, но в круг придворной знати не вошел.

Два года тому назад Хембя затеял поездку в Петербург, с надеждой повидаться со знатым земляком, но Дявид в то время оказался за границей. Но даже если бы Хембя признался в своей неудаче Бергясу, сама возможность для Хемби вот так просто сесть и поехать в Петербург была поражающей воображение молодого степняка. Бергяс за тридцать прожитых лет только два раза побывал в Царицыне и однажды — в Астрахани.

Пока Бергяс с хозяином дома поговорили о том, о сем, две молоденькие девушки принесли воду в медном чайнике и блестящий таз. Одна держала таз, другая поливала им теплой водой на руки.

«Встречают как багшу хурула», — подумал Бергяс. Едва умылись, тот же мелодичный голос, который слышался с крыльца дома, позвал их ужинать. Бергяс обернулся на этот голос, не мог не обернуться... У него даже пересохло в горле. Перед ним стояла прекраснейшая девушка. Тонкие линии лица, нежный овал щек, прямые, будто соколиные крылья, брови, теплый, лучистый взгляд... Бездна света в глазах, которые не кажутся совсем черными из-за этого волшебного света! Белый шелковый бешмет плотно облегал ее красивую тонкую фигуру... «Но, боже! — думал потрясенный Бергяс. — Откуда у степнячки такое белое лицо? Или уж если бог решил собрать все лучшее воедино, то позаимствовал белизну лица у другого народа?»

Бергяс не встречал ничего подобного. Эту Сяхлю даже сравнить было не с кем. «Неужели в калмыцкой степи есть такие красивые девушки? Век проживешь и во сне не увидишь. Может, старик привез ее из Пятера? Интересно, кем же она доводится зайсану? На самом деле дочь или племянница? У нее две косы, значит, — замужняя... За кем? Почему прислуживает этой старой развалине? Неужто она... — поразила его догадка. — А он-то, он-то на что надеется? В столицу едут ума набираться, да, видно, не всяк. Хембя небось и последний

умишко растерял в долгой дороге. Сколько же ей лет? Семнадцать — восемнадцать, не больше. Ну, старый хрыч, ты все свое состояние — а я молодость свою готов поставить на карту за это сокровище! — пришел вдруг к неожиданному для самого себя выводу Бергяс. — Лишь бы она оказалась женой именно Хемби, а не принадлежала другому, более опасному сопернику! На все решусь!»

Они вышли из гостиной, свернули направо и оказались в небольшой, уютной комнате с цветами на подставочках. Там их ждал ужин: в большой фарфоровой чашке дымилось мясо, источая щекочущий ноздри запах. Каждому рядом с тарелкой были положены вилки и ножи с белыми костяными резными черенками.

Бергяс молчал, опасаясь, что не совладает с собой, не решался снова поднять глаза на Сяххлю.

Затянувшееся молчание нарушил Хембя.

— Сяххля, этот парень родом из рода Чоносов, это в аймаке Дунд-хурул. Зовут его Бергясом. Я хорошо знал его отца, Бакура. Сегодня мы случайно встретились в степи, и я пригласил Бергяса к нам домой. Он охотник на волков, ему рано вставать...

— Я знаю Бергяса! — вспорхнул голосок Сяххли, и сердце у гостя чуть не вырвалось из груди от восторга и тайной надежды. «Откуда она меня знает? Я ее никогда не встречал раньше — уж это точно».

— Я вам говорила как-то: в Дунд-хуруле жила сестра моей матери. Теперь ее нет, умерла. Когда была жива, я совсем маленькой, с мамой, навещала тетю, — объяснила Сяххля.

— Да, да... конечно. Муж твоей тети Хечиев Чотын доводится троюродным дядей Бергясу. Чотын и сейчас там живет. Он не богат, но светлой голове его позавидует и нойон. Никто лучше не знает калмыцких обычаев. Сколько песен помнит и легенд... Мудрый, редкого душевного обаяния человек, — добавил Хембя.

«Вот она кто! Оказывается, племянница покойной жены Чотына. Почему же я раньше ее не встречал?» — думал Бергяс.

— Не помню, когда вы приезжали, — со смущением проговорил он.

— Было кого запоминать — сопливую малышку! — улыбнулась Сяххля. — Вы тогда были уже взрослым

мужчиной, а я кто? Мы и приехали-то случайно, да попали на вашу свадьбу.

— Поговори еще с нами, Сяхля,— попросил Хембя, видя, что гостю по душе эта застольная беседа.— Бергяс вдалеке от дома, ему приятно встретить знакомых. Видишь: наш гость уже заулыбался. А мне вспомнилась и поговорка: «Плачущего — утешь, смеющегося — распроси, отчего ему весело».

Он хитрил — этот самодовольный старец. Бергяс внутренне подобрался, поняв это. Приветливая Сяхля продолжала развлекать гостя воспоминаниями:

— Тетя помогала накрывать на стол... Когда гости разъехались, пришло время распаковать сундук невесты, всем девушкам и молодым жеищииам начали раздавать подарки. Жеищииа, через чьи руки все это шло, дала девушкам по платку, а мне достался красивый лоскут на платье для куклы и длинная коифета в цветастой обертке. Было мне пять лет тогда. Тетя очень любила меня и рассердилась, увидев, что меня обделили подарками.

«Значит, тогда ей было пять лет. Да прошло с тех пор тринадцать», — подсчитывал Бергяс. Но счет этот его не обрадовал.

— После смерти маминой сестры я уже не бывала в вашей стороне. А как здоровье мужа ее — Чотына? — ласково спросила Сяхля.

— Держится старик!.. Смерть жены, правда, сильно омрачила его. Не так уж весел, каким все его знали в прежние годы. Виски совсем стали белыми.

Бергяс наконец осмелился посмотреть на юную собеседницу. Он был готов глядеть на нее неотрывно час и другой и, может быть, всю жизнь. Но он чувствовал, что сидящий рядом старик видит, как потрясла его красота Сяхли, и наслаждался волнением молодого здорового мужчины.

— Выходит, вы тоже друг другу не чужие. Встретятся вот так два калмыка, и выяснится вдруг, что они давно родня, — заметил Хембя. — Давайте выпьем по рюмочке водки ради такого открытия.

Он наполнил серебряные рюмки из бортхи. Бергяс взял рюмку, правым указательным пальцем брызнул каплей водки в сторону и поставил рюмку на стол. Потом принялся за мясо.

Пока гость ел, Хембя рассказывал Сяххле и Бергясу о том, как он охотится на лис. Похвалил Бергяса за его храбрость, смекалку и выдержку.

— На каких зверей, кроме волков, ты охотишься? — спросил Хембя у гостя.

— Осенью — на сайгаков, весной — на уток, гусей и лебедей. По правде сказать, в лебедей я палил только дважды. Лебедь — красивая птица, не для еды. Да и все меньше их становится.

— Верно, сынок! — похвалил Бергяса зайсан. — Незачем поднимать руку на красоту! Ты знаешь, что за птица лебедь? — оживился Хембя. — У нас в Налтанхине есть один хотон. Старики утверждают, что у людей этого хотона предками были не люди, какими их бог создал, а птицы-лебеди. Для них лебедь даже вроде бы и не птица вовсе. Кто убил лебедя, тот им уже кровный враг. Есть одна легенда про лебедя, вышедшая из того хотона...

5

Хембя оказался неплохим рассказчиком.

— В тридцати верстах отсюда есть местность — Лебязье озеро, — начал он, неторопливо, чуть нараспев. — В то далекое время юноша-сирота Наран пас у озера табун богатого человека. Однажды Наран сидел на берегу и мастерил дудочку из тростника. А сам посматривал то на жеребят, то на озеро.

Вдруг на зеркальную гладь опустилась пара лебедей. Наран не придавал этому особого значения: на озере гнездились и утки, и гуси, и лебеди, и чайки. Когда птицы подплыли поближе, табунщик поразился их необычной красоте. «До чего мудра природа, на что только не горазда! Даже среди птиц есть на удивление красивые», — думал паренек, наблюдая за лебедями. Потом он приметил, что одна птица вроде бы приваливается набок, а вторая, покрупнее, вытягивает свою длинную гибкую шею и поддерживает ее. «Что это они? Неужели так забавляются?» — подумал Наран. Стал наблюдать дальше и разглядел: под крылом меньшего лебедя что-то темнело... «Может, лебедя ранили стрелой из лука?» — пришло ему в голову. Не раздумывая, он разделся и прыгнул в воду. Увидев, что человек приближается,

здоровый лебедь взмыл в высоту, а второй остался, принялся хлопать крылом по воде, все больше заваливаясь.

Стрела пришлась птице в бок. Но как ни слаб был лебедь, он не хотел поддаваться человеку, отбивался здоровым крылом, разил клювом, жалобно вскрикивал. Однако Наран все-таки пригнал его к берегу. Стараясь не причинить птице боли, он осторожно извлек стрелу. Из раны хлынула кровь. Тогда он отрезал кусок войлока из-под седла, сжег и присыпал теплым пеплом рану, оторвал от сорочки лоскут, перевязал крыло. Потерявший много крови лебедь долго лежал на земле, тяжело и часто дыша. А другой лебедь до самого захода солнца летал над озером, жалобно крича.

Наутро парень перенес ослабевшую птицу к себе в джолум. Десять дней возился он с капризной пленницей, не желавшей к тому же брать пищи. И все это время другой лебедь летал над джолумом. Только на одиннадцатый день не прилетел.

Наран вставал с зарей, оставлял еду около своей пленницы, закрывал харачу¹ и дверь джолума, а сам уходил к табуну, возвращаясь совсем поздно. Через пятнадцать дней он снял повязку и увидел, что рана затянулась. Над грубым рваным швом появился нежный пушок...

От радости парень закричал, начал петь и пританцовывать.

— Эх, Цагада, Цагада! — так называл он ласково птицу. — Если бы ты знала, что я сейчас думаю и что хотел бы сказать тебе!.. Поздравляю, подружка! Ты, конечно, тоже рада выздоровлению. Но улетишь и ничего не скажешь на прощанье. И все-таки я рад за тебя! Летни скорее, отыщи средн пернатого царства своих отца и мать, братьев и сестер, все они заждались тебя, а может, уже и не чают увидеть живой!.. Эх, если бы поймать того негодяя, который пустил в тебя стрелу! Я, конечно, не стал бы убивать его, но проучил бы порядком. Пора знать незадачливому стрелку: все сущее на земле жить хочет, радоваться солнцу. Бед и забот и без вражды всем вдосталь. Летни, Цагада, ищи свою пару. А мне пока пары не находится, да и найдется ли когда — не знаю.

¹ Х а р а ч а — отверстие в верхней части кибитки.

Ты улетишь — и снова останусь один. А славно мы разговаривали с тобой по вечерам, когда я возвращался домой усталый, чтобы покормить и поврачевать тебя. Ты-то, конечно, молчала, но мне все равно было хорошо с тобой — живая душа. Лети, моя крылатая подружка, на волю! Лети, когда вздумаешь! Дверь не заперта...

И он ушел к своему табуну.

Поздно, когда уже совсем закатилось, парень стремительно коня, медленно побрел в джолум. Вошел и увидел вдруг красивую девушку, лежащую под белым шелковым одеялом.

— Здравствуй, мой дорогой! — сказала она приветливо. — Не бойся, подойди ближе. Я твоя Цагада... Ты вылечил мою рану, я могла улечь, но не посмела оставить тебя одного. За эти пятнадцать дней я хорошо поняла твою душу, познала твою печаль. Каждый вечер ты говорил со мною, будто с сестрой своей, обо всем, о чем думаешь: поведал свои тайны и надежды. Ты тоже ранен злой судьбой, ранен в самое сердце. Я хочу помочь тебе исцелиться радостью нашей дружбы, лаской и преданностью, на какую только способна любящая подруга...

— Что за наваждение! — воскликнул Наран. — Сон это, или судьба снова затеяла со мной какую-то злую шутку? Разве может такая красавица жить с бедным табунщиком в этом черном джолуме?

— Я — твоя Цагада. Я не сон и не наваждение, а такой же человек, как и ты. Да, я была птицей. А еще раньше — была человеком, любимой и беззаботной дочерью своих родителей. Но вот на нашу страну напали враги, они победили войско моего отца и окружили последнюю крепость. Отец мой со своими приближенными выкопал яму глубиной в семь аршин. Туда спрятали золото и драгоценную утварь, посадили нас с сестрой в яму закрыли.

Отец оставил нам еды и питья на много дней и сказал: «Не выходите, пока я не приду за вами...» Мы с сестрой сидели долго, потеряли счет дням. Еда кончилась. Чувствуя слабость и приближение смерти, мы решили подняться наверх. То, что мы увидели, было страшнее смерти. Вся земля вокруг была покрыта телами мертвых людей.

Мы заплакали с сестрой и стали просить бога, чтобы

превратил он нас в птиц и перенес на крыльях в другую землю, подальше от этого ужаса.

И тогда прилетел черный ворон и начал хлопать своими черными крыльями, будто предлагая их нам. «Нет! — вскричали мы. — Не хотим превратиться в черного ворона!» Пролетели журавли: «Кыр, кыр, курлы!» Нам показалось, что журавли радуются мертвецам. «Не хотим быть и журавлями!» — просили мы. Устав от рыданий, мы упали на землю. И в это время возле нас сели два лебедя, принесли нам в клювах еду. Мы наелись. Лебеди укрыли нас крыльями, и нам стало тепло-тепло... Мы уснули. Первой проснулась я, посмотрела вокруг, а сестры нет, лежит рядом лебедь. Я вскрикнула от испуга. А крик был лебединый. Да, ночью мы превратились в лебедей. И не знали — радоваться нам или горевать. «Мы же сами просили превратить нас в птиц, чего же нам теперь бояться?» Подумали так — и нам стало легче, будто с души спал тяжелый груз. Мы расправили крылья и вдруг почувствовали, что оторвались от земли. Какая-то неведомая сила поднимала нас все выше и выше... А потом посмотрели вниз и увидели степь.

Два года, прибившись к стае, мы летали над степью. На третий год мне нестерпимо захотелось к людям. И мы с сестрой покинули стаю. Недалеко отсюда есть озеро, заросшее густыми камышами. Там мы и поселились, там и подстрелил меня притаившийся охотник. Пока еще были силы, мы улетели оттуда и сели на твое озеро. Это было мое счастье — ты спас меня. Пятнадцать дней я прожила рядом с тобой, увидела всю твою жизнь, поняла твое сердце. Недавно, когда ты делал лодку, нечаянно ударил молотком по пальцу, долго дул на палец, и мне было больно. Я видела, как ты радовался, когда лодка была готова. И я тоже радовалась. Ты спросишь: могла ли птица все это подмечать, сочувствовать и переживать за тебя?

Хотя у меня и были крылья, навечно я не смогла бы остаться в небе. Человеку нужна земля и все земное. Он должен думать, работать, помогать другим! Если бы меня не подстрелили, я все равно умерла бы от тоски по людям.

— Но почему же ты так долго не превращалась в человека?

— Потому что никого не любила.

— Но почему твоя сестра покинула тебя? Разве она не вернется к людям?

— Нет, теперь не вернется,— сказала Цагада, и лицо ее омрачилось.

— Что мешает ей?

— Сестра породнилась с лебедем. У нее появилось крылатое потомство. Ее теперь не разлучить с детьми.

— Почему же ты не захотела иметь детей — чистых, белых, прекрасных?.. Наши земные дети чумазы, голодны и нередко несчастны, как я...

— Потому что полюбила тебя! И хочу быть вместе с тобой несчастливой и счастливой. Хочу жить в таком вот джолуме, быть всегда с тобой.

Табунщик все еще не верил тому, что видел и слышал.

— Неужели это все правда? — проговорил он. — Может, всего лишь сон? Если сон, то я не хотел бы просыпаться скоро... Могу ли я тебя обнять, Цагада?

— Конечно! Я теперь твоя, навсегда... Сбрасывай же свою пастушью одежду! Умойся! Будем ужинать, дорогой...

Девушка сняла с треногн закопченный котел и поставила перед Нараном.

Так они стали жить вместе.

А каждый год раиней весной к их озеру прилетали белые большие птицы. В первый год их было только четыре. А потом становилось все больше. Прилетали огромной стаей, озеро оглашалось трубными переливами их песни, и потому люди прозвали это озеро Лебяжьим. Ни у кого в округе не могла подняться рука на лебедей, и лебеди перестали бояться человека.

Семья табуищика Нарана тоже с каждым годом прибавлялась. Родилось пятнадцать сыновей-богатырей... У человека и пальцы на руке не одинаковы. Разными удались и сыновья. Один брал своим отменным здоровьем, другой — умом, третий — усидчивостью и прилежанием... Были и такие, что не радовали родителей: леились, вели себя дурно на людях.

Самого младшего звали Арвас. Он был крепок, но бестолков. Все его братья выросли, обзавелись семьями, образовали целый хотон. Арвас все еще обретался под родительским кровом.

Хотон у озера пополиялся новыми кибитками, тучис-

ли стада, справлялись новые свадьбы. Люди жили в достатке. И вот однажды, в год змеи, на степь пала засуха, подул обжигающий ветер. От бескормицы погибли целые стада. Люди отыскивали корни камышей, толкли в пищу травы, пробавлялись чем придется и еле дотянули до весны. Подтаял на озере лед. Братья приноровились ловить рыбу. Как-то самый старший из них позвал младшего на озеро поднять сеть. Но сеть пропала, а с ней и рыба. Что делать? Хотел остался без еды по злой воле заезжего вора. В то утро на озеро прилетела первая пара лебедей. Увидев их, Арвас снял с плеча лук. Глаза его загорелись охотничьим азартом.

— Что ты надумал, Арвас? Разве забыл слова матери? Это же наши братья! — сказал старший брат и попытался отвести стрелу.

— Теряющий рассудок старый человек может сказать что угодно. Если эти птицы настоящие наши братья, то почему они совсем не похожи на нас?

Арвас оттолкнул брата. Тот упал и уже лежа успел бросить горсть камешков в лебедей, чтобы те побыстрее улетели. Но доверчивые птицы думали, что с ними играют, и с веселыми кликами бросились к всплескам воды. В это время Арвас и спустил тетиву. Стрела с острым железным наконечником вошла в глаз и произила голову лебедя.

Арвас принес добычу и гордо бросил к ногам сидевшей матери. Та, увидев убитого лебедя, схватила за сердце и упала без чувств.

— Почему ты поднял руку на братьев? — придя в себя, еле слышно спросила она.

— Что же нам — с голоду умирать? Красивые сказки о братьях-лебедях приятнее слушать на сытый желудок!

Старуха вздрогнула, приподнялась, опершись на локоть, но голова ее стала клониться к земле.

— Эх, Арвас, Арвас. Ты пришел в этот мир, чтобы убивать все, что непохоже на тебя? А если завтра к тебе придет человек и будет на тебя непохож, ты тоже поднимешь руку? — еле различили ее последние слова.

...С тех пор никто в нашем краю не поднимает руку на лебедей, — закончил Хембя сказку.

— Да, слабоумный Арвас убил не только лебедя, но и самое святое среди сущего — родную мать, — произнес Бергяс, чтобы своей рассудительностью понравиться супруге зайсана. Бергяс сам стрелял лебедей, и сказка о волшебной птице не тронула его.

Утомленный рассказом, Хембя минуту и другую молчал. Он приблизил к себе пиалу, наполненную шулюном¹, и, отхлебнув густого варева, заметил:

— Такие жестокие люди, как Арвас, конечно, опасны. Сдуру, как с дубу, и желудь по темени щелкнет — больно. А все же куда опаснее, когда зверь сидит в человеке умном. Слабоумному не достичь того, на что способен мыслящий изувер. Тот придумает, что захочет, и еще хуже того — что ему другие деспоты закажут.

Хембя посмаковал лепешку, обмакнутую в шулюн, обратился прямо к гостю, хитро прищурившись:

— Да... Бог создал на земле людей, животных, зверей, птиц. Но сотворив все блага земные, он даровал жизнь не только красивым и умным, способным выстоять в борьбе за себя и за свой род. Красота и сила тоже не вечны. Если жить на свете только молодым и красивым, как те лебеди, то старикам, выходит, на земле и места нет? Не так ли, Бергяс? — он вежливо улыбнулся. — Жить только таким, как Сяхля?! Но ведь красота так притягательна и так опасна... Того и гляди, какой-нибудь ловкач загонит стрелу в бок!

— Я согласен с вами, аава. Но вы так говорите, будто я вам противоречу, — ответил Бергяс, пряча глаза. Сердце его так билось, будто хотело выпрыгнуть.

Говорил Бергяс одно, а хотелось ему выкрикнуть совсем иное: «Ты меня, зайсан, вынудил оправдываться и краснеть при Сяхле. Так негоже, старина! Сяхля, как заноза, вошла в мое сердце, и ничем ее оттуда не вытащишь... А ты... ты мне еще попадешься где-нибудь на узкой тропе, старый шельмец!»

6

Как условились, Бергяс встал рано, вышел на улицу. Два его спутника уже ждали у лошадей. Из землянки выглянула заспанная женщина.

¹ Шулюн — мясной бульон.

— Тетя, а Сяхля еще не встала? — спросил Бергяс, вздрагивая от утренней прохлады.

— А зачем она тебе? — недовольным голосом буркнула служанка.

— Прощаться хочу.

— Прощайся с хозяином дома! — напомнила женщина, не двигаясь с места. — Зайсан с женою еще в постели.

— Ну, ладно! — вроде бы согласился Бергяс. — Будить добрых людей на заре, когда сон так крепок, неудобно. Может, вы им передадите наше спасибо за ночлег... Да вот и сами царицынским табачком угоститесь.

Бергяс протянул ей кисет.

Женщина подошла к Бергясу. Взгляд ее стал мягче.

— Не развязывайте! — остановил Бергяс. — Берите весь кисет... Вот еще пачка табачных листьев.

— Что вы? Мне стыдно брать все. В дороге вам самим курево понадобится, — отмахнулась служанка, впрочем пригребая к груди и кисет и пачку высушенных листьев.

— Берите, берите! У меня есть, смотрите: выюки у седла.

Женщина совсем подобрела и уже тихо смеялась, обнажив пожелтевшие редкие зубы.

— А что, зайсан и его молодая жена действительно спят вместе? — спросил Бергяс женщину, когда та набрала подарков в обе руки.

— То-то и оно, — сверкнув глазами, заговорила служанка. — Уж нам-то об этом все известно: спать ложатся в одну постель!

— Как же это случилось?

— А вот как. С первой женой Хембля прожил тридцать восемь лет, а детей им бог не дал. Поэтому зайсанша, первая жена, сама разрешила ему взять жену помоложе. Сяхле было шестнадцать, когда ее привезли сюда. С тех пор прошло два года, но бог и через эту не посылает Хембе наследника.

— Где же теперь первая жена? — поинтересовался Бергяс.

— Живет в другом доме... Она приходит, следит за порядком, хозяйство по-прежнему в ее руках.

— Сяхля счастлива?

— Об этом, молодой человек, лучше спросить бы у нее самой.

Бергяс пружинисто бросил себя в седло да так резко, что конь вздрогнул, просел и прыжком рванулся с места. Если раньше Бергяс лишь удивлялся, теперь все в нем кипело от негодования.

«Вы только посмотрите, как ловко пристроился возле молоденькой жены этот старый прелюбодей! Ему нужна красавица! Да это так же смешно, как если бы в новом доме оставили старую печь! Сколько ни топн ее, не обогреет новых углов. Рухнет этот дом рано или поздно, отсыреет и развалится! Облезлая собака, он еще пытался поучать меня!.. Нельзя нарушать закон природы! Руби дерево по себе! Сяхля должна стать моей женой. Я не допущу, чтобы такой цветок завял возле старого пня! Драгоценному камню нужна достойная оправа!»

2.

Хлеб-соль Хемби и его доверительная беседа с молодыми людьми, годящимися ему в сыновья, не породила в темной душе Бергяса даже малой вспышки ответных добрых чувств. Бергяс затаил злобу на Хембю. «Радн своей похоти,— рассуждал Бергяс,— Хембю загубил жизнь молоденькой девушки. Сяхля по годам годилась бы не в дочери ему, а во внучки!» Думая так, Бергяс мысленно обзывал зайсана старым лисом, обезьяной, жадным псом и всякими иными обидными словами, которые приходили в голову.

Отец обучал Бергяса искусству охоты с десяти лет. Вначале вместе с юным Бергясом в степь выезжали старшие двоюродные братья или же двадцатилетние сыновья бедняков. Лет до четырнадцати пареньку не везло. Зверье будто обходило его стороною. Тогда спутники гнали сайгаков или зайцев на Бергяса, чтобы тот мог стрелять наверняка. Но, случалось, он промазывал и с двух шагов. Тогда зверя брал на мушку кто-либо из взрослых охотников. Однако все должны были говорить, что убил именно Бергяс. С пятнадцати лет Бергяс начал выезжать в степь без сопровождающих и редко возвращался без добычи.

Сегодня ему было не до волков. Уже десять верст

отмахали охотники от аймака Хемби, а в дороге не было произнесено ни слова, будто дали обет молчания. Спутники Бергяса знали, когда их господа не в духе, и не смели тревожить пустыми разговорами в такие минуты. А думал Бергяс о многом.

— С охотой, видно, придется подождать, — наконец объявил Бергяс свое решение. — Едем домой.

Охотники молча восприняли и это решение старшего. Хотя у Бергяса нет такого богатства, какое парни увидели в аймаке Хемби, но не им подсчитывать то, что в чужом кармане. В своем маленьком хотоне Бергяс — хозяин, его слово там — закон.

Впервые Бергяс приехал с охоты с пустыми руками. В семье, а также во всем хотоне очень удивились такой неудаче. Будто скрываясь от позора, Бергяс тогда впервые умчался на скакуне куда глаза глядят. Метался по степи из края в край, без еды и сна, не помня, куда и зачем едет. Возвратился он на третий день и приказал собрать всех почетных стариков хотона и своих родственников на совет. Люди сходились на зов старосты в недоумении. По рассказам парней, охотившихся вместе с Бергясом, выходило, что повстречался им какой-то белоголовый старик, поговорил с ними у костра, затем увел на ночлег. Не хозяин ли степи завлек парней? Если так, то быть худым переменам... Тут уж действительно есть, о чем подумать на сходке старейшин. Нашлись такие, что послали гонца в Дунд-хурул за зурхачом¹.

Вместе с зурхачом приехал двоюродный брат Бергяса, Богла-багша, родной брат хвастливого Лиджи.

Узнав, что с Бергясом произошло что-то неладное, люди рода Чонос заволиновались. Не ровен час — отстранят Бергяса от должности старосты!.. Кто же придет на смену? Хотон их самый дальний в степи, староста был одновременно опорой хотону и хранителем всего рода.

Каждые два-три года навещает здешние места ураган. Выпадают обильные дожди летом, зимой — ни пройти, ни проехать от заметов, обнаженные участки земли покрываются толстой коркой льда. Человек становится таким же беспомощным при гололеде, как новорожденный теленок. Если такое бедствие на день-два, люди

¹ З у р х а ч — звездочет.

и животные отделаются легким испугом. Не размякнет ледяная корка с неделю — начинается зуд, гибнут стада, без скотины остаются целые хотоны. Иногда один аймак поделится уцелевшим стадом с другим аймаком. Но случается это лишь тогда, если староста человек уважаемый, заботящийся о сохранении рода.

Маленькому хотону, прилепившемуся на кусочке земли в стороне от проезжей дороги, страшны даже отдельные недобрые люди. Приезжают ночью и отбивают часть стада. Где будешь искать угнанный скот, кому пожалуешься? Если в хотоне есть свой вожак, сильный, со связями человек — это уже защита от беды, от случая. Ни один чужак не позарится на добро такого хотона: рано или поздно его отыщут и отрубят жадные руки по локоть. Не зря в джолумах прижилась поговорка: «Хорошая дочь — опора хотона, хороший сын — защита аймака». Такой опорой и надеждой рода Чоносов был Бергяс. Его знали и в Сарпинской степи, и на Маныче, и в торгутских аймаках. Не о каждом хотонском старосте по степи будет гулять молва:

На всех зверей и на волков
ездил Бергяс.
Что попадалось ему, кроме камня,
ел Бергяс.
И десяти нападавших
не боится Бергяс.
Что схватит рукой,
не отпустит Бергяс.

Быть может, в шутку сочинил эти строки подвыпивший на именинах Бергяса молодой гелюнг, но прижилась песенка, гуляет по степи. Поют ее те, кто знает старосту Чоносов и кто в глаза его не видывал. Вот почему с утра собрались к его кибитке седые старики, и служители хурула, и скотоводы хотона, чтобы спасти от болезни Бергяса, опору и надежду многих, поверивших в его особое призвание.

Но услышав шум собравшихся людей, Бергяс оседлал коня и опять уехал в степь. И снова никому ничего не сказал. Старики решили узнать, куда все же направил коня староста, и послали вслед за ним всадника. Бергяс увидел непрошеного гонца, крепко отругал его и отослал прочь. Уже не два, а три дня и больше никто не видел Бергяса. Наконец беглый староста прибился

к хотону зайсана Хемби. То был странный приезд: Бергяс доставил зайсану двух волков: одного приторочив к седлу коня, другого... привел живьем на аркаие. Живому зверю он всунул в пасть рукоятку плети, концом плети обмотал морду.

Зайсан Хембя уважал умных, храбрых людей. Да и сам в молодости не был трусливым. Поэтому два волка, подаренные Бергясом, привели его в восторг. Больше суток пировал Бергяс в хоромах зайсана. И все это время ему прислуживала красавица Сяххля.

Пока Бергяс в одиночку гонялся по степи за волками, он непрестанно думал о юной жене зайсана. Планы похищения Сяххли, один другого отчаяннее, возникали в горячечном его воображении. Но все они в конце концов им же самым отвергались. Приходило на ум и такое: оставить свой хотон, сложить с себя обязанности старосты и поселиться у зайсана Хемби, наняться в батраки. Лишь бы видеть ежедневно Сяххлю, слышать ее голос...

На третий день гостевания Бергяса старый хозяин аймака предложил гостю поохотиться на лис. Бергяс, который засобиравшись было домой, неожиданно согласился сопровождать зайсана в степь.

Выехать решили пораньше, когда плутовки выбираются из своего логова в поисках добычи. В это время в степи пробуждается все живое: вылезают из нор суслики, слетают с гнезд птицы, оставляя беззащитных птенцов. Всякий степняк знает: лисы мышекуют на заре, пока степь обволакивает туманец и дремлют у гнезд орлы.

Охотникам сопутствовала удача: загиали в тот день трех крупных, с рыжей подпалиной, самцов. Зайсан радовался, как мальчишка. Он просил гостя остаться еще на день. Бергяс и сам бы рад, но что-то беспокоило его. И не случайно. Всю ночь он плохо спал. Пробудился рано. Оделся, захотелось взглянуть на коня. Вчера гнедой, увлекшись бегом, угодил левой передней ногой в сурочью яму...

Стыдными теперь показались даже воспоминания о бегстве из родного хотона, на глазах у стариков. Бергяс впервые за эти дни отчетливо понял, что поступил недостойно. Ведь он сам созвал людей на совет и в то же утро уехал из дома, не сказав никому ни слова. Про-

шло целых три дня, наступил четвертый. Люди считают, что он нездоров, и волнуются. «Если заглянуть в мою душу,— думал Бергяс,— то что там творится, иначе, чем болезнью, не назовешь. И причина этой болезни здесь, в доме зайсана... Вернуться без Сяхли — значило бы загонять болезнь еще глубже».

И подумал в те минуты Бергяс: а стоит ли жить без Сяхли дальше? И вдруг он услышал голос Чотына. Дядя Сяхли приехал по каким-то делам к зайсану, к племяннице — а может, в поисках его, Бергяса. Прогнать Чотына ни с чем, как он сделал с тем парнем, выехавшим ему вдогонку в день бегства из хотона?.. Это не выход из положения. Пора, видно, ехать обратно, поправлять отношения со стариками. Но как уезжать, не побыв ни разу с Сяхлей с глазу на глаз? «Этот старый проныра, зайсан, все видит, все понимает и наслаждается моими муками. Ни разу не оставил нас наедине. Эх, если бы как-то отозвать Сяхлю», — думал Бергяс, прислушиваясь к разговору в прихожей.

В тот же день Бергяс выехал с Чотыном домой. Трудным было у них объяснение, хотя все понял и не стал ругать его за бесшабашность Чотын. Сошлись на том, что нет у мужчины защиты против дьявольских чар красоты женской. Нет и, наверное, не будет. Но есть у мужчины другие, не менее важные заботы. Обязанности есть, тем более у человека, поставленного повелевать другими... А любовь — что ж, если проявить терпение, взвесить обстоятельства, продумать все до мелочей... может, и Сяхля не такая уж недостижимая.

Повеселевшим возвращался в свой хотон Бергяс. Почти на целый год забыл он дорогу в аймак Хемби. Вот что значит мудрое слово Чотына! Но не только слово! Не прошло и месяца, как в Бергясов хотон, в гости к родственникам, приехала Сяхля. Слух о том, что из далекого аймака пожаловала жена самого зайсана, тут же разлетелся по кибиткам. В честь знатной гостьи Бергяс устроил гулянье. Почти неделю звучали музыка и песни на улице. Еще дважды посетила хотон Чоносов Сяхля. Конечно, посещение отдаленного хотона знатной зайсаншей можно было объяснить лишь привязанностью племянницы к своей тетушке, ничем иным. Однако эти визиты Сяхли на землю своих предков и предков Бергяса преображали старосту. Он становился другим

человеком: улыбчивым, добрым, щедрым для людей. И готов был верить — окончательный переезд Сяхли в хотои — дело возможное.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

И на этот раз, как ни была уязвлена гордость непочтением к нему сына друга его Миколы Жидко, Бергяс справился с накатившим на него бешенством. Улыбаясь и щуря лукаво глаза, он рассаживал гостей за стол. Хотел было усадить старика Чотыиа справа от себя, а гостей — слева. Но старик заупрямился, сел поодаль от Бергяса. Староста поморщился, но смирился, ничего не сказал почтениому одиохотонцу.

...Домашний очаг! У калмыков нет ничего священнее огня, разведенияго в гулмуте! Когда сварят мясо, первый кусок предают огню, второй — отдают богу. Садятся пить араку, первую каплю брызнут на огонь, вторую — в передний угол.

Рождается новый человек или кто-либо отойдет из семьи — совершают обряд гал тьялги — жертвоприношение огню. Наступило время для кочевья — подумай о том, чтобы задобрить огонь, чтобы он весело пылал и на новом месте. Ведь все плохое, недостойное, мешающее жить — очищается огнем. Поэтому как бы ярко ни разгоралось пламя при совершении обряда, его не тушили водой. Плеснуть водой на огонь — большой грех! Случись пожар — пусть злая стихия пожирает кибитку, гибнет все нажитое — не смей хвататься за ведро, бежать к колодцу! Туши чаем, заливай тлеющую кошму молоком...

Не только простой смертный, но и священнослужители, вплоть до ламы, не смели сесть на том месте в кибитке, которое предназначено для очага. Вот почему старик Чотыи не сел справа от Бергяса. Открыто показывая свое неодобрение, отодвинулся от хозяина. «Еще чего не хватало, чтобы на месте очага ставили стол и сажали людей», — бормотал он себе под нос, но так, чтобы хозяин его услышал.

Года три тому назад в кибитке Бергяса происходило

то же самое. Приехал из Астрахани русский чиновник, захватив по дороге малодербетовского попечителя. Бергяс все перевернул в кибитке, угождая важным гостям. Вот тогда, еще три года тому назад, Чотын вместе с багшой Дунд-хурула стыдили и пугали Бергяса, уговаривали, чтобы не передвигал стол на недозволенное место. Не согласился упрямец. Лишь когда рассерженный багша удалился, Бергяс, чтобы смыть свой грех и не рассердить бога, совершил обряд ублажения стихии. Тот случай стал забываться, но однажды конь Бергяса ни с чего вроде сломал ногу на ровной тропе и чуть не придавил седока. Напрасно Бергяс искал какую-нибудь рытвину или камень, обо что мог бы споткнуться конь. Только тогда вспомнил предупреждения багши и увещевания Чотына. С год он жил тихо, по утрам и вечерам ставил зулы, молился богу, просил прощения. А потом все забыл.

Первую рюмку Бергяс выпил залпом, не сказав ни слова, взял из миски кусок мяса и принялся жевать, исподволь наблюдая за гостями.

Вадим и Борис лишь пригубили рюмки. Старик Чотын отпил большой глоток, извлек из кармана нож и начал крошить себе мясо.

— Мы недавно поели у Церена,— объяснил Вадим отсутствие аппетита.— Просим не обижаться на нас... Попозже наверстаем.

— Если гость не греет руки над очагом, равнодушен к угощениям, заставляет хозяина переживать по этому поводу — он не гость и не друг,— заметил Бергяс.— Это не мои слова, так говорят степные люди. Я хотел сказать о другом... Мне жаль, что так нескладно все вышло. Вы, может, правы по-своему, но я не совладал со своей обидой. «У шубы должен быть воротник, а у людей — старший». Старшим в хотоне избран я. Не только в хотоне — на весь аймак. По нашим обычаям всякий гость, приезжающий в аймак или хотон, обязан представиться мне. Тем более если этот гость — сын моего лучшего друга Миколы. Я хорошо знаю: Микола так, как вы, не поступил бы... Что прикажете делать старосте, если в его же аймаке его не замечают, будто отброшенного с дороги щенка?

— Здесь моя вина,— принял на себя упрек аймачного головы Вадим.— Мне хотелось поскорее увидеть, как

живут простые степняки... Вас, господин Бергяс, мы так или иначе не обошли бы своим вниманием. Тем более что приедем людям всегда нужна помощь.

Бергяс принял эти слова с удовлетворением, подытожив сказанное ссылкой на опыт:

— Любая ошибка не страшна, если сделаны правильные выводы... А теперь послушайте меня. Верно ли я понял цель вашего приезда? Если верно — тогда два дня мы гуляем, а послезавтра исполняется сорок девять дней после смерти отца этого мальчонка. — Бергяс кивнул на Церена. — Мы совершим обряд по усопшему. Вы сможете все это увидеть своими глазами. Кроме того, из аймака Икн-Буху приедет к нам известный джангарчи¹ Ээлян Овла. Видеть и слышать джангарчи все равно, что в облике одного человека увидеть всю Калмыкию. Почтенный наш сказитель Ээлян Овла будет читать на память «Джангар». Если всего этого вам будет мало для первого знакомства со степным краем, вы мне скажете, не таясь, и Бергяс подумает о чем-то другом... А теперь можете сколько угодно ругать Бергяса за его дурную выходку, я все стерплю.

Вадим горячо заверил хозяина кибитки, что у них нет сердца на него и будут довольны, если все задуманное, благодаря стараниям хозяина хотона, осуществится.

Бергяс становился все добрее, веселил гостей шутками, был ненавязчив в угощениях. Впрочем, то и дело намекая на сюрприз, что еще ждет гостей в его кибитке.

— Вы совсем не пьете, ребята? — громко воскликнул он. — И правильно делаете! Водка от нас никуда не денется. Скоро наше застолье растянется на весь хотон. Вы слышите шум на подворье? То сходятся люди, для которых гости Бергяса — гости всего нашего рода. Скоро своими глазами увидите, как калмыки принимают гостей. Уж вы мне поверьте! А теперь о ваших конях. Что слышно о пропавших конях этих парней? — обратился Бергяс к Чотыну.

— Их угнали двое верховых. Следы ведут к худуку² Очира. Там конокрады пересели на свежих коней и поскакали дальше. След потерялся в устье речки Манжин Кел.

¹ Джангарчи — народный сказитель.

² Худук — колодец.

— Сову видно по полету.— Бергяс сердито затряс головой.— Это проделки Окона Шанкунова. Вот, собака, до чего докатился! Кто ему позволил умыкать лошадей из моего хотона! — вскинулся изрядно выпивший Бергяс, в неистовстве стукнув кулаком по столу.— Позовите ко мне Борлыка!

Тихо открылась дверь кибитки. Вошел парень лет двадцати, в черном поношенном бешмете, в каракулевой шапке такого же цвета, подпоясанный широким ремнем. Поздоровавшись кивком с сидящими за столом, он приложил правую руку к груди, остановился у двери.

— А, Борлык!.. Ты уже здесь,— хмуро проговорил навстречу вошедшему староста, будто не радуясь его приходу.— Я слышал, ты боишься своей жены?

Глаза Борлыка вспыхнули, но тут же он погасил в себе гнев.

— Пусть обо мне говорят что угодно, но я родился мужчиной! — заявил Борлык.

— Похвально слышать это! — ухватился за слово Бергяс.— Я позвал тебя как раз по мужскому делу. Мне нужно добыть, хоть из-под земли, одного человека.

— Если эта земля — наша степь, то я добуду из-под земли! — немного рисуясь перед гостями, клятвенно произнес Борлык.

— Ты простой и откровенный парень,— сказал староста, протягивая ему рюмку водки.— Ведь не случайно я отдал за тебя свою двоюродную сестру по матери... Мне нужен Окон Шанкунов.

— Знаю этого негодяя! — сказал Борлык и вдруг изменился в лице.— В прошлом году уже пришлось с ним столкнуться... Их тогда было трое, а я один.

— Надо нам напомнить ему о себе,— твердо сказал Бергяс.

Но Борлык вдруг смолк, обводя растерянным взглядом сидевших за столом. Он словно просил помощи у Чотына.

— Ну вот, а говорил, что добудешь из-под земли! — усмехнулся Бергяс.— Окона ты не боишься, я знаю. А то, что жена на этот счет скажет, для тебя важнее моей просьбы. Жена для тебя страшнее разбойника Окона и главнее Бергяса?.. Чего же ты молчишь?

Борлык переминался с ноги на ногу, не решаясь начать разговор при посторонних, тем более в присутствии

мальчишки. А сказать у него было что, и касалось это тайного сговора Бергяса с конокрадом Оконом. По степи недавно прошла молва о том, что Бергяс скрепил свою дружбу с ночным вором, приняв в дар от Окона плетью-малю, подарив ему свою. И теперь ехать по поручению Бергяса к Окону и быть отхлестанным его же малей? Недаром говорят: «Если хозяева сцепились, шерсть с головы холопов летит!»

Бергяс, понимая причину нерешительности Борлыка, а также ради красного словца, чтобы потешить застолье, начал рассказывать притчу о том, почему в клюве совы нет дырочки.

— Жил-был хан всех птиц Орел со своей капризной ханшей — Желтой птицей. Пришло время ханше рожать. Она закапризничала и говорит мужу: «Собери всех птиц, прикажи просверлить в их клювах отверстия и соедини всех до одной нос к носу. Я хочу родить на их спинах». Хан Орел послушался жены и повелел собрать пернатых. Когда пересчитали всех слетевшихся к гнездовью Орла, то не увидели только Совы. Хан второй раз послал гонца за Совой. Наконец прибыла и Сова.

— Почему не являешься вовремя, как все? — возмущался Орел.

— Путь долог, а с моими крыльями не полетишь в дождь... Глаза вы мне дали тоже не как другим птицам. Я совсем не вижу днем... Не жизнь, а мученье: днем жди ночи, а ночью — хорошей погоды.

— Интересно, что же ты все-таки увидела в таком долгом пути к моему гнездовью? — спросил Орел. — На что смотрела по ночам, о чем думала?

— Я хотела узнать, кого больше на земле, живых или мертвых? — ответила Сова.

— Ну и как по-твоему? Живых больше или мертвых?

— Если спящих принять за покойников, то на земле больше мертвых.

— Что еще узнала ты в пути?

— Деревья считала: тех больше, что стоят, или упавших?

— Каких же больше?

— Если меченные дуплами уже не жильцы на белом свете, то упавших больше.

— Что еще удалось узнать в пути?

— Ночей больше или дней... С туманными днями, когда трудно понять, день это или ночь, выходит: больше ночей.

— И это все твои наблюдения в столь долгом пути? — грозно спросил Орел.

— Нет, не все... Мне хотелось знать, кого больше — женщин или мужчин.

— Любопытно... Кого же больше?

— Если тех мужчины, которые под каблуком своих жен, не считать мужчинами, то на земле женщины куда больше.

— Чего ты развесил уши и слушаешь эти скверные байки слепой старухи! — закричала на Орла его жена Желтая птица. — Казни ее скорее и приготовь достойное ложе для появления на свет наших птенцов.

Орел неожиданно для всего пернатого царства взмыл вверх, поднялся так высоко, что его жена, властная Желтая птица, и все остальные соплеменники, собравшиеся на поляне, скрылись из вида.

Достигнув предельной высоты, Орел сложил крылья и полетел камнем вниз.

Желтая птица, обозленная тем, что хан Орел не выполнял ее веления, полетела от позора в степь, приговаривая: «Кр-крр... Черт с тобой, пропадай, как дурак... Другие дураки найдутся!»

Сородичи, натерпевшиеся горя из-за капризов Желтой птицы, всполошились от жалости к Орлу и устлали собой то место, где должен был он упасть.

Падавший все ниже, Орел понял, что птицы хотят его спасти, многие даже жертвуя собой. Поэтому, приблизившись к земле и увидев мягкий пушистый ковер, Орел распрямил свои могучие крылья и воспарил в небо.

Бергяс закончил свой рассказ и уставился в лицо огорченному страшным поручением батрака.

— Ты понял, Борлык, смысл этой легенды?

— Да, — тихо ответил тот.

— За кого ты сам себя принимаешь? За мужчину или за женщину?

— За мужчину!

— Достойные слова! А в том, что ты побаиваешься жены, греха большого нет, — сказал Бергяс, поглядывая на дверь, откуда вот-вот должна была появиться Сях-

ля с новыми закусками. — Жена ведь тоже боится потерять тебя, оттого и волируется. Я поговорю с ней. А о тебе я тоже думал: ты едешь не драться с разбойником. Твое дело — вернуть негодному воришке вот эту малю... Эта маля Окона Шанкурова. Когда он ее увидит, ему будет не до драки с тобой. Он знает, что означает, когда мужчина возвращает другому мужчине малю.

Русским парням Бергяс велел перевести.

— У вас это называется: бросить своему врагу вызов.

2

Пока в кибитке Бергяса шла застольная беседа, во дворе продолжалась своя работа. Чуть поодаль Бергясова жилья появилась новая белая кибитка. Между двумя постройками мужчины вкопали ряды столбов и соорудили навес. Тут же освежевали упитанного бычка.

К середине дня стали прибывать подводы с празднично одетыми людьми. Женщины красовались в зеленых и синих терлеках¹, в расшитых бисером шапочках с красным верхом. Мужчины ходили по двору в темных шерстяных и сатиновых бешметах и начищенных сапогах.

Все это пестрое скопление людей, ничем пока не занятых, увидели Вадим и Борис, вышедшие проветриться.

— Что за маскарад затеял этот туземец? — шурясь от яркого света, проговорил Борис.

— Тебе ничем не угодишь!.. Потерпи, ну чего тебе стоит? — попросил Вадим. — Раз уж задумано, пусть все идет, как они сами хотят. А мы посмотрим.

— Кто хочет? Они, что ли, хотят? Да дай им волю, они тут же разбредутся по своим закутам. Бергяс хочет. Сам развлечься и тебя потешить. Самодур и эксплуататор. Тьфу! Уже твоими словами заговорил. Извини, конечно.

— Охотию извиняю, только потерпи, пожалуйста, Борис. А насчет того, кто здесь эксплуататор, а кто подневольный, я помню. Мои симпатии будут всегда на стороне тех, кто и в бедности не разучился петь песни и в нужде пляской умеет показать удаль...

¹ Терлек — длинная кофта, блуза.

Гулянье затянулось, под звуки домбры молодежь веселилась почти до утренней зари.

Уже засыпая и погружаясь после переполненного впечатлениями дня в неровный, рваный сон, Вадим услышал чей-то обрадованный голос:

— Приехал джангарчи Ээлян Овла!

И сразу все стихло. То ли потому, что люди почти-тельно смолкли, то ли Вадим уже иного не мог слышать. Борнс, уловив прерывистое похрапывание друга, неслышно сполз с кровати и ушел отыскивать хромого Таку.

3

При всем размахе веселья, на которое только был способен загульный староста, среди охмелевших и совершенно трезвых нашлось немало и таких, кто в открытую поносил Бергяса. И было за что: еще не миновали сорок девять дней после похорон Нохашка. Кто знает, если бы не приехали джангарчи и учитель, чем кончилось бы веселье!.. В хотоне мог отыскаться смельчак, готовый постоять за веру, за честь обычая, за того же Нохашка, на чью душу теперь могут пасть грехи не в меру развеселившихся хотонцев.

Недовольство неуместной затеей Бергяса было сглажено появлением Ээляна Овла, а затем и Араши Чапчаева... Приезд любого из этих людей мог придать празднику особую торжественность, а появление двух сразу в одном хотоне—вызвало ликование.

В разгар пиршества, затеянного Бергясом ради примирения со студентами, у кибитки старосты попрердержал бег вороного иноходца всадник. Был он одет, как русские, такой же молодой годами, но смуглый и курносый, с мягкой полуулыбкой на скуластом лице.

— Менде, Араши! — выкрикнул кто-то из танцующих, и несколько человек кинулись было принять из рук всадника повод. Но дверь кибитки распахнулась. Все увидели Бергяса, широко шагавшего навстречу гостю. Староста решительным жестом остановил тех, кто кинулся оказать услугу уважаемому в этих местах человеку.

— Здравствуй, дорогой Араши-багша!¹ — попривет-

¹ Багша — учитель. Этим словом калмыки называли также и настоятеля монастыря, где обучались грамоте дети.

ствовал он всадника так громко, чтобы слышали все, столпившиеся вокруг кибитки и внутри нее. — Рады тебя видеть, наш дорогой учитель. Давно ждем!

Не у каждого конного мог взять повод Бергяс, выйдя ему навстречу. Такую честь оказывал он разве ной-ону Туидутову, князю, равному ламе по положению, или настоятелю монастыря... Кроме этих трех благо-склонностью старосты пользовались пристав из Янхальского уезда и скотопромышленник Микола Жидко.

Приехавший в хотон учитель, сойдя с коня, почтительно склонил голову перед Бергясом, пожелал здоровья хозяину хотона и всем, кто участвовал в веселье. Затем уже неторопливо прошел в кибитку. Там он сказал те же слова и снял с головы кепку-шестиклику.

Борис и Вадим с удивлением отметили: молодой калмык носил ладио сидящий на нем европейский костюм, какие шьют себе преуспевающие чиновники Саратова или Астрахани. Так в степи никто не одевался. Даже улусные стряпчие и толмачи из Янхальского улуса не смели надеть на себя никакой новинки модного покроя, носили традиционный темный бешмет из саржи или сатина и легкую косоворотку. На головах канцеляристы и переводчики носили, как униформу, высокие мерлушковые шапки с алой кисточкой. Эта кисточка, мотавшаяся при ходьбе, словно сорванный на околице хотона тюльпан, считалась священной: ею отмечали себя также служители ламаистского культа.

Обувались состоятельные калмыки в яловичные сапоги, чаще всего изготовленные кустарями. Люди классом выше обряжали себя и своих взрослых детей в привозной хром, юфть, сафьян. Беднота обходилась обувкой под названием буршмак. Сварганить себе обновку такого рода мог всяк, нарезав сыромятины и вымочив ее в подкисленной воде или перестоявшем кумысе. И хотя обувь эта изготовлялась все-таки из кожи, в готовом виде буршмаки поразительно напоминали лапти. Не случайно на ярмарках в сопредельных селениях, где мешается русский говор с калмыцким, после удачного торга степной табунщик менялся с пахарем обувкой — буршмак стоял так же недорого, как лапоть из лыка. Мало чем отличались друг от друга оиучи, сотканые из грубой овечьей шерсти и калмыцкие чулки, скроенные из такой же грубой домашней ткани. Де-

вочка лет восьми в любом джолуме была гораздо снабдить легкой и крепкой обувью всю семью.

На Арашн был костюм из тонкого синего сукна. Брюки заправлены в хромовые сапоги с невысокими голенищами. На день встречи Арашн Чапчаеву было двадцать два года. Он еще не брил бороды. Темный нежный пушок над верхней губой был почти незаметен на смуглой тонкой коже.

Арашн было шестнадцать, когда он закончил курсы народных учителей в Астрахани. Преподавать он начал в своем родовом хотоне Манджинкского аймака. Нослава о первом калмыцком учителе облетела в то лето степь не только потому, что его ученики начали читать букварь и составлять слова по складам. Юный учитель Араши Чапчаев вступился за честь женщины. И имя его стали почитать наравне с именами сказочных бабьих.

4

В самом хотоне, и без того похожем на разворошенный муравейник, с приездом именитых гостей заметно прибавилось движения: женщины спешили управиться с неотложными заботами, перепоручали друг дружке малых детей, шелкали замками, хлопали крышками сундуков, добраясь до таких одежек, какие лежали на дне сундука со времен свадьбы. Мужчины искали, кому бы на час-другой передать стадо, и, если не находили замены, подгоняли скот ближе к хотону, чтобы можно было оставить свое беспокойное хозяйство и заглянуть в середину круга. А годы спустя сказать детям: «И я тоже слышал домбру джангарчи Ээляна Овла, видел своими глазами учителя Араши Чапчаева, который отпирал за решетку зайсана».

Девушки успели за день дважды, а иные и три раза поменять свой наряд. Они появлялись в разноцветных платьях, высоких, с алой кисточкой шапках, в неглубоких шапочках-камчатках, в головных уборах из красного бархата, с отделкой из меха.

Приезд почетных гостей в хотон Бергяса можно было бы сравнить с щедрым летним дождем, внезапно выпавшим на потрескавшуюся от жары землю. В такие благодатные часы все живое выбирается из своих укрытий. И даже растения, огузные от влаги, склоня-

ются друг к другу, словно ласкаясь, и на каждом лепестке сверкают мирнады солнц.

5

Престарелому джангарчи, а также молодому учителю дали хорошо отдохнуть с дороги. Веселье шло без почетных гостей, но как бы уже во славу их. После полудня объявили скачки. В состязаниях участвовали пять пар мужских и столько же пар женских. Для первой шестерки соперников назначили пробег десять верст туда и десять обратно. Остальные пары бежали на пять верст... Первыми прискакали к обозначенной черте кони Бергяса, хорошо знавшие эту равнину от одного кургана до другого. Один из призов достался бойкому подростку из соседнего аймака. Бергяс ликовал. А во время скачек он вопил, будто резаный: одних подбодрял, других поносил последними словами. Не утерпев, даже выскочил на круг и чуть не угодил под копыта своего жеребца. На окрики судей он не обращал внимания, и лишь тихий зов и осуждающий взгляд Сяхли возвращали его, хоть и ненадолго, в состояние, приличествующее старости.

Потом черед дошел до борцов. Соперники в исподних штанах выходили в круг, сжились подсесть друг друга подножкой, кинуть через себя, чтобы уложить соперника на лопатки. Победенный уступал место другому. Победитель начинал новую схватку.

На круг выходили высокие и низкие, плотнотелые и худощавые, но жилистые, словно мускулы их были свиты из веревок. Верх над всеми взял тонкий в тални, но широкоплечий парень с удлиненным худым лицом.

Однако за борьбой и прочими развлечениями люди не забывали и об угощении — пили араку, водку, заедали кусками мяса. У костра свежевали еще одного быка, снимали шкуры с баранов...

В сумерках при зажженных керосиновых лампах седобородые старцы и состоятельные мужчины собрались в просторной кибитке Бергяса. Образовалось два круга. На самом почетном месте сидел джангарчи Ээлян Овла. Тут же удобно разместились Борис и Вадим. Они сидели по левую руку от Бергяса, а за ними уже учитель Араши Чапчаев.

Ээлян Овла начал совсем тихо и как-то вдруг, едва

коснувшись струн домбры. Борис и Вадим даже не уловили начала импровизации. Все в исполнении джангарчи было для них непривычным: монотонное звучание, странная печаль в голосе исполнителя. Борис ждал нечто подобное оперному солисту или декламатору. Ведь народному эпосу «Джангар» почти пятьсот лет, и хранителями таких сокровищ могут быть люди, наделенные качествами чрезвычайными! Чем же привлекает к себе этот старик?

Сухой, небольшого роста, с жиденькими, пожелтевшими от табака усиками... Совсем дряхлый, жизнь только в голосе да в тонких усохших кистях рук. Лицо скуластое, испещренное морщинами, темное, как дубовая кора, и узенькие, глубоко сидящие карие глаза... Глаза были молоды, они жили картинными видениями, вспыхивали светом озарения и тут же погружались в бездну печали. Джангарчи сидел, поджав под себя ноги, покачивался, цепко обхватив худенькой рукой домбру. Был он хил, внешностью зауряден, но люди покорялись его голосу. Люди внимали слову...

Вадим стал прислушиваться к ритмам напевной речи старика. В словах много согласных. Бегущий звонким ручейком мотив будто спотыкался о невидимые препятствия. Тем не менее он почувствовал: совсем не зная языка, кое-что понимает, может, просто догадывается, о чем поет джангарчи. Такое открытие взаимосвязи между собою и иноязычным сказителем удивило Вадима. «Как это можно понимать, не зная языка?» Долго он не знал, как ответить себе на этот вопрос. Потом понял: исполнитель движением губ, напряжением голоса, едва уловимыми жестами рук и головы, вплоть до полета отведенной от домбры сухонькой руки, превращающейся в некую птицу, изображает обширную степь, скачущий по ее сухим травам табун лошадей... Вот гудит земля под копытами, крошатся стебли трав и кустарники... Вот скачет одинокий батыр в доспехах, сшибаются пики и стрелы, звенят железо и сталь. И вдруг голова старца никнет — батыр сражен, силы оказались неравными... Но что-то в степи меняется. Голос нарастает, кто-то сильный и добрый, наверно мать или невеста, врачует раны, поддерживает всадника, благословляет на бой. Джангарчи неистовствует, в голосе его кипение, старческий голос его звучит отчет-

ливо, звонко... Где-то вдали веков кипит бой... Перенесась в те далекие дали, сникли над полем боя в благоговейном молчании потомки...

— Выйдем на минутку! — шепнул Борис.

Вадим отрицательно качнул головой, дернул за рукав нетерпеливого друга: «Сиди!»

— Надоело! — настаивал Борис. — Я же ни бельмеса не смыслю!.. Да и ты. Не притворяйся!

— Помолчи! Это же великолепно!

Вадим больно ущипнул Бориса за локоть.

Долго еще лилась из уст старца песня о степных богатырях, о великой и солнцелюбной стране Бумбе. Но песня оборвалась, и учитель Араши поднялся со своего места.

Когда они трое вышли на улицу, учитель пересказал им одну из песен «Джангара». Может, Араши что-нибудь добавил от себя при переводе, но старинная легенда в его устах звучала настолько живо, что поскучевший было Борис не удержался от вопросов: «О чем говорил старик, когда взметнул над головой инструмент? Что случилось там, в эпосе, когда слушатели вдруг склонили головы и послышались рыдания?»

Учитель толковал обо всем спокойно, с достоинством знатока, откровенно радуясь тому, что русским парням джангарчи понравился.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Солнце уже поднялось высоко, когда Вадим проснулся. Борис еще спал, сладко посапывая. Они улеглись с вечера под открытым небом на широкой телеге, застланной свежим сеном. Прислушавшись, Вадим уловил у изголовья фыркание лошадей, жующих траву. Повернув голову, он чуть не вскрикнул от удивления: привязанные за пятник телеги, стояли его гнедой и вороной жеребчик Бориса. Кони как ни в чем не бывало продолжали лакомиться цветущими шапочками клевера, ловко выдергивая клочки сена из-под развалившихся в телеге хозяев.

— Боря, разуй глазки! — толкнул Вадим дружка. — Взгляни-ка, что за сон нам приснился! — Борис посмот-

рел на лошадей и, ничего не поняв, завалился на другой бок, буркнув:

— Отстань!

— Чудило! Наши горбуны стоят!

— Нашел чему удивляться: Бергяс увел, Бергяс велел привести... Ну, народ! Нашли чем поразвлечься!

— А!.. — махнул рукой с досады Вадим.

Борис уже не спал. Он обернулся к Вадиму и, пожевывая свежий стебелек травы, заговорил с упреком:

— Самое удивительное для меня здесь — это ты сам. Вот все заговариваешь со мною о простом народе, о необходимости социальных перемен, о культуре для всех и каждого. А сам — наивный ребенок, которому все в диковину... Чему удивляться-то? Увели — привели, только и всего. Если хочешь, я угою у них целый табун. Угою и брошу в степь, а может, снова пригою на это место дня через три. Спорим?

— Дурацкий спор, а еще более дурацкая затея! — попытался отговорить его Вадим.

Борис ловко подмял под себя менее расторопного Вадима, предлагая побороться на свежем сенце, но у приятеля не было настроения дурачиться в этот ранний час. В последние дни он все чаще задумывался об упрямстве Бориса, с которым он отметал, и порой очень грубо, любые разговоры о необходимости изменения жизни трудовых низов.

— Удивляюсь тебе, Борис, — сказал с обидой Вадим. — Как ты можешь поносить все здешнее и не замечать добрых начал? Твой отец — скотопромышленник, делец, у него здесь целые стада, в другой стороне лесопильные заводы, водяные мельницы, крупорушки. И все же в нем душа мягче, к людям он относится терпимее. Отец и то верит, что ничего вечного нет, жизнь меняется, всегда менялась... И если помочь этим переменам сознательно, с толком, без эгоистических устремлений, то иная жизнь, пробуждение миллионов масс наступит уже теперь, а не через сто или двести лет.

— Все это я уже слышал от тебя. Теперь еще один социалист нашелся, Арашн Чапчаев. Обнимайся с ним, хоть до поцелуев. А мне скучно все это! Фанатики вы, одиночки! Вот привезешь ты однажды эти перемены в хотон, а у тебя украдут лошадь и самого пристукнут!

— Только, пожалуйста, без пошлости! — рассердился

Вадим.— И Араши ты не трогай! Не понял ты Чапчаева — дело твое, а дилетантски рассуждать о том, что тебе совсем неизвестно или по классовым соображениям неприемлемо,— пошло! Согласен?

— Не согласен! — отвечал Борис.

Вадим впервые заметил: верхняя губа у Бориса дергалась в нервном тике. Он сбавил тон разговора, не уступая в главном:

— Араши Чапчаев — обычный калмыцкий учитель. Он не знает трудов ученых социалистов, как и мы, невежды, но зато он вот как сыт страданиями народа! И уже кое-что делает, чтобы облегчить жизнь людям!

Вадим запустил пальцы в густую, слегка кудрявившуюся со лба черную шевелюру Бориса и, встряхнув его голову, спросил:

— Ты согласен помочь Араши?.. Говори: согласен?

— Нет, нет и нет! — упрямо твердил Борис, пытаясь освободиться от цепких рук. — Тебе, балбесу, помогал и еще помогу. Тебе! Которого знаю и понимаю. А их не знаю, не понимаю, а потому и не хочу. С тобой же и подраться иной раз хочется, господин калмыцкий доктор, чтобы выбить из этой вот башки твои утопические идеи!

Они принялись по-мальчишески тузить друг друга, пока не скатились с телеги чуть ли не под ноги своих лошадей.

Вадим наконец устал, распрямился, стряхнул с плеч прилипшие соломинки.

Кругом тишина. В хотоне не осталось ни одного взрослого, ни одной животины, кроме их лошадей. Все ушли в степь. Никто не мешает спокойно подумать о пережитом, насладиться первозданной тишиной. Думалось почему-то не о Бергясе, заслонившем было своей экзотической фигурой всех остальных, а о вчерашнем знакомом учителе из недалекого рода Абганерова.

2

Один из зайсанов Манычского улуса, отец взрослых детей, изнасиловал молоденькую жену своего батрака. Несчастный супруг оскорбленной, совсем не собираясь тягаться с всеильным владыкой, пришел к зайсану хоть пристыдить того и найти в том утешение. Батрака вытолкали из прихожей зайсановы холуи. Обида взыграла

в батраке с удесытеренной снлой. Теперь он не просил разрешения войти в дом, а, разбросав всех на пути, ворвался в господские покои. Мгновенно — и уже не только слуги, а сам господин повержен на пол с одного удара батрацкой руки. Той самой руки, которая служила хозяину так долго и была ему защитой и опорой. Сорвал зло на обидчиках, утерся полой бешмета и побрел в степь косить траву для того же зайсана. Зайсан не простил обиды, бросился следом и застрелил бедного косаря из-за копны, как отбившегося от стада сайгака. Люди видели это и не стали скрывать злодеяния. Зайсан был упрятан за решетку, готовился суд. Родственники его наняли единственного тогда на весь округ адвоката-калмыка Санджи Боянова¹.

Был тот Санджи Боянов знаменит не только среди сородичей-хотонцев. Самые богатые купцы юга, рыбопромышленники, заводчики не скупились на дары, чтобы заполучить на свою сторону в тяжбе с противником умного, изворотливого, познавшего законы калмыка. Редко когда проигрывал на судебных процессах дотошный адвокат.

Бедная женщина, до смерти напуганная людской молвой, клубившейся вокруг ее беды, была доставлена в суд как свидетель. За всю свою жизнь она не отлучалась из дому даже в ставку улуса.

О случившемся услышал юный учитель, Араши Чапчаев. Он вызвался помочь несчастной женщине, хотя бы тем, чтобы переводить на суде ее показания.

...За несколько минут до начала заседания в зал суда стремительно вошел среднего роста молоденький калмык в черном шерстяном костюме-тройке, в накрахмаленной белой сорочке, с галстуком-«бабочкой». До этого случая Араши тоже не приходилось участвовать в суде. Но три дня до начала процесса он ходил по всем чиновничьим конторам, чтобы добиться разрешения выступить не только как переводчик, но и как защитник потерпевшей. Прокурор упрямо отводил доводы Араши, ссылаясь на процессуальный кодекс: женщина, мол, не привлекалась к ответственности, ей больше ничто не угрожает... Она всего лишь свидетель и жертва. Как приехала, так и уедет в свой аймак... «Если вы та-

¹ Впоследствии белый эмигрант.

кой рыцарь, господин Чапчаев, — пошутил прокурор, — то следовало прийти ей на помощь раньше, когда она действительно нуждалась в рыцарской защите».

— Тысячи таких же несчастных, господин прокурор, и сейчас, когда мы с вами ведем светскую беседу, претерпевают унижения, нуждаются в защите, — парировал Араши пошловатый чиновничий каламбур.

— Наша судебная наука, а следовательно и практика, зиждется на конкретности, она нуждается в выводах, а не в обобщениях.

— Если угодно, отнеситесь к моим словам, как к выводам, — извинительным тоном ответил учитель.

Неожиданно в это время к прокурору заглянул по каким-то делам Саиджи Боянов. Узнав, чего добивается юноша, он стал на сторону добровольного защитника. Так Араши Чапчаев впервые в своей жизни столкнулся на публичной трибуне с великой неправдой жизни власть имущих, лишивших бедноту всяких человеческих прав. Столкнулся и победил! На велеречивую речь профессионального юриста, блиставшего глубоким знанием психологии подсудимого, проникновением в его состояние в момент совершения преступного акта, на театральный жест, обращенный к составу суда с просьбой проникнуться милосердием к сидящему на скамье подсудимых — безвестный учитель ответил последовательным изложением фактов, той самой конкретностью, о которой говорил ему прокурор и другие блюстители закона... Бедная женщина ничего не могла добавить к тому, что говорил о ней учитель, ей оставалось лишь ответить на несколько вопросов. Обливаясь слезами, она смотрела на Араши, как на бога, спустившегося на землю, чтобы заступиться за нее, понять ее страдания.

Араши требовал не только осуждения насильника, но и компенсации убытка, понесенного семьей батрака вследствие потери кормильца.

Присяжные, с умилением выслушавшие блестящую речь известного адвоката, нашли не менее убедительными доводы немногословного юноши. Зайсан был на три года закован в кандалы. Семье пострадавшей отрядили по решению суда пять коров и десять баранов.

Весть о победе юного учителя над зайсаном и его платными заступниками взбудоражила степь. Беднота возликовала: такого еще не случалось, сколько помнят

себя старики. Богатые всегда были правы. Имя Араши стало известно в каждом джолуме. Едва вставшему на ноги пареньку приписывали подвиги батыра.

К молодому учителю потянулись люди за сотни верст. Океаном зла и нечеловеческих страданий виделась теперь юному Араши степь. Чем мог помочь он тысячам неправых? Не только участием и утешением! Он исподволь пробуждал в людях чувство протеста, учил стоять за себя, не сдаваться судьбе. Беседы учителя не могли нравиться старостам и зайсанам. Но они его так же сильно боялись, как и ненавидели! Звон кандалов слышался им в его речах!

Калмык за доброе участие в его судьбе готов отдать последнюю овцу... Окажись на месте Араши честолюбивый и жадный человек, он мог бы сколотить состояние на приношениях ходоков. Мог бы, подобно другим, шибко смекалистым юношам, но с более покладистым нравом породниться с нойоном и обеспечить благополучное существование себе и своим потомкам. Араши богател лишь знанием бед батраков и скорбей табунщиков. Чем больше он приобретал житейского опыта, тем лучше понимал: народ носит в себе во сто крат больше мудрости, чем любой все познавший одиночка. Народ тысячекратно сильнее своих повелителей, но люди разобщены. И те их давят, как волки овец — по одному, смыкая челюсти на покорной шее.

Нужно искать для разобщенных людей путь к единению. А раз так, Араши должен учиться дальше. И снова он превращается в штудиста, уезжает в Казанскую учительскую семинарию...

Теперь вот он снова в степи, опять наставляет первым буквам черноглазых, как он сам, пытливых ребятшек.

Бергяс в душе не терпел Араши Чапчаева, обзывал его за глаза «общественным выкормышем», потому что обучался юноша на средства от общинных сборов. Но при встречах староста заискивал перед образованным человеком. На усмешки же богатых сородичей отвечал пословицей: «Достойного человека и в юнце заметишь, доброго коня — в жеребенке».

Гонец Бергяса объехал несколько селений, чтобы разыскать учителя — так строго приказал староста: при-

везти Араши во что бы то ни стало, уговорить от его имени приехать, потому как надо русским студентам показать образованного калмыка, «жемчужину степи»...

Араши понял настрояние Бергяса по-своему. Два года тому назад в аймак Ики-Бухус, где жил народный сказитель Ээлян Овла, приезжал из Петербурга профессор Алексей Позднеев. Ученый-востоковед замыслил ознакоми́ть просвещенный мир с сокровищами калмыцкого фольклора. Позднеев увез записи сказок, легенд, крылатых фраз, бытующих в хогонах, художественно обработанных джангарчи. Приезд профессора Позднеева был недолгим, но его — уважительного, мягкого, добросердечного и совсем не барина по привычкам — полюбили калмыки. Профессор обещал приехать вновь или прислать своих помощников. Араши Чапчаев в тот приезд не смог познакомиться с ученым гостем. Теперь, услышав от гоица о том, что в хотоне Бергяса появились два русских студента, Араши тотчас подумал о профессоре Позднееве и начатой им работе.

— Я и сам не знаю толком, что это за люди — русские студенты, — сказал Бергяс Чапчаеву еще у коновязи... — Уж ты не обижайся, если что не так... Да и поговорить ведь толком нельзя: переводил мальчик, что он им там наговорил, не проверишь.

На самом деле хитрый староста хотел блеснуть перед заезжими русскими своей дружбой с образованным человеком.

— Зачем извинения, Бергяс? — успокоил старосту Араши. — Мне и самому приятно потолковать с гостями.

3

На другой день пиршество во дворе и застольные беседы в кибитке продолжались.

— Я слышал, — заговорил Бергяс, плохо скрывая тревогу в голосе, — скрягу Очнра едва не отправил на тот свет батраки? С чего бы это?

Араши, едва пригубив пиалу с чаем, принялся рассказывать о нашумевшей в последнее время стычке батраков с жадным богачом-скотоводом. Подобно истинному толмачу, Араши вел беседу сразу на двух языках — неторопливо и четко, так, чтобы все друг друга понимали.

Вадиму нравилось, как сдержанно, без лишних эмоций, чтобы не навязать слушателям своего отношения к происходящему, рассказывал Араши. История, в сущности, сводилась к тому, что один жадный скотовод из Манычского аймака тайком от однохотонцев выкосил большой луг, оставив без корма на зиму их стада. Батраки в отчаянии сначала хотели сжечь стога, но голос разума остановил их: ведь зло-то не в сене, а в бесстыдном Очире. Батраки отволтузили скрягу, а заодно и его брата-гелюнга, который пытался отнюдь не только именем божьим защитить родственника.

— Состоялся суд. Смелых парней тех упрятали за решетку, — закончил свой рассказ Араши.

— Туда им и дорога! — воскликнул Бергяс, подняв жилистый кулак над головой. — Нашли чем доказывать свою правоту — избиением сородича. Этак мы все пере-деремся скоро!.. А дело тут совсем даже не спорное: у кого больше скота, тому должна отойти большая часть луга. Все есть хотят, и люди, и животные.

Араши, который только что был бесстрастным рассказчиком, на глазах преобразился:

— Я не согласен. Кормит людей земля. И делить землю нужно по едокам, как в русских деревнях. Насколько я знаю историю народов с древности, — подкрепил свои доводы учитель, — войны были не за стога, а за землю. Так же случилось и в стычке между Очиром-скрягой и его батраками.

— Пусть нас рассудит бог, — не отступал Бергяс, — он создал скот и людей, землю и небо... По его велению люди всегда были разделены! Один — хозяин, другой — батрак. Если правы батраки, почему за решеткой сидят теперь они, а не Очир?

— Бог, наверное, лишь создал людей... А судят их такие же несправедливые Очиры, — заключил Араши невеселой шуткой.

— Пойдемте-ка на воздух, — предложил Бергяс, не желая обострять спор. — Посмотрим, как молодежь танцует.

Парни и девушки под музыку водили хоровод.

Тонкие, мелодичные голоса певиц, полыхавшая в полнеба летняя заря над степью, прибавлявшая румянца разгоряченным лицам, — все это не могло не взволновать Вадима. Но самым сильным впечатлением дня,

это осознал Вадим еще в застолье, было его знакомство с молодым калмыком с редким именем Араши. Вадиму нравилась независимость учителя; с которой он держался в компании богача Бергяса, да и их самих, хотя и ровесников ему, но людей явно иного круга. Вадим с восторгом вслушивался в спор между учителем и Бергясом — спор в защиту бедняков. «Араши Чапчаев, — думал теперь Вадим, — быть может, самая ценная для меня находка в степи. Удастся мне подружиться с ним или нет, но теперь я буду знать: в степи есть люди, способные возразить имущим, быть может, способные бороться... Есть единомышленники!»

Наблюдая за танцующими, Вадим незаметно приблизился к Араши и, тронув за рукав, отвел его в сторону от Бергяса. Вопрос был осторожным, вроде бы продиктован простым любопытством:

— Как у вас, в степи, дела с обучением детей?

Рассказ учителя о себе, о своих коллегах, о судьбе подрастающих калмычат был мрачен, хотя Араши говорил совсем скупое, сдержанное и внешне спокойное.

...Во всей огромной степи только шестнадцать школ, а в них по десятку ребят. В улусах школы побольше, но за полсотни учеников под одну крышу никогда не собиралось. Учат только по два года, лишь бы приобщить к букварю да азам арифметики, заодно — набить детские головы религиозными сказками да молитвами. Учителей-калмыков, получивших образование в Астраханском училище, всего пять. Остальные — доброхоты из России. Кто знает калмыцкий, а кто лишь изъясняется... И за то спасибо — не погнушались приехать в степь, живут в кибитках, в грязи, работают за нищенское жалованье. Есть настоящие подвижники среди русских учителей: Мария Степановна Яхонтова, Татьяна Дмитриевна Юркова — всю жизнь отдали обучению калмычат...

По адресу этих двух, совершающих истинный подвиг, Чапчаев сказал:

— Одной любви к просвещению здесь мало, нужно кое-что за душой иметь, более важное...

— Что именно? — спросил Вадим, надеясь на дальнейшую откровенность Араши.

— Не будем здесь говорить об этом, — ответил шуткой учитель. — У этой кибитки ослиные уши...

Они крепко пожали друг другу руки, дав слово непременно встретиться, и в другой обстановке.

Борис в это время увлекся хорошенькой смуглянкой, порхавшей в танце, будто бабочка над костром. Ему показалось, что девушка то и дело посматривает на него, строит глазки.

«А неплохо бы с нею позоровать в степи, на копешке сена», — пришло в голову Бориса. С этой мыслью он стал протискиваться через толпу людей поближе к Бергясу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вадим вспомнил, что надо навестить Нюдлю, здоровье которой, по словам Церена, улучшалось.

— Я схожу к девочке, измерю температуру и вернусь, — сказал он учителю и Борису.

К этому времени в кибитке все стихло, и оттуда стали понемногу выходить люди.

Вадим подошел к джолуму Нохашков, распахнул полог. При свете зулы он увидел Нюдлю спящей. Девочка ровно дышала. Возле нее никого не было. Мать куда-то ушла. Гость не решился один войти в джолум, огляделся. В десяти шагах от входа, будто прикорнувший подпасок, на тележке лежал Церен. Угол одеяла сполз с него. Вадим подошел, чтобы укрыть, но, наклонившись, встретился взглядом с Цереном.

— Чего не спишь? — спросил Вадим.

— Звезды считаю... Вы-то хоть знаете, сколько их, доктор?

Для обитателей джолума Нохашка Вадим был прежде всего доктор, исцелитель Нюдли.

— Сколько их — не знаю, но люблю смотреть! Если глядеть долго-долго, так говорят, звезды, как золотые монеты, станут падать на тебя... Где только не бывал, но таких ярких звезд и такого голубого неба, как здесь, не видел. Оказывается, и звезды в степи смотрятся как-то по-иному, — сказал Вадим, привалясь на тележку боком... — А ты пересчитать их надумал?

— Пробовал! — смущенно сознался Церен. — До

трехсот сосчитаю, потом путаюсь. Слишком густо они там насыпаны.

— Да, ты прав... И никакого порядка.

— Были бы у меня крылья, поднялся бы к ним поближе — и ну считать! — заговорил мечтательно Церен. — Интересно: может человек забраться туда, в такую высь?

— Сможет, наверное... Но не сейчас... Человек ведь многое не умел из того, что сейчас умеет.

— Но ведь нужны крылья! — удивлялся Церен.

— Крылья, Церен, человек себе уже пытался представить. Только все это — ради забавы. А к звездам полетят на других крыльях, на каких, мы пока не знаем. Есть у французов аэроплан, но все же это еще не те крылья, чтобы на них можно было подняться до звезд.

— Как не скоро, наверное, это случится! — вздохнул мальчик.

Вадим усмехнулся:

— Тебе-то куда торопиться?... Расти, живи, может, и при твоей жизни еще все свершится.

— Ждать долго не хочется! Все думаю о том, что если бы достали люди с неба звезду и привезли ее в степь, какая-то иная жизнь наступила бы.

Вадим молчал, обдумывая свой ответ: «Со звезды ли начнутся перемены? Вряд ли!.. Как об этом сказать мальчику, чтобы не погасить в нем надежду на его звезду?»

Церен продолжил, не дождавшись:

— Смотрите, прямо наверх! — он указал кивком головы. — Вы, наверное, знаете, что на звезды, луну и солнце нельзя указывать пальцем. Можно показать лишь кивком головы.

— Разве? — Вадим улыбнулся.

— Да, тыкать пальцем в небо — грех... Там святые живут, небо — джолум богов.

Собравшись с духом, Церен рассказал о своем путешествии по джолуму богов:

— Сегодня я долго-долго смотрел на звезды. Гляжу я в небо и вдруг вижу — вымя коровы! Когда мы жили на Дону, была у нас такая корова: голубая шерсть на брюхе. Вымя не обхватишь, а сосков всего четыре... Так вот, я смотрю на небо, а мне кажется, что на вымени той небесной коровы понатыканы сотни, тысячи сосков.

Из сосков брызжет во все стороны молоко. От этих молочных струй светло как днем, даже на земле. Выходит, можно напоить досыта тысячи людей от одной небесной коровы. Сошла бы такая на землю. Раскрывай рот и пей от пуза! Не нужно пасти телят Бергяса, бегать за нашими тощими буренками по утрам с подойником!.. Ведь эта большая корова была бы кормилицей для всех! Бергяс не смел бы ее присвоить. Такую никто ему не продаст. — Церен приподнялся на локотки, глаза его загорелись веселым огнем.

От слов мальчика сердце Вадима защемило. Ему было одновременно и хорошо и грустно. Приятно, что паренек, не выдавший в жизни ничего, кроме пастушьего кнута да, может, донского хутора, страдает от понимания народной беды... Поразительно: мальчику, наблюдавшему за звездами, пришла в голову мысль о корове, одинаково щедрой для всех, и чтобы у этой коровы не было хозяина! Она должна принадлежать всем!.. Вадим почувствовал, что рядом с ним, быть может, на его глазах рождается новая красивая легенда и звучит эта легенда из уст младенца!.. В порыве нежности всегда сдержанный Вадим обнял Церена. «Может, старею? Двадцать три года — уже не мало», — подумал он.

Как и в тот раз, разговаривая с его сестренкой, Вадим думал все о том же: дай такому звездочету возможность поучиться, глядишь, построил бы летательный аппарат для путешествия к далеким мирам, добыл бы эту самую корову для всех!.. Но кто позаботится о его учебе, о куске хлеба для него? Уже сегодня он ломит спину на Бергяса, зарабатывает хлеб насущный недетским трудом. Вот за таких людей, за их счастье и нужно бороться всеми средствами: бить сатрапов, где можно, бить наверняка, затем, быть может, скитаться по степи, укрываясь от жандармского преследования! Скорее нужно возвращаться к делу!

— Хорошо, Церен, что ты таким красивым видишь небо, — сказал Вадим. — Ты учишься думать, доходить до всего своей головой. Но учти: щедрая корова для всех не придет сама с небес... Надо сделать так, чтобы все коровы, что в степи, все богатство стало общим, а люди получали бы молоко и хлеб и все иное просто так, как дышат воздухом: захотел есть — поел, износились сапоги — купил новые.

— Бергяс не отдаст своих коров! — понял его слова по-своему мальчик.

— Коров сгонят в одно общее стадо пастухи, такие, как ты.

— Бергяс привезет из улуса урядника и всех посажает в острог!

— Пастухов и бедноты больше, чем урядников, и даже больше, чем солдат. Нужно только собраться и выступить всем сразу... Не только калмыкам, а русским, татарам, украинцам.

— Но тех, других людей... русских или татар мы даже в лицо не видим, не знаем, о чем они думают.

— А вот я — русский! — сказал Вадим. — Видишь, как я доверяюсь тебе!..

Церен поднялся, сел на корточки, тихо проговорил:

— За Нюдлю вам большое спасибо! Только вы берегите себя... Бергяс хитрый, у него двоюродный брат — багша хурула. Попечитель и все начальство с Бергясом заодно. Даже нойон Даизан его знает...

— И все же пока их не прогонят, о хорошей жизни мечтать нет смысла. Гнать их в шею нужно всех: от Бергяса с его хищной братией до нойона и царя.

— Нойона и царя трогать нельзя, — предупредил Церен, испугавшись. — Их послал бог. Разве есть люди, которые не признают бога?

— Бог — выдумка... А такие, что вступают в бой за простой люд, есть.

— Кто они?

— Такие же, как мы с тобой, с двумя руками и ногами. Но они много учились, смелые сердцами и ничего не боятся.

— Вы видели хоть одного такого батыра своими глазами?

— Видел, Церен, очень смелых и умных борцов, но не самого главного... У нас на Волге много говорят об одном человеке, зовут его «Старик». Он умнее всех царей, вместе взятых. Его не раз арестовывали, ссылали в Сибирь. А сейчас, говорят, он за границей, в другой стране... Но скоро вернется.

Вадим старался говорить так, чтобы мальчик понял хотя бы смысл его непростых слов:

— «Старик» тот был сослан царем в Сибирь за непокорность, за то, что он любит рабочих, бедноту и нена-

видит таких, как Бергяс... Пришлось ему на время скрыться, иначе опять посадили бы, может, и расстреляли... Ну ладно,— вдруг прервал рассказ Вадим,— пока хватит, а потом, глядишь, и сам разберешься. Прощай, мне надо идти. Ладио? А ты спи! На сегодня довольно тебе звезды считать.

Вадим возвращался от джолума Нохашка в хорошем настроении: девочка спокойно спит, набирается сил во сне; паренек сторожит ее сон, размышлял под открытым небом! Какая хорошая семья!

2

Возбужденный разговором с Цереном, Вадим подошел к кибитке Бергяса. Все были уже на улице: Борнс, учитель Араши, джангарчи. Чуть поодаль стоял в расстегнутой рубаше Бергяс в окружении почтенных старцев.

— Заждались тебя, парень! Уже хотели человека посылать вслед,— упрекнул Бергяс, не скрывая недовольства.

Вадим извинился, а учителю вкратце рассказал о делах покойного Нохашка, о юном звездочете, разглагольствовавшем на небе корову для всех бедняков.

— Сколько лет мальчику? — спросил джангарчи, слышавший этот разговор.

— Двенадцать! — ответил Вадим.

— У этого паренька, должно быть, доброе сердце, если он в такие годы заботится не только о себе. Сестренку бережет, думает о небесной корове... Хороший мужчина — защитник всему роду...

Джангарчи напомнил и о жеребенке, по которому можно определить стать коня в будущем. Но учитель не успел перевести всей фразы сказителя — в разговор вмешался Бергяс.

— Ерунда! — грубо оборвал учителя староста. — Жрать захотелось мальцу, вот и плетет. Голодному во сне снится мясо, жаждущему молока видятся в небе коровы!

Ему стали возражать. Но Бергяса лишь распалило несогласие гостей.

— Звезды,— заявил он резко, басы хриплым от пере-

поя голосом, — похожи на глаза голодных волков в сугробах. Только и всего!

Борис, не сдержавшись, захохотал в ответ на грубую шутку Бергяса.

— Да, да, господа! Я смотрю, сын моего друга Миколы не верит мне! А спросить бы его: видел ли он когда-нибудь глаза голодного зверя? Ну вот с такого расстояния, как мы стоим сейчас — рядом? У-у! Это непередаваемое зрелище! Страх! Дрожь по всему телу!

Видя, что слова его произвели на гостей впечатление, Бергяс позвал всех жёстом в сторону телеги, стоявшей неподалеку. Люди последовали его зову. Всяк уместился, где мог: кто на телеге, кто на кошке поблизости.

— Случилось это в тот год, когда отец с матерью в первый раз меня женили, — начал он рассказ. — Зима стояла суровая, снегу выпало в пояс. Весна задержалась... Скот начал падать от бескормицы. Гнали поредевшие стада к озеру на сухой камыш, да ведь камыш — не спасение. А тут волки разыгрались — рыщут стаями. Среди бела дня в хотон заскакивают. Пошли слухи: на пастухов нападает зверье, людей перестали бояться. В один из таких зимних дней получаю я известие: сильно заболел тесть. Старик зовет перед смертью сказать прощальное слово. Седлаю коня и — в путь. Побывал на Маинче, еду обратно. Время шло к вечеру, но еще не поздно. До дома осталось каких-нибудь десять верст; конь в силе, но вдруг заупряился, пятится, прядет ушами. Огрел плеткой — конь заржал да так жалобно, и на дыбы! И тут я заметил: по обеим сторонам дороги серые теи... Насчитал двенадцать матерых зверей. Так и сверкают глазищами, произывают насквозь. И тогда я подумал: не глаза, а звезды с небес! Плохая примета! Конь подо мной хороший был. Думаю: поверю назад — не догонят. Пока разворачивал взбесившегося коня, волки сошлись кольцом... Одни, здоровенный, с телка небось, вожак ихний, стал поперек дороги, разинул пасть... Плетка у меня была, подаренная тестем, — крепче дубинки. Размахнешься с коня, лишь бы по голове пришлось, не промажешь — череп наполам... В ярости, — неожиданно признался Бергяс, — я и сам волк! Думаю: ну, братец, коль сошлись на узкой дорожке, давай — кто кого. Взылась маля, встал я на стремя и со всего маху хрясь по этим самым «звездам»! Зверь — на бок и вытянулся.

Конь с места стрелой, я отпустил поводья! Не оглядываюсь, но чувствую: преследуют! Молюсь: лишь бы с конем ничего не случилось. Споткнется гиедой — обоих на куски разнесут. Всех богов своих и чужих перебрал и родителям умершим поклонился. И вдруг — мысль: куда же я Гиедка правлю? Подальше от жилья, в степь? До ближнего хотона по этой дороге не меньше тридцати верст. У коня уже селезенка екает от напряженного бега. Вспомнил: если взять правее, можно выйти на русский хутор. А это в пяти-шести верстах. Кручу голову коню, меняю направление. Конь, как на крыльях, несется — и ему смерть страшна. Пригляделся — впереди огонек! Слышу собачий лай, людские голоса. И лишь тогда осмелился глянуть назад. О, будда мой! Лучше бы мне екакать без оглядки! Слово небо пало на землю — столько в степи волчьих глаз! Впервые тогда я увидел, что снег бывает голубым. Голубой снег, голубая даль, подсиненные в сумерках сугробы. А по этому голубому полю движутся, словно тлеющие головешки, волчьи глаза! Остановись конь на минуту — и мы очутимся на небесах, среди других уже звезд! Сердце зашлось от страха опять, но появилась надежда на спасение.

Пока раздумывал, справа стал настигать нас длинный худющий — шерсть клоками — матерый зверюга. Бежит наметом, оглядывается, других поджидает. Подпустил его поближе, перевалился на правое стремя и всего маху врезал концом плети между ушей. Волк повернулся и лег. Шаг от шагу ближе хутор. Смелея, еще раз посмотрел назад: те же огни, рассыпанные по всей степи... Откуда, думаю, столько волчьих глаз? Ведь я насчитал двенадцать зверей, двух свалил плетью. Оставалось с десяток, значит, должно быть только двадцать звезд. Почему же вся степь устлана волчьими глазами? Кроме как на нас, им не на кого охотиться? А может, у страха глаза велики? Кто знает, могло и померещиться. В общем, прибились мы к хутору. Оказывается, пастухи давно увидели нашу беду и приготовились к защите. Несколько раз выстрелили из ружья. Но волки все чего-то ждали. Жадины глаза их сверкали в степи до рассвета. А вой голодных зверей... До утра на хуторе не сомкнули глаз, все ждали нападения.

Утром поехали по следу. Недалеко от хутора нашли скелет. Мой преследователь. Свои родичи изглодали.

Вот так я стал первым человеком в своем роду Чоносов, убившим волка. Это считалось большим грехом. Старики говорили: если припадлежишь к роду Чоносов, не трогай волка, на том свете ждет тебя страшная кара. А меня вот совратили на поединок сами же звери, будто я им стал на земле соперником. Сначала оторопел, разглядывая кости. Потом размыслил: раз они сами себя жрут, почему человек должен щадить таких? — заключил Бергяс вопросом свой рассказ и, не торопясь, достав из кармана красивую коробочку с дорогими папиросами, принялся угощать кюревом всех желающих.

С тех пор, как побывал у старика Хемби, Бергяс всякому, кто ехал по делам в Царицын, наказывал покупать для него по несколько пачек папирос в нарядных коробках. Вытаскивал он их из сундука только тогда, когда приезжали важные гости. Или же рисовался иной раз перед батраками своей щедростью. Одаривая счастливого длинной папироской, Бергяс ждал в ответ похвалы своему уму, доброму сердцу. Эту его слабость поняли люди. Подхалимы, не скупясь на слова, разыгрывали крайнее удивление: «Где ты добыл такое чудо, Бергяс? Небось только иионы и цари балуют себя таким душистым табачком?»

Когда гости начнут прищелкивать языком и пускаться в рассуждения насчет удачливости Бергяса, староста важно поглаживает себе живот и говорит безразлично:

— Ничего табачок. А откуда привезен — не знаю. Царь сам покупает, иногда своим иионам раздает по пачке. А мне что — выкурншь с утра — на целый день хорошее настроение. Другой раз и во сне чуешь этот запах.

А потом по аймаку пошли шуточки. Чуть кто-нибудь заговорит о хорошем запахе, тут же найдется остряк, заметит: «Не от Бергясова ли табачка у нас в доме так пахнет приятно?» Или муж брякнет невзначай супруге: «Пойду перед сном возле Бергяса потрусь, может, любить будешь ночью крепче».

До Бергяса, конечно, эти слухи тоже в конце концов дошли. Но от размалеванных папиросных коробочек отучить его уже было невозможно.

Затягиваясь легким дымком, Вадим попросил учителя перевести старосте его вопрос: как случилось, что его, Бергяса, род стали называть волчьим родом?

Бергяс отнесся к вопросу Вадима с подозрением; будто человек другой веры постучался в склеп его предков.

— История эта длинная, давняя... Поведать обо всем — ночи не хватит... Да и нужно ли? — он вздохнул, поморщился. После рассказа о волках ему хотелось освежить влагой рот.

— Эй, Сяхля, Така! — крикиул он в сторону кибитки. — Принесите-ка холодного кумыса. Да побольше! Гости же у нас.

Бергяс быстро-быстро заговорил о чем-то с Араши по-калмыцки, видимо прося помощи у учителя, чтобы тот уговорил русского студента не настаивать на своей просьбе.

Араши не соглашался с Бергясом.

Сошлись на том, что историю рода Чоносов расскажет Ээлян Овла, как он ее знает среди других степных легенд. Но отказать русским гостям в их просьбе будет неприлично — так утверждал учитель.

Большой кленовый ковш с прохладным кумысом обошел гостей.

Все шумно хвалили напиток и искусство хозяйки, умевшей его приготовить и преподнести ковш с учтивым поклоном.

Престарелый джаигарчи рад был удовлетворить любопытство необычного гостя. Ээлян нетерпеливо прошелся рукой по струнам домбры.

— Пусть святой будда поможет мне в этом рассказе, — тихо проговорил он, углубившись мыслью в седую древность.

Говорил джаигарчи медленно, с паузами, чтобы Араши смог все пересказать по-русски.

3

...Это было давно. Никто уже не помнит, сколько сотен годов прошло с той поры. В лоне России мы живем уже триста лет. А все, о чем пойдет наш рассказ, произошло до того, как предки наши приехали в здешние степи, и случилось это в Джуигарии. Калмыки тогда называли себя дервн-орд, ныне — ойроты. Жили кучками, семьями, каждое племя наособицу. Не ладили между собой, цапались, как кошка с собакой. То подерутся, то опять из одного корыта едят. Доходило до брато-

убийства. Целые племена вырезали под корень. Причина для вражды всегда найдется: за пастбище, за водопой вспыхнет свара... Из-за женщины сойдутся стенка на стенку...

Одно из таких небольших племен селилось в долине, окруженной с трех сторон высокими горами. А как те горы назывались в старину, никто уже сейчас не помнит. Племя было дружным. Летом пасли скот в горах, на зиму спускались в долину. Пастбищ хватало, скот плодился обильно. Но в последнее время зачастили в долину пришлые, характером не из смирных. Позарились на добыток дружного племени, решили вытеснить прежних хозяев из их долины. Начались кровавые стычки со злыми пришельцами. Дружные скотоводы умело защищались. Они хорошо знали местность, могли вовремя укрыться в горах от набегов, выбрать момент для ответного удара. Верх был всегда за домовитыми скотоводами. Они закрыли долину насыпью и в нужное время пускали навстречу разбойным кочевникам воду горных рек.

На если беда повадится в дом, не остановишь. На храбрых скотоводов напало сразу несколько племен. Сеча шла без перерыва две недели. За пики и секиры взялись не только мужчины, но женщины и подростки. Враги стали теснить последних защитников к запруде, стрелы полетели уже к кибиткам, на головы стариков и детей.

Видя такую беду, восьмилетний мальчонок выхватил из колыбели своего грудного братца и бежал в горы. Он слышал, что битва идет уже в селении, знал, что спасения от злых грабителей не будет, поэтому шел и шел в горы, сбивая себе ноги о каменистую тропу, спасал себя и несмышленого братика. Наконец силы оставили его, он сел на выступ скалы, осмотрелся и заметил поблизости между камней темную нору. Вечерело. Подул холодный ветер. Мальчик пополз в нору.

В норе было тихо, совсем тепло, и мальчик решил переждать там беду. Если победят свои, кто-нибудь придет за ними. Если суждено умереть, то не под пиками врагов... Отдохнув, наш храбрец пошел искать еду для себя и братца. Но, кроме ягод, ничего не удалось отыскать. Возвратился он к облюбованному ночлегу и увидел у входа огромную волчицу. «Спасая от двуногих

хищников, попал в логово четвероногих. Все, потерял я братишку! Зачем оставил одного?» — подумал он, цепенея от ужаса.

И тут мальчик вспомнил... За день до нападения врагов на их селение он с ребятами нашел в горах логово с четырьмя волчатами. Тронуть не посмели, боясь, что возвратится волчица, но, прибежав домой, сказали родителям. Охотники тут же снарядились и пошли к логову. Волчицу изловить не смогли, а волчат принесли домой и тут же прикончили. Теперь мальчик, искавший спасения для себя и брата, с ужасом понял, что найденная им нора — то самое логово, опустошенное недавно людьми! Выходит, он сам пришел на расплату!.. Конечно, волчица уже съела братишку. Сколько он слышал жутких историй о кровожадных волках! И паренек побрел прочь. Но вдруг остановился: «А что, если брат мой еще жив? Да если и съеден — я должен рассказать родителям все, как было!»

Набравшись духу, мальчик опять подошел к волчьему логову. Долго наблюдал за расщелиной между камнями. Наконец, переборов страх, мальчик нырнул в прохладную темноту норы. Приглядевшись, он увидел своего братика, живого... Тот спокойно спал и сыто причмокивал губами. Мальчику хотелось схватить брата и тут же бежать. Но малыш так сладко спал, что его жалко было будить. «Волчица, — рассуждал старший, — больше сюда не вернется. Она уверилась в том, что ее детенышей здесь нет, Она сыта, вокруг полно птицы и всякого мелкого зверья. Иначе она давно бы разорвала братишку. Не тронула — значит, не ее это добыча...» Паренек набил рот горьковатыми ягодами, пожевал и уснул.

Проснулся он от неясного шороха и острого противного запаха. Пригляделся и от страха едва не умер.

Братишка, лежавший на спине, громко чмокал, а над ним провисла отяжелевшим брюхом... волчица.

Проходили минуты, а может, секунды — мальчику казалось: длится вечность, начался испытания за грехи, о чем постоянно предупреждала мать.

Страх и отчаяние все еще не отпускали его. Но жить постоянно в страхе человек не может. Или страх победит человека, или человек победит страх. Третьего не дано.

Мальчик медленно приходил в себя. И теперь им владела лишь одна мысль. Ведь высосав молоко волчицы, братец сам превратится в волчонок. Такую легенду он уже слышал от старших. Как быть? Чем помешать злодейству зверя? События развивались именно так, как гласила легенда.

Но когда ребенок, насытившись, выпустил из губ сосок, волчица переступила через него, лизнула в темя и спокойно вышла из логова.

Первой мыслью старшего было поскорее схватить ребенка и броситься домой. Кто знает, может, там уже окончен бой, врага отогнали и родители уже разыскивают их. А если победили враги — в логово волчицы всегда можно возвратиться. Но, подумав, мальчик решил поначалу разведать. Печальное зрелище ожидало его на месте бывшего богатого поселения. Он не увидел ни одного живого человека. Бой уже давно отгремел, злые джунгарцы разграбили и сожгли кибитки, уцелевших людей угнали в плен.

Куда идти, на что надеяться? Кто теперь услышит мольбу сирот, кто поможет? Мальчик собрал остатки обгоревшего войлока и разное тряпье, сложил все это у дымящегося костра, лег. Ночь показалась ему бесконечной, хотя кругом буйствовала весна, птицы не умолкали до зари, ночи не были такими уж длинными.

Да, в памяти мальчика эта ночь так и осталась самой долгой. За ночь он состарился от горя, потому что когда поутру спустился к реке и, нагнувшись, увидел в воде свое отражение, он подумал, что из-за слез его выглядит кто-то другой, белый как лунь. Не веря глазам, мальчик выдериул несколько волосинок — они точно были белыми. Собрав вокруг пепелища кое-что из одежды, куски кошмы, он медленно побрел в горы.

Возвратившись, он застал братика лежащим спокойно. Малыш, увидев его, радостно заулыбался, протянул навстречу ручонки. Он хотел покормить малыша ягодами, но тот не брал их в рот. Волчица успела уже насытить своего приемыша.

Она стала приходиться два раза в сутки: вечером и утром. В это время старший замирал, притворившись спящим. Однажды, выйдя из норы, мальчик увидел тушу горной козы. Он хотел тут же разжечь огонь и изжарить кусок мяса. Но разжечь огонь не удалось. Тогда,

отыскав камень с острыми гранями, с большим трудом разделал тушу, немного пожевал сырого мяса. Потом в поисках огня сбегал в опустошенное селение. Огонь уже потух. Голод брал свое. И он научился есть сырое мясо.

Волчица уже стала появляться и тогда, когда старший брат бодрствовал. Для острастки он перекачивал с места на место камень, который служил ему и ножом, и молотом, и средством защиты, но волчица боялась лишь его взгляда. И наконец наступил момент, когда зверь и человек посмотрели друг на друга доверчиво. Глаза у волчицы оказались печальными, но не злыми, почти такими, как у человека, пережившего большое горе. «Почему у зверя не злые глаза? Ведь мой отец убил ее детенышей, а она нас спасает от голода и непогоды!»

С тех пор подружились зверь и человек. Они уже не боялись друг друга. Так прошло лето, осень и зима. Волчица приносила им то зайца, то куропатку. Паренек бродил по горам, запасался съедобными кореньями, орехами. Но к исходу зимы волчица стала появляться в логове все реже. Это беспокоило. А к весне опять зачастила. Мальчик так и не узнал причины ее долгих отлучек.

Весной в долине появились какие-то люди, поставили свои кибитки. Скот их стал растекаться по всей округе. Стада иногда забирались в горы. По отдельным приметам, по одежде пришельцев можно было догадаться, что долину обживают джунгарцы. Появляться в родных местах братьям было опасно.

В один из теплых деньков малыш приподнялся с четверенек и пошел на своих ножках. К той поре он, подобно старшему, научился уже питаться мясом. А волчица настолько привыкла к детям, что позволяла катать на себе малыша, которому забава эта очень нравилась. Однажды, когда дети особенно расшалились, балуясь с волчицей, всю эту картину узрел человек из племени завоевателей. Он закричал и скрылся. Быстро разнесся слух: «В горах живет низкорослый белоголовый гном! Вместе с волчицей они растят малыша... Тот малыш скачет верхом на волке!»

Собрались старейшины поселения, созвали лам, те начали вслух читать Желтую книгу и там вычитали, что увиденный ими человек — Белый Дед, хозяин всего сущего. Он приблизился к долине, чтобы в урочный час

отомстить разбойным племенам за кровь невинных людей. Есть у него и воин — железный мальчик. Не берут его ни пики, ни сабли. Мальчик тот, железный, скоро станет железным Вороном, и тогда великим грешникам должны придется отвечать за все грехи свои...

Вскоре вражеское поселение покинуло завоеванную ими благодатную долину.

Через три года волчица оставила человеческих детей. Возможно, у нее появились свои детеныши, а может быть, так положено у волков. Старший к этой поре научился охотиться. В пещере появился огонь.

А когда старшему исполнилось шестнадцать, а младшему восемь, они спустились в опустевшую, покинутую всеми долину. Из камней построили себе жилище, такое, каким оно было у их родителей. Занимались охотой, рыбной ловлей. В свою семнадцатую весну старший познакомился с пастушкой, из дальней долины. Юноша привел ее в дом. Через год у них родился сынок. Так появился род Чоносов. Людей этого рода долгое время сторонились соседние племена. Все говорили, что мужчины этого рода — потомки волков. В любой момент в них может проявиться зверь. И потому лучше держаться от них подальше... Так и поступали: если род Чоносов переключается на новое пастбище, прежние жители искали себе иного соседства. Чоносы процветали среди безлюдья. Даже разбойники не рисковали вступать с ними в драку. Вожаком Большого Чоноса был старший брат, а Малый Чонос возглавлял младший, вскормленный молоком волчицы. Два рода Чоносов есть и сейчас в Большом Дербете и на Дону. Вот такая история...

С тех пор людям из рода Чоносов воспрещалось охотиться на волков. Это считалось большим грехом. Бергяс первый их потомок, кто нарушил зарок предков, — подтвердил джангарчи, впрочем, без всякого осуждения Бергяса.

— Bravo, дорогой отец! — воскликнул Вадим, пожимая старческую руку Ээляна Овлы. — Это, конечно, легенда, но вы так живописно передали ее, что каждому слову веришь. Спасибо! Живите долго, как говорят у вас в степи.

Джангарчи устало провел по струнам домбры.

Араши добавил от себя:

— Письменных свидетельств о происхождении рода Чоносов нет. Но вероятнее всего это была. Ведь и в литературных источниках упоминаются случаи, когда волчица выкармливала человеческого ребенка. Здесь инстинкт материнства.

Вадим, все еще находясь под впечатлением рассказа Джангарчи, заметил:

— Я слышал: калмыки — монгольского происхождения, поэтому и думал, что их кочевья — остатки рассеянной в степи орды. Никто не берется сказать, так ли это?

Борис, видимо, разделял эту версию.

— Отец как-то говорил мне, что именно с тринадцатого века живут калмыки в этих местах.

Араши Чапчаев слегка усмехнулся, удивляясь заблуждениям студентов, затем пояснил:

— Историю калмыков лучше других знатоков исследовал петербургский профессор Позднеев. Ему принадлежит открытие истинного происхождения нынешних степняков Поволжья... Под сильным гнетом чингисхидов ойроты постепенно вымирали, были ничтожны до тех пор, пока во второй половине пятнадцатого века в среде их не появился предприимчивый и деятельный хан Эссен. Он объединил кочевых ойротов в единое могучее племя. Под главенством Эссена ойроты раздвинули свои владения от Саян до Великой китайской стены. Через столетие, не больше, началось движение степняков в разные стороны в поисках новых пастбищ. Одна часть племени переместилась к югу, дошла до Тянь-Шаня, другая двинулась на восток и рассеялась по всей долине Амура. И, наконец, третья часть, торгуты и дербеты, направились на северо-запад, к огромным просторам Сибири и Зауралья.

Что касается причин этого великого кочевья из Азии в Европу, то об этом по-разному говорят. Видно, ближе к истине такая версия: воинственные ойротские феодалы, нажив себе врага в лице китайских правителей, оказались к началу семнадцатого века наедине со многими своими бедами. Какое-то чутье подсказало им, что спасение их в той стороне, которую они меньше всего тревожили... И калмыки двинулись на запад.

Джангарчи, слушая все это, тихонько покачивал головой в знак согласия. Потом напомнил учителю:

— О посланцах к русскому царю не забудь сказать.

— Да, в феврале тысяча шестьсот восьмого года, — продолжал Араши, — калмыцкие послы были у царя Василия Шуйского. Сыны степей просили принять их в русское подданство, обязуясь служить русскому царю верой и правдой. Шуйский повелел удовлетворить просьбу калмыков, о чем была составлена царская грамота. Она хранится в архивах до сих пор. Так вольные дети Джунгарии стали сынами великой России.

— А вот само слово «калмык»... — начал было Вадим.

Араши засмеялся, довольный тем, что уж на этот счет он осведомлен как следует.

— Почти русское слово, — объяснил он. — Маленькая неточность при переводе. Мы себя называем «халимаки», а вы нас — калмыки... Ойроты, отделившиеся от основной ветви своего народа и пришедшие в Россию, были здесь окрещены в калмыков. Слово это происходит от тюркского «халимак», что в переводе означает — «отделившийся». Только и всего. Так вот, — продолжил Араши. — Весною тысяча шестьсот тридцатого года значительная часть калмыков из пятидесяти тысяч семей, подвластных Хо-Урлюку, прикочевала к левому берегу Волги. Конные, верблюжьи караваны и подводы разных форм и размеров заполнили левый берег на большом пространстве. Все, кто мог стоять на своих ногах, подошли к песчаному побережью, пали ниц перед великой рекой и совершили молитву.

«Пусть этот берег будет началом счастья для наших потомков! Пусть эти бесконечные воды отгородят от нас все беды, а земли другого берега станут для нас землей счастья!» — шептали старцы и внуки. Прежде чем перейти на другой берег, каждый калмык бросал в Волгу цаган меиген — серебряную монету. Калмыки и сейчас называют реку белой монетой.

Обратившись непосредственно к русским студентам, Араши напомнил:

— Сегодня вы слышали в песне из «Джангара» строки о счастливой стране Бумбе... Переход в русские владения был поистине счастливым для гоимых и притесняемых с востока ойротских племен. Обретенная после

долгих поисков земля у Волги воспета в древнем эпосе:

Где неизвестна зима, где всегда весна,
Где, не смолкая, ведут хороводы свои
Жаворонки сладкоголосые и соловьи;
Где и дожди подобны сладчайшей росе,
Где неизвестна смерть, где бессмертны все;
Где небеса в нетленной сняют красе,
Где неизвестна старость, где молоды все;
Благоуханная, сильных людей страна,
Обетованная богатырей страна...

4

Для Вадима Семиколенова встреча с Араши Чапчаевым была настоящей находкой. Учитель хорошо ориентировался в сложной политической ситуации времен нынешних и давних, мог уверенно обосновать поступки своих предков, не заносясь при этом и без нужды не умаляя достоинства своего гордого, немногочисленного народа.

Старики, судя по всему, тоже слушали речь Араши с уважением. На что уж Бергяс, считающий, что он-то хорошо знает историю калмыков, и он откровенно завидовал стройности и глубине рассказа учителя.

Борису все эти разговоры скоро наскучили. История слияния калмыков с русскими была не однажды обговорена в домашнем кругу Жидковых. Вывод устранивал и старшего и младшего: русские без калмыков обошлись бы в любом случае, а калмыки давно вымерли бы, не будь их хан таким ловкачом...

— Я вычитал у Пушкина, — сказал учителю Вадим, — что сто лет тому назад часть калмыков ушла за пределы России. Пушкин пишет и о причинах: несмотря на заслуги калмыков в охране южных границ России, русские приставы, пользуясь наивностью и трудолюбием калмыков, жестоко угнетали их, творили беззаконие, поступали как с крепостными. Жалобы степняков не доходили до царя, и тогда кочевники снялись со своих мест.

Араши закурил, обдумывая ответ. Ему нравился этот русоголовый студент с открытым ясным взглядом.

— То произошло не сто лет назад, а сто сорок, — уточнил Араши. — Великий русский поэт правильно понял причину волнений в калмыцком стане. Притеснения были, и сейчас их можно встретить бессчетно. Не зря

тогдашние калмыки говорили с горечью: «Лунь вырвался из пасти дракона, да попал в когти двуглавого орла».

Бергяс хотя и не все понимал, сказанное по-русски, последнюю фразу понял. Догадался он по невеселой интонации в голосе учителя о том, что толмач осуждает притеснителей. Каких? Прежних, времен крамольного хана Убуши или, может, говорят о нынешнем недовольстве табунщиков? Их сколько угодно! Только дай распустить язык!

— О чем ты так долго говоришь ему? — требовательно спросил Бергяс учителя. — Не забывай, что перед тобой приезжий человек! Бог знает, что у него на уме. Не ровен час, еще поймет, что мы все тут только и делаем, что осуждаем представителей власти. Кто дал нам такое право? Ты ведь и сам, Араши, знаешь: везде люди живут по-разному. Бедствует дурак или бражник по натуре, кому дело не дается в руки... Таких сколько хочешь и среди калмыков и среди русских.

Араши на всякий случай заверил Бергяса, что здесь, у его кибитки, не прозвучало ни одного слова в осуждение нынешних властей. А неверного хана Убуши ругают до сих пор в любом джолуме, чьи корни разрушены уводом в неизвестность тридцати тысяч предков...

Бергяс не принял заверений учителя. Лицо его отражало беспокойство, напряженные мысли, решимость. «Вдруг завтра о нашей болтовне здесь узнает попечитель? А знает эта хитрая бестия много! Не только знает, но и докладывает губернатору! За мой хлеб-соль я же и получу выволочку... Нет, дальше продолжать этот непонятный разговор нельзя».

С нангранной веселостью он обратился к собеседникам:

— Дорогие гости! Близок рассвет, давайте нальем по последней и спать. Завтра гал тяялгин по покойному Нохашку. Надеюсь, вы не забыли об этом?

Почтенные старики, а с ними сомлевший джангарчи, пошли вслед за Бергясом к кибитке, будто все ждалось его команды.

Борис тоже запросился на отдых, но Вадим продолжал бы разговор с этим толковым учителем до рассвета. Вадим готов был расспрашивать еще и еще, но учитель, ответив скороговоркой на последний его вопрос и

откланявшись, поспешно догнал джангарчи и бережно взял падающего от усталости старика под руку. Они заговорили по-калмыцки.

5

Настал третий день гостевания Вадима и Бориса в хотоне. Пробудившись, парни почувствовали вокруг звенящую тишину. Это поражающее воображение покой и слитность с природой могут понять лишь те, кто родился и вырос в степи. Вчерашний шум праздничного веселья, монотонная мелодия домбры, огневая, увлекающая пляска, стук каблуков, напоминающий бег степного аранзала, лихие выкрики плясунов: «Хадрись!» — все это казалось теперь ярким красочным сновидением.

Борис был уже на ногах. Он сидел одетым на неубранной кровати. Помятое, испитое лицо его скрашивала улыбка.

— Кузичиков слышу! — проговорил Вадим, сбрасывая одеяло. — Вот диво!

Они вышли из кибитки, когда солнце поднялось над горизонтом на длину выброшенного над головой аркана. Скот был угнан в степь, хотонские собаки, утомленные ночным шумом, дремали в тени. Степняки давно управились по хозяйству и спешили к джолуму Нохашка, чтобы присутствовать на обряде сопровождения духа усопшего к месту вечного покоя.

Подошел выспавшийся, улыбающийся учитель Араши со стариком Чотыном. Студентов пригласили в большую кибитку Бергяса на завтрак. Хозяина дома уже не было. Он, как глава рода, должен был руководить ритуалом обряда.

Церемония жертвоприношения в честь покойного длилась весь день. Из Дуид-хурула прибыли четверо священнослужителей. Хорошо понимая, что русским людям подробности буддийского обряда не так уж важны, Араши уговорил Бергяса отпустить их после обеда на озеро. Трое молодых людей поехали на то самое место, где еще позавчера Вадим и Борис отдыхали после долгой верховой езды. День, как и тогда, складывался жарким.

Интересный разговор не только скрашивает время. Плавая наперегонки, рассказывая друг другу житейские новости, юноши чувствовали все большее удовлетворение от встречи.

Вадим узнал, что Арашн Чапчаев в девятьсот девятом был арестован в Казани за участие в студенческом движении. Спасли его наставники из семинарии. Способный студент был взят на поруки. Велико было удивление Араши, когда Вадим начал пересказывать подробности «студенческого бунта». Ведь он был среди зачинщиков демонстрации учащейся молодежи, отбивался от конных жандармов камнями. Значит, они уже шли однажды в одной колонне!

Вадим не мог открыться учителю в том, что он не просто незадачливый студент, а один из руководителей Саратовского подполья, нынешний приезд в степь — отнюдь не досужный вояж в незнакомые места! Скромно заметил о себе: практикуется здесь фельдшером. Рассказал о случае с дочерью покойного Нохашка, которая чуть не погибла из-за камзола...

Араши отнесся к рассказу о Нюдле с пониманием. Но заговорил вдруг о Церене.

— Мне откровенно жаль мальчнка! — сказал учитель. — После обряда жертвоприношения семья осталась без всяких запасов. Церену грозит вечное батрачество. Я хотел увезти его к себе в школу, такой смывленный паренек, но он единственный кормилец в семье. Может, мы как-то сообща решим его судьбу?

Прежде чем ответить, Вадим оглянулся: Борнс все еще плескался на середине озера.

— Я бы, пожалуй, мог уговорить Жндкова-старшего оказать помощь семье Нохашка. Пока я на хуторе, кое-что выделю из своего жалованья... А там и вообще забрали бы паренька.

— Не отпустит его из своего хотона Бергяс, — сказал Араши с досадой. — До больной матери и его сестренки старосте дела нет, а Церен — готовый работник... И свой бесплатный толмач, на случай... Нет, Бергяс не отпустит. Вся степь стонет от нищеты, угнетения и невежества...

Молодые люди, порой перебивая друг друга, заговорили о бесправии бедняков на огромных пространствах богатой золотом, полями, пастбищами империи.

— То, что вы увидели за несколько дней в хотоне Бергяса, сможете увидеть в любом другом хотоне, — с горечью продолжил Араши. — Бергясово царство — капелька воды, вернее слеза вдовы Нохашка, в которой

отражается горькая доля всех бедных калмыков. Помощь нужна и отдельному человеку, и всему народу.

— И все же ждать недолго! Революция грядет! Начнется в больших городах, докатится и до калмыцких глубин! — со страстью заверил Вадим учителя.

— Сколько раз слышу об этом! — горестно воскликнул Араши. — Много в Казани слышал все о том же! А где она — эта революция? Пока дойдет до этих почерневших от горя кибиток, народ вымрет, задушат его Бергясы!

— Добрый мой друг, Араши! — утешал учителя Вадим. — Революцию никто ниоткуда не приведет на поводке. Если народ нуждается в переменах, он совершит эти перемены сам. Наше дело — готовить людей к протесту, растить заступников будущих перемен, воспитывать настоящих борцов...

Распрощались под вечер у озера — мальчик пригнал для учителя оседланного коня. Вадим долго смотрел вслед удалявшемуся Араши, пока тот не скрылся за подернутой маревом седой папайой кургана.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

С отъездом учителя, а затем и джангарчи веселья в хотоне сразу поубавилось. Переменился к русским гостям и Бергяс. На лице его заметно обозначилось напряжение прошедших дней, избыток выпитого и съеденного. Жадный ко всему в жизни, Бергяс был особенно несдержанным за столом. Теперь на нем сказывалось переедание: как обожравшийся пес, он выглядел вялым, тряслась отвисшая нижняя челюсть, мучила отрыжка... Бергяс хмурился, отворачивался от людей, казавшихся теперь излишне надоедливymi, искал любую возможность, чтобы уединиться, прилечь. Он едва поднял голову, чтобы попрощаться с Борисом и Вадимом. Даже ответные дары другу Миколу собирала по его приказанию Сяхля, он лишь отдавал распоряжения, чем заполнить дорожную сумку.

Вадима беспокоило отсутствие Церена, когда настали минуты расставания с хотонцами. Крепко пожав ру-

ку старику Чотыну, он не удержался от расспросов: как там в джолуме Нохашка? Поднялась ли девочка? Где мог быть сейчас юный толмач, так грубо изгнанный из кибитки Бергяса, как только там появились джангарчи и учитель...

— Церен с подпасками, должно быть, у гирла, — почти с уверенностью заявил старик. — Телят Бергяса обычно выгуливают в эту пору на перешейке между двух озер.

Это совпадало с направлением обратного пути Бориса и Вадима. Не успели студенты приглядеться к поредевшей в засуху гряде прибрежного камыша, как Церен вышел к ним навстречу в сопровождении двух заплаканных болотной жижей ребят. Один из напарников Церена был тот самый мальчик, у которого болели глаза. Вадим заметил: сейчас вид у Шорвы был не лучше, чем при первом знакомстве с ним. Да и откуда ждать облегчения? Жалость к страдающему пареньку сдавила Вадиму сердце. Сойдя с коня, он заговорил с Цереном:

— Ну, не отчаивайся, мужчина! Теперь на тебе целая семья... Жди добрых вестей: мы с учителем Араши не оставим тебя в беде... Он встретится с улусным попечителем, может, вам привезут на днях что-либо из одежды и еды...

Вадим отнюдь не был уверен, что их надежды с Араши сбудутся. Мальчик и сам это угадывал. Церену было просто хорошо сейчас от того, что вот совсем чужой человек, приехавший издалека, разговаривает с ним, как родной отец или старший брат. Да ведь и отец не все мог... Когда Вадим заговорил о еще более загадочном и отдаленном, сказал насчет возможной учебы в школе, Церен возразил твердо:

— От больной матери и сестренки я никуда!

— Ладно, мы еще об этом потолкуем, — согласился с мальчиком Вадим. — А сейчас вот что... Пока учитель выхлопочет вам помощь, возьми-ка от меня в дар немного денег... Купите пару овец и теленка.

Вадим протянул Церену смятую трехрублевку. Мальчик стоял, потупив взгляд, не брал деньги, и тогда Вадим сам втиснул согнутую пополам бумажку в оттопыренный карман рубахи.

— Ну, а что будем делать с тобой, дружок? — Ва-

дим перевел взгляд на замурзаниго подростка с припухшими веками. — Тебя, кажется, зовут Шорва?

Подростки закивали головой, а Церен подтвердил:

— Да, Шорва.

— Переведи ему, пожалуйста, Церен: я договорился с его отцом. Пусть они обязательно приезжают ко мне на Жидковский хутор... Пожить там придется недели две... Если не вылечу совсем, приостановлю болезнь. А там посоветуюсь с большими врачами. В этом деле тоже бывают удачи.

Когда Вадим, попрощавшись с подпасками, вспрыгнул на коня, к Церену, свесившись с седла, приблизился Борис. Молча резким движением втиснул в тот же кармашек с обтрепанными краями новую хрустящую десятку.

Церен обалдел от прихлынувшего счастья. Но он не спешил благодарить, стоял молча, будто на нем примеривали чужую, не для него сшитую сорочку, которую все равно нужно будет снять и возвратить владельцу. Только Шорва с его открытой и наивной душой улыбался во весь рот, радуясь за Церена. Его счастье было еще впереди. Шорва, видя, как щедры гости, крепко верил в слова Вадима об исцелении, а это было важнее денег: отец почти совсем ничего не видел... И вместо кормильца вскоре мог стать обузой для малолетних детей.

Борис вовсе не собирался раскошелиться ради этих чумазных пастушат, но поступок Вадима, отдавшего полусироте последние рубли, показался ему, сыну миллионера, вызывающим. Борис принял все это за позерство Вадима, за игру в благотворительность и решил пойти с «козырной» карты: на его три рубля ответил целой десяткой.

Уже отъехав немного, Вадим поравнялся с Борисом и крепко стукнул его ладонью по плечу, вложив в этот удар всю боль и обиду за его барскую выходку. Если Вадим отдал Церену последние рубли, отдал от чистого сердца, Борис со своей десяткой поступил как заправский купчишка.

— Ты меня радуешь, старик! — с иронией сказал Вадим, вспомнив слова из стихотворения, добавил: — Будем надеяться, что совесть господь пробудил.

— Ты меня тоже радуешь, — отозвался, отпуская по-

вод коия, Борис.— Чуть из седла не вытолкнул... Надеюсь, твой сентиментальный роман на этом закончен?

Вадим промолчал, думая о том, что поездка в степь, помимо других очень важных впечатлений, дала ему возможность лучше узнать Бориса. В домашней обстановке, в непринужденных спорах за чашкой чая с отцом о путях развития России, Борис, быть может поддаваясь настроением в студенческой среде, а может подражая Вадиму, нередко принимал его сторону. Борис хотел выглядеть перед отцом современным человеком, быть может, модным в суждениях... Здесь, находясь среди пастухов и табуищиков, Борис никак не мог снискать до их положения, не хотел общей доли с ними. В нем просыпался, давал себя знать барин, повелитель, владелец... Лучшее, на что он был способен — это швырнуть десятку, понадобится — сотню, лишь бы от него отстали, не мешали ему жить, как он хочет, пестовать в себе свое «я», понимать вещи такими, какими они сложились в его привычках. Странное дело, отмечал Вадим, дома Борис выставляется перед отцом неким прогрессистом, пугает миллионера потерей всех накоплений, да так пугает, будто своими руками готов поделить эту собственность между иными. Здесь, в иной обстановке, он выглядит скорее защитником собственности, стороиником бесправия низов, устроенного такими же людьми, как его отец...

«Борис может однажды предать! — заключил вдруг Вадим. — И вообще это их гостеприимство на хуторе — дело вынужденное для меня, пока успокоится охранка, потеряет след».

Когда русские отъехали, Шорва и Лабсан подбежали к стоявшему в нерешительности Церену, выхватили из его рук обе бумажки, которые он держал так, словно деньги жгли ему руки. Один взял в руки потертую трешку, другой хрустящую десятирублевку. По калмыцкой привычке они начали нюхать бумажки, рассматривать на свет: настоящие ли это деньги?

Из камышей показался Така. Тяжело переступая с ноги на ногу, сын Бергяса внимательно поглядел в сторону подпасков, но подойти ближе раздумал. Мальчишки, увидев Таку, тотчас вернули деньги Церену, всем своим видом показывая, что у них ничего особенного

не случилось, сошлись просто так, по ребячьим заботам. Така побрел сквозь камыши к хотону.

2

К обеду, когда пригнали телят на водопой, всему хотону было уже известно, что русские чуть не забросали Церена деньгами на прощанье, семье Нохашка привалило такое богатство... Особенно усердствовали в распространении слухов кумушки, падкие на любую новость. Иные не утерпели, пришли к джолуму Нохашка, чтобы и самим понюхать и посмотреть на свет подаренные на бедность пастушьей семье бумажки.

Где деньги, там — зависть... Уже начисто забыто о том, что лишь вчера справлялись скорбные и разорительные одновременно поминки по усопшему главе семьи, что больная вдова с двумя малолетними детьми осталась боса и нага в предзимье, а последний бычок и две ярочки пошли на угощение близких и дальних родственников, которые тут же забыли и о покойнике и о нуждах сирот. Сейчас словоохотливые соседки охали от изумления, тут же вслух толкли языками, не скупясь на советы, как распорядиться даровым приношением.

За околицей хотона, у колодца, о том же вели не очень сдержанный разговор мужчины, табуищики Бергяса да два-три праздных табакура. К ним с уздечкой в руке приблизился Така, знавший обо всем случившемся куда больше и точнее, чем любой из участников досужего разговора.

— Странное дело, — рассуждал пожилой табуищик, доставая бадью с водой из колодца. — Не родственники же они Нохашку, чтобы дарить сразу тринадцать рублей. Не махиула ли подолом Булгун? Почему в таком случае деньги вручают Церену? Или у неверных так принято — расплачиваться через детей, в виде подарка?

Он, конечно, шутил — пожилой табуищик, у которого жена была не из лучших. Однако ему вторил, не оспаривая, другой, совсем молодой, пригнавший лошадь к водопой.

— Как бы там ни было, но моя жена видела эти деньги своими глазами, в руках держала.

— Даром денег никто не даст, — летели по ветру дурные слова. — На вдову не спешите лить грязь. Ско-

рее всего Церен цапнул деньжонки из кошелька, пока русские спали после дороги...

Был этот заступник за вдову человек мрачного характера, с длинным лошадиным лицом, с толстыми мясистыми губами, голова — на длинной морщинистой шее... Он как-то загадочно улыбался, произнося страшные слова насчет воровства денег.

— Да, но после первой ночи они еще три раза ночевали у Бергяса. Могли бы хватиться своей потери, — не сдавался сторонник версии о бесстыдном заработке вдовы хотонский потаскун Бурат.

— Стащил мальчонка деньги перед отъездом, — упорствовал недоброжелатель Церена. — А в дороге кто деньги пересчитывает? Вернутся домой русские, обнаружат пропажу, и мы же будем виноваты.

Молодой табунщик, которому надоело спорить о том, чего оба спорщика толком не знают, заявил примирительно:

— Как бы там ни было, но Церен здорово языком щелкает по-русски. Сам Араш похвалил мальчонка... Говорят, его собираются забрать в школу. А твои балбесы, — обратился он к длинношеему, — так и вырастут тумаклами!

— Ха, мне что, — вывернулся тот, искоса взглянув на Таку. — Вон Така, сын старосты, а по-русски ни бельмеса.

Така повел злым взглядом по сгорбленной спине длинношеего. Он держал за повод разнузданного коня, намереваясь попойть скотину. И вдруг, накинув уздечку, вскочил в седло. «Болтайте, болтайте про Таку, я вам сейчас устрою такое — ахнете!»

— Обиделся, теперь отцу все расскажет, — сказал ему вслед молодой табунщик.

Отцу Така решил ничего не говорить о том, что слышал у колодца. Пока ехал к дому, у него созрел другой план. Зачем ему связываться с придурковатым Журавлем, как дразнили в степи длинношеего табунщика. Дерьмо не трогай — меньше вонн. Все дело в Церене. Теперь его захвалят в хотоне. А Така рядом с ним вечно будет выглядеть недоумком. Всякая собака цепляется за его короткую ногу. Теперь вот и на башку намекают. Не укоротить ли языки всем им? А насчет воровства

денег — неплохая придумка. Нужно только ее подкрепить как следует...

В кибитке отца, на сундуке, под дальним краем ковра всегда лежит большой кошелек. Туда отец положил и часы, переданные Миколой. Надо перепрятать этот кошелек, только и всего. А то и отвезти на озеро...

Така ликовал от своей задумки. Он поскакал домой. Коня привязал у малой кибитки. Переступив порог, он увидел кибитку прибранной: стол и стулья разнесены по своим местам. У очага мачеха и сводный брат, Саран, пили чай. Время было как раз обеденное. Увидев их за столом, Така попятился, хотел было ускользнуть за дверь.

— Садись с нами обедать, Така! — позвала мачеха.

Така замялся у порога, как чужой, раздумывая. Ему был неприятен голос Сяхли даже тогда, когда она звала его к столу. Сразу вспомнилась родная мать, она все делала по-иному, не говорила лишних слов: положит в миску мяса и погладит по голове...

Не очень-то памятный на добро Така, подросши, всякий раз вспоминал о родной матери, если Сяхля проявляла к нему ласку, будто хотела, чтобы он поскорее забыл о той, что дала ему жизнь.

Отхон умерла, когда Таке едва исполнилось пять лет. Она была тихой, неприметной, ходила, опустив голову, не смела посмотреть в глаза обидчику. Ничем внешние не уступая другим женщинам, она почему-то считала себя хуже других. На то была причина, все последние годы замужества угнетавшая ее. После смерти старших детей, а особенно после рождения увечного Таки, в ней поселился страх, сознание своей вины за угасание рода Бергяса и за уродство сына. Не без помощи Бергяса Отхон утвердилась в мысли, что она плохо молилась будде, выйдя замуж, и бог решил наказать ее за грехи. Те грехи не обязательно были ее собственные. По буддийским канонам каждый человек проходит некий круг судьбы. Не только отдельный человек, но и весь род его. Соверши кто-нибудь из прямых родичей грех, отмщение падет не только на его голову, но и на кого-либо из близких. Не сейчас — позже, в другом поколении, не тебе достанется от всевидящего бурхана, так сыну твоему или внуку!.. Кара найдет виновного и в загробной жизни.

Бергяс тоже знал об этих непререкаемых для буддиста понятиях греха и отщепенства. В семье он пользовался правами наместника будды, проводника его воли. Разъярясь по какому-либо случаю, он жестоко поносил и укорял жену за уродство сына. Она сносила упреки как должное и очень сочувствовала Бергясу, страдающему из-за ее очевидного подвоха. Прихрамывающий с первых самостоятельных шагов Така был вечным укором и ей и ее предкам.

Справедливости ради стоит сказать: Бергяс никогда не шел в своем гневе дальше грубых слов, не бил жены, в отличие от других мужчин хотона. Однако существуют вещи страшнее побоев. После того как Бергяс познакомился на охоте с зайсаном Хембей и несколько раз навестил своего нового знакомого в его доме, в Налтанхине, он как бы не замечал в доме собственную жену. Отхон перестала быть для Бергяса близким человеком, хозяйкой в доме, если угодно — членом семьи. Семейное дело такое: сейчас обойдешь постылого человека, а через час ненароком локтем зацепишься, проходя мимо, встретишься взглядом. Да и заботы не те, так другие напоминают о себе. Разговаривал Бергяс с женой, отводя глаза в сторону, будто говорил кому-то третьему. И все же это был еще не предел мучениям Отхон.

Настал день, и налтахинская зайсанша приехала погостить в хотон Чоносов. Отхон ничего плохого не думала ни о муже, ни о молодой зайсанше Сяяхле. Чтобы не мешать мужу по достоинству принять именитую гостью в большой кибитке, если зайсанша пожелает их навестить, Отхон перешла с сыном в малую кибитку. Там пришлось ей обосноваться надолго. В большую теперь она смела приходиться лишь по делам.

Бергяс не считал нужным заглянуть в новое пристанище жены и сына. Можно было подумать, что он совсем забыл о них.

Конечно, Отхон понимала всю несправедливость своего теперешнего существования, как понимала она безысходность судьбы замужней женщины в степи.

До выхода замуж, в родительском доме, калмыцкая девушка пользовалась не только равными правами с другими детьми, но, взрослея, обретала свои привилегии. Девушка в домашнем кругу могла позволить себе все, лишь бы ее шалости и шутки стерпели родители.

Задорная песенка, счастливый девичий смех, игра на вечерниках, когда сойдутся подружки и парни-ровесники, совсем не редкость в той кибитке, где вызревает в своей красоте и познает премудрости домашнего хозяйства девушка. Дочку берегли и отец и мать, не поручали ей того, что потяжелее, где больше сырости и грязи. Только коротким было счастье девушки в родительской семье, таким недолгим, как птичья песня по весне!

После свадебного обряда, навсегда переступив порог отчей кибитки, оставляла женщина все человеческие права и надежды. В кибитке мужа ее ждали только обязанности, покорность своему повелителю, долг. Утром хозяйке полагается встать раньше всех. Начало дня она определяет по линиям на ладони¹. Задолго до восхода солнца ей нужно выдонт коров, отогнать скот на пастбище, приготовить кумыс для перегонки на араку, растопить очаг, сбить масло... Хозяин пробуждается от запаха готовой пищи, говаривали в Калмыкии. Жена может прикоснуться к пище не раньше, чем накормит всех домашних. Ложится замужняя калмычка тоже позже всех, когда успокоятся в забытьи и свой и гость.

Все эти неписанные правила прошли перед глазами Отхон сызмальства, у нее и в мыслях не было усомниться в законности такого порядка, протестовать, изменять что-либо. Благо, что муж не заносит руки!.. Другим и того хуже: колотит подвыпивший муженек, изводит придирами свекровь, да еще и есть нечего.

Из этого тесного круга ограничений и правил выпали разве исключения для жен зайсанов и местных дворян — белокостных. Тем позволительно было вступить в беседу с мужчинами в застолье, высказать свое мнение, заступиться за другую женщину. Да и то, если речь шла о чем-нибудь домашнем.

Итак, Бергяс отрешился от своей супруги, давно уже не заглядывал в малую кибитку, не интересуется, живы ли они там с сыном... И такому его поведению покладистая Отхон находила объяснение: значит, пока не нужна хозяйну... Она так и называла Бергяса в разговоре с посторонними — хозяин!

Однако дальнейшее решение Бергяса потрясло ее замеревшую в неверном покое душу: муж настрого запре-

¹ Не имея часов, женщина смотрела на ладонь: если линии на ладони стали различными, значит, день для нее начался.

тил ей появляться в большой кибитке. Ее всегдашние обязанности по уходу за жильем, приготовлением пищи, шитье одежды Бергяс возложил на жену брата Лиджи, Бальджир. Женщина эта удалась на редкость иеловкой в работах и неряшливой. В доме вскоре все стало вверх дном, не столько приберет, как натаскает в кибитку навоза, от приготовленной пищи несло какими-то несвойственными ей запахами. Бергяс в сердцах нзругал Бальджир и прогнал. А на место нерадивой невестки позвал в дом дородную сноху деда Окаджн. Домовитая толстушка эта за какой-нибудь день-другой вернула кибитке былую опрятность, у нее был мелодичный, приятный голосок. Она умела озорно повести глазом в ответ на двусмысленную шутку старосты, снести его пристаивання без обиды.

Отхон, конечно, догадалась, почему потянуло в ее сторону от кибитки Бергяса мертвящим холодком. Но могла ли она поправить что-либо в ее теперешних отношениях с мужем? Измена мужа — не новость и для калмычек. Сколько помнит себя Отхон, разговоры шли между обманутыми женщинами. Ревновали, заклинали соперниц бедами, грозилась мужьям... Но все это было лишь между двумя соседками, чаще — дочь в слезах поделится своим непокоем с матерью. На том все и заканчивалось. Упрекнуть мужа в измене, устроить ему разнос, хлопнуть на прощанье дверью — такого не видела на своем веку покорная Отхон. С Бергясом и подавно не выйдешь на откровенный разговор. А начнешь — против тебя же этот разговор и обернется, да неизвестно чем закончится!

Прошло немало дней и ночей с тех пор, как Отхон оказалась в этом домашнем заточении, придуманном для нее своевольным супругом. Женщина чувствовала себя отрешенной от всего мира. Похоже, что Бергяс не разрешал и другим навещать Отхон. Появлялась только неумывающая сноха деда Окаджи. Раз в день она приходила, чтобы оставить на столе молоко, мясо, лепешку... Молча выложит все это из сумки, молча удалится. Иной раз ухмыльнется, глупая. Над чем тут смеяться? А может, и запретил хозяин молодке распускать язык?.. Так размышляла в те дни Отхон.

Прорывалась иногда к ней жена Чотына. Пока жива была. Успокаивала, как могла, обещала через мужа

замолвить слово в ее защиту. Но, видно, у хороших людей и век недолог. Умерла вскоре участливая жена хотонского мудреца.

Жизнь у Отхон стала совсем невыносимой. Разве может человек из дня в день слоняться как неприкаянный по сумрачной кибитке, не обмолвившись словом с другим, не прикладывая рук к работе? Уж отрядил бы ее Бергяс в степь пасти скот... Или к родителям отпустил... Однажды она, ни в чем не упрекая мужа, не спрашивая его о дальнейшем, заговорила о родителях, о давно болеющей матери. Бергяс, выслушав это, лишь посмотрел в ответ злым, пронизывающим взглядом, бедная Отхон съежилась, как от удара, и опять надолго замолкла.

И наступил тот день. Она проснулась совсем рано. Вскипятитла молоко для сына, нарезала лепешку, испеченную на коровьем масле. Все это она оставила на столе, прикрыв еду чистой тряпичей. А сама тихонько вышла, крепко заперев дверь снаружи. В сарае она разыскала кошелку и, взвалив ее на спину, заторопилась в степь. Кое-кто видел жену Бергяса, но особых размышлений на этот счет не последовало. Собирать кизяк — дело привычное для степнячки. По правде сказать, Отхон этим прежде не занималась. Топливом хозяйство старосты снабжали хотонские мальчишки. Между двумя кибитками Бергяса всегда возвышалась куча сухого кизяка...

Така не дождался своей мамы в тот день. Вечером сноха Окаджи привела зарезанного мальчишку к отцу, сказав, что матери его ни в кибитке, ни на подворье не видно. Бергяс испугался такого известия. Тут же были разосланы нарочные. Лишь на другой день к обеду Отхон обнаружили в старом колодце, верстах семи от Чоноса.

Така игрался во дворе, когда люди встревоженно закричали на окраине:

— Везут!.. Отхон везут!

Мальчик побежал навстречу скорбной процессии. Мать лежала на телеге, завернутая в старую, изъеденную молью кошму. Когда ее занесли в малую кибитку, Таке открылось страшное посиневшее лицо матери и чепрычато раздувшиеся ноги.

— Аака!.. Моя аака! — мальчик бросился к непод-

вижно лежащей матерн, но, прикоснувшись к холодному, как лед, телу, отпрянул и съежился... Он обмяк на чьих-то вздрагивающих от плача руках, потерял сознание.

С тех пор он не раз видел во сне распухшую женщину с синим лицом, свою мать. Мучительно раздуваемая после над причинной, толкнувшей мать к самоубийству, он в конце концов пришел к выводу, что мать утопилась, узнав о связи между отцом и Сяххлей.

С тех пор имя Сяххли стало нетерпимым для Таки. Мачеха при всей ее деликатности и старании ничем не могла смирить гнев пасынка. Снова и снова, уже когда он стал подростком, как наваждение приходило к нему в памяти то прохладное, мглистое утро, когда мать, омочив его сонное лицо слезами и поцеловав на прощанье, что-то говорила, говорила шепотом...

Лицо родной матери и выражение ее глаз постепенно стерлись в памяти. Осталось только посиневшее распухшее лицо и холодные ноги, едва прикрытые грязной кошмой.

Для Таки не существовало даже имени — Сяххля. Разговаривая о мачехе с другими, он называл ее: «она», «эта самая». А в обращении взял за правило окликать Сяххлю так, как Бергяс обычно окликал Отхон: «Эй!» Люто ненавидел Така и своего сводного брата, Сарана. Отца Така боялся — всегда, во всем. Боялся и завидовал ему. Хотел быть таким же, как Бергяс: строгим, властным, внушающим страх окружающим. И богатым хотел быть сынок старосты. Незаметно для себя подражал отцу...

В ненависти к Сяххле и Сарану Така чаще всего отыгрывался на малыше. Исподтишка пинал его, дразнил, науськивал уличных мальчишек, чтобы те колошматили Сарана. Однажды, оставшись с младшим наедине, Така чуть не впихнул ему в рот отравы.

Подрастая, Саран платил Таке молчаливой неприязнью.

Сяххля и Бергяс знали о непримиримой вражде между братьями. Знали, от кого исходит эта вражда. Думали: со временем все это как-то уладится, войдет и старший в разум, рассудок возьмет свое.

...И вот стоит старший у порога, тяжело соображает: сесть за стол с мачехой или поесть одному, после. Ся-хля, пригласив Таку, не настанвала. Она как ни в чем не бывало продолжала начатый, вероятно уже давно, разговор с Сараном:

— Это хорошо, что Нохашкинны получили от добрых людей немного денег. Теперь у них будет своя корова.

Така молча сел на свое место, придвинул к себе чай.

Саран предусмотрительно отодвинулся от Таки — старший имел привычку больно щипаться за столом.

— И я, мамочка, рад за Церена, — проговорил Саран весело. — Мне так не хотелось, чтобы Церен опять уехал на Дон!.. Кто тогда меня научит говорить по-русски?

Саран уже два года ходит в улусную школу. Пишет мальчик и читает бойко, но понимает прочитанное неважно. Церен учит его запоминать слова, затем из двух-трех слов они составляют фразу. Школа Церена тем интересна, что под открытым небом. Смотри на предмет и повторяй за Цереном неизвестное слово.

«Радуйтесь, радуйтесь, — злобно думал Така. — Долго ли вам придется веселиться?»

Вскоре Саран выбежал на улицу, мачеха удалилась по своим делам. Така, сидя на месте, сунул руку под ковер. Кошелек был на месте. В нем оказалось шесть пятаков и ни одной десятки!.. Досадно! Зато две трешницы! И часы!.. И все же нет десятки!.. Така не мог сообразить, как обойтись в данном случае без десятки?

Он приблизился к двери, воровато выглянул на улицу. Из-за кибитки послышался голос мачехи. Така не терпел этот голос! Была бы у него возможность, он, кажется, перервал бы мачехе глотку. Така возвратился, сел на прежнее место. От волнения на лице у него выступили крупные капли пота. Одним рывком, сидя на месте, вновь извлек из-под ковра возвращенный туда до поры кошелек. «Отец был в компании гостей пьяный, — пришла в голову мысль. — Разве он помнит, сколько и каких бумажек у него в кошельке».

Вначале Така решил спрятать кошелек под камни. Затем додумался наполнить его песком и выбросить в озеро. Второе решение показалось лучшим. Така оседлал коня и устремился к озеру. На полдороге задумался: у озера вечно ребята, есть любители нырять — ищут на

дне раков... И в озеро нельзя, и под камни рисковно. Этак любой случайный человек может запросто поживиться добычей. Еще и посмеется над дураком, скажет: у кого-то лишние деньги оказались. А в кошельке тридцать шесть рублей... В конце концов Така решил закопать отцовские рубли в кизяк. Сейчас топливо как раз на просушке, до зимы никому не понадобится. А там попозже можно и понадежнее спрятать.

Когда он уже затолкал кошелек под кучу высушенных и сложенных в кучу кизяков, заровнял свой клад, вдруг услышал за спиной шорох шагов.

— Ты что здесь делаешь? — спросил брата Саран, шедший из дома к озеру.

— А, паршивец! — зашипел на него Така. — Тебе бы только разваливать хорошо сложенные кучи. А меня потом мачеха заставляет заново складывать!

— Здесь была конура для щенка, — стал оправдываться пойманный на провинности мальчик. — Но щенок не захотел в этом домике жить.

— Ну, так мотай отсюда и больше не смей подглядывать! Не то я твоего щенка в озеро утоплю! — пугнул Така младшего.

Така поправил ногой аккуратно сложенную кучу подсохшего навоза и, отряхнув руки, побрел прочь.

3

После отъезда гостей Бергяс побывал в Дунд-хуруле и возвратился к вечеру изрядно выпившим. К ужину собралась вся семья. Ели свежую баранину. Сяяхля рассказала мужу о том, что их гости подарили Церену деньги. От себя она добавила, что русские парни оказались очень благородными — посочувствовал бедо- совсем незнакомого им калмычка. Так поступают лишь те, у кого доброе сердце...

— Наверное, у нас, калмыков, немного нашлось бы состоятельных людей, которые прониклись бы чужой бедой настолько, чтобы поделиться с другими куском хлеба, — сказала, радуясь за Нохашкиных, Сяяхля.

Бергяс в душе согласился с умной, рассудительной женой. Но тут же в нем взыграл дух противоречия.

— Не хочешь ли ты этим сказать, что Бергяс менее щедр, чем городские студенты? — он вскинул лохматую

бровь. — Да я, может, дойную корову отрядил Нохашкам.

— Спасибо, Бергяс... Я слышала об этом. Но ведь вы — родственник сиротам, а русские им кто?

Така решил, что наступила пора и ему вмешаться в разговор. Начал он с сообщения:

— Табунщики сегодня говорили у колодца, что Церен те деньги сташил, когда русские спали... Ну, а после отъезда гостей объявил, что, мол, денежки подарены.

Обычно Бергяс не доверял слабоумному Таке и не придавал его рассуждениям особого значения. Но здесь не предположения Таки, а людская молва!

— Может, люди и правы! — воскликнул Бергяс. — Так запросто деньгами никто не бросается!

— Ой, Бергяс!.. Не торопись вывалить в грязи невинную душу! — предупредила Сяхля. — Не впасть бы в грех!

После этих слов Бергяс, будто по велению нагих глаз Таки, отодвинул в сторону чашку с шулюном, принялся ощупывать ковер. Ничего там не обнаружив, торпливо встал, снял с бараа два верхних сундука, потом ящик и сбросил ковер наземь.

— Хотел бы я знать, между прочим, куда подевался мой кошелек! А в нем подаренные Миколой дорогие часы?

Така встал со своего места, будто потрясенный. Лишь Сяхля не растерялась, но побледнела, как от неожиданной пощечины: ведь хозяйка в доме она и всякая пропажа касается прежде всего ее.

— О чем вы говорите, мой хозяин? Неужели в нашей кибитке побывали воры в ваше отсутствие? Если так, то виновата я, хранительница очага!

— Тогда говори сейчас же, где кошелек?

— Будем все искать! — Сяхля обвела взглядом сыновей. — Кошелек не мог взять чужой. Случается и так, что владелец сам обронит кошелек.

— Выходит, что виноват я? — вскричал Бергяс. — Я настолько дурной и пьяный, что выронил кошелек и теперь спрашиваю с вас? Ха, вы еще рассказываете мне байки о щедрых русских, подаривших калмычонку целое состояние... Да Церен — несчастный воришка! Он все время ошивался здесь. Вот тебе и толмач! Слишком

большую плату он захотел за свое баранье бляенье в моей кибитке.

Бергяс кинулся к стене, снял тяжелую плеть-малю. — Опомнитесь! — вскричала Сяхля. — Побойтесь бога! Он остался единственным кормильцем в семье. Как у вас поворачивается язык нести на сироту напраслину? Неужели у вас нет сердца? — Сяхля едва сдерживала слезы.

Така ликовал. Игра, кажется, удалась! Сердобольный Саран, понявший, какая беда грозила Церену, ползал на коленках между коврами, у сундуков, сзади барана — искал кошелек.

— Така, нди позови Лиджи! — как бы успокоившись, сказал Бергяс. Когда хромоногий удалился, староста нервно заходил по кибитке взад-вперед, выдавая крайнее волнение. Впервые у него дома пропадали какие-либо ценности.

— Сколько же там было денег, Бергяс? — спросила на всякий случай Сяхля. Она чувствовала: Бергяс уже принял решение.

— Не имеет значения! — рявкнул староста. — Сколько бы там ни было... Как он смел, этот паршивый мальчишка, протянуть руки к чужому добру?

— Может, не стоит из-за небольшой суммы поднимать шум? — предупредила Сяхля, хотя знала, что ей уже не удержать мужа в его злом намерении.

— Дело не в сумме!.. Никто не смеет трогать мои вещи в моей кибитке! Ты поняла это? Ну, вот, а кое-кто до сих пор не понимает.

Вошел тучный с лоснящимся лицом Лиджи, стал посредине кибитки, вопросительно глядя на брата.

— Приведи ко мне этого чертенка! — распорядился Бергяс. Поняв по пустым глазам Лиджи, что тот не знает, о ком речь, разъяснил: — Нохашкина сына доставь ко мне, сейчас же!..

Церена втокнули в кибитку, будто арестованного. Каменнолицыми стражами встали за его спиной Лиджи и Така.

— Ну-ка, подойди сюда поближе, толмач! — приказал Бергяс. — А теперь посмотри мне прямо в глаза, и — не моргать.

Церен хотя и боялся старосты, но смотрел на него открыто, в упор.

— Какой наглец! И глаз не отведет! — ярился Бергяс. — Такому все нипочем... Говори, где деньги? Все говори, как на исповеди!

— Деньги у ааки, — ответил Церен, весь колотясь от страха.

— Где тринадцать рублей, мы знаем! А остальные где? Куда часы подевал, рассказывай!

Бергяс, не дождавшись ответа, ударил мальчика по щеке. Церен закачался, но не упал.

Сердце Церена одеревенело, он не понимал, почему с ним так зло говорят, за что бьют? Какие деньги — «остальные»? Про какие часы говорит староста?

— Признавайся, где кошелек? — Бергяс крепко держал его за воротник рубашки.

— Не знаю, о каком кошельке вы говорите? — пролепетал Церен.

— А, не знаешь! — Бергяс со всего маха ударил паренька по лицу.

Церен рухнул как подкошенный. Тут Сяхля выбежала из-за полога, стала между мужем и Цереном, принялась тормошить мальчика. Видя, что муж не отступится, она решительно заслонила собой мальчишку.

— Если вам так неймется, бейте меня, Бергяс! — в ее взгляде был тот самый огонь, который всегда ослеплял Бергяса. Жена редко бывала столь гневной и решительной. Рассудок подсказал Бергясу: Сяхля сейчас на том рубеже, когда никто не знает, что произойдет, если этот рубеж переступить.

— Если не боитесь суда людского, побойтесь бога! Вы не калмык, Бергяс! Вы забыли пословицу: увидев перед собой вшу, не вынимай из ножны кинжала! — твердо напомнила Сяхля, едва сдерживая себя.

— А, шут с ним, — сказал Бергяс устало, опускаясь на ковер. — Уведи его, Лиджи, с моих глаз, а то действительно прикончу ненароком.

Бергяс знал: если он не смог чего добиться от батрака или табунщика, завершит дело Лиджи.

С этой минуты в кибитке распоряжалась Сяхля.

— Лиджи, Така! Не смейте Церена пальцем тронуть!.. Церен, подожди, я сама отведу тебя домой! — Сяхля была на пределе своего возмущения.

— Тоже нашлась провожатая! — буркнул Лиджи. — Небось и сам дорогу найдет.

Вскоре все они ушли. Бергяс, оставшись один, потянулся к водке.

Когда Сяхля, проводив избитого Церена, покинула джолум Нохашка, там появились Лнджи и Така. Невзирая на рыдания матери, они подступились к Церену с требованием сознаться в краже.

— Така! — воскликнул мальчнк, преодолевая боль. — Чего же ты не скажешь отцу, что видел своими глазами, как русские давали мне деньги?.. Если ты не скажешь правды, об этом все равно скажут другие, у кого совесть еще не потеряна!

После этих слов Така стнх. Он вдруг согласился пойти к Лабсану или Шорве. На самом деле Така хотел лишь вызвать Церена из дому. Собрав мальчишек у околицы, Лнджи и Така стали допрашивать их по одному, в сторонке. Слабовольного Лабсана они довольно скоро заставили отказаться от защиты Церена. После двух-трех увесистых оплеух он стал повторять за взрослыми, что не видел никаких денег. Но Шорва лгать отказался. Избитый еще больше, чем Церен, он твердил лишь о том, что сам видел: русские точно дали две бумажки Церену.

— Ты же слеп, как курница на нашесте! — издевался над Шорвой Така. — Что ты вообще смыслишь в деньгах?.. Ну, говорн, слепыры!..

Шорва и Церен, поддерживая друг друга, еле добрались до дома.

На следующее утро, еще до восхода солнца, к кибитке Бергяса прибежала растрепанная, вся в слезах, проводшая бессонную ночь мать Церена — Булгун. Вид ее был ужасен! Она совсем недавно похоронила мужа, едва не умерла дочь, а тут беда свалилась на сына! «Люди добрые! Скажите же, за что на одну семью столько страдания!»

— Если вам нужна моя жизнь, возьмите ее! — Булгун разорвала ворот рубашки и преградила дорогу вышедшему из кибитки Бергясу. — Пощадите детей, вы же глава всего рода!

— Будешь вопить спозаранку на весь хотон, — сказал ей, оглядываясь по сторонам, Бергяс, — я велю связать тебя и отправить в город... Там есть больница для таких, как ты!

— Вы все можете!.. Ничего святого в душе! Вы сов-

сем забыли бога! — выкрикивала в отчаянии Булгун. — Отступитесь от моих детей!

Она рванула ворот еще раз, пуговицы отлетели. С обнаженной грудью, растрепанная, с остекленелыми глазами Булгун была страшна в этот миг.

— Сейчас же замолчи! — приказал Бергяс. — Если ты не перестанешь сыпать проклятия во время восхода солнца, я убью тебя своими руками!

Из кибитки выбежала Сяхля, со слезами обхватила за плечи обезумевшую от горя женщину.

— Милая Булгун, я все знаю. Это я виновата! Мне нужно было посидеть у вас, пока эти изверги не ушли от джолума! Успокойся! Я отыщу этот проклятый кошелек и заставлю мужа наказать виновных! Прошу, пожалуйста, ради меня: не проклинай мужа в момент восхода солнца! Побереги себя и нас!

От участливых слов Сяхли Булгун пришла немного в себя. У калмыков существует поверье: если при восходе солнца или в момент заката человек пожелает другому плохое, заклятье это исполнится. Люди остерегаются тех, кто не сдержан и может в забывчивости кинуть сорное слово с утра или под вечер. Не зря Бергяс, а затем и Сяхля испугались отчаявшейся в горе матери Церена. За ночь она не сомкнула глаз над избитым сыном. Опомнившись, Булгун стала уверять Сяхлю, что она не таила зла на Бергяса — ей жаль несчастного ребенка... Кто же его пожалеет, если не родная мать?

Убитая горем женщина смирилась перед голосом разума и участливым словом такой же матери, как она, смирила свой гнев, бросила под ноги своему врагу грозное оружие.

Бергяс же не пересилил в себе вставшего на дыбы зверя. Он перебирал в уме все возможное и невозможное, чтобы доказать свою силу и власть над непокорными, пресечь своеволие. Исчезновение кошелька он так или иначе связывал с приездом русских. Но русские были не случайные люди, не нищий народец. Значит, кто-то из своих... Кто же? Ближе всех к кошельку сидел Церен. Нужно выдавить из него признание!

Когда солнце уже заметно поднялось, Булгун опять пришла к кибитке старосты. На этот раз она была поч-

ти спокойной. Женщина тоже искала истины и ради спасения сына придумала сама для себя казнь.

— Я пришла сказать вам, что готова на все. Если иужно, я стану на колени перед бурхан-багши¹ при горящих лампадах. Я дам клятву, что мой сын честен! Он не трогал вашего кошелька. Если же мы виноваты, пусть нас накажет бог!

Булгуи стала у порога кибитки на колени, сложила ладони, подняв их на уровень лба.

Бергяс упрямо созерцал все это, думая о своем. Женщина продолжала:

— Если такой клятвы покажется мало, я готова... я готова идти на то, чтобы зажарить живую мышь в раскаленном котле. Любой клятвой пытайте меня, но отведите напраслину от моего сына!

Она зарыдала, пряча лицо в растрепанные волосы.

Что-то дельное показалось старосте в отчаянных словах вдовы. Клятва с поджаренной живой мышью? Он слышал об этом испытании в детстве. Предки прибегали к такой попытке подозреваемых. Правда, эта палка о двух концах. Она может ударить и по обвиняемому. Но в чем здесь риск для самого Бергяса? Кошелек-то у вора или у Бергяса? И почему он должен бояться клятвы? Согласно преданию, если виновного не удастся обнаружить обычным путем, то тех, кого подозревают, приводят к костру. Обвиняемый зажигает перед ликом будды лампаду, приносит живую мышь и бросает в котел. Мышь, конечно, в первое время бежит себе по еще теплому котлу. Когда совсем припечет, мышь падает замертво, глаза у нее лопаются. В эту минуту, гласит поверье, у действительного преступника глаза тоже лопаются, но если он не виновен,—вылазят они у того, кто его опозорил своим подозрением, заставил клясться на людском кругу... Если Булгуи была уверена в невинности сына,—ей это подсказывало материнское чутье,—Бергяс при всей нахрапистости его натуры все же сомневался в злодействе Церена. Затевать пытку с мышью в котле было для него риском большим, чем для несчастной вдовы. Бергяс видел: Булгуи еле держится на ногах, гаснет, будто свеча. Она может не вынести напряжения. «И все-таки,—думал Бергяс,—нужно показать другим, что старшему нельзя перечесть.

¹ Бурхан-багши — будда.

Я пойду на все, если кому вздумается возвыситься надо мной, тем более посмеяться, утащив кошелек».

— Вижу, ты стала совсем храброй, Булгун! Не боишься предстать перед лицом самого бога! — медленно заговорил Бергяс, пронзая сникшую женщину взглядом. — Иди и еще раз подумай!

— Я готова на все! Чтобы спасти честь сына и доброе имя покойного главы семьи... Чтобы другим неповадно было упрекать: умер Нохашк, а сына понесло, как былинку по ветру!.. Не нашлось заступника среди людей — пойду за помощью к богу.

— Ты что же, решила сама... зажечь свечу у котла? — спросил Бергяс. — Не его посылаешь на исповедь?

— Нет, сама зажгу... Церен еще ребенок... Вся душа его видна насквозь. Сын мой чист перед людьми. Если грешна я, пусть лишусь своих глаз.

— Хорошо, если ты так решила. Только принеси его шапку¹. Поскольку кража произошла в моем доме, обряд будем совершать здесь, после обеда. И все же ты, мать, еще раз пораскинь своим умишком... Не всякую бабью глупость нужно нести к святому будде! Бог милостив, но во гневе и он беспощаден к тому, кто не чтит его заповеди. А то, может, поладим как-нибудь? Проучили парня, и хватит! Я готов простить...

— Ваше прощение хуже казни! — еле слышно проговорила вдова.

4

Время приближалось к обеду... Перед тем как идти к Бергясу, Булгун склонилась над сыном, опустила ему ладонь на лоб. Все тело мальчика так и пылало. Кроваподтеки и сняжки после примочек начали бледнеть, но Церен метался в бреду. Возможно, у него что-то повреждено внутри. Сжавшаяся от страха за судьбу сына Булгун готова была сейчас выцарапать глаза обидчикам. И все же решила еще раз поговорить. Ведь этот разговор мог оказаться для них последним.

— Сынок, сынок, — позвала Булгун сухим, звенящим шепотом. — Скажи мне, родной, тебе действительно дали деньги эти русские парни?

¹ Шапка подвергаемого испытанию должна находиться там, где совершается обряд.

Она вернула сыну, и сомнений у нее не было, но ей еще раз хотелось услышать его слова, чтобы укрепиться перед этим страшным испытанием.

Цереи приподнялся на локте и с тоской посмотрел на мать.

— Аака, неужели и ты перестала верить мне? Как же теперь мне жить, если и ты...

Он зарылся лицом в подушку, вздрагивая всем телом.

«Слава бурхану! Сын к этому грязному делу точно не причастен! — подумала Булгун. — Ну, а я и былинки курая за свою жизнь с чужого подворья не взяла! Чего же мне страшиться?!»

Прихватив шапку сына, Булгун переступила порог своего джолума с такой уверенностью, будто шла казнить обидчиков сына, и сам бог, союзник праведных, был ей в помощь.

На улице, возле большой кибитки Бергяса, она увидела нетерпеливо галдящую толпу. Собрались стар и мал. Все напряженно уставилось на нее, печально бредущую от одиноко стоявшего с краю хотона джолума Нохашка. Эти молчаливые, угрюмые взгляды сковывали движения, хотя Булгун понимала, что люди жалеют ее и ненавидят Бергяса. Ненавидят за бессердечие. Ведь староста готов вместо мыши загнать в раскаленный котел человека! Ей было жаль себя, жаль мальчика, мучающегося сейчас в жару, жаль понурившуюся толпу людей — все понимают и молчат!

Она верила в свою победу над неправотой Бергяса. Когда ее материнский суд свершится, то и безропотные, потерявшие веру в справедливость хотонцы тоже поверят... И тогда захлебнется Бергяс желчью зла и бесчестия. Должна же когда-нибудь сгнуться неправота имущих власть над другими?

Люди расступились перед Булгун, образовав коридор. Она прошла по нему, ни на кого не глядя. Кто-то сунул ей в руку коробок спичек. Лиджи закрыл за ней дверь кибитки и взял потертую заячью шапку Цереина.

В кибитке было темно — закрыт дымоход и боковые щели. Булгун зажгла спичку и увидела перед собой на невысокой подставке медного и многоликого, многорукого будду. Это был спокойный божок размером с пятилетнего ребенка. Молясь, Булгун засветила лам-

пады. Лик будды был печален в слабом свете, словно осуждал людей за их земную суетность! А еще Булгун показалось, что он жалеет ее, многострадальную мать. Ведь он сам был сыном.

— О, великий будда,— прошептала она.— Мой сын — честный мальчик, он никогда не тронет чужого! Защити нас!

Булгун оглянулась. Лиджи, сопя и поругиваясь, пристранвал над дверью коромысло. На одном конце кривой палки качалась шапка Церена, а на другом Лиджи подвешивал берцовую баранью кость вроде гири, чтобы шапка держалась ровно. Если шапка легче берцовой кости, то в нее подсыпают горсть золы. Все так и должно остаться непркосновенным трое суток. Если перетянет шапка, считается, что хозяин шапки виновен, а если на третьи сутки отяжелеет кость — она принесет несчастному оправдание.

— О, хяэрхан! — Булгун опустила на колени, свела ладони на уровне лица.— Ты лишил меня шестерых детей за мои грехи! Ты взял к себе моего несчастного мужа, кормильца оставшихся! Тебе угодно было приковать к постели тяжким недугом мою единственную дочь!.. Но зачем ты позволяешь казнить мою отраду, мою надежду — сына? Неужели ты не видишь, что творится вокруг? Отведи, боже, от моего бедного джолума завистливые взгляды, злые наветы, проклятья, вражду! Спаси нас, о будда, от напрасны!

Женщина склонилась еще ниже, коснулась головой холодных коленей медной статуи.

— Ты же видишь, что мой сын — не вор, он никогда не позарится на чужое, свято блюдет твои заповеди, живет с малых лет трудом наравне со взрослыми! Так отведи от его головы карающую руку, в душу всели надежду на исцеление... Деньги, что дал моему сыну добрые люди — вот они!.. Я принесла их показать тебе, бог наш. Убедись и ты, что это совсем не Бергясовы деньги! Успокой сердце Бергяса, отведи его злые глаза от джолума Нохашка... Кошелек Бергяса украл кто-то другой! Ты же знаешь о том, всевидящий боже? Защити нас от напасти, укажи правильный путь тем, кто во гневе страшнее зверя и не знает пощады. Спаси нас, о великий будда, заступник всех обездоленных.

Булгун была близка к обмороку. Она уже не говорила, а выкрикивала слова сквозь рыдания.

Лиджи, слушая все это, предупредил от порога:

— Говори о кошельке и — короче! Не забудь о клятве! У будды тоже много всяких дел, он может рассердиться, если просят обо всем сразу.

Булгун испуганно замолкла.

— Ах, всемогущий боже! — собравшись с силами, заговорила она. — Я пришла, чтобы очиститься от навета. Прости, пожалуйста, мою бабью слабость! Клянусь тебе в том, что сын мой не крал чужих денег ни сейчас и никогда раньше. Если я говорю неправду, мой будда... накажи меня. Я готова принять любые страдания, если солгала тебе хоть одним словом!

Булгун, обессиленная, приткнулась инчком у самых ног будды. Слова ее слышали все, кто стоял вокруг кибитки. Задним вполголоса передавали ближине. Иные повторяли вслед за Булгун ее клятву, вытирая кончиками платков глаза, читали молитву.

Булгун припала головой к ногам будды и молчала, толпа тоже смолкла. Наступила тягостная, страшная минута немoty. Дыхание людей стало чаще, будто они прибежали только что из дальних отгонов, хотя не трогались с места уже битый час. «Неужели будда сразил ее на месте?» — застыл в глазах одиохотонцев вопрос.

— Встает, бедняжка, поднимается! — радостный возглас пронесся над толпой.

Какая-то женщина, охнув, потеряла сознание. Люди кричали, радовались и обнимали друг друга. Всеобщее ликование пришло на смену тягостной немоте. Все славили будду, его прозорливый ум, справедливость. Если бы в эту минуту разразился гром и белую кибитку Бергеса охватило пламя, люди вопли бы от восторга, плясали бы вокруг божьего огня. Но ни пожара, ни другого какого чуда не случилось.

Булгун медленно поднялась и, коснувшись ладонями лба, стала пятиться к выходу. Она хорошо помнила о том, что нельзя к богу поворачиваться спиной. У порога Булгун остановилась.

— О, великий бог наш, прости грехи мои! — сказала во всеуслышание женщина, подняла голову и посмотрела вверх, туда, где качалось коромысло. На какой-то

миг ей показалось, что шапка пошла вниз... Обессиленная от напряжения Булгун упала как подкошенная.

Толпа снова погрузилась в тягостное, зловещее молчание.

Бездыханную, обвисшую на руках Булгун двое мужчин вынесли из кибитки и опустили на телегу, на которой все это время в раздумье сидел Бергяс.

— Если вода, бегущая с вершины горы, неизбежно оказывается у подножия, то и злодеяние человека завершается возмездием! — Бергяс зло сверкнул глазами и попятился от телеги. Он даже не взглянул на Булгун, словно заранее знал, чем все это кончится.

Люди угрюмо наблюдали за Бергясом.

— Так вот помните, люди! — обратился староста к толпе. — Что говорил ей — и для вас повторяю: с богом нельзя играть в прятки, а старшего — слушаться!

Слова эти устрашающе прокатились над головами людей. Толпа безмолвствовала. Лишь кто-то язвительно цокал языком да вдаль прокатился степью перестук подков. Какой-то счастливцев скакал своей дорогой, не ведая пока о страшной минуте, переживаемой людьми хотона Чонос.

Толпа стала растекаться. Около Булгун хлопотали несколько сердобольных старух и Сяхля. К матерн подбежал Саран, тронул ее за рукав платья.

— Что тебе еще? — спросила, не оборачиваясь, Сяхля. Она пыталась влить в рот Булгун глоток воды.

— Мама!.. Я нашел кошелек!.. В кизяке, под самым ннзом. Он там лежит.

Сяхля побежала вслед за сыном. Одна из женщин, не веря своим ушам, тоже поспешила к горке сохнувшего посреди двора кизяка. Сяхля дрожащими руками вынула нижние кирпичики, пошарила и наткнулась на что-то. Лицо ее исказилось от отчаяния. Да, это был тот самый злосчастный кошелек. Сяхля щелкнула замком: там оказались часы и деньги, стоявшие жизни человеку, принесшие потрясенье всему хотону.

— Нашелся ваш бесценный кошелек! — воскликнула Сяхля, увидев мужа близ кибитки. — Какой стыд, Бергяс! Я же вам говорила, что пропажа ваша дома!

— Значит, это ты и спрятала, если так говорила! —

голос Бергяса прозвучал фальцетом. Испугавшись своего же голоса, староста нырнул в кибитку.

Така тем временем поспешно седлал коня.

Бергяс выскочил мгновенно, теперь в руках его была грозная маля, с которой он выезжал только на волков.

Еще одна фраза Сяяхли, исполненная горечи и упреков мужу, его растерянный ответ — и Така, проявив недюжинную ловкость, был уже в седле. Пришпоренный конь с места пошел галопом и скрылся в сумерках.

Люди, начинавшие было расходиться, стекались ручейками обратно к кибитке старосты. Булгун слабо стонала на телеге, придя в сознание

— Вернуть Таку! — кричал кому-то Бергяс. — Куда подевался Лиджи? Или он думает, что все это его не касается? Хотел бы я сейчас видеть человека, который придумал такую злую шутку надо мной! — вопил он, потрясая плетью.

— Возьмите себя в руки, Бергяс! Вы еще не один раз будете сидеть нос к носу с тем, кто спрятал кошелек, — говорила, негодуя, Сяяхля.

Бергяс озираясь как безумный, отшвырнул в сторону плетъ, он вцепился в кошелек, разодрал его, принялся рвать и топтать деньги, мелькнули золотой звездочкой часы, заброшенные в степь. Ни один человек не кинулся их поднять или притронуться к рассыпавшимся деньгам. Никто не произнес ни слова в утешение владельца кошелька.

Людской круг около Бергяса сомкнулся. Он становился все уже...

— Что вы от меня хотите? — староста выдыхал слова со зловещим шипением. — Ишь сбежались, как собаки на падаль!

Люди негодуя молчали. И это молчание было для Бергяса страшнее всякого суда.

— А-а!.. — Бергяс схватился за голову. Глаза его выпучились, будто у мыши в раскаленном котле. — Убейте! Убейте меня сразу! Подходите, кому хочется моей крови.

Он принялся срывать с себя одежду. Над ухом затемнела струйка крови. В неистовстве Бергяс царапал

себе лицо, рвал волосы. И тогда кто-то из темноты плюнул ему в лицо...

Отплевываясь, как от наваждения, люди расходились. Каждый мог бы убить старосту в эти минуты, но страшнее смерти было видеть такого Бергяса — рвавшего на себе волосы. Так кусает себя, принося облегчение болью, лишь взбесившаяся собака.

— Собака ты и есть собака! — сказал кто-то из последних, исчезая в темноте ночи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В хотоне Чонос — всего лишь семь глинобитных, с узкими подслеповатыми окнами, домов. Остальные чоносы жили зимою и летом в кибитках. К зиме вокруг кибиток возводились изгороди из высокого камыша, связанного в снопы. Они служили заслоном от вьюг.

Но как бы ни утеплялось войлочное жилище, холод пробирал до костей. По этой причине, а также чтобы как-то скоротать зимние вечера, обитатели джолумов и кибиток тянулись с сумерками к глинобитным мазанкам и засиживались, пока хозяева их терпели. Ведь не все так приветливы и делятся своим добром, как в доме Нохашка.

А Нохашк угощал не только чаем. Каждый вечер в его доме гостей ждал новый рассказ о какой-нибудь бывальщине, виденной на чужбине. Помнил он и многие старинные песни, охотно их исполнял под домбру.

Сюда на огонек спешили бедняки пастухи, отогревали не только настывшие на морозе кости, но и душу. Да и как быть людям, если даже бессловесные твари, всякая живность теснее жмется одна к другой в лихое время, лишь бы дожидаться весны.

Отказать людям в тепле, утаить скудный запас съестного, не распахнуться перед гостями в душевной доброте Нохашк не мог. Не умел этого делать, не учился. Любимой его поговоркой, привезенной с Дона, была: «На миру и смерть красна!» Слов ее он не понимал, но святую суть погудки чувствовал нутром.

— Сделаешь людям добро — окупится сторицей, — рассуждал в кругу домашних бедняк.

Булгун только вздохнет, бывало, ставя большой котел чая для каждодневных гостей, хозяйка ведь: помнит о запасах. Но все равно приготовит еду на всех, своих и пришлых, даже из последнего...

2

Булгун пролежала больше года парализованной и вот пять дней тому назад скончалась. Собрались родственники, похоронили ее, стали думать, как быть с детьми? Церену пошел четырнадцатый. Нюдле — девять. Что можно придумать для их устройства? Сходились и расходились старики, ниее возвращались вновь с узелком еды, да так ничего и не придумали.

Сумерки готовы были перейти в ночь, когда у дома Нохашка спешился молодой верховой, подъехавший с восточной стороны.

Церен в это время сидел у печи и топил ее камышом. Справа в углу на столике коптила керосиновая лампа без стекла.

— Мендевт, дети! — поздоровался вошедший человек.

— Нарма! — первой вскочила с лежанки Нюдля. Девочка обвила худенькими ручонками темную от загара шею двоюродного брата.

Церен вылез из-за кучи камыша, провел рукавом по глазам.

Пока болела мать, Церен на людях не плакал, никто не видел его слез. Плакал он по ночам, в подушку. К утру подушка становилась тяжелой, будто набита сырой травой. Днем, в заботах по хозяйству, время проходило быстро, а по вечерам на какое-то время в доме наступало оживление: появлялись Шорва и сын Сяяхли — Саран. Шорва иногда укладывался здесь и на ночлег. В такие ночи Церен тоже не плакал. Но сейчас, при виде Нармы, не мог сдержать слез.

Нарма был родом из аймака Налтанхин. Его мать — старшая сестра Булгун. Если искать родственников по крови, то ближе Нармы никого для Церена и Нюдли в степи не осталось. Церен так уж хорошо и не знал Нарму, видел его лишь несколько раз, но слышал о нем от

матери часто. В прошлом году, когда они жили семьей на зимнем стойбище, Нарма приезжал и гостевал у них пять дней.

Нарма был ростом высок. Волосы, черные и густые, буйно вскипали над лбом. Лицо продолговатое, белое, глаза всегда веселые. Нарме было к сорока, но незнающие люди, особенно женщины, принимали за парня — таким моложавым оставался он в свои годы.

— Здравствуйте, милые, Нюдля и Церен, славные вы мои! Как вы тут живете? — проговорил Нарма еще от порога и тут же прижал одной рукой к груди голову заплакавшей Нюдли, другой обхватил за плечи Церена. Мальчик отворачивался, пряча лицо.

— Церен, ты уже почти мужчина! — продолжал Нарма веселым баском. — Нюдля пошла в рост, вот-вот брата догонит. Давайте-ка не будем плакать, а поговорим, как жить дальше. Знайте же, мои дорогие: теперь я буду всегда с вами! Церен, что это у тебя, как вкусно пахнет! А? Я как волк проголодался! Там у меня кое-что в сумке... Все, что в печи, на стол мечи! — шутливо командовал Нарма, развязал свою сумку и повесил Нюдле на шею связку баранок.

Через минуту-другую лица детей уже посветлели, а вскоре Нюдля несмело хохотнула в ответ на шутку Нармы. В сиротском доме давно не слышалось смеха. Здесь даже разговаривали шепотом или вполголоса.

Соседи или просто знакомые наведывались, чтобы посочувствовать осиротевшим детям. Другой принесет мяса или рыбы, но так вывернет душу признаниями, что лучше бы обошлось без его даров. Церен потихоньку учился обороняться от излишних сочувствий и вздохов: «Ладио вам!.. Перебьемся без родителей! Не калеки же мы с сестрой, чтобы нас заживо оплакивать». Хотя паренек и знал, какой нелегкой будет их жизнь. Нарма виделся Церену совсем другим человеком, готовым подбодрить.

— Бэлэ! На плите мясо! Сегодня жена старосты принесла нам баранью лопатку, — объяснил Церен. Он снял с котелка крышку. Запах свежей баранины разнесся по дому.

— О, да здесь на большую семью! — воскликнул

¹ Бэлэ — двоюродные братья по матери.

Нарма, довольный.— Интересно, если бы я не приехал, что бы вы делали с таким большим куском?

— Не беспокойся,— улыбнулся Церен.— У меня есть такой дружок, ему сколько ни положи в миску— подметет... Его зовут Шорва... А дразнят иногда: «Шорва-прорва». Только здесь ничего смешного. Он редко когда ест досыта, но уж когда придется... то только давай.

— А недавно он с отцом ездил к русскому доктору Вадиму,— вступила в разговор осмелевшая Нюдля.— Там они жили почти месяц, лечили глаза. Теперь и отцу и Шорве легче. Глаза уже не краснеют. Только они у него слишком узкие.

— Зато ты у нас большеглазая, как кукла!— заметил, поддразнивая сестренку, Нарма.

— Какая есть!— ответила Нюдля и смешно скривила рожицу.

Церен выбрал дымящееся мясо из котла в деревянную миску, поставил на ширдыке. Нарма умывался над ведром.

Пока бэлэ готовился к обеду, Церен вышел на улицу, расседлал коня, привязал его в сарае рядом с коровой. Седло принес в мазанку.

Все это примечал Нарма. Он видел как бы другого уже Церена, не мальчика— ладного, ловкого в работе юношу. Будто взрослый, управлялся Церен с домашним хозяйством, не нуждаясь в подсказке. Но тут же Нарма с горечью подумал о другом: «Нечему радоваться, если ребенок до срока лишен детства».

Они ужинали, когда вошла Сяхля с кастрюлей в руках.

— Мендевт, дети! Нюдля! Вот вам молоко! Дайте посуду, перелью!

Не дождавшись, пока Нюдля опростает бортку, Сяхля присмотрела посуду в углу сама.

Она вначале не заметила, что в доме есть еще кто-то, кроме детей. Лампа едва освещала проход.

— Мендевт, Сяхля! Садитесь с нами ужинать!— пригласил ее Нарма из полумрака.

Сяхля вздрогнула от неожиданности. Прижав к груди кастрюлю с молоком, вдруг сомлела, не зная, что ответить. Слишком знакомым был для нее прозвучавший здесь голос.

— Спасибо! — проговорила она наконец, обретая уверенность. — Меня ждет муж, я должна идти.

— Не хотите мяса, отведайте шулюна, — продолжал все так же настойчиво Нарма.

— Каким же ты смелым стал, Нарма! — с непонятным для детей упреком отозвалась Сяяхля. — Небось же на расправила крылышки?

— Не угадали, Сяяхля! Не вам ли знать, что не родилась еще жеищина, которая пошла бы за меня замуж.

— Вот и поговорили, как меду напились, — сказала Сяяхля насмешливо, поправив на голове платок, собираясь идти.

— Почему же вы не спросите о своих знакомых? — спросил Нарма примирительно. — Я ведь сегодня из Налтаихииа.

— Нарма, я считала тебя достаточно уминым человеком, чтобы не говорить при детях лишнего. Да и разговаривать-то нам не о чем. Все, что судьбой отпущено было, свершилось... Зачем ворошить старое?

Сяяхля перелила молоко в чайник, принесенный Нюдлей, подошла к выходу, предупредив:

— Не ищи встреч, Нарма! Так будет лучше и тебе, и мне.

— Сяяхля, задержись на минуту! — вскрикнул Нарма, бросаясь к выходу. — Я не ищу встречи с тобой. Все покончено, я знаю... Но ты должна знать. Тебе необходимо это знать...

— Что мне полагалось знать, я уже знаю.

— Не все, дорогая Сяяхля. Не все мы знаем... Бергяс убийца! Ты хоть догадываешься об этом?

— Не хочу слышать этих слов! Я тоже виновата в том, что дети осиротели. Хватит! — резко сказала Сяяхля и хотела выйти, но взволнованный Нарма остановил ее у порога.

— Ладно! Проклинай меня, ругай последними словами... До сегодняшнего дня молчал, теперь не могу... Твоего первого мужа, зайсана Хембю, убил Бергяс! А я сюда приехал, чтобы лишить жизни убийцу! — громким шепотом, как клятву, произнес Нарма.

— Ты лжешь, негодяй! Ты хочешь опорочить старосту хотона!

Сяяхля выскочила из дома. Нарма давно собирался сказать ей об этом, но не выпадало случая. Сейчас этот

случай представился... Как он ненавидел Бергяса! Нарма, оглушенный, опустился на свое место, к еде больше не притронулся. Дети с недоумением смотрели на него.

В землянку протиснулся шупленький мальчик и, увидев незнакомого человека, стал у двери.

— Шорва, проходи,— подбодрил дружка Церен, обрадовавшись его приходу.— Это приехал к нам сын сестры моей матери, мой бэлэ. О нем я тебе уже говорил как-то.

Нюдля молча поднесла Шорве связочку баранок.

Нарма подвинулся, освобождая место для гостя.

— Шорва — хорошее имя. Я живу на реке по названию Шорва. Давай познакомимся, паренек! Мое имя — Нарма. А теперь садись поближе к мясу.

Едва Шорва сел, дверь снова распахнулась, порог переступил высокий старик в длинной шубе.

— О... пришел дедушка Онгаш! — Нюдля даже прихлопнула в ладоши.— Здравствуйте, дедушка!

Когда Булгун слегла и ей становилось все хуже, старики и старухи приходили к Нохашкам навестить больную. Немного поговорив с добровольными сиделками, Булгун успокоенно засыпала. Сиделки тоже с надеждой на добрый исход расходились. Только Онгаш не смыкал глаз всю ночь. Старик вспоминал всякие рассказы, заговаривался при этом, мог толковать до утра, невзирая, слушает ли кто. Терпеливей всех оказывалась Нюдля, зато и дед любил ее больше остальных.

— Как поживаете? — начал Онгаш со своего привычного вопроса.

— Хорошо! — отозвалась первой Нюдля.— У нас дорогой гость из дальнего края!..

Дед сбросил шубу в угол, посапывая, освободился от овчинной жилетки, затем расстегнул бешмет и сел у плиты, вытянув ноги поближе к огню. За долгую жизнь чего только не приключится с человеком. У Онгаша было когда-то даже имя другое. За привычку потеплее одеваться его прозвали Капустой.

— Ну, дети, рассказывайте, откуда приехал ваш гость? — отдышавшись, спросил дед Онгаш.

Нарма объяснил старику, кем он доводится детям Нохашка и откуда пролег его путь к хотону.

— Чего же тут долго рассуждать,— прервал Нарму словоохотливый дедок.— Ты племянник Булгун, все этим

сказано. Между прочим, я помню твоего отца, царство ему небесное. Не было лучше человека в хотоне. Как раз твой отец доводился моему деду...

Тут дедушка Онгаш застыл на слове, стал морщить и без того изборозженный грубыми складками лоб и вдруг заговорил просветленно:

— Да, так это я о чем же — как на Каспий ездили с твоим отцом?.. А, вспомнил!.. Когда я родился, имя мне дали Эренджен. Больно смышленным, говорят, рос, иных взрослых опережал по разуму. Подивились тому родичи и придумали иное имя — Онгаш. Постарел, морозцем вроде бы стало пробирать изнутри. Ясное дело, одеваться стал теплее — прилепили русскую кличку — Капуста. А по мне лучше бы никакого имени: человек и человек... Все мы на одно лицо.

Дед на минуту примолк, словно перебирая в уме свои истории. Потом глаза его весело заблестели.

— Так вот, слушайте, — начал он. — Презабавный случай. Были мы когда-то хорошими друзьями с зайсаном аймака Налтанхина, Хембей. Поехали как-то мы с Хембей в Царицын, идем по городу, а навстречу отец сегодняшнего нойона Донзана. Посадил нас нойон в свою коляску, повез к богатому магазину и одел во все новенькое, с иголки. Затем нойон велел кучеру везти нас в ресторан. Встретил нас генерал в брюках с желтыми лампасами. Взял тот генерал меня под руки, повел в большую комнату с блестящими стеклами под потолком, а пол там покрыт сплошным ковром. Я говорю тому генералу: мол, под руки нужно брать не меня — нойон рядом, делаю знак глазами. А тот не понимает, едва не на руках несет, только мне все внимание. Да еще и толкует: «Вы, господин, очень скромный и шутить изволите, мы все с первого взгляда уразумели!» Привели нас в боковую комнату, где золотые сосульки светятся над столом, посадили в кресло, а на столе горы всякой снеди. Чего только не было на этом столе! Четвертей десять водки! Заморские вина разные! Выпей хоть ведро, голова не кружится, только по ногам хмель ударяет! Позже я догадался, почему мне такая почеть, все внимание моей личности. Они думали, что я сын нойона Даявида! В общем, приняли меня за сегодняшнего нашего нойона. Немудрено и спутать: одеты все одинаково, с шиком! Попробуй, отличи нойонского сынка от табун-

щика. Смолоду я удался куда как статным парнем! Хозяин ресторана вышел с женой и детьми отобедать с нами. Дочь у него — рыженькая такая, глазастая. Села напротив и пялится на меня. Да еще подмаргивает. Нойон тогда — парень в моих годах был, давно заметил ошибку, усмехается, кивает мне, мол, не теряйся! Но куда мне! Я и со своими-то калмычками ни разу не целовался... Знай я по-русски хоть десяток слов, не оробел бы, женился на русской, а там, глядишь, вышел бы в купцы... «Кому не везет, у того в горле мясо застревает», — говорил встарь. Пришлось на калмычке жениться, оттого и все мои беды на веку...

Онгаш потянулся к плите, задымил трубкой.

— Дедушка! А когда из ресторана вышли, куда вас повез нойон? — спросил Церен.

— Топить меня, стервецы, надумали! Привезли на мост и скинули в воду... Заспорили еще за столом, сможет ли Онгаш час целый продержаться под водой без воздуха! Ну и столкнули... А может, я сам прыгнул — молод был, хмелен, сами знаете...

— Где же тот ваш новый костюм? — спросила Нюдля, не пропустившая ни слова из воспоминаний старика.

— Сняли, прохвосты! — решительно заявил дед Онгаш. — Потешались над бедным табунщиком и сорвали всю одежду, в старье обрядили! На то они и нойоны, чтобы над нашим братом-бедняком измываться. Только это не сразу случилось. Так скоро я им не дался, в тину спрятался и сижу себе на дне... А рыжая девушка, дочь хозяина ресторации, по берегу бегаёт, рыдает. Жалко мне стало ее, вот я и вынырнул. Выбрался я на берег, подбежала она ко мне, улыбается, а сама тоже мокрая — от слез. Отец ее — до чего же зловредный человек — смотрит на нас и заходится смехом, толстопузый. Потом подошел ко мне, хлопнул по спине и говорит: «Ну, молодец! Храбрый парень!» А может, и другое что сказал, я все равно ведь по-русски ни бельмеса. Но зайсан Хембя понял русскую речь, зависть его взяла, что не его, а меня похвалили. Разделся, нырнул — не получилось. Решил плаванием доказать свое зайсанское превосходство над бедняком. Врать не стану, плавал Хембя отменно. Не успели оглянуться, Хембя на другом берегу Волги! Помахал рукой и без отдыха поплыл обратно... А одежда, что ж? Содрали, собаки!

Нарма меньше других веселился рассказу старого Онгаша.

— Мне кажется, дедушка, вы что-то напутали. Наш зайсан Хембя был как топор в воде.

— Ты мне еще будешь возражать! — рассердился Онгаш. — Я же своимн глазами видел, как Хембя перемахнул Волгу!

— Семь лет работал я у Хембн кучером, — пытался вразумить старнка Нарма. — Если он хорошо в реке плавал, почему в озере утонул?

— Но-о-о! — в свою очередь удивился старнк. — Тут ищи другую причину. Укажет сверху перст божий, человек захлебнется в ложке, как о том распорядится хозяин-судьба. Пришло время умереть, ничто не спасет. В объятнях женщины...

Церен, Шорва и Нюдля уже спали. Нарма вначале с интересом слушал рассказ старнка, но вскоре понял, что Онгаш впал в безудержное вранье, поддерживая небывальщиной внимание к себе.

Давно хотелось спать и Нарме, но ему было неудобно оставить в одиночестве старнка.

А он еще долго будет, повернувшись спиной к Нарме, разговаривать сам с собой, горестно вздыхать, бормотать понятное лишь для него самого.

Сильно сгорбившись, Онгаш сидел лицом к пламени. Он брал из кучи камыша несколько длинных тростников, ломал их в сухих ладонях и подкладывал в медленно угасающий огонь. Услышав за спиной сочный храп Нармы, раскинул овчинну у печи, накрылся шубой и тоже прнутх.

Наутро рано поднявшийся Нарма уже не застал в доме Онгаша. «Не обиделся ли дед? Надо ли было мне с ним спорить? Пусть думает, что зайсан хорошо плавал. Может, придуманная им сказка о несбывшемся скрасит последние годы его беспросветной жизни?»

3

Нарма между тем взбодрил остывший очаг камышом. От острого запаха пиши дети пробудились, и начался новый день. Они уже поели и убрали посуду, когда на улице прогреготала разохшимся ступицами телега.

В дом вошли Вадим Семиколонов и Араш Чапчаев.

Церей и Нюдля так обрадовались появлению дорогих гостей, что их восторженные возгласы слышны были за версту.

Нарма и раньше знал об учителе Араши, но встречаться не приходилось. О русском докторе Булгун рассказывала ему, когда была жива. Нарма познакомился с гостями, начался их непростой разговор о детях.

— Церей и Нюдля мои двоюродные... К сожалению, не пришлось быть на похоронах Булгуна. Хозяин заслал меня с табуном под Царицын. Только теперь я смогу забрать сирот к себе. Втроем как-нибудь проживем. Собственно, ребенок здесь один — Нюдля, но девочка все умеет по хозяйству, ниую взрослую за пояс заткнет.

Эти рассуждения неунывающего Нармы не понравились учителю.

— Семья у вас большая? — спросил Араши.

— Живу покамест один. Отец и мать умерли. Да я могу лучше всякой жеищины и постирать, и сварить, — рассуждал Нарма.

— А мы с Вадимом Петровичем вот что придумали, — сказал Араши. — Нюдля хорошо понимает по-русски, она способная девочка. Не отвезти ли ее в Астрахань, в пансион? Окончит учебу, может стать учительницей.

То, что говорил Араши, было похоже на сказку, но Нарма ему поверил и обдумывал предложение: «Нюдля в моем доме все равно будет гостьей. Через шесть-семь лет выйдет замуж за такого же бедняка... Не лучше ли в самом деле пристроить ее к книжкам, если добрые люди берутся пособить?»

— Согласен, — сказал Нарма. — А с Цереем что вы надумали?

— Церей — уже подросток. Пусть сам выбирает. Поедет с вами — так и быть... Только чем он будет заниматься у вас? В пастухи определите?

Нарму обидели такие рассуждения.

— Калмыки веками пасут скот, эта работа их кормит. Какое же вы найдете ему более достойное занятие? Писарем¹ станет? Церей поедет со мной! — сказал Нарма решительно. Он уже свылся с мыслью, что сироты будут жить с ним, пусть, по крайней мере, хоть один Церей.

Араши перевел Вадиму то, что сказал Нарма.

¹ Писарь — всех грамотных людей тогда в Калмыкии называли писарями.

О приезде Араши и Вадима в хотоне узнали сразу, и люди потянулись к дому Нохашка. За какие-нибудь полчаса в землянке негде было приткнуться. Пришли в основном мужчины. Когда Булгун болела, Араши приезжал к ним дважды. Один раз вместе с Вадимом. Поэтому они хорошо знали о том страшном судилище, происшедшем из-за кошелька старосты.

При каждом появлении чужих людей Бергяс исчезал из хотона будто бы по делам. Избегал встречи с отцом и Така. Он поселился у родственников на Маныче. Така знал твердую руку отца. Терпеть людскую молву, быть одураченным своим сыном Бергяс не захочет. Много всяких злодейств творилось старостами и зайсанами в степи. К своеволию богатых привыкли: задерет волк овцу, стадо поблеет в тревоге и снова пасется... Но с тех пор, как случилась расправа с Булгун, глухой ропот негодования не прекращается в округе. Люди до сих пор не прощают Бергясу его жестокость. И самые близкие уже не так, как прежде, разговаривают, не так охотно шапку снимают при встрече. Если раньше кто-либо посторонний осмеливался пустить худое слово о Бергясе, любой родич мог заткнуть хулителю глотку. Сейчас что-то не видно защитников Бергяса. Всяк поносит старосту последними словами. Если бы Бергяс оступился и сотворил что-нибудь подобное еще, это стало бы искрой, ведущей к пожару.

Сидя в доме Нохашка, наблюдая за лицами возмущенных своеволием Бергяса людей, Вадим как бы продолжил начатый еще на хуторе разговор с Араши.

— В общем, ты говоришь, что глаза у бедняков раскрываются...

— Пока рассвет только брезжит!— ответил Араши.— Люди еще не знают, в какую сторону идти, где искать избавления... Может, ты поговорил бы о том, как беднота России борется со своими синеглазыми Бергясами... А я — переведу.

— Готовы ли степняки к такому разговору? — спросил Вадим.— Поймут ли?.. Поверят?

— Поймут, поверят! — кивнул Араши, призывая к беседе.

Вадим сомневался напрасно. Среди здесь присутствующих, да и во всем хотоне Чонос, не было человека, не доверяющего ему. Добрая молва крылата, а «русский

доктор» много успел сделать за два коротких наезда в хотон и тем самым покори́л сердца людей. Вадим поднял на ноги Нюдлю, не взяв ни копейки, наоборот, выложил свои последние деньги. Больной Шорва с отцом жили у него четыре недели, вернулись как заново на свет родились... Если таким людям не верить, то кому же?

Сначала Вадим коротко сказал о себе, о своем отце, работавшем на заводе. Вспомнил о матери — она всю жизнь просидела за швейной машиной.

Затем поведал о том, как живут бедняки в русских деревнях, в городах. И выходило из его рассказа, что нищему человеку, батраку, пастуху везде живется несладко — русский ли он, калмык или казах. А хозяева фабрик, владельцы поместий, купцы, кулаки, нойоны — как сыр в масле катаются, с жиру бесятся, полосуют плетками непокорных, ссылают на каторгу.

— А все потому, что люди в своем горе разбрелись по углам, мучаются в одиночку, — толковал Вадим. — Теперь русские рабочие решили действовать сообща. И уже дали трепку царю в девятьсот пятом!

Люди напряженно слушали, не проронив ни слова.

— У кого в вашем хотоне больше всех скота? — спросил Вадим.

— Нашли, о чем спросить! — выкрикнул с порога дед Онгаш. — Если согнать весь наш скот, то не наберется и десятой части стада Бергяса.

— Онгаш, помолчи! — прикрикнул кто-то. — Забьешь голову своими байками. Здесь о деле говорят.

— Разве я сказал неправду? Да со мною сам нойон Даявид советуется.

Посмеялись.

— Вот видите? — продолжал Вадим серьезно. — Значит, скота у одной семьи в несколько раз больше, чем у всех тридцати семей хотона вместе. Чье это богатство?

— Бергясово, конечно! — разъяснил все тот же Онгаш. — Ему бог послал.

— Чьим трудом, чьим потом и слезами накопил Бергяс такие тучные стада? — продолжал Вадим, когда шум в адрес Онгаша стих.

— О, хяэрхан! Что же тут непонятного? Бурхан помог разбогатеть! — перекрывал хриплым басом голоса других возбужденный старик.

— Бурхан здесь ни при чем! — горячо заговорил Ара-

ши. — Бергяс пасет свои стада на общественных выгонах. Да и сам ли он пасет? Это вы день и ночь, в дождь и в метель около его коров и телят! Женщины за гроши стригут для него шерсть, ухаживают за ягнятами. Так чьи же это стада?..

— Выходит, что наши? — волнуясь, спросил дед Онгаш.

До позднего вечера Араши и Вадим разговаривали с людьми, отвечали на их непростые вопросы. Когда гости разошлись, в доме остались Вадим, Араши, Нарма, братья Улюмджиевы — Гаха и Ноха.

Братьям было чуть за двадцать. Старший, Гаха, в прошлом году женился, а младший, Ноха, жил пока в родительской кибитке. Отец их, Улюмджи, умер сорока лет. Он был табуишником у Бергяса. Случилось это пять лет назад, во время пурги отбили от табуна две лошади. В бешенстве Бергяс и Лиджи избили табунщика. Метель еще бушевала, когда они послали его на понски пропавших лошадей. Остаток ночи и весь день Улюмджи пеший бродил по степи: лошадь под ним угодила в яму и сломала ногу. Когда кончилась пурга, отбившиеся от табуна кони сами пришли в хотон. Не вериулся лишь Улюмджи. Только через несколько дней случайно наткнулись на него, засыпанного снегом.

После смерти отца Гахе и Нохе пришлось уехать в Черный Яр. Там нанялись в грузчики. В прошлом году братья вернулись в хотон, стосковавшись по степи. По сути они были такими же сиротами по вине Бергяса, как Церен и Нюдля.

— Мы-то знаем, кто виноват в гибели нашего отца и в преждевременной кончине Булгун! — сказал с яростью Гаха, когда люди разошлись.

— Если Бергяса не упрячут за решетку, мы прикончим его своими руками! — добавил к словам старшего брата младший.

— В царском законе нет статьи, по которой можно посадить в тюрьму человека за то, что тот послал другого на верную смерть. Вот если бы Бергяс убил их своими руками, на руки эти надели бы железки, — разъяснил Вадим.

— Убить Бергяса — ничего не изменить, — задумчиво проговорил Араши. — На его место сядет Така, еще боль-

ший ублюдок, чем отец. Не зря Вадим говорит: нужны другие пути! Нужно всех Бергясов гнать в шею.

— И-их! — Ноха, обхватив голову руками, аж застоял от обиды.

Вадим долго толковал сыновьям Улюмджи о сложном и благородном пути всенародного отмщения угнетателям, устранения их от власти.

Нарма, ошеломленный услышанным, молча внимал беседе гостей. До сих пор он думал о себе, что хорошо разбирается в жизни, видит дальше других. Рядом с Араши и Вадимом Нарма почувствовал себя таким же маленьким и беспомощным, как Церен или Нюдля.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Отец Нармы, Архат, был на шесть лет старше последнего Налтанхинского зайсана Хемби. Если мужчинам перевалит за сорок, разница в их возрасте в пять-шесть лет еще мало заметна. Другое дело, когда один старше другого лет на пятнадцать.

Когда Хембе исполнилось десять, его отец—старый зайсан, отвез его в Астрахань на учебу. В дядьки сыну оставил шестнадцатилетнего Архата. Батрачонок Архат вполне годился зайсанскому сынку в дядьки. В детстве он жил с семьей под Черным Яром, общался с русскими, научился писать и читать. Такой оборотистый паренек нужен был для присмотра за барчуком. Сын зайсана проучился в Астрахани четыре года, и все это время жил вместе с Архатом. Нет числа всевозможным случаям, когда Архат чуть ли не душу закладывал, чтобы вызволить нерасторопного Хембю из беды.

Окончив курс, Хембя, а с ним и Архат вернулись под родную крышу. Вскоре Архату приспело время жениться. А тут и престарелый зайсан отошел от бременной жизни. Юный и образованный Хембя стал хозяином аймака. Хембя никогда не забывал того хорошего и плохого, что пережили они с Архатом в годы его учебы в городе. Всячески ему помогал: давал в долг скот, не требуя возврата, выручал деньгами. Однако на господских подачках еще никто не разбогател. К тому же Архат за годы городской жизни привык бражничать. Его тянуло в круг,

где из рук в руки летали соблазнительные картишки. Иногда Архат не выходил из этого круга по два-три дня подряд. На кон ставилось все: скот, телега, скудный зажиток... И когда проигрывался дочиста, будто протрезвев, заводил хозяйство заново. Словно в наказание за беспутную жизнь, и в семье его не было ладу. Первые дети Архата умерли, остался лишь самый младший, Нарма. Зеленый змий удушил-таки Архата. На каком-то дурном состязании — кто больше выпьет! — не выдержало сердце гуляки. Зайсан Хембя отнесся участливо к Нарме. Мальчика отвезли в ставку Малодербетовского улуса, в школу-двухлетку. Быстро прошли эти годы. Зайсан не спускал глаз с мальчика. Поставил его табунщиком.

— Кто поработает табунщиком, тот становится сильным, ловким, храбрым,— внушал Нарме зайсан.

Он вообще любил порассуждать — этот хитрый, поднаторевший в городской жизни повелитель степняков.

— Я очень жалею, что в молодости угробил столько лет на книжки, а не стал сразу табунщиком. Сейчас пристрастился к охоте и мечтаю овладеть хотя бы сотой долей той мудрости житейской, которой сполна владеют простые скотоводы...

Несколько раз зайсан брал Нарму на охоту, купил ему ружье. Паренек постепенно привыкал к своему доброму хозяину. К работе Нарма был охотлив, делал все, что велят. Хозяйством управляла жена Хемби, взятая из семьи знатного торгутского зайсана. Она была умной и красивой смолоду и очень преданной Хембе.

Годы шли, зайсан и зайсанша старели, но у них так и не появились дети. Это со временем беспокоило супругов, однако не посеяло между ними раздоров. Супруги терпеливо объезжали города и веси, навестили многих врачей и знахарей, но бог оставался неумолимым. Постепенно они привыкли к мысли, что Нарма станет их наследником, держали парня поближе к себе. В последние годы они поручали ему вести торговые сделки, снабжали деньгами. Когда Нарме исполнилось семнадцать, Хембя, обговорив с супругой все до мелочей, решил женить Нарму. Стали подыскивать необъявленному сыну невесту. Девушки, которые были на виду, не нравились: у этой родословная не очень знатная, у другой — характер вздорный, третья ленива... Да и мало ли что в конце кон-

цов можно обнаружить у девушки, у ее родителей, у друзей, если перебрать косточки всей родне!

Однажды зайсанша поехала гостить к своим родственникам в Бага-Цохур и там приметилла девушку такую, какую мечтала ввести в дом.

Ранней весной Хембя сам приехал к родителям будущей невесты и обо всем договорился с ними. Оставалось заслать сватов.

Между аймаками Дунд-хурул и Налтанхунь есть местечко Беергун. Там выгуливались табуны Хемби. В ту весеннюю пору Нарма решил заехать в Беергун по делам. Он хотел отобрать из табуна двух крепких в кости жеребцов, показать их Хембе, чтобы тот определил их породность. Если кони приглянутся зайсану, Нарма отведет их к коновалу, чтобы тот облегчил их, сделал пригодными для упряжки. Хембя слыл в округе хорошим знатоком лошадей и гордился этим.

Нарма выехал из дому рано утром. В полдень он уже достиг Беергуна, расположенного в сорока верстах от дома. К середине дня лошадей должны были пригнать на водопой, и Нарма ждал у колодца, прохаживаясь по свежей травке, разминал ноги после долгой дороги. Вдруг внимание его привлек паренек-табунщик, преследовавший необъезженную лошадь. Близ колодца табунщик ловко набросил аркан. Пленница вскинулась на дыбы, заржала, аркан натянулся, но низкорослый длинноногривый конь табунщика, будто в стоворе со своим седоком, развернулся к кобылке боком и врос копытами в землю.

Не сумев обрести желанную волю, лошадь покорно опустила голову, вздрагивая всем телом. Но вот она опять взвилась свечой, пала на передние ноги, отчаянно дергая перехваченной шеей.

Табунщик то слегка отпускал аркан, то натягивал, разворачивая своего коня боком.

— Эй, парень, дай-ка сюда аркан, а то упустишь! — крикнул Нарма, стоявший у колодца, и кинулся было помочь. Но тот не только не дал ему конец аркана, а вроде бы и не услышал голоса за спиной.

Вдруг ремень на стремях молодого табунщика лопнул, и строптивый всадник едва не свалился на землю.

Нарма тут же ухватился за провисший аркан, наблюдая за лошадей, которая, словно предчувствуя свободу, делала отчаянные усилия. Паренек тоже соскочил с коня, подбежал к Нарме и стал вырывать у него конец аркана. Тут уж Нарма просто разозлился:

— А-а! Помощь не нужна! — вскрикнул он. — Ну пусть тебя дикая кобыла проучит.

Почувствовав свободу, кобыла тут же рванулась вскачь вокруг колодца, волоча за собой своего мучителя, словно куль муки.

Но парень не сдавался, даже находясь в безвыходном положении.

— Бросай аркан! Изуродует! — кричал, опомнившись, Нарма, пытаясь схватиться за аркан. Наконец им двоим удалось укротить лошадь. Табунщики в степи, что моряки в море. У тех и других превыше всего закон выручки. Хотя Нарма в душе злился на этого бестолкового парнишку, все же сел на своего коня, поймал оседланного коня табунщика и привел к хозяину.

— Парень, как ни храбрись, ты далеко не уведешь на аркане такую норовистую лошадушку.. Не по твоим силенкам.

— Никуда она не уйдет от меня! — ответил табунщик тонким, почти детским голосом.

— Ты просто молодец! Но в одиночку за такое дело браться опасно, — говорил Нарма уже более спокойно.

И к похвале и к наставлениям старшего парень относился без интереса. И к самому Нарме тоже.

— Ну, ладно! Ты чей? Как зовут тебя? — спросил Нарма, видя, что тот вот-вот ускачет.

— Меня зовут — зовучка! — насмешливо отозвался табунщик, отъехав чуть поодаль, он повернулся и показал Нарме язык.

«Вот это да! — осенило вдруг Нарму. — Неужели девка? Парень бы объяснился на своем, мужском языке. Но если и впрямь девушка, то как она, чертовка, красиво правит конем! С первого захода обротать дикую лошадь! Одной укротить разъяренную животину!..» Нет, Нарма еще подобных чудес не видывал в степи.

В это время сзади к Нарме приблизился пожилой всадник, человек с хмурым, обветренным лицом.

— Кто этот табунщик? — кивнул Нарма вслед уско-
кавшему со своей добычей юному верховому.

— А-а, ты про Сяхлю, — недовольно буркнул муж-
чина, словно его беспокоили по пустякам. — Да так... Доч-
ка тут одного нашего.

— Дочка? Девушка?! — воскликнул радостно Нарма.
Хмурый табунщик лукаво повел бровью.

— Берегись, парень!.. Сяхля и тебя заарканит.

Сказано это было с подначкой, но, как ни странно,
Нарма совсем не обиделся. Он едва нашелся, чтобы от-
вести насмешку, так растерявшись от этого открытия.

— Жаль, что девушка! Зайсану такой ловкий табун-
щик пригодился бы в хозяйстве.

— А кто сказал, что ловкая в работе девушка хуже,
чем парень? Ты на нее взглянул бы, когда она в девичьем
наряде!.. Княгиня! Нойонские дочки ей в подметки не
годятся. Наши парни с ума сходят от одного взгляда
Сяхли! Но она ни с кем ни-ни. Ни слова!.. Тебе, я вижу,
удалось о чем-то потолковать с ней? Или нет?

— Помочь хотел — отказалась! — растерянно говорил
Нарма, вслушиваясь в затихающий топот копыт. — Да
еще язык показала на прощанье.

— Выходит, ты, парень, счастливiec! — заметил вполне
серьезно табунщик. — С другими она просто рта не
раскроет — гордячка!

Нарма вместе с ним выбрал двух молодых жеребцов
и повел домой.

Хембя осмотрел коней. Приглянулся ему только один,
пегий. Зайсан подробно объяснил Нарме, почему второй
не годится. Его было велено тут же возвратить в табун.

2

Можно было поручить это несложное дело любому из
батраков, но Нарма решил ехать в Беергин сам.

Выбракованный жеребчик уже пощипывал свежую
траву на воле, а Нарма все еще терся между табунщи-
ками, заговаривая о том, о сем. Очень ему хотелось бы
расспросить о смелой всаднице, но как?

— У тебя, наверное, много свободного времени, па-
рень! — заговорил с Нармой старший из мужчин. — Со-
всем не торопись домой.

Он знал, чем озадачен Нарма, и решил помочь советом.

— Да нет, дядя Адьян... Дел на всех у зайсана хватит... Скоро поеду.

— Эх, парень, кто хоть раз увидит Сяяхлю, надолго лишится покоя. Только все эти мучения влюбленных ей без надобности. Добиться от нее хоть слова, равносильно достать с неба звезду.

— Ой, дядя! Разыгрываете вы меня! Что же за девушка такая? Скажите хоть: чья она? Где живет?

Табунщик между тем и не думал шутить.

— На многое не рассчитывай, Нарма! Твой отец пристроил меня на работу к зайсану, поэтому я желаю тебе только добра. Дело не хитрое — показать дорогу к дому Сяяхли. Другие эту дорогу знают с детства, но у ворот их ждет поворот. Конечно, быть и ей за кем-то замужем. Скорее всего за тем, кого выберет для нее отец. Но коль решился ты — действуй, не отступай, чтобы после не жалеть, когда судьба сведет с другой.

Нарма молча слушал совет отцова дружка.

— Если пойдешь в хотон Орсуд¹ один, вряд ли встретишься с Сяяхлей. Есть здесь у меня один молодой табунщик, давно просится навестить свою больную гагу². А гага его живет в том же хотоне. Не отпускал я его, потому как одному не управиться. Ради тебя отпущу, езжай с ним. Имя его — Пюрвя...

На другой день Нарма и Пюрвя отправились в путь, всяк по своим делам, как думалось Нарме. Подъехали к хотону с южной стороны.

На ровном, высушенном солнцем и ветром пятачке разместилось десятка три кибиток. В свое время богатый род Орсудов претерпел мор, мало кто выжил. Осталось тридцать семей — бедняки из бедняков. Издали кибитки ничем не отличались от цвета пожухлой травы за околницей.

Много десятков лет тому назад пристав Черноярского уезда объезжал калмыцкие хотоны, входившие в этот уезд. Пристав любил приложиться к чарке, брал от калмыков всякие дары. То ли перебрал хмельного, то ли жителю Орсуда не так встретили, пристав словно озверел: хлестал налево-направо нагайкой, грозился Си-

¹ Орсуд — род Орсудов; буквально: род русских.

² Гага — тетя по отцовской линии.

бирью и, закончив на этом объезд, распорядился отвезти его в Черный Яр. В пути случилось непредвиденное. Лошадь, вдруг испугавшись чего-то, бросилась вскачь, понесли. Дрожжи опрокинулись. Сидевший сзади кучера пристав свалился под колеса и скончался на месте.

Кучера-калмыка обвинили в злоумышленном убийстве пристава, дали десять лет тюрьмы и отправили в Сибирь. Дома у бедолаги осталась молодая жена с грудным младенцем на руках. Десять лет скитался несчастный возница по тюрьмам, а когда вышел срок, почти столько же отбыл на поселении в Сибири. Минул и этот срок. Жена и сын дождалась отца. Но появился он в хотоне не один, а со светловолосой русской женой и ребенком.

Собрались уважаемые старик хотона, священники хурула и стали решать, как быть. За то, что каторжанин оставил свою жену и сына, связал судьбу с женщиной другой веры, решено было отречься от него, изгнать. Выделили ему надел, где никогда не росла трава, не пробивался из земли ручей. Но мужик он был привыкший к невзгодам, поселился на том крохотном наделе, соорудил землянку, стал обзаводиться хозяйством. Так и жил с новой семьей. Но спустя несколько лет прибилась к ним первая жена. И взрослый сын с ней.

Что ж, приняли их, приветили, стали кормить и заботиться о них. Шли годы, сыновья росли, мужали, женились, обзаводились своим хозяйством. Так появился хотон Орсуд и новый род в аймаке Дунд-Хурула. От сына первой жены появлялись на свет заправские степняки — и лицом, и характером. А от сына второй жены рождалась белолицые сыновья и дочери. Все они отличались трудолюбием, были толковыми и очень душевными людьми, а потому и роднились с ними охотно. В хотоне Орсуд и в других, что поблизости, нарождались очень красивые дети. Сколько лет прошло-пролетело с тех пор, никто не знает, никто не помнит и о том калмыке-кучере, судьба которого вышла такой нескладной. Однако новый род оказался на редкость жизнеспособным.

Юным побегом в мощной куртине рода Орсудов цвела, будто тюльпан по весне, восхитившая Нарму Сяхля Нявндова.

С девушкой в чужом хотоне встретиться ох непрос-то! Калмыки ревниво оберегали честь дочерей, держали их строго, но работой не изнуляли. В ранние годы девочки помогали матерям по дому, учились у старших вести хозяйство. А когда дочь выросла и становилась невестой, для нее ставили отдельную кровать с правой стороны кибитки и освобождали от тяжелых работ. Терпеливо обучали ремеслу кроить и шить, разноцветными нитками наводить узоры на полотно, стряпать. Но усваивали эти премудрости будущие хозяйки по-разному: многое ведь зависело от прилежания, сноровки, ума, да и от самих родителей тоже. В одной семье горазды были и ковер выткать, и красиво верхнюю одежду сшить, расписать цветами или орнаментом обувь... А другие обходились как-нибудь, что тоже усваивала будущая хозяйка дома.

Сяяхлю вряд ли можно было отнести к ловким рукодельницам. Ее больше привлекали мужские занятия. Девушка удалась веселой нравом, острой на язык и шаловливой. Никого из парней она к себе не приближала. Если кому-нибудь и удавалось заговорить с ней, то живо одергивала смельчака резким словом, вгоняла в краску и осыпала насмешками. Так обращалась она со своими. О чем же собирался говорить с такой недо-трогой заезжий парень из другого аймака!

Приехав вместе с Нармой, Пюрвя остановился у гаги. По старинному обычаю тетка Пюрви пригласила днем пожилых людей в джолум, угостила их в честь приезда гостей.

А вечером, не без помощи самой гаги, очень любившей племянника, у нее собралась молодежь. Парни и девушки пришли нарядно одетыми. Если у кого не оказывалось своей праздничной одежды, в таких случаях не считалось зазорным что-то одолжить у друзей. Так было и на этот раз.

Однако вечер в разгаре, а Сяяхля все не появлялась. Нарма приуныл: «Зря приехал...» И вдруг, легко ступая, в замшевых сапожках вошла в круг ровесников Сяяхля. Длинное зеленое платье ладно облегалo ее стройную фигуру. Все сразу смолкли, и лица озарились улыбками. Юноши встали как по команде, уступая место припоздавшей гостье.

Нарма был потрясен ее красотой. На какое-то время

Сяхля потерялась среди подружек, чьи-то широкие плечи заслонили ее от Нармы, но он уже не видел, а чувствовал, где она теперь, и не мог отвести взгляда. Зазвучали домбры, чей-то веселый голосок позвал к танцу. После первого круга вспомнили о прибывших парнях.

Нарма танцевал хорошо, а здесь словно держал испытание на удачу. Затеиловы танцы: мошкур, мольд-жур, чичирдык, ишкимдык — один смеялся другим, но его не выпускали из круга, откровению восхищаясь его необычными коленцами.

— Сяхля, выходи в круг! Сяхля, выручай наш хонтои! — раздалась шутливые возгласы.

И тут в середине круга появилась Сяхля. Она была одета уже в другое платье — белое, с тонким узором по предплечью и подолу. Тихо и плавно обошла неширокий пяточок. Нарме казалось, что она не танцует, а как бы парит под музыку домбры. Так покачиваются тонкие камышинки под набегом воли, когда озеро едва колыхнется под дуновением ветерка. Ничего такого особенного и не выделяла она, но каждое движение рук, поворот головы, нежная улыбка казались парию исполненными глубокого смысла.

Четыре раза ровесники вызывали в круг Нарму и столько же раз Сяхлю. Это был их вечер, они были здесь князем и княгиней. Все радовались этому редкому зрелищу, как дети. Кто знает, может, у него за всю жизнь не повторится больше такого яркого праздника молодости и красоты, каким сделали для юных орсудцев Сяхля и Нарма, этот теплый весенний вечер.

Время перевалило за полночь. Гостям и собравшимся на посиделки однохотонцам подали чай. После такого угощения веселье полагалось продолжить.

— А ну-ка все на улицу! — озорно выкрикнула Сяхля. — Будем играть в цаган-моди!¹

— Ура! — завопили те, кому эта мысль пришла в душе.

Нарма заметил: с Сяхлей никто здесь не спорил. В восторженных взглядах сверстников и подружек она купалась, словно рыбка в прозрачной водичке.

Горяча у молодых людей кровь! Юность не знает усталости, как птица в полете. Всю ночь пляска, игра, шутка.

¹ Цаган-моди — национальная калмыцкая игра с мячом.

хороводы, а на заре — и об этом все они помнят! — с тяжелым подойником от буренки к буренке. Молодым все нипочем! Зови домбра в круг на другой вечер — слетаются такие же румянощекие и свежие. И энергии хватит не только на два затяжных вечера! И сил вроде как прибавится — не убавится! Уставшая от шума-грома гага уже пузыри пускает во сне в подушку, а юные гости ее на улице все начинают сначала!

По весне, когда коровы линяют, наскребут парни у рябых коров¹ шерсти посветлее, свалют мяч размером в добрый кулак. В шерсть закатывают что-нибудь тяжелое, придающее мячу вес, однако не железку... И начинается одна из самых азартных игр — цаган-модн.

Выбегают с мячом в степь, разбиваются на две группы. Один из вожakov, когда все встанут по своим местам, сильно бросает мяч и подает сигнал к началу. И тут первый, кому достался мяч, должен действовать изворотливо и осмотрительно, чтобы пронести цаган-модн в стан своих. А соперники стремятся во что бы то ни стало отобрать мяч. Невелик тот мяч, а крику и хохоту вокруг него, веселой возни, озорства хватает на всех, — и для того, кто бежит, и кто наблюдает за игрой. Здесь молодежь не только испытывает силенки, но и развивает сноровку, потому что играют в мяч паренки и девушки разных возрастов, иной раз с разницей в два-три года.

Мяч мячом, но вот парень с победным криком устремляется за верткой, быстроногой девушкой и, отдавшись от остальных, успевает ей что-то шепнуть. А девушка, снуя перед глазами, как мышка, увертывается от горячих рук преследователя, отчаянно взвизгивает, а потом тоже кинет парню словцо-другое, да так, что издали не понять: шутка ли это или выстраданное и единое, вызревшее в душе заветное слово, от которого захватывает дух у парня.

Но — чур! Никому не полагается прислушиваться к этим мимолетным объяснениям, если они происходят за игрой в цаган-моди. Лишь бы не вела себя эта пара слишком развязно: юноша не распускал бы более положенного рук, а девушка не казалась чересчур доступ-

¹ Белых коров калмыки не держат. Появление белого теленка считалось не к добру.

ной. Неважно, что они, бывает, порядком удалятся ото всех, погоня есть погоня: что это за девушка, которая, овладев мячом, так просто упустит его!.. Всю свою прыть вложит озорница в ноги, уведет юношу в сторону, упадет невзначай, подстроит и ему падение, чтобы хоть миг побыть в объятьях давно приглянувшегося парня, услышать от него прерывистый от частого дыхания шепот: «Я люблю тебя». Успеет озорница отозваться, да так тихо, вперемешку с отчаянным визгом: «Я — тоже!» И мельком прижмется, обхватив вихрастую голову... Ночь есть ночь, хотя и светлой бывает иной раз. Кто там разберет издали, стукинулись ли головами упавшие в борьбе за мяч или паренек коснулся губами заветных губ любимой, к щечке ее приложился, пьянея от такого прикосновения, забыв о выпущенном из рук мяче!

Поцелуй, правда, это уже чересчур! До такого старались не доходить. Преждевременным поцелуем, да еще на глазах у людей, можно все в один момент перечеркнуть. Пойдет молва, и родители уже не посчитаются с волей нарушивших запрет, будут решать сами, за кого отдать их целованную дочь. Чаще всего поступят наперекор нетерпеливцам, в изидание другим, подрастающим детям.

Ночь, когда молодежь устремилась по зову Сяхли в степь, удалась не очень светлой. Месяц поиграл ясным ликом с вечера, а затем небо притуманилось, землю окутал сумрак. Нарма, удививший ровесников пляской, никогда не мог потягаться в беге. А здесь мяч то и дело попадался в руки проворной быстроногой Сяхли — девушка и в этом не уступала другим или не хотела уступать сегодня.

Но вот каким-то чутьем Нарма угадал, что ему нужно сейчас, именно в эту минуту догнать Сяхлю. Гибко изогнувшись, она увернулась от изойливого преследователя, отбежала в сторону Нармы, подразнила его мячом, как бы приглашая догнать. Нарма подскочил на месте и ринулся вслед — и почти тут же понял, что не угнаться ему за стремительной Сяхлей.

Но сзади слышались подбадривающие крики. Гнали за Сяхлей и еще двое дюжих парней. Вот один упал, зацепившись ногой за кочку, другой набирал скорость, был посильнее. В сумерках Нарма угадал Пюр-

вую: широкоплечий, большерукий, он бежал, не сбавляя скорости, загребая воздух ладонями, как веслами на воде.

— Пюрвя! — попросил Нарма соперника, дыша ему в затылок. — Оставь! Дай мне догнать! Ну, я тебя прошу!

— Как бы не так! — недобро покосился через плечо Пюрвя. — Не во всем тебе быть первым!

«Вот почему он просится у старшего табунщика проведать гагу!» — догадался Нарма. Злость прибавила сил. Нарма стал замечать: Пюрвя отстает... Вот они уже поравнялись, бегут рядом. А Сяхля, будто степная серна, мчалась впереди своих преследователей, недостижимая ни для кого. Наконец Пюрвя, ругнувшись с досады, пропустил Нарму вперед, хотя было мгновение перед этим, когда выбившийся из сил Пюрвя хотел остановить соперника, раскинув руки, но Нарма с такой яростью посмотрел ему в залитое потом лицо, что Пюрвя отшатнулся. Нарма поймал себя на мысли, что если бы пришлось схватиться в драке, он готов был перегрызть сопернику горло.

Пюрвя стал отставать, впрочем не прекращая бег, а Сяхля в своем белом платье уже не бежала, а как бы порхала, как ночная бабочка над землей. Вот-вот совсем оторвется и улетит в небо. «Все равно будешь моей, небесное создание!» — внушал себе Нарма. Пюрвя окончательно вышел из игры. Это почувствовала или заметила Сяхля, уведшая того, кого хотела, подальше от остальных парней и девушек. И вдруг она упала, разбросав по траве руки, похожие на лебединые крылья.

— Где мяч? — спросил Нарма, тяжело дыша, рухнув рядом на колени.

Сяхля насмешливо проговорила:

— Это ты за мячом так долго бежал по степи?

— Нет, я бежал за тобой! — простодушию оправдывался парень. — Я готов так бежать всю жизнь, но боюсь, что ты однажды оторвешься от земли и улетишь в небо!

— Зачем же нам небо, Нарма, когда на земле столько красоты!..

Сяхля словно оборвала себя — и вдруг притянула к себе голову парня и поцеловала между бровей.

Нарма обалдел от счастья. В голове у него все перепуталось: «Не дай бог, кто увидел! Пропали оба!..»

— Только не задаваться, Нарма! — предупредила Сяхля.— Это тебе за тот танец, в котором ты переплясал меня... А теперь бежим назад!

— Нет, ради бога, нет! — взмолился Нарма, боясь упустить этот неповторимый миг.— Я готов на все. Пусть меня казнят после!.. Убей меня сама!.. Но я не могу тебя никому отдать, это выше моих сил... Только одно слово... Ты — судьба моя! Я это понял с первого взгляда, еще у колодца... Люблю тебя больше самой жизни!

— Перестань, Нарма, нас услышат, — сказала девушка, освобождаясь от рук парня.— Что тебе еще нужно? Я ответила на твой вопрос еще до того, как ты его задал... Иди же, мой милый, иди поскорее прочь, иначе мы сами же себя погубим.

Она первой подхватила на ноги и опять запорхала над землей. А Нарма бежал где-то рядом, но не за Сяхлей, а стороной и не спешил, будто нес в себе неслыханные сокровища, дарованные ему самой судьбой.

В ту шумную веселую ночь судьба свела их еще на одну недолгую минутку, и Сяхля успела сказать:

— Парень, который первым бросился за мною в степь, два года не отстает. Живет он в соседнем хотоне Ламы. Зимой и летом он часто приезжает в наш хотон. Приглядеться — совсем неплохой парень. Отец хотел было отдать меня за него замуж, но я уговорила не отдавать. Наверное, и отцу он не оченьглянулся, иначе кто бы меня спрашивал... Два года я не играла в цаганмоди. Если бы не ты, не пришла бы сегодня на игрище.

— Но отец может выдать замуж и за кого-то другого! — шептал с отчаянием Нарма.

— До сегодняшнего дня он мог это сделать. Теперь не пойду даже за нойона! — Она покорно коснулась его руки, словно соединяя этим рукопожатием их судьбы навсегда.

3

Прошло два месяца после того удивительного вечера, и в хотоне Орсуд как бы прибавилось еще одним жителем. Нарма зачастил туда по всякому поводу и без видимых причин. Слова Сяхли во время игры в цаганмоди сильно обнадружили парня. Он уже почти держал в своих руках сказочную жар-птицу. Но случается, и пойманная птица упорхнет, когда ей отворят дверцу не

с той стороны. На пути между сердцами влюбленных вставали преграды, одна за другой. При втором появлении в хотоне у Нармы заметно поубавилось друзей, особенно средн парней. На танцы уже не звали, будто разлюбили его удал. На расспросы Нармы чаще всего не отвечали или несли окоlescнцу, только бы отговориться. Другие вообще отворачивались, будто и не знакомы.

По обычаю до самой свадьбы парень не имеет права представиться родителям невесты. А вне дома девушку невозможно увидеть месяцами. Встретишь на улице — не смей подойти. На зов не откликнется тем более — не принято.

Совсем измаявшись, Нарма как-то отважился заговорить с отцом любимой. Будь он совсем незнакомым, неизвестным отцу путником, хозяин кибитки должен был пригласить гостя к столу, оказать уважение. Но, видно, с этой затеей припоздал Нарма, упустил время появиться в доме Сяхли случайным заходящим. Намозолил глаза однохотонцам, а те повывернули себе языки, рассуждая о бродящем по окрестностям новом поклоннике Сяхли.

Старый Нядвид и не поздоровался с Нармой, тут же вышел из кибитки, едва увидел парня на пороге.

Оборотистая тетка Пюрви, устранявшая ради своего племянника шумные посиделки, оказалась к Нарме добрее, хотя она, конечно, знала о том, что свой же племяш сохнет по Сяхле. Скорее всего, знала она и о том, что для племяша все надежды потеряны. Тем не менее она без местн кое-что подсказала Нарме, имевшему, по ее разумению, теперь не больше шансов на руку и сердце Сяхли, чем и ее незадачливый Пюрвя.

— Обычай, — сказала она, — не позволяет и жениху встречаться с невестой до свадьбы, а вы с Сяхлей — просто уличные знакомые. Что же ты, сынок, извини старую за откровенность, днюешь и ночуешь под порогом ее кибитки? Неприлично это. Я понимаю: тебе тяжело, но и ей, поверь, не легче! Чего только о вас не говорят в хотоне! Чем раньше ты исчезнешь отсюда, тем лучше будет, по крайней мере, для девушки!.. Но так думаю я, а ты поступай, как тебе рассудок велит.

Нарма и сам казнился своим смешным положением. Он готов был скрыться с глаз очужевших к нему хотонцев тут же, но... хоть на минуту увидаться с любимой, услышать от нее самой одно только слово!

В густые сумерки Нарма забрел на подворье Сяхли и улегся на телеге, решив: будь что будет! Девушка, конечно, видела его и в полночь прокралась к телеге:

— Нарма! Сейчас же уходи! Отец что-то затевает дурное, тебя могут побить его дружки... Поспешн же отсюда и присылай сватов!

Через минуту Нарма был уже в седле. У околицы навстречу ему вышло пятеро дюжих парней с кольями в руках. Окрыленный словами любимой, Нарма мог бы в те минуты перелететь на коне через головы своих недругов, но он предпочел свернуть с дороги и припасть головой к шее верного гнедка...

4

Последние три-четыре года Нарма управлял всем хозяйством зайсана Хемби: он намечал места для выпаса коров и овец, устанавливал очередность смены пастбищ для каждого стада. Хемби доверял ему продавать скот на ярмарках, покупать новый инвентарь. Словом, его считали управляющим хозяйством зайсана. После приезда из хотона Орсуд Нарма поделился с Хембей, как с отцом, о своей встрече с Сяхлей, что вот как-то не получилось дружбы ни с отцом девушки, ни с людьми того хотона. Услышав такую новость от Нармы, зайсан долго сидел молча.

— Ты говоришь, она умна и красива? — неторопливо начал Хемби. — Я и не собирался перечить тебе в выборе невесты. Но боюсь, что из твоей затеи ничего не выйдет... И причина не одна, сын мой: во-первых, на родине моей жены есть скромная, хорошая девушка, мы с супругой присмотрели ее тебе. Об этом я как-то говорил тебе раньше, но ты принял мои слова за шутку. А дело ведь идет к сватовству. Если я пожалую тебя и буду сватать девушку из хотона Орсуд, что скажут о нас родители сговоренки? Как я буду смотреть в глаза другим людям, знающим о нашем разговоре с родителями твоей нареченной? Та девушка из рода торгутов, а род торгутов многочисленный. К тому же я дербетовский зайсан, человек не простого звания. Люди начнут толковать: если зайсан, человек белой кости, не хозяин своему слову, то простолюдинам и подавно все позволено. Боюсь, твоя мечта останется мечтой, сынок...

Зайсан в минуту особого расположения к Нарме называл его даже сыном. Но решения свои менял редко.

— Нет, отец! — в тон ему заявил Нарма. — Кроме Сяяхли, мне никого не надо!

— Не спеши, Нарма! — предупредил зайсан, выставив ладонь. — Я тебе еще не сказал о второй причине, а она не менее серьезна, чем первая.

— А что же за вторая причина? О, боже, — со стоном выдохнул Нарма.

— О второй причине я и хочу рассказать тебе подробнее. Ты, наверное, и раньше слышал о нашей давней ссоре с орсудцами. Двенадцать лет тому назад за Беергин-худук погнали три человека — двое наших и один из хотона Орсуд. Недельку степняки сходились стенка на стенку. Мы одолели их, прогнали от колодца. С тех пор Беергин-худук и пастбища вокруг него принадлежат нам. В дрянной свалке этой виноваты были они, а не мы. А дело вот в чем. Пастбище всегда было за нами. Много лет мы не трогали его, берегли для своего скота. Вот соседни и подумали, что земля ничья, не спросили нашего позволения, пришли однажды, вырыли колодец, укрепили яму деревянным срубом. Три года толклись со скотом на нашей земле, пили нашу воду...

Хембя набил табаком трубку, не торопясь, прикурнул.

— Твой отец, царство ему небесное, тогда очень помог мне. Собрал народ, вооружил дрекольем, затем дружно повел на пришельцев и прогнал их. Между хотонами Орсуд и Налтанхнн пролегла вражда. Ни один человек из нашего рода с тех пор не женился на девушке из хотона Орсуд, ни одна наша девушка не выходила замуж за парня из того хотона. Теперь давай рассудим хорошенько: прежде чем ехать в Орсуд по такому делу на поклон, нужно мириться с ними, а мириться — вернуть им Беергин-худук и окрестные пастбища. Если мы с тобой поступим именно так, то что скажут люди из аймака Налтанхнн? Думаешь, они похвалят нас, назовут умными? — Хембя изучающе посмотрел на юношу.

— Рядом с Беергин-худуком, в двух верстах, на нашей земле есть другой, — тут же нашелся Нарма. — Разве нельзя понть табуны у того колодца... Да я сам вырыл бы на новой делянке...

— Ха-ха-ха! — зашелся смехом старик. — Спасибо, потешил! А я уж думал: смена мне подросла и поручил

тебе все движимое и недвижимое... А ты еще в мелочах путаешься, как перепелка в траве... Поверь мне, Нарма: рядом с хотоном Орсуд нет ни одного колодца с пресной водой! В их колодцах вода тухлая, соленая. Слава богу — дожди их спасают. Навалнсь засуха — продадут нам за полцены свою землю с хорошими пастбищами, а сами подадутся куда глаза глядят. Такого момента я жду двенадцать лет. Орсуды ходят с арканом на шее, а конец аркана в моих руках! Когда они покинут наши места, мы сможем увеличить свои табуны и стада в два раза! А ты говоришь, чтобы я даром отдал землю с колодцем! Нарма, ты никогда не был хозяином, не знаешь, что это такое!

Хембя подошел к Нарме и похлопал его по плечу, давая знать, что разговор окончен.

После этого разговора Нарма не мог заснуть. Под утро оседлал каурого и уехал в степь. Не останавливал коня до тех пор, пока тот сам не приблизился к одному, заброшенному кургану. Здесь Нарма спешился, прошел два шага и упал — ноги не держали его. Он горько заплакал навзрыд, бился головой о землю, проклиная Хембя, себя, свою судьбу. Вернулся из степи парень неизвестным. Лицо осунулось, пожелтело, губы стали синими, глаза ввалились, как у человека, долго болевшего лихорадкой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Выждав, когда Нарма оправится от потрясения, Хембя с зайсаншей поехал в Дунд-хурул на молебен. Мысль о поездке в Дунд-хурул возникла у него несколько раньше, до происшествия с Нармой.

Как-то по весне зайсан ездил в Царцын и, возвращаясь обратно, навестил малодербетовского нойона Даявнда. Поговорили о делах, о новостях в степи, в Астрахань, в Царицыне, в столице, и, когда прощались, Даявнд сказал:

— В начале июня я собираюсь поехать к Бааза-багше, послушать чтение ганджур¹, которые привез он из путешествия в Тибет. Не мешало бы и тебе приехать.

¹ Ганджур — сто три тома буддийской философии.

В Дунд-хуруле ты не частый гость. Или боишься ездить через земли орсудов? — усмехнулся нойон.

— Почему же? Приеду непременно, — заверил Хембя нойона Даявида.

И вот назначенный день настал. Дунд-хурул в пятидесяти верстах от Налтанхна. Доехать можно за день. Зная о том, что в дороге его сильно укачивает, Хембя решил выехать пораньше, чтобы в пути сделать остановку, выспаться и явиться в хурул отдохнувшим.

В легкую рессорную линейку запрягли двух вороных рысаков. Чтобы меньше трясло на кочках, под сиденья приладнили мягкие подушки. «Как бы ни мягко стлали, да кости отовсюду выпирают — старость, — думал о себе Хембя. — Раньше за день доезжал до Царницына, а туда сто пятьдесят верст с гаком! И в теле держалась бодрость... А сейчас: туда-сюда проехал и на боковую».

Жена Хемби, Байчха, тучная женщина, была лишь на два года моложе Хемби. Она тоже уставала в дороге, но виду не подавала. Едва выехали — заговорила, чтобы скоротать время:

— Хембя, не замечаете — Нарма ходит как в воду опущенный.

— А? Нарма? Влюбился. С кем не бывает!

— Если девушка из рода Орсуд, то, должно быть, красная. Может, заедем в Орсуд, глянем на избранницу Нармы?

— Ха! А что я скажу родственникам засватанной?

— Этот разговор поручите мне. Уж я-то найду, как со своими объясниться, — бойко ответила жена.

— Дойдет дело до свадьбы — опять похватают колья да ножи! Кровь прольется. Об этом-то ты думаешь?

— До крови доводить нельзя, — согласилась супруга. — Отдайте обратно Беергин-худук. Если отдадите худук, не только Дунд-хурулу, но и всем людям Сарпинской должны заткнете рот.

— Жаль тебе орсудцев?

— Не в том дело, Хембя... Когда у человека ноги теряют резвость, глаза слабеют, брненное тело одолевают немощи, полагается думать о дне завтрашнем, бесконечном. Бааза-багша наверняка знает о драке за колодец. Что он может подумать о нас? А вот что: мол, Хембя не щадит своих братьев, жалеет для них источник. Наверное, Хембя рассчитывает на бессмертне?

— Ты обо всем этом говоришь от себя или от кого-то услышала?

— Если бы я была на месте Бааза-багши, то я подумала бы так же.

— Может, я тоже так думаю!.. Только как же теперь поверить всю эту историю? Шуму наделали, как на войне, людей потеряли, а теперь вроде как извиняться перед нахалами,—осердился Хембя на жену.

— Вы отняли не землю, а худук,—поправила Байчха.

— Да и земля же вокруг колодца наша!

— Они просили не землю, а стежку на двести шагов, чтобы пройти к колодцу. Пастбищ у них вдосталь своих, отдайте этот злосчастный колодец, и все станет на свои места, уляжется кровная обида!—с непонятым упорством настаивала на своем Байчха.

— Ты на меня не напирай с этой заботой!—предупредил осторожный зайсан.— Я Нарму чуть не угробил отказом. Парень уже перебродил, а теперь снова? Здесь нужно все хорошенько продумать!

— Нойон Даявид о чем с вами толковал? Не о колодце?

— Да нет же! Будет он еще о каком-то вшивом Орсуде речь вести!..

Двенадцать лет тому назад, когда Хембя силой отбил у людей хотона Орсуд единственный их колодец с пресной водой, к нему приезжал Бааза-багша.

— Вы, зайсан, человек с понятием... У вас в аймаке пятьсот семей. Хотя вы над ними и господин, но не забывайте об обязанностях повелителя—заботиться о жаждущих и страждущих. Почему же вы оставили без воды жителей целого хотона? Если вы вернете им обратно тот злополучный худук, утром и вечером люди будут молиться о вашем здравии.

Хембя не послушался. Зайсан Хембя был тогда еще молодым и полагал, что впереди целая жизнь и действует он обдуманно и поступает в споре за колодец правильно.

— Худук вернуть недолго. Да не было бы разговоров потом. Скажут: за какую-то девку для своего батрака вернул воду,—зайсан тяжело вздохнул.

— Мне кажется, таких разговоров бояться нечего,—сказала Байчха, помолчав.—Причина, конечно, нужна...

И батрак — человек, и девушка не в чужой хотон жить придет, в наш... Без серьезной причины нельзя было отнимать чужой худук, как нельзя просто так отдавать его обратно... Нужен повод, чтобы все это стало бы на свои места. Подумайте, Хембя. Может быть, мы не будем спешить, заночуем по дороге в Орсуде?

Хембя с Байчхой вместе почти сорок лет, и Хембя не раз благодарил бога за то, что всевышний свел его с такой рассудительной женщиной. Обидел их бог в одном — не послал детей. «Если бог не дает детей, с этим нужно смириться», — повторял для успокоения чьи-то мудрые слова зайсан.

Хембя ни разу не упрекнул за это жену. Да и зачем упрекать: Байчха и без того казнится. «Если бы у Хемби была другая жена, у него появились бы не только дети, но были бы уже внуки и правнуки», — не стеснялась говорить она и при посторонних.

— Хембя, я вас очень прошу, заверните в хотон Орсуд. Переночуем там, рано встанем и до начала молебна успеем в монастырь, — настаивала жена.

2

Солнце держалось еще высоко, когда они добрались до Орсуда. Остановились у кибитки отца Сяххли. Нядвид приветливо встретил неожиданных гостей.

В хотоне не было богатых скотоводов. В каждом дворе держали одну-две коровенки, с десятков овец, для своего обихода, тем и жили. А совсем ниимущие шли в наймы к зажиточным хотонцам в Дооганкин. Пасли там овец, ухаживали за коровами, табунили лошадей у богатого калмыка. Нядвид Савдыров считался из небогатых. Ох, как неловко бедняку, когда в гости к нему завернет знатный, известный всей округе человек! Хембя с женой могли остановиться у более состоятельных людей, но им хотелось увидеть Сяххлю.

Не зря сказано: если повстречаются два калмыка и поговорят в охотку, почти всегда выяснится, что они родственники... Какая-нибудь да кровная связь между ними отыщется при доверительном разговоре!

Хембя начал перебирать в памяти всех родственников до седьмого колена и вскоре отыскал ту ниточку, что связывала предков зайсана с родней отца Сяххли.

— Мы едем в Дуид-хурул на молебн. Отмахали уже немалый путь, решили дать лошадям отдых, да и самим отлежаться... Вот и вспомнили о вашей кибитке,— сказал умиротворенно Хембя, когда Сяхля поднесла гостям трубки с табаком и засобиралась на улицу, чтобы приготовить гостям чай.

— Мы так рады с отцом! — отозвалась с поклоном Сяхля.— Переоночуйте и погостите у нас.

Нядвид только воздевал руки в смущении и не находил себе места. Все ему казалось здесь тесным, скудным, обтрепанным. «Даже овцы нет, чтобы зарезать гостям! — сокрушался старик.— С другой стороны подумать: неспроста зайсан избрал для ночлега наш убогий джолум... Не накликали ли мы беду на себя?»

— Двоюродная сестра вашего отца была замужем за моим дядей по матери,— любезно напомнил зайсан.

— Как же! — соглашался старик.— Когда я был совсем малышом, вместе с отцом ездили к тому самому дяде... Выходит: мы самые настоящие сватья!

— О том же и я толкую! — поддакивал зайсан.

Хембя в задумчивости кивал головой, с удовольствием вытягивая ноги, освобожденные от тесной дорожной обуви. Хозяин кибитки тоже думал о своем: «Когда ты, Хембя, затеял драку у колодца, не вспомнил, что твои холун колотят родственников! Я ведь тогда тоже недосчитался двух ребер... Хирею после того случая».

У старика была небольшая кибитка, умело залатанная во многих местах. Внутри все прибрано, посуда оттерта песочком и золой до блеска, словно в кастрюлях никогда не готовили. Кровати ровнейские, на подушках покрывальца из легких кружев. Ловкой, ладной в работе и очень приветливой показалась Хембе и Байчхе юная хозяйка. Зайсанша не переставала удивляться: девушка никуда не выезжала из степи, ничего не видела, кроме своего убогого джолума, и откуда-то научилась так держать себя на людях, как не сумеют многие дочери ийонов, воспитанные гувернантками.

Между тем хозяин кибитки, пока готовился чай, с волнением размышлял о целях приезда столь именитых гостей. «Что привело их в наш хотои? Почему остановились именно у нас? Неужели приехали по делу того парня, который повадился было к Сяхле? Едва ли зайсан да еще с дородной супругой своей пожалуют в

отдаленный хотон из-за сердечных забот батрака?»

Сяяхля вся светилась, она приняла было зайсана и зайсаншу за сватов от Нармы... Но вскоре пришлось убедиться: Хембя и Байчха не сваты.

Весть о приезде налтанхинского зайсана в гости к Нядвиду Савдырову быстро распространилась по хотону. Чтобы не ударить лицом в грязь перед высоким гостем, мужчины поймали пасшуюся поблизости овцу. Проворно разделали ее.

Наступил вечер, дотур¹ был готов, мясо в мисках дымилось. Хотонские старики и мужчины один по одному с поклоном занимали места у стола. Начался долгий разговор. Толковали о пастбищах, о видах на урожай, о ценах на ярмарке в Царицыне и Черном Яре, в Аксае. Интересовались, по какой цене можно сбыть коров и лошадей в портовых городах на Волге. Беседа перекатывалась с одного на другое. Все ждали, что зайсан как-нибудь обмолвится о причине своего заезда в недружественный хотон. Не помириться ли надумал Хембя с орсудцами под старость?

Зайсан молча обгладывал баранью голову да изредка посматривал то на расстеленные для них с Байчхой кровати, то на очаровательную дочь хозяина кибитки. И о том и о сем ронились догадки у обиженных Хембей орсудцев. На все могла бы ответить лишь Байчха, но и она молчала, обдумывая свой предстоящий шаг, на который она медленно и трудно решилась.

На другое утро, только начало светать, Хембя с женой выехали в Дунд-хурул. Отдохнувшие за ночь лошади бежали резво. Солнце лишь взошло над горизонтом, как показался монастырь. Вокруг храмов полукружьем расположилось с десятков деревянных домов, рубленных «в лапу». За ними в круг стояли кибитки, в которых жили гелюнги. Те, что побогаче, выходцы из зажиточных семей, ближе к деревянным домам, и кибитки у них белые.

И Хембя и Байчха облегченно вздохнули — добрались.

А еще в дороге, когда линейка только лишь отъехала от хотона Орсуд, Байчха, взглянув на сидящего рядом мужа, спросила:

— Как вам, Хембя, глянулась дочь Нядvida?

¹ Дотур — национальное блюдо, приготовленное из ливера.

Хембя, закрыв глаза, молчал. Нескладное тело его подпрыгивало на ухабах.

— Не хотите со мной разговаривать? — Байчха лукаво прищурила глаза. — Я спрашиваю: понравилась ли вам дочь Нядвида?

— А, ты все о той козочке? — пробудился от своих дум зайсан. — Шустрая девница!.. И дотур приговорила в один момент!.. Хорошая хозяйка будет кому-то!

— И умна — не заметили? Я успела поговорить с ней наедине. Поговорила — и все вот думаю: как это людям удастся вырастить таких развитых детей в семье без достатка?

Хембя пытался отгадать, к чему жена затеяла весь этот разговор.

— Среди людей черной кости редко встретишь девушку с такими благородными манерами. Чаще всего бестолочь, куклы... Если бы у нас был сын, я не поглядел бы, что Сяхля живет в драином джолуме!

Сказав это, Хембя с беспокойством взглянул на жену: ведь она может угадать о его скрытых мыслях по словам! Но Байчха сидела спокойно и даже тихо чему-то улыбалась.

— Сына нам бог не послал, — вздохнула она грустно. — Ничем, видно, такой беде не помочь. На все воля всевышнего.

«Зачем всякий раз уповать на бога, — с раздражением подумал зайсан. — Бедняжка исказила себя за это, и мне слышать такое — не мед пить. Мне скоро шесть десятков стукнет, ей давно за полсотни перевалило. И сам бог небось не в силах пособить нам в зачатии. А значит, незачем изматывать душу. Байчха была мне и верной женой, и заботливой матерью. Если угодно — дитем моим была, потому что женщины слабы и беззащитны, как малые дети подчас. Я, кажется, не заносил на нее руку, не сорил бранным словом в минуты гнева».

Когда двое живут много лет рядом, они обретают умение улавливать мысли друг друга. Так, наверно, было и сейчас. Зайсанша умилялась благородству мужа, его выдержке, бережному отношению к ней. «Ну, ладно, мой дорогой! — рассуждала мысленно Байчха. — Я верю, ты готов терпеть мои несовершенства до конца дней! И я благодарна тебе. Как я благодарна тебе!

О, хяэрхан, небеса господни! Помогите же мне осуществить задуманное...» — и шептала молитвы.

Так изредка переговариваясь между собой, вспоминая прошлое и думая о дне будущем, подъехали они к Дуид-хурулу. Экипаж остановился у кибитки зурхача Тавлды, находившейся в северо-восточной части хотона. У сухорукого Тавлды отец был здешним, а мать — землячка Хемби, родом из аймака Налтанхин. Не только землячкой была мать — двоюродная сестра зайсаиа. Когда Хембя ездил в Царицын или в ставку аймака, всегда останавливался здесь.

У кибитки зурхача стояла телега с запряженным в нее верблюдом. Тут же сновали два-три батрака и гониры¹. Они привезли в бочке воду. Кроме того, у монастырской кибитки толпились гецелы², совсем юные монахи, по одежде которых можно было определить, что они лишь приобщались к вере. Вот от хурула доиесся звук трубы. Из кибиток высыпали гелюиги. Со стороны Царицыиа показалась легкая карета, обшитая белым войлоком. Три белых рысака легко катили ее по разбитой в пыль дороге.

Уже две недели хурул жил слухами о том, что ийон Малодербетовского улуса Даявид приедет сюда, чтобы отдать дань уважения Бааза-багше. Видеть именитого ийона, заодно получить благословение наставителя монастыря пожелали многие окрестные люди. К монастырю стекались толпы пеших и конных. Прихожане заполнили обширный лог у околицы, с южной стороны хурула. Пришли слепые, убогие, нищие. Все страждущие ждали от богатого ийона хоть малого знака внимания.

Монахи встречали ийона Даявида с шумными почестями. Отрядили двадцать всадников на лошадях ярко-рыжей масти. Всадников расставили на расстоянии друг от друга до самого местечка Бичкии — за шесть верст на подступах к монастырю, чтобы те сообщили заранее о приближении ийона.

— Едет! Едет! — раздался сигнал, и вскоре показался белый поезд с ийоном, окруженный всадниками. Карета остановилась на площади у монастыря. Грянула величальная мелодия, исполняемая хурульным оркестром. Священники выстроились у входа в празднич-

¹ Гониры — работники кухни.

² Гецел — послушник монастыря.

ном одеянии. И только один Бааза-багша в желтом лавшаге¹ с перекинутой через плечо красной лентой сидел, поджав под себя ноги, в большом молельном зале и не спеша перебирал четки.

— Ом-мани-пад-мэ-хум!² — начал молитву багша, когда получивший благословение нойон и священники заняли свои места согласно рангу. Все повторяли строки Священного писания. Молитва читалась на непонятном тибетском языке, поэтому не только простые калмыки, но и сами священники не понимали слов. Но когда из монастыря начали доноситься звуки молитвы, люди, стоявшие на улице, истово опустились на колени. Они также читали молитву, улавливая речитатив, но каждый при этом говорил о своем: о своей нужде, бедах, постигших его самого и домочадцев, просили всяк на свой лад помощи у бога, у нойона... Вокруг монастыря собралось сотни две, а то и больше паломников.

Солнце уже приближалось к зениту, когда из монастыря вышли Бааза-багша, нойон Даявнд и зайсан Хембя с женой.

— Люди! Я слышу в ваших устах мое имя! — величественно проговорил нойон, обращаясь к толпе. — Славьте Бааза-багшу — он побывал в Тибете! Он был обласкан святым Далай-ламой!

Услышав эти слова, толпа ринулась к крыльцу храма, задние теснили передних, передние обступали Бааза-багшу, прося у него благословения.

— О хяэрхан! Не напирайте так сильно, а то рухнет забор хурула! Свершится большой грех! — кто-то пронзительно кричал, прижатый к забору.

Багша с нойоном и свита багши медленно пошли. Толпа с воплями хлынула в стороны, образовав коридор. Сзади этой свиты семенила перепуганная Байчха. От шума толпы, истеричных выкриков юродивых жене зайсана стало не по себе. Частокол людей в рваной одежде, вид изрытых болячками лиц, обнаженные уродства калек — все это было так близко. Одни пожирали глазами багшу, стремясь запомнить каждую черточку его лица, другие — с надеждой на исцеление, третьи просто так, лишь бы увидеть то, на что смотрят остальные.

¹ Л а в ш а г — халат, подобие ризы.

² О, сокровище Лотоса, помоги нам!

— Хембя! Не забудь о подарке! — шепнула Байчха своему супругу.

Хембя выбрался из толпы и направился к линейке.

3

Нойон, багша, супруга зайсана и несколько человек из монастырских вошли в чистый прохладный дом Баазы. Монастырские расположились далеко у стен.

После спертого воздуха молельни здесь дышалось легко и свободно.

— О, хяэрхан. Кажется, все это кончилось! — вздохнул нойон, обмахивая лицо веером. — А где же зайсан Хембя? — поинтересовался он.

— Ушел за подарком! — тихо объяснила ему Байчха. — До его прихода, князь, я должна сказать вам и Бааза-багше нечто важное... Простите меня и выслушайте!

У нойона поплыли вверх брови, однако он не перебил жеицину. Коротко прошептав молитву, Байчха тополиво стала говорить.

— О, дербетовский нойон Даявид! Вы всегда были опорой богатых и надеждой для бедняков, сирот и одиноких! Ваша мудрость не раз спасала от беды целые хотоны, вселяла в сердца падших веру в добро!.. И вы, Бааза-багша, как ясновидец, угадываете то, что ждет нас завтра... Да продлит бог ваши годы, досточтимый багша! Много лет я таила от вас свою беду, теперь чувствую: не могу совладать с собой, разум мой теряется в думках. Прошу вас, глубокоуважаемый нойон Даявид и солнцеликий Бааза-багша, помочь мне избавиться от моего греха, отвести беду от зайсана Хемби!..

Байчха опустила на колени и трижды коснулась лбом пола у ног багши, затем у ног нойона.

— Байчха! Встань и говори яснее, что за смута покоит твою душу? — Бааза-багша иасторожению всматривался. Он слышал от других, что жена зайсана Хемби иа редкость умиа и добропорядочиа.

— Ваша светлость! Могу ли я виаачале спросить у вас? — обратилась Байчха к нойону.

— Конечно, сестра, я к твоим услугам!

— Ваша светлость! Как вы думаете, почему во всем Малодербетовском улусе осталось так мало людей бе-

лой кости? Не правда ли, нас можно пересчитать по пальцам?

— К сожалению, это так, сестра,—сказал нойон, разглядывая кончики своих пальцев.

— У Зайсана Цябдирского аймака детей нет,—принялась перечислять Байчха.—У зайсана Налдымского аймака есть сыи, но все равно, что и нет. Ему уже двадцать лет, но рассудок его, как у четырехлетнего ребенка. Может ли такой сыи продолжить род отца своего? И в нашем доме, в доме зайсана Налтаихина, нет детей! Пройдет еще пять, десять лет, и во всем Малодербетовском улусе переведутся люди белой кости...

— Что же ты посоветуешь нам, сестра? — поторопил ее нойон, скрывая улыбку.— Или ты придумала лекарство от бесплодия?

— Лекарства я не знаю. Но как получить моему супругу наследника, придумала. И прошу позволения...

— Я же сказал—говори все, что думаешь, сестра! Байчха повернулась лицом к багше:

— Если вы не хотите оставить пятьсот дворов аймака Налтанхии без юного зайсана, позвольте Хембе жениться на молодой женщине, которая и принесет ему наследника... Муж мой еще не стар, уверяю вас! — со смущением закончила наконец Байчха.

Нойон и Бааза-багша переглянулись и устались на Байчху с изумлением, резонно полагая, что зайсанша тронулась умом в горе, от непрестанных дум своих.

— О, хяэрхан, зунква минь,—тихо проговорил Бааза-багша. Руки его, перебиравшие четки, дрожали. Он впервые слышал подобное от замужней женщины.

Нойон, прищурив глаза, с любопытством наблюдал за Байчхой.

— Вы, видимо, думаете, что я заболела,—поняла их обоих Байчха.— Нет, я не жалуюсь на здоровье. Болит только моя душа. Если вы, мудрейшие из мужчин, меня не поймете, то кто же поймет?

Первым пришел в себя нойон Даявид.

— Почти сорок лет вы прожили в добром согласии с Хембей, и многие соседи ставят вас в пример... Предположим, что все свершится так, как ты задумала, сестра... В дом Хемби придет новая жена... А куда денешься ты?

— Простые люди не поймут вашей затеи, сочтут за

блажь... — нахмурился Бааза-багша. — Скажут, если господа поступают в нарушение законов веры, нам и по-давно бог простит!

— Я думала и об этом, — развивала свою мысль Байчха. — Есть же такой закон у казахов и татар... В каюнах нашего культа повторный брак не считается грехом; если он освящен, вызван необходимостью. В пятах кибитках аймака Налтанхин люди с тревогой и насмешками говорят о том, что у зайсана нет детей. Люди черной кости озабочены отсутствием наследника у Хемби. Почему же нам возбраняется подумать о той беде?

— Не торопи нас, сестра! — сказал нойон уклончиво. — Иногда и две мужские руки не распутают клубка, намотанного одной женщиной.

— Медлить тоже нет смысла, — рассуждала ободренная их вниманием Байчха. — Через год Хембе исполнится шестьдесят... Это уже не жениховский возраст.

— Да, но ты не ответила на мой вопрос, Байчха, — напомнил нойон. — Что станется с тобой, если мы с Бааза-багшой пойдем на риск? Не посмеются ли прихожане над всеми нами?

Байчха оказалась напористой:

— Я уже решила свою судьбу, о мудрый нойон и преосвященный багша! С меня достаточно тех радостей, которые я испытала в супружестве с Хембей. Останусь рядом с зайсаном, заменю ему и его молодой жене мать, буду счастлива няичить младенца, если бог пошлет его в дом зайсана. Поверьте, я не злой человек! Вам об этом скажет любая женщина аймака.

Байчха скривила губы, готовая заплакать. Все лицо ее выражало скорбь, покорность судьбе, готовность стать прислугой, рабыней в доме любимого человека.

Нойон смотрел на жену зайсана с радостным удивлением. Его супруга ни за что бы не решилась на такой шаг! В поступке Байчхи он видел нечто возвышающее ее над семьей, над собственным благополучием. Байчха вела себя по-мужски расчетливо, рассуждала вполне деловито. Она шла на жертву ради спасения доброго имени мужа.

— Мне кажется, — сказал нойон, обратившись к Байчхе, — закон не возбраняет человеку обзавестись

другой семьей, если супруга от первого брака жива. Все дело в благопристойности такого шага.

Бааза-багша молчал, обдумывал свое решение. Ему нужно было мысленно углубиться в страницы священных книг, чтобы найти примеры. Четки его перебегали под пальцами с быстротой листаемых книг.

— Не забывайте, друзья, что мы — буддисты, — говорил багша. — В основе нашей веры — благодать поступков. Не могут быть счастливы под рукой одного мужа две женщины. Хембя станет упиваться прелестями молодой жены, а первая его супруга, данная ему богом, изведется от ревности и страдания. Разве что благоверная Байчха поклянется в том, что все затеянное ею — порыв к добродетели, а не от лукавого...

— Клянусь! — тут же проговорила женщина, глотая слезы.

Это были слезы счастья, торжество упрямой женщины, добившейся своей цели. — Я очень благодарна за мудрое повеление ваше!.. До самой смерти буду повторять ваши имена в молитвах! Только прошу вас, поговорите с моим супругом вдвоем... Хембя устрашится моих слов насчет второй женитьбы, уж это я знаю наверняка.

Пока нойон с багшой переговаривались относительно того, как этот разговор осуществить, не испортив неосторожным словом дела, в комнату ввалился Хембя с двумя наполненными доверху кожаными сумками.

За четыре десятка совместно прожитых лет Хембя не видел слез на лице жены. Сейчас она вытирала платком глаза, сидя напротив нойона. Хембя растерянно глядел на нее, затем перевел взгляд на нойона и багшу.

— Хембя, подойдите поближе, сядьте с нами, — повелительно произнес Бааза-багша, указав на место рядом с нойоном, но чуть пониже. Хембя покорио опустился. Багша взял с маленькой подставочки, стоявшей слева, крохотный медный колокольчик и резко встряхнул его. Появился высокий бледнолицый гецел.

Господин и его слуга разговаривали взглядами. Через несколько минут гецел поставил на столике вареное мясо, боорцики, джомбу¹. Все это венчала бутылка французского коньяка и два кувшина с красным вином.

¹ Джомба — калмыцкий чай.

Гецел с проворством ресторанного служки разлил коньяк по стопкам. Первую подал багше, вторую — нойону, затем оделил рюмками зайсана и его жену. Багша дотроинулся безмянным пальцем правой руки до поверхности рюмки, брызнул вверх и опустил стопку на прежнее место. Нойои и зайсан пригубили коньяк и также оставили питье, поглядывая в лицо багше.

— Дорогие гости, вы приехали издалека, устали в пути, нужно освежиться. Глоток спиртного возвращает бодрость телу, уставшим рукам и ногам. Когда мы шли из Монголии в Тибет, больше месяца карабкались по каменистым тропам с горы на гору, продирались сквозь колючий кустарник... И только на тридцать третий день добрались до таигутов. В пути я простыл и заболел. Вечером путники прибились к небольшому хотону в поисках ночлега. К середине ночи я почувствовал себя неважно. Хозяйева заварили крепкого чая из ягод, добавили в чашку бальзама. Через какой-нибудь час я начал потеть, простыня и покрывало стали волглыми. За остаток ночи пришлось дважды переодеваться в сухое. Утром я принял два маленьких кусочка сукурдзан дзуджик¹ и чашку горячего шулюна. Старая хозяйка разогрела на чугунной сковороде в сливочном масле соль и приложила к печени. После этого я снова уснул и проспал до обеда. Пробудившись, почувствовал облегчение, будто ничего со мной и не случилось. Так лечили от простуды наши предки! — закончил багша.

— Да, вы, багша, преодолели немыслимый путь! — сказал Хембя, восхищенно взглянув на настоятеля монастыря. — Какой веры люди встречались вам в той долгой дороге?

— В пути разные люди встречались, — не очень охотно ответил багша на вопрос. — Объяснялись они всяк на своем языке: на тибетском, китайском, таигутском, байд... Проводником у нас был бурят. Он вел по такой дороге, где живут люди нашей веры. Когда местные жители узнавали о цели путешествия калмыков, о том, что мы паломники к древним местам, сердца их озярялись радостью. Всяк был готов пособить, не принимая платы. Попадались в пути и люди жадные, недобрые. Такими я запомнил таигутов. Эти издавна про-

¹ Сукурдзан дзуджик — снадобье из трав.

мышляли грабежом. Имя божие, совесть у них не в чести. Живут как звери, лишь бы чем утробу набить... Старший звал нас к себе домой на обед. Чтобы не оставаться в долгу перед главарем раскольников, я подарил ему ружье, часть денег, золотой браслет для жены. Нойон сказочно богат, а простые люди из его хонта — голодные оборванцы. Мне показалось, что повелитель держит их впроголодь, как иной дурной хозяин не кормит собаку, чтобы злее была.

Нойон Даявид и раньше слышал рассказы о путешествии багши в Тибет, ему все это было знакомо. Зато Хембя ловил каждое слово. Затаив дыхание, мог слушать багшу день целый и больше. Бааза-багше было приятно видеть перед собой такого внимательного собеседника. Он знал, что все его слова о хождении к святым местам разносятся по степи как легенда о подвиге багши. Однако именно сейчас настоятель монастыря был сам потрясен поступком Байчхи, больше, чем легендами о его хождениях на Восток... Настала пора посвящать в неоконченный разговор с безбоязненной женщиной и Хембю. По едва уловимому знаку багши разговор начал нойон.

— Уважаемый зайсан Хембя! По возрасту я младше вас, но мне хотелось бы сейчас поговорить с вами, как мужчина с женщиной, на равных...

Даявид не торопился со словом, обдумывал каждую фразу. Медленными движениями он извлек из кармана серебряный портсигар, раскрыл его, постучал мушкетером папиросы по углу подставки.

— Наш разговор, надеюсь, будет откровенным, без взаимных обид... Нужно лишь проявить истинное мужское терпение. Для вас, Хембя, наверняка, не секрет, что из всех Малодербетовских зайсанов вы наиболее близки мне. Я ставлю в пример другим вашу доброту, ясный ум и осмысленные решения. Говорят: «Ребра являются опорой груди, а грудь — ребрам». Так и мы с вами поддерживаем друг друга и живем добрососедски, в ладу. Я давно привык считать: ваше горе — мое горе, моя радость — ваша радость. До вчерашнего дня меня мучила одна общая печаль, и я искал случая, чтобы излить перед вами душу. Пусть эти освященные стены монастыря станут свидетелями моего чистого порыва к

вам... Скажите, Хембя, гнетет ли вас то, что у вас нет наследников?

Слушавший все это с умилением Хембя воскликнул:

— Ваша светлость! Что за вопрос? Разве я не хотел бы иметь детей? Где только я не был, на какие жертвоприношения не шел. Но так угодно судьбе, что моих седи не коснутся нежные руки детей. У меня нет ни на кого обиды за это! Даже на Байчху, которая страдает, быть может, больше, чем я сам... К чему затевать разговор о семейных терзаниях под крышей храма? Сейчас уже нет такого доктора, чтобы он изменил решение самого бурхана.

— Зайсан Хембя! Не будем отчаиваться! — остановил его с веселой улыбкой нойон. — Недавно в Царицыне я повстречал своего давнего приятеля по лицу, князя Михаила. Пристанище князя в Москве, а в Саратовской губернии у него три деревни. На Волгу князь приезжал по своим делам. Мы хорошо поговорили с ним, и он, немолодой уже мужчина, поделился со мной своей радостью: тридцать лет прожил в согласии с первой женой, и у них не было детей. А четыре года тому вступил в повторный брак, и новая супруга его подарила князю двух младенцев.

Хембя пугливо покосился на жену:

— О, у русских свой путь и даже бог свой! — возразил Хембя. — Князь Михаил женился на молоденькой и небось забыл о прежней спутнице жизни... Я не могу оставить Байчху на старости лет! Это не по мне, высокочтимый нойон Дявид! На такой грех никогда не решится ваш покорный слуга.

— Хембя, успокойся! — сказала ему супруга с непонятной для мужа веселостью в глазах. — Если говорит нойон, да в присутствии багши, полагается все выслушать до конца... С тех пор как наши далекие предки перекочевали в Россию, прошли века. От тех, почти забытых, времен до нынешнего дня продолжался род зайсана Хемби. Но долгая нить эта может оборваться. У вас нет детей, некому нести дальше фамилию зайсанов. Разве правильно будет, если пятьсот дворов аймака останутся без хозяина, а Хембя будет спокойно наблюдать, как уходит в небытие род его?

Хембя хотел было прикрикнуть на жену за то, что она потворствует греху... Но по лицам нойона и багши

он понял: дело это основательно обговорено в его отсутствие, и последнее слово будет за Бааза-багшой. А настоятель монастыря, вслушиваясь в слова нойона, уже раз или два согласно качнул головой. Хембе ничего не оставалось, как покориться. Впрочем, у него еще будет время, решил он, обо всем хорошенько подумать на обратном пути и поговорить наедине с женой, которая слишком распустила язык в священном месте.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

До обеда еще не близко, но безжалостное солнце готово испепелить все живое. Затерявшийся в просторной степи хотон будто вымер. Лишь около одной кибитки всегда слышны голоса. Пряча голову в тени от навеса, хозяйка лепит княжичные кирпичики, раскладывает их рядом на солнце. За спиной она давно уже слышит детские всхлипы, крик. Не ополоснув рук в корыте, подошла к двери, сердито спросила:

— Эй, сорванцы! Что вы там затеяли?

В кибитке что-то грохнуло, со звоном покатилося.

— Яглав, яглав! — со стоном промолвила женщина и пошла споласкивать руки, на ходу придумывая наказание шалунам.

Дети везде — дети... Их возраст таков: шалить, бить посуду, волтузить друг друга в потасовке. Отчитай, накажи, дай подзатыльник — взвывает... Больше не от боли, а от обиды. Через минуту опять, глядишь, сцепился с ровесником или братом.

Тот день в маленьком хотоне Орсуд ничем не отличался от вчерашнего и позавчерашнего. Старшие были заняты неотложными хлопотами, порой не до детского рева в колыбели: поорет — устанет! Через три кибитки от этого, слишком уж беспокойного жилья, — кибитка Сяххли. Вот девушка вышла из дому, постояла немного в раздумье и пошла к той женщине, у которой руки никогда не скучали без дела. В кибитке, наполненной горластой малышкой, живут и какие-то дальние родственники, некуда им, неприкаянным, деться. Не кибитка, а тыква, начиненная семечками. Однако Сяххлю тянет сюда, в это шумное семейство, к этой до бровей заля-

паниой кизячными брызгами хозяйке по имени Жиргал. Чем же убогое жилье влечет к себе девушку? Сяххля не могла бы объяснить и сама себе. Но это так! Раньше она если ходила сюда, от случая к случаю. В последнее время стала наведываться, бывает, и несколько раз в день.

Чуть покончит с уборкой, приготовит еду для отца — и кидается ко второй от края хотона кибитке. Здесь она словно обретала покой. Она будто слышала здесь голос Нармы, доводившегося хозяйке дальним племянником.

Для всего хотона Сяххля была отрадой. Если бы какая-либо другая девушка зачастила в дом родственников любимого человека, про нее пошли бы всякие сплетни. О Сяххле не спешили обронить худое слово: одна скажет, двое рот заткнут! Потому что умом Сяххля превзошла любую семейную женщину. А то, что она девушка и душой мается — только злой человек не поймет этого.

Хозяин той кибитки, где Сяххля стала частым гостем, почти не живет дома — батрачит у кулака в соседнем хотоне. Замученная детьми супруга его, сорокалетняя, но уже почти вся седая, родом из аймака Налтаихи. В семье этой четверо детей, самому старшему — девять, младшему — четыре года. Пока мать возилась с кизяками, сорванцы придумали игру в прятки. Один из них сунул голову за кадку с водой, но, обнаруженный, хотел перебежать под кровать. Рванулся было в сторону от преследователя и столкнул кадку с лавки. А пресной воды — только в ней, с ведро осталось до завтрашнего дня! Кадка зацепила ведро! Пролилось молоко — бог с ним. Но вода! Пресную воду в хотон возят из колодца, а путь к нему измеряется двумя десятками верст! Да и бочка с деревянным кляпом на весь хотон одна! Сегодня этот долгожданный возок с водой уже не приедет. На чем еду готовить? Того и гляди, хозяин к обеду заявится! Горестно сокрушаясь из-за такой невосполнимой потери, мать схватила толстую лозину, лежавшую у порога, и принялась всыпать правому и виноватому. Мальчишки — врассыпую! Кто-то хотел подирынуть под мать, чтобы выскочить во двор, но не вышло: удар пришелся по голове шестилетнего мальчика! Показалась кровь! Опять беда матери! Обхватила голову сына, целует, полотеице прикладывает — не

унять крови. Испугавшись, мать сползла на пол, рухнула без сознания.

— Сяхля! Скорее! — бежали по улице мальчишки. Сяхля прибавила шаг. Из чистой тряпки смастерила повязку, замотала голову потуже, шутливо хлопнула ша-луна сзади, проговорив: «До свадьбы заживет». Взялась отхаживать сомлевшую от страха за ребенка мать. Скоро и та, придерживая рукой сердце, охая и кляня судьбу, уже ходила по кибитке, гремела посудой.

Люди между тем сбежались на шум.

— Что у вас здесь стряслось? — кричали из дверей.

— Воду разлили дети! — отвечала им хозяйка.

— Ах, ах, бедняжка, как же вы теперь без воды с такой-то оравой?

— Да уж не знаю и как, — досадовала Жиргал, сама не рада излишнему любопытству посторонних.

Видели сбежавшиеся, конечно, и мальчоку с замотанной головой, но никто не пожалел сорванца. Все толковали о пропавшей воде, ей и цены нет в хотоне. Сяхля побежала домой — подальше от посторонних глаз. Уже слушок по хотону пополз: не насовсем ли Сяхля перебирается к Жиргал?..

Один старик заметил ворчливо: «За воду кровь ребенка пустила... Ну и матери пошли! Что за сердце у нее?»

Отец Сяхли, Нядвид, услышав воркотню седобородого табунщика, не смолчал:

— Пусть учатся беречь воду! Сегодня разольют, завтра... Поить их и кормить нужно! Какое терпение у матери должно быть?

— И все же вода не дороже крови! — упорствовал сердобольный степняк.

— Да как сказать, — раздумывал вслух Нядвид. — Может, и не дороже, но кровью же заплатили за нее.

В их спор вмешались другие. Послышались голоса реденькой толпы зевак.

— Без золота сто лет проживем, а без воды за три дня весь хотон вымрет.

— Отец! — тронула Сяхля за плечо Нядвида. — Я немножко принесла им воды из дома... Можно? — она показала ведро наполовину с водой.

— Да уж можно, коль принесла, — проговорил отец, обласкав свою любимицу добрым взглядом. — Эка ты,

однако... Пропадем мы с тобой, дочка, от доброты нашей! Кругом море зла.

2

С той поры, как налтаихицы отяжили у хотона Орсуд колодец, людских слез пролилось небось побольше, чем воды в колодце! Стар и мал в хотоние смотрели со злобой в сторону враждебного им хотона Налтаихии.

— От Беергина, кажется, верховой,— без всякой радости объявил один из собравшихся.— Хорошо, если бы от Хемби кого-нибудь принесло! Так руки чешутся подраться!

— Не спеши с кулаками-то! — остепеняли драчуна те, что постарше.— Вот мать заторопилась выпороть своих детей, чуть сама на тот свет не отправилась! Надо было зайсану в рот не глядеть, когда остановился на иочлег, а врезать ему, скотине, да так, чтобы и воды в колодце не хватило башку отмыть!

Всадник между тем неторопливо приближался, направляя коня прямо к возбужденной толпе.

— Гляди-ка! А ведь это Нарма! Батрак Хемби! Ну тот, что лнхо танцует!

Четыре парня, отделившись от толпы, ринулись навстречу Нарме. Как разъяренные дворняги окружают случайно заскочившего на усадьбу подраженного зайца, так эти парни обступили с двух сторон всадника. Сяхла, заметив косые взгляды собравшихся, направленные на всадника, решила не укрываться, хотя по всем правилам ей не полагалось глазеть на парня, ухаживающего за нею. Беспокойство Сяхли было слишком заметно. Три молодые женщины заступили ей дорогу, став полукружьем.

— Сяхла! Не вмешивайся в мужские споры! Уж этого-то тебе не простят!

Двое слишком расторопных соседок, вроде бы шутя, подхватили девушку под руки.

— Не вздумайте пролить кровь невинного человека! — выкрикнула Сяхла.— Нарма не участвовал в той драке!

— Мужчины сами разберутся! — цепко держала Сяхлю слева дебелая молодка.— Ты же видела: мать пролила кровь своего сына за воду... А эти,— она кивнула в сторону Нармы,— уже двенадцать лет пьют нашу кровь!

— Зачем такая жестокость? Нарма такой же бедный человек, как и все мы. Он батрачит у зайсана!

Поняв, что ее все равно не отпустят, Сяхля крикнула что было сил:

— Нарма, гони обратно! Уезжай, тебе говорят!

Нарма издали увидел идущих ему навстречу широким твердым шагом орсудцев. Он решил было остановиться у околицы. Однако, когда услышал встревоженный голос Сяхли, поступил совсем иначе. Он повесил малю на луку седла, слез с коня и протянул руку ближнему из парней.

— Мендевт! — сказал он громко, чтобы слышали все, кто был у кибитки.

Но парень из Орсуда оттолкнул руку Нармы и ударил его в подбородок. Нарма качнулся от неожиданного удара.

— Что я вам сделал? — спросил Нарма.

В это время с другой стороны к нему приблизился еще один, норовя пнуть ногой.

— Вы даже не спросите, зачем я приехал! Рады, что у меня в руках ничего нет?!

Нарма, немного отступив, отвел руку еще одного и толкнул от себя того, что наседали слева, норовя ударить ногой. Длинноногий, смешно взбрыкнув, полетел на землю. В драку вступил еще один. От его удара Нарма уклонился и вдруг ловко схватил парня за руку, подтянул обидчика поближе, рванул к своему плечу и перекинул через себя. Тот покатился под ноги коня, будто мешок с травой.

Мужчины, стоявшие у кибитки, вначале просто наблюдали за схваткой четверых с одним. Но когда Нарма расшвырял напавших, все возмущенно загалдели и ринулись на Нарму скопом. Сяхля отчаянно рванулась и освободилась из рук женщин. Расталкивая мужчин, загораживая Нарму от разъяренных однохотонцев, она протиснулась в середину круга.

— Нарма, на коня! Не медли!.. Сомнут!..

— Почему я должен убегать? Что плохого я вам сделал? — выкрикивал то Сяхле, то нападающим Нарма. Он все же потихоньку пятился к коню, но не рассчитал и уткнулся спиной во что-то твердое. То оказалась телега с пустой бочкой. Нарма вскочил на телегу.

— Уважаемые отцы, братья! — сказал Нарма, чуть

не плача от обиды.—Почему вы набросились на меня? Я ведь с доброй вестью! Зайсан послал меня к вам сказать...

Его не слушали.

— Врешь, поганый наймит! Мы не маленькие — дурчить нас байками.— Мужчина, первым ударивший Нарму и получивший сдачи, орал будто резаный.— Эй, те, что ближе! Опрокиньте телегу!

Отец Сяххли стал рядом с дочерью.

— Мужчины, чего вы насели на парня? Где это видано, чтобы гостя встречали дрекольем? На одного всем хотеном? Так не годится.

Пользуясь затишьем, Нарма объявил:

— Я знаю причину вашей обиды, люди хотона Орсуд! У вас отняли вашу воду! Я привез ключ от колодца! Зайсан возвращает вам худук Беергин!

Слова Нармы прозвучали как гром среди ясного неба. Люди прибывали, окружая телегу с гонцом из Налтанхина плотным кольцом. Но никто не поверил словам Нармы. Даже Нядвид, считавшийся в хотоне самым мудрым человеком, поглядывал на Нарму с недоверием. Может, парень до смерти напугался и хочет выкрутиться, чтобы уцелеть? Если так, то грош цена такому жениху дочери.

— Постой, парень! Ты говоришь что-то не то! — предупредил табунщик, оттолкнувший дружески протянутую руку Нармы.— Разве зайсан может по своей охоте вернуть колодец? Давай договоримся так: мы тебя больше не тронем, а ты говори нам только правду!

— Если я вру, пусть онемею, как оглобля, с этой минуты! — заявил Нарма клятвенно.— Сейчас я заезжал к худуку и предупредил табунщиков, чтобы перегоняли скот на другое пастбище. А ключ от худука вот он! — Нарма поднял над головой увесистый запор от крышки сруба.

Когда люди увидели в руках Нармы ключ, лица их просияли. Однако до полного доверия было еще далеко. Многие волновали мысли: «Хембя не таков, чтобы запрясти вернуть нам воду! Кто мы для него? Если бы у него и был лишний колодец, небось все равно не нам подарил». Выскажи они свои сомнения вслух, едва ли Нарма толком объяснил бы им причину щедрости Хемби.

— «Все табуны перегнать в Меклетя, а ключ от Бе-

ергин-худука отвези в хотон Орсуд». Так приказал Хембя. Вот и все, что я знаю о решенни зайсаа.

Конечно, Нарма знал немножко больше обо всей этой истории. Втайне он надеялся, что Хембя расщедрился, жалея его. Может, возвращая худук, зайсаа хочет вернуть и расположение Нармы, а может, решил сделать его счастливым.

— Да,— вспомнил Нарма,— зайсан сунул мне в карман какую-то бумажку.

Парень извлек из кармана бешмета сложенный вчетверо лист и протянул его отцу Сяххли, стоявшему к нему ближе остальных.

— Бумага! Бумага! — заговорили в толпе, сбиваясь кучнее.

Старый Нядвид посмотрел на бумагу, повертел ее в руках, рассматривая со всех сторон, увидел круглый оттиск печати, передал соседу. Тот тоже обозрел печать и вложил листок в руки рядом стоящего. После того как бумага обошла последний ряд и перебивалась у всех желающих на нее взглянуть, она оказалась снова в руках Нядвида.

Калмыки издавна с уважением относились к бумаге, тем более если она казенная, на которой оттиснута печать. На бумагу, если она упала со стола, считалось непозволительно наступить, и еще большим кощунством — вытирать бумагой руки или приправлять листок под себя. Старик между собой поговаривал: «Хотя бумага вещь тонкая, на ней держатся молитвы и законы; и жидкий чай полезнее водки».

— Что за листок держит в руках почтенный Нядвид? Кто осилит прочесть его? — зашумели степняки Орсуда.

— Если нам привезли плохую весть,— рассуждал отец Сяххли,— давайте сожжем ее тут же! Если весть добрая — будем хранить бумагу у изголовья бурхана.

Нарма взял привезенный им листок из рук старика:

— Я учился в школе и могу прочесть, что здесь написано.

Толпа напряженно молчала. И тогда Нарма принялся медленно читать.

— «Я, зайсан аймака Налтанхнн, сего дня отдаю Беергин-худук людям хотона Орсуд безвозмездно, на вечные времена. Жители хотона Орсуд! Вы отныне можете пользоваться водой по своей надобности. Среди

вас найдутся такие, кто усомнится в искренности моего поступка: почему зайсан передает худук во владение чужому роду бесплатно?.. Объясню чистосердечно: недавно я проезжал через ваш хотон. Вы приняли меня без упреков, не помня давнего зла. Своими глазами я увидел, чего стоит для вас кружка воды. С благословения Бааза-багши я дарю по своей воле вам худук, памятуя священную заповедь: рука дающего да не оскудеет, а в ваших сердцах прибавится чувства добра. Храните эту бумагу с печатью как мое завещание. К вам, единоверцы, лишь одна просьба: цените братство между людьми! Почитайте мудрость нойона Дяявида и святость Бааза-багши!»

По мере того как Нарма приближался к концу текста, старики и старухи, обнажая головы, опускались на колени, читая молитвы благодарности богу, шепча слова во здравие багши, нойона и зайсана Хемби.

— О, хяэрхан! Дай бог здоровья малодербетовскому нойону Дяяvidу и настоятелю монастыря Бааза-багше! Пусть продлятся дни внявшего божьему слову зайсана Хемби!

И все же людям не верилось в щедрость хитрого зайсана. Перед ними живой, изрядно поколоченный парень, в его руках бумага, в кармане ключ от колодца. Все это ясно, как день. Прозвучали такие желанные, долгожданные слова о возвращении худука, а все равно страдавшимися, не раз обманутым хотонцам не верилось в даровое это счастье!

— Хембя прислал нам ключ от колодца, но хотел бы я иметь хоть на миг ключ от его мыслей,— сказал седоглавый Ковла, который по немощи уже не мог долго стоять на ногах.

— Я тоже не все здесь понял. Словам бы я не поверил, но печать!— пытался успокоить Ковлу его ровесник, выглядевший пободрее.

— Печать есть!.. Печать на месте! Своими глазами видел! — тараторил кто-то сзади.

Нарма, услышав их рассуждения, выкрикнул весело:

— Люди хотона Орсуд! А не пойти ли нам всем к худуку? Своими руками откину крышку колодца. Пейте от пуза!

— Ура! На коней! — зашумела молодежь.

— Садитесь на моего коня и езжайте вперед,— ска-

зал Нарма, отдавая повод уздечки отцу Сяхли.— Я с парнями приеду на подводе.

Все жители хотона, кто верхом, кто на верблюде, иные пристроившись на телеге, а то и пешими направились к Беергин-худуку. Солнце нещадно палило с высоты, ехать и идти было трудно, но люди шли, потирали друг друга, с шутками и прибаутками, как на празднике.

Когда Нарма и Сяхля в окружении возбужденных ровесников подошли к худуку, крышка была откинута и люди успели напиться. А у колодца затевалась веселая игра: обливали друг друга, черпая воду пригоршнями, наполняли ею шапки, ведра, брызгали во все стороны. Кто-то окатил Нарму из ушата. Досталось и Сяхле. Молодежь развеселилась, как во время игры в цанган-модн.

От сруба тянулся длинный деревянный желоб, табунщики поили в нем лошадей. Отец Сяхли с молчаливой торжественностью доставал из глубины сруба бадью за бадьей и опрокидывал в желоб, а люди зачарованно смотрели на него.

— Эй, аава!.. Уже дно видно в колодце! — шутливо крикнул кто-то Нявиду.

— Воды этого худука достанет на двадцать ваших хотонов! — засмеялся Нарма, поглядывая на Сяхлю. Такой милой и совсем своей, родной виделась ему она в эти счастливые минуты.

Они раз и другой встретились взглядами, и была во взгляде Сяхли бездна ласки, не меньше, чем родниковой воды в колодце! А вокруг гремело веселье во славу воды. Старые, сбросившие года, молодые, впавшие в детство от счастья, шутили, бегали друг за другом и снова и снова припадали к прохладной влаге.

Нарма смотрел на их возбужденные лица и был горд тем, что это он принес им избавление от жажды. Отец Сяхли подошел к Нарме. Сказал, положив на плечи парня руки все в узлах вен:

— Дорогой Нарма! Я был к тебе недобр, но ты, надеюсь, понимаешь меня...

— У меня нет ни на кого обиды! — ответил Нарма искренне.— Я счастлив, аава...

Глаза парня снова повело в сторону Сяхли.

— Если бы тебе предложили мешок золота или

этот худук,— начал какую-то стариковскую притчу отец Сяхля,— что бы ты выбрал?

Нарма вздохнул, опустив голову:

— Не нужио меня испытывать сейчас такими загадками, аава! Уж я-то знаю, что я взял бы... Во всяком случае, не золото и не худук...

Нарма отвернулся, боясь до времени проговориться. Все сокровища мира сейчас были для него в хрупкой девушке, так нежно смотревшей ему в лицо. В ее взгляде Нарма видел нечто большее, чем мог увидеть любой другой, даже ее отец. Дарованную грамоту Хембя выдал людям хотона Орсуд. Но ему-то, Нарме, ничего не сказал о женитьбе на Сяхле. За отторгнутый в свое время худук люди хотона заплатили кровью. Кто и чем заплатит за худук возвращенный, еще предстоит узнать. Милость господская иной раз страшнее наказания.

Отчего так грустна Сяхля, несмотря на всеобщее веселье?

— Мы должны принести жертвоприношение богу,— объявил один из стариков.

Мокрые до нитки, опившиеся свежей воды хотоицы поддерживали слова старика радостными восклицаниями. Двое парней тут же были посланы за овцой.

3

Пока совершался обряд, солище село и наступил вечер. Нарма все время был в кругу ошастливленных доброй вестью жителей хотона, но мысли его, казалось, витали где-то вдали от этого веселья. Стар и мал тянулись к нему с кружкой арак, с горячим куском мяса, желали здоровья и счастья. И счастье это было совсем рядом. Но Сяхля была в тот вечер на редкость скучной среди ровесников. Она сдержанно отвечала на шутки, глядела вокруг с тревогой.

«Если есть бог, которому угодно было утолить жажду целого хотона, то ему ничего не стоит соединить вместе два любящих сердца... Мы же рвемся друг к другу!» — терзался надеждами Нарма.

Свиделись они только глубокой ночью, когда луна спряталась за тучами и на небе уже мерцали звезды.

— Ты привез очень хорошую весть, Нарма! Я так рада, что это сделал именно ты! — горячо шептала Сях-

ля, отступая в тень телеги...— До твоего появления здесь я не могла поднять лица к небу — так мне было тяжело... А сколько радости для всего Орсуда! Теперь и ты всем нам самый близкий человек.

— Сяхля, милая! Я хотел бы быть самым близким человеком только тебе... А ты для меня уже самая близкая навсегда.

— Слушай, Нарма! Нам не хватит жизни, чтобы наговориться! Сейчас у нас считанные минуты, может, всего лишь минута... Ты думал о том, что за свои радости люди всегда платят страданиями? Были времена, когда я слышала плач детей из-за глотка воды и готова была отдать жизнь, лишь бы вдоволь напоить людей родного хотона. Но сейчас... Сейчас мне страшно! Нарма, скажи, отчего мне страшно?

— Ты же знаешь: это решение принял зайсан после поездки в Дунд-хурул. Скорее всего, Хембю надоумил сделать добро людям Бааза-багша,—твердил Нарма, успокаивая девушку и себя.— О чем-то же разговаривают между собой зайсаны и нойоны в монастыре, кроме чтения молитв? Хембю стал дряхлым, пора ему освобождаться от бремени грехов, жить ради добра.

Нарма этими словами будто заклинал зайсана от худой мысли, если тот что-то и замышлял, решаясь на щедрый подарок чужому хотону.

Сяхля была на редкость покорной и беззащитной в эту минуту. Она с радостью поддакивала Нарме, но в глазах ее стояли слезы.

— Мне бы теперь только уговорить зайсана отказаться сватать девушку из Бага-Цохура... Они хотят сватать ее за меня, а я и в глаза ее не видел. Даже представить себе не могу, что вместо тебя будет со мной какая-то другая...

— Сяхля, где ты? — слышали они голос.

— Нас ищут,—Сяхля прижалась головой к груди Нармы, обняла его за плечи.

— Милая Сяхля, успокойся!.. Я не вижу теперь преграды на нашем пути!.. Жди сватов! Жди, дорогая!

Сяхля подняла лицо, улыбаясь. Она поцеловала Нарму в щеку и, слегка оттолкнув, кинулась на зов отца.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

...Напугав степных орлов, сидевших на кургане, разбудив сонную степь перестуком колес, с юго-восточной стороны кургана Довдона легко катилась коляска в сторону реки. Чувствуя, что близки стояла и ждет их овсяная приправа к свежему сену, два рыжих коня споро перебирали ногами, иногда переходя на галоп. Молодой, с загорелым лицом возница придерживал коней. Сзади кучера сидела пестро разодетая пожилая женщина. «Эх, если бы не эта развалина, дал бы я волю коням и совсем скоро оказался бы дома», — думал молодой кучер. Но дать волю разыгравшимся в упряжке иноходцам нельзя: у госпожи, чутко дремлющей на мягком сиденье, побаливает спина от толчков. Управляя самим кучером, госпожа может пустить в ход и зонтик, который все время держит в руке.

Когда рыжие кони зайсана Хемби, известные во всей Сарпинской долине, бегут рысью, лоснящиеся гривы их стелются по ветру, как волны степной травы. Красиво поглядеть со стороны, но если сердце рвется домой, не до любования лошадиными гривами.

Байчха ездила в гости к зайсану Бага-Цохур. Она пробыла в гостеприимном доме старосты соседнего аймака два дня. По пути заночевала у родственников — ей нужно было потолковать обо всем с двоюродным братом.

Солнце клонилось к горизонту, а преодолели только половину пути.

— Не поторопить ли лошадей, а то припозднимся? — с надеждой на согласие спросил кучер.

Старуха молчала. Нарма и раньше ездил с женой зайсана по степи, побывали они во многих хотонах, ближних и дальних, случалось, она сажала Нарму рядом, расспрашивала о чем-нибудь, позволяла себе пошутить над его молодостью, рассказывала что-нибудь о себе, о невозвратной девичьей поре. В последнее время старуха или дремала в пути, привалясь к спинке сиденья, или просто молчала, уставясь в коврик, которым был застлан пол коляски.

И теперь она размышляла, прикрыв глаза поредевшими ресницами:

«Если я завела игру, взяла в руки домбру, первой

мне и в круг выходить! Бедняжка Нарма столь же несчастлив, как и я,—думала в пути зайсанша, поглядывая на широкую спину кучера.—Отречением от самих себя мы с Нармой освободим Хембе дорогу к счастью».

— Нарма, ты видел вчера младшую дочь моей двоюродной сестры?—наконец спросила она ласково.

— Видел,—не сразу отозвался парень.

— Не правда ли, хорошая девушка?

— Ага!—Нарма зевнул.—Говорят, девушки все хороши...

— Все о ней по-доброму отзываются! Скромная, расторопная, шьет и вяжет, как заправская хозяйка. Дважды ее сватали, но родители не спешат расстаться со своим сокровищем. Если она и тебе приглянулась, то осенью мы с Хембей зашлем сватов, а весной свадьбу сыграем...

Старуха долго ждала ответного слова. Уставившись незрячими глазами в проем между обарком и передком коляски, Нарма молчал. Дорога казалась ему серой, мутной, беспросветной, как и его жизнь.

Дочь двоюродной сестры Байчхи не вышла ростом, а лицом кругла, как луна, и ноги кривые. Глаза ее словно две темные пуговицы, вдавленные в тесто, и почти без бровей. Если бы кто-нибудь надумал ее поставить рядом с Сяхлей, это было бы все равно, если бы ослицу запрячь вместе со скаковой лошастью.

— Что же ты молчишь, Нарма? Или девушка тебе не подходит?—с издевкой спросила старуха. Впрочем, она была совершенно уверена, что батраку достаточно и ослицы, а скаковые лошади—для господ.

— Не подходит!—отрезал Нарма.

— Красавица на всех не хватит,—предупредила Байчха.—Да и что такое любовь? Недаром говорят: «Стерпится—слюбится, перемелется—мука будет!..» Приласкает девушка раз-другой, как еще мила станет, желанна... Мы, женщины, тоже кое на что способны. Поженим вас, построим новую кибитку, три коровы дадим, пару лошадей, десяток овец.

— Ни я ей не нужен, вашей родственнице,—заявил Нарма,—ни она мне. Сватайте ее за другого, кому она, быть может, принесет счастье.

— Ты отказываешься от мастерицы Боовы?

— Я люблю другую.

— Я знаю, та девушка из рода Орсуд.

— Да, из рода Орсуд. Имя ее Сяхля.

— Хорошая девушка, я ее видела,— усмехнулась Байчха.— Но мы не можем сватать за тебя ту девушку.

— Так было неделю назад. Вы не могли сватать девушку из Орсуда потому, что шел давний спор за худук Беергин. Зайсан поступил благородно, устранив это препятствие. Отдал худук.

— Не торопись со словами, Нарма... Ты уверен, что зайсан возвратил худук, чтобы породнить тебя с той девушкой?

Нарма вздохнул:

— Не совсем уверен, но надеюсь. Зайсан ведь такой добрый и благородный.

— Это так,— умильно согласилась Байчха.— Но ты не знаешь о решении нойона Дявида и Баазы-багши... Они выдают Сяхлю замуж за другого человека!

— Нет! Сяхля не пойдет за другого! Она ждет сватов от меня! Я потерял было всякую надежду, но зайсан заставил меня снова поверить в свое счастье.

— На все воля божья,— отходчиво заметила Байчха.— А что ты станешь делать, если какой-нибудь другой человек женится на Сяхле?

— Украду ее, увезу в русские хутора.

— И у своего зайсана украл бы?

— При чем здесь зайсан? Хембя вовсе не жених для такой молоденькой девушки... Кроме того, у него есть любимая жена.

Байчха вздохнула:

— Спасибо, Нарма, на добром слове. Мы с тобою, похоже, оба несчастливы. Я не родила Хембе наследника и должна превратиться в экономку, уступить место молодой жене. Тебе придется смириться с потерей любимой девушки. Такова воля провидения. Когда священники открыли страницу номо¹, божий завет гласил, что второй женой Хемби станет девушка по имени Сяхля,— соврала на всякий случай старуха.

— Вы шутите, конечно! — вскричал, не помня себя, Нарма, выронив из рук вожжи.— Как же вы могли согласиться с таким жестоким решением? И для вас² и для меня, и для Сяхли? Нет, нет и нет! Сяхлю никому не отдам! Даже зайсану!

¹ Номо — Священное писание.

Придав лицу скорбное выражение, Байчха твердила: — Я покорилась мудрому решению самых умных мужей в Малых Дербетах... Уже дала согласие на второй брак Хемби. И тебе, Нарма, не советую противиться воле божьей, благословенному нойнон Даявида и Баазабагши. Ты, Нарма, думаешь только о своем счастье, а нойон и багша заботятся о продолжении рода зайсана — главы пятисот семей.

Нарма не ответил на ее последние слова. Ему казалось, что он погрузился в некий страшный сон и слова Байчхи звучат будто карканье вороны откуда-то из потустороннего мира. И вообще все это — бред выжившей из ума старухи. Да разве возможно себе представить красавицу Сяхлю рядом с осунувшимся дряхлым стариком. Такого зрелища не выдержат ни земля, ни небо! Они поменяются своими местами, а люди станут ходить на головах. И все будут показывать пальцем на эту пару и смеяться!.. Нет, Хемби не такой дурак, чтобы слушаться этой женщины, напоминающей жабу. Ей просто скучно в дороге, и она затеяла все эти шуточки, чтобы поразвлечься. Молодых всегда дразнят...

Много лет живет Нарма в усадьбе зайсана, живет почти в их семье, но раньше не слышал от зайсанши подобных шуток. Она была добра к мужу, но и ревнива, зла, как рысь. Нарма обернулся и долгим взглядом посмотрел на старуху.

— Я вижу: ты не вернешь! — Байчха перехватила его взгляд. — Приедешь домой, все откроется.

Эти слова словно ошпарили сердце парня кипятком. «Может, в мое отсутствие они привезли Сяхлю в дом зайсана насильно? И бедная девушка давно в Налтаихне? Без помощи и защиты?..»

Нарма выхватил из-под сиденья кнут и резко взмахнул над головами коней... Те рванулись вскачь, опрокинув зайсаншу на подушки.

— Нарма, потише! — вскрикнула Байчха, поправляя взбившуюся юбку. — Ты слышишь, Нарма!.. Ой, моя, печень!

Нарма встал во весь рост и ожесточенно нахлестывал лошадей. Коляска то неслась над землей, то прыгала на ухабах. Зайсанша, высоко подняв ноги, прижалась к подушкам, что-то вопила, то прося, то угрожая... Наконец, поняв по ожесточенному виду Нармы, что его сейчас

не унять, перевалилась на бок, встала на колени и на коленях уже подобралась к вознице сзади. Она уцепилась скрюченными пальцами в его взвихрившуюся рубашку, словно ведьма, замыслившая взобраться ему на плечи. Так они и вкатились в хотон... Выехали при добром мнении друг о друге, вернулись домой в смятении и страхе — врагами.

Когда Нарме было десять лет, его мать умерла. С тех пор жил он под неусыпным глазом Байчхи. Нарма почитал Байчху, как родную, мог бы отдать жизнь, защищая ее, никогда не грубил зайсанше. И лишь сегодня в пути он догадался, что все ласки Байчхи были притворными. Она никогда его не любила, видела в нем лишь слугу, своего раба, которого можно в любую минуту унижить или наказать.

Взмыленные, уставшие кони остановились у крыльца дома зайсана. Еле живую Байчху вынесли из коляски на руках и уложили в постель. Долго она не могла произнести ни слова.

2

Когда Нарма распрягал лошадей, к нему подбежал с желанием помочь сын старого табунщика.

— Зайсан дома? — спросил Нарма у мальчика.

— Нет его. Еще вчера уехал! Наверное, опять за лисой!

«Знаю я, где сейчас охотится зайсан!» — зло подумал Нарма.

— Ладно... Принеси-ка мне побыстрее седло из конюшни, — велел Нарма юному помощнику.

Освобожденных от упряжки коней он завел через калитку в стойло. Там же оседлал гнедого скакуна. В это время из дома вышли два двоюродных брата Хемби — Лавга и Санчир. Ничего не говоря, они приблизились к Нарме и стали по обе стороны.

Хотя у них была разница в три года, Лавга и Санчир были одинаковы ростом, схожи лицом, походкой и характерами. Если бы незнакомый человек встретил их по отдельности, не смог бы отличить друг от друга. Обоим братьям было за тридцать, но они еще ходили в холостяках, батрачили у зайсана, питались объедками с господского стола и вообще чем-то походили на хорошо натасканных дворняг: науськай — разорвут в клочья!

Когда Хембя выезжал на зимовку скота, чтобы проверить, в каком состоянии содержатся стада батраками, всегда брал с собой Лавгу и Санчира. Братья числились телохранителями зайсана. Горе было тому, на кого укажет зайсан: «Ату!» У не обремененных заботами братьев был запас сил, а насчет ума они не беспокоились.

— Эй, парень! Может, ты скажешь нам, куда надумал ехать? — спросил Санчир.

— Брысь отсюда! — сказал ему Нарма, разворачивая коня боком, чтобы вскочить в седло.

— Сними седло, а коня поставь на место! — с нехорошим блеском в глазах потребовал Санчир.

— Уберитесь с дороги, шавки! — скомандовал почувявший недоброе Нарма. Рука его так и впилась в рукоятку плети.

Как управляющий, Нарма всегда давал братьям указания: где и чем заниматься днем. Ленивые, полусонные, ничего толком не умеющие делать, они выполняли самые тяжелые, грязные работы. Однако за ними нужен был глаз. Отвернешься — свою же работу изгадят, не думая о последствиях. Они подстраивали Нарме подлости, но все же боялись его. Теперь, кажется, все в доме зайсана поменялось своими местами.

— Ну-ка потише! — выкрикнул Лавга. Он подошел к Нарме сзади, схватил за руки и приказал брату: — Санчир, сними чембур и подай мне.

Нарма оттолкнул его. Но Санчир уже бросился на него, сдавил шею, сбил с ног каким-то заученным ударом.

Они скрутили Нарме руки, на всякий случай связали и ноги тонкой волосистой веревкой и потащили к низкому полуподвалу, где хранилась сбруя летом. Зимой здесь укрывались от холода сторожевые собаки. Нарму бросили на пол и заперли снаружи дверь.

Он долго и отчаянно бился, перекатывался поближе к железным предметам, чтобы перерезать веревку на руках, но ничего не смог сделать.

«Как эти олухи могли на такое решиться? Раньше они боялись не только моего слова, а взгляда. Зайсана дома нет. Неужели Байчха дала такое приказание? Приедет Хембя, он велит освободить меня... А вдруг он привезет Сяххлю?»

Нарма до утра не сомкнул глаз, все думал, думал. Утром братья принесли Нарме кувшин чая и кусок пресной лепешки.

— Кто велел вам так измываться надо мной? — спросил Нарма у своих насильников. — Где вы будете искать спасения, когда мне развяжут руки?

Тень испуга пробежала по лицу Лавги — он уже однажды испытал на себе кулаки Нармы. Но другой хмуρο, как заговоренный глядел в землю.

Лавга развязал руки, чтобы Нарма мог взять кувшин. Нарма действительно дотянулся до кувшина и сильным броском вышвырнул его за порог. Рванулся было встать, но братья одновременно навалились на него, заломили руки назад. Вдобавок завязали платком рот и ушли.

Вечером второго дня Нарма услышал со двора голос Хемби. Зайсан с кем-то разговаривал. Но к подвалу он так и не подошел.

Третьи сутки лежал Нарма связанным... Теперь он уже не сомневался: Хембя замыслил-таки жениться на Сяхле. «Что ж, захочет зайсан жениться — никто не помешает ему. Но если зайсан так тверд в своих намерениях, зачем ему держать взаперти какого-то батрака? Он мог бы просто изгнать меня из хотона. Мне даже некуда головы приклонить — сирота... Какой я соперник?»

В полдень появились братья, развязали руки и ноги.

Хембя сидел в своей комнате в нарядном халате, наброшенном на плечи. Зайсан был занят делом — строгал кусок дерева, мастерил какую-то игрушку. На другом столе выстроились в рядок крохотные божки, такого же размера лошадь, верблюд, волк, баран, лисица. За этим праздным занятием Нарма заставлял Хембю нередко и раньше.

Увлечение резьбой по дереву было у зайсана нешуточным. Иногда он брал с собой двух-трех человек, отправлялся с ними в заволжские леса, привозил оттуда целую подводу кленовых, дубовых, ясеневых и ольховых поленьев. Прихватывал для последующей доделки облюбованную корягу, затейливый пенёк или другой какой-либо твор природы. В окрестностях не было ни одного такого любителя поделок, как Хембя. Его мастерство удивляло заезжих гостей, находились и такие поклонники таланта

Хемби, что приезжали взглянуть на его домашний музей издалека. Все это были люди праздные. Скотоводы не признавали такого занятия всерьез. Если в какой-либо семье дети брали в руки нож и палку, мастерили себе из глины куколки, родители отчитывали ребенка: «К чему эти глупости? Или тебе время девать некуда, как нашему зайсану? Сходи вон лучше наскреби курая в степи на растопку или сена положи коровам!»

— А-а, Нарма пришел? Иди, иди поближе, садись,— сказал Хембя, как и прежде добродушно, делая вид, что ничего не случилось.

Нарма подошел к указанному месту, но перехватив пристальный взгляд зайсана, спрятал руки за спину.

— Дай-ка взглянуть, что там у тебя с руками,— потребовал Хембя.

Нарма показал руки.

— Что за полосы? — спросил зайсан недовольно.

— Это следы от чембура,— пояснил Санчир.— Нарма полез драться... Пришлось связать его.

— Ух, прохвосты! — ругнулся на своих холоуев зайсан.— Вот я прикажу сейчас, чтобы Нарма так же повязал вас с Лавгой, и посмотрю, что вы запоете в подвале!

Хембя стал шарить глазами по углам комнаты, будто отыскивая чембур. На глаза попалась плеть, висевшая на стене. Зайсан кинул плеть Нарме.

— Берн, Нарма, плеть и накажи своих обидчиков, как тебе захочется. А потом я их отдам тебе в вечное подчинение.

Это была хитрая придумка: пусть Нарма сорвет злость на двух дураках и оставит одного уминка в покое. Пусть холопы звереют во вражде друг с другом. Настанет момент, когда плеть эту зайсан переложит в руки кого-либо из братьев, чтобы потасовка шла по замкнутому кругу.

Нарма уже хорошо понимал, по чьей спине сучает эта плеть. Зайсан вздрогнул от его взгляда, обращенного прямо к нему в душу. Не в шутку заорал на братьев, ждавших решения своей участи:

— А ну-ка, собаки, вон с моих глаз! Убирайтесь сейчас же в свою конуру!

Когда братья ушли, Хембя подошел к Нарме, сел

рядом. Резким движением, будто змею, сбросил плеть с колен неподвижного Нармы.

— А теперь, сынок, слушай меня внимательно, потому что сегодняшний разговор может быть и последним для нас с тобой,— начал зайсан и на секунду смолк, заглядывая Нарме в глаза.— Тебе должно быть понятно, почему разговор может оказаться последним. Если ты не послушаешь меня, не захочешь понять, больше нам толковать будет не о чем. Поймешь, примешь мою заботу о тебе — станешь моим другом и сыном навсегда.

— Чего вы от меня еще хотите? — еле смог проговорить Нарма. Глаза его наполнились слезами, горло сдавили спазмы.

— Ну, ладно... Я понимаю: тебе тяжело... Но мужчинам не полагается плакать. Я всегда считал тебя умным парнем.

Зайсан радовался слезам Нармы: если человек плачет, значит, он почти покорился своей судьбе.

— Ты хоть понял, какой опасности подвергал свою госпожу, когда гнал лошадей по кочкам? Три дня она в постели, не может встать, совсем разбита... Она ведь была тебе матерью все эти годы и никогда не желала тебе плохого!

— Это все произошло случайно, по моей глупости,— сознался Нарма, втайне надеясь, что вся его вина только в этом.

Зайсан, похоже, долго готовился к разговору.

— Я верил в то, что ты поймешь свою вину. Ведь мы содержали тебя, учили, ухаживали, как за родным.— Хембя глубоко затянулся дымом.— На всей земле небось нет такого человека, который ежедневно питается утиным мясом, приносящим долголетие. Завтра мы с Байчхой уйдем в иной мир, все сгинет, превратится в тлен, что наживалось годами. Это Байчха избрала тебя в наследники, она убедила меня, что Нарма — достоин быть сыном. И ты с ней так обошелся! И еще обижаясь на нее и меня готов съесть глазами? За кого? За девку, которая еще неизвестно кому достанется! Бог столько загадок заложил в каждую женщину — сто лет не хватит, чтобы разгадать. Сегодня она ангел, а когда захомутает браком, превращается в домашнего скорпиона. Бог смилостивится, Байчха встанет. И тяжело больная, она готова простить тебе все — вот что за че-

ловек твоя названная мать! Но пойми же, дурачок: мы все не вольны на этом свете делать то, что нам вздумается. Для нойона Даявида я такой же холоп, как ты для меня. Если он с благословения преосвященного багши решил меня женить, то как же я могу отказаться?.. Я понимаю тебя, Нарма. Когда-то и я был молодым, в те годы натворил множество ошибок. Мне и сейчас стыдно за свою молодость. И от тебя отойдет прошлое: не по душе тебе племянница Байчхи, шут с ней, с кривоногой. Любую другую засватаем. Поезжай по степи и лишь укажи пальцем. Но судьба Сяхли решена нойоном. Так же, как иаши с тобой судьбы... Мне еще хуже! — вскричал, заламывая руки, зайсан. — Мне нужно гнать от себя Байчу, а я с нею жизнь прожил!

«Если нойон Даявид, Бааза-багша и Хембя задумали что-нибудь, едва ли их остановить. Говорят же люди: как бы далеко ни прыгала лягушка — все остается в своем болоте... Ведь и Сяхле небось твердят то же самое, пугают нойоном и багшой... А мне как жить?» — думал Нарма, уставясь ничего не видящими глазами в пол.

— Я не требую от тебя ответа сию минуту, — уже спокойно продолжал зайсан. — Завтра утром придешь ко мне и скажешь о своем решении. согласишься жениться на другой, садись на коня и объезжай все хотоны до самого Царицына. Женю, как родного сына, ничего не пожалею на обзаведение, выстрою дом. А теперь иди, отдыхай.

Нарме давно хотелось уйти, чтобы не видеть этих нарочитых жестов и не слышать всхлипов в голосе господина, решившегося на тяжкий грех. Но парень все еще чего-то ждал.

— Чего ты стоишь? — зайсан подошел, опустил руку на плечо Нарме. — Тебе нужно все хорошенько обдумать. Речь идет о твоей дальнейшей судьбе: или батрачить на чужбине, или владеть целым хотоном.

— Не знаю, — еле выдавил из себя Нарма. — Ничего не могу сказать.

— Если тебе нечего сказать, то скажу я... Нарма, я всегда верил в твою рассудительность. Постарайся не испортить хорошего мнения о себе. Ты меня понял?

Нарма пожал плечами.

— Тогда послушай предупреждение. Выбрось из головы дурацкую мысль об увозе Сяхли! Такому не быть.

Сяхлаю охраняют. Каждый юноша из хотона Орсуд вступит с тобою в схватку. За последствия отвечаешь только ты.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Нарма жил через два дома от зайсана, в низенькой землянке у остаревшей вдовушки.

— Ты где пропадал? Не к русским ли хуторам посылал тебя зайсан? — спросила худенькая, но еще шустрая в свои шестьдесят лет старуха, едва Нарма переступил порог.

Нарма промолчал. Не посвящать же старуху в свои отношения с Хембей.

— Вижу, ты не в себе, парень! — с испугом заметила хозяйка. — В лице ни кровинки. Ну-ка, я чайку согрею, — скомандовала она себе и суетливо забегала вокруг гулмуты.

Старушка эта была проворна на слово так же, как и в делах. Вскоре Нарма услышал ее голос — она толковала с какой-то подружкой, быть может, с соседкой.

Весь день Нарма провалялся в землянке, напрасно пытаюсь уснуть. Тело все ломило, как после долгой болезни. Глаза не смыкались. Под вечер в землянку заглянула молодая женщина, соседка.

— Ты здесь, Нарма?.. Тебя там ждут.

— Кого это принесло? — отозвался он равнодушным ко всему голосом.

— Табунщик!.. Я его впервые вижу.

— Пусть заходит, чего там...

Женщина изучающе посмотрела на Нарму.

— Приезжий не хочет появляться здесь. Остановился за моей кибиткой, даже с коня не сошел.

Нарма вскочил с койки, схватился за бешмет. Он еле попевал за женщиной, которая тоже хотела поскорее удалиться от дома зайсана. Хозяйка тут же скрылась в кибитке, оставив Нарму наедине с приезжим.

— Отойдем в сторонку, — тихо произнес всадник волнуяще знакомым голосом. Это была, конечно, Сяхла. Пока она правила коня к околице, Нарма, задыхаясь от волнения, бежал вслед. Девушка соскочила с сед-

ла, стала рядом. Она говорила быстро, то и дело поглядывая по сторонам:

— Моего отца и еще двух стариков вызывали в Дунд-хурул. Когда они вернулись, заявился Хембя... Трое суток я не могу сдерживать слез от горя. Произошло самое худшее. Что же ты не спешешь мне на помощь? Или вы все сговорились погубить меня?

Девушка еле сдерживала рыдания.

— Что сказал тебе отец? — спросил Нарма, заранее зная, как ответит Сяяхля.

— Разве отец пойдет против нойона, багши и старейшины хотона?.. Какое кому дело до моих страданий? Люди в хотоне жалеют меня, но все боятся, что Хембя отберет худук, будь он проклят!

Слезы так и лились из глаз Сяяхли. Она, похоже, уже ни на что не надеялась. На всем белом свете у нее оставался только Нарма.

— Отцу ты сказала о том, что не хочешь выходить замуж за Хембю?

— Не только отцу, но и самому Хембе! — горячо проговорила девушка. — Бедный отец слег от горя, стал заговариваться... Я сказала, что убегу в степь, выйду замуж за другого! А если станут неволить с замужеством, брошусь в худук, все равно люди не притронутся к той воде! Я все уже говорила! Теперь осталось сказать тебе... Нарма! Если ты любишь меня, спасай нашу любовь! Садись скорее на коня, мы уедем на русский хутор! Мы будем пасти там скот, слепим мазанку, проживем как-нибудь!.. Ты же знаешь, я все могу, даже детей нянчить... Я не могу только одного — жить с нелюбимым человеком!.. Я родилась для тебя, Нарма, как ты не поймешь этого?

— Я тоже хотел увезти тебя... — говорил Нарма, но не так торопливо, как Сяяхля. — Я уже приготовил коня, чтобы ехать за тобой. Но наймиты Хемби связали меня и бросили в подвал. Взгляни на мои руки.

— О, Нарма! Ты тоже страдаешь за нашу любовь, я это вижу! Так скорее же на коня, пока мы свободны!

Нарма почувствовал, что падает в эту минуту в какую-то пропасть. Он не находил в себе сил сесть на коня и ускакать в степь, как предлагала Сяяхля. Еще три дня тому назад он был готов на все и, наверное, уговаривал бы Сяяхлю на околице Орсуда уехать с ним.

Что-то надломилось в нем, в голову ползли предательские мысли.

— Это не выход, Сяхля... Они разыщут нас и на хуторах.

— О, да, наверное! — не унималась Сяхля. — Они нас найдут через неделю, через три дня, через день! Но этот день будет нашим, Нарма! И, может, он станет для нас спасительным! Или хотя бы будем помнить о нем всю жизнь!.. Подари мне этот день, Нарма! Бог создал нас друг для друга! Неужели мы откажемся от своего счастья, пока свободны?

Она приблизила свое лицо к его лицу, сказав неожиданно:

— Я готова умереть вместе с тобой! А ты?

— О, что ты говоришь, Сяхля! — ужаснулся Нарма, схватившись за сердце. — Бог создал нас друг для друга... Но после отказался от нас с тобой... Я три дня и три ночи взывал к всевышнему, однако не только бог, а никто из хотонцев не заглянул в конуру, чтобы развязать мне затекшие руки... Если я сделаю, как ты просишь, ты будешь самая несчастная женщина на свете. Тебя проклянет умирающий отец, твоим именем станут пугать всех детей в хотоне.

По мере того, как Нарма произносил эти слова, глаза Сяхли расширялись, будто она видела перед собой нечто ужасное или только сейчас наконец поняла, узнала действительного Нарму.

— Ты рассуждаешь так, будто речь идет не о нас с тобой! Нарма! Да любишь ли ты меня? Или ты обворожил меня тогда красивыми словами, чтобы насладиться моей девичьей доверчивостью и спокойно отдать в руки кому угодно? Ну, скажи же, Нарма, хоть одно из тех слов, на которые ты был так щедр всегда!.. Да удержи же ты меня, или я сделаю с собой сама не знаю что!.. Ведь ни одна душа под этим небом не ждет меня, чтобы помочь, спасти, укрыть от самого страшного позора, когда меня, девушку, заставят лечь в постель с полумертвецом!.. Скажи, Нарма, я жду...

Нарма молчал.

Через минуту вечерняя мгла поглотила и коня и всадника, с рыданием припавшего к шее скакуна.

Весна в том году пришла рано. Но зеленый покров степи держался до середины второго летнего месяца. Прежде к этой поре вокруг худука не оставалось ни травинки, земля была выбита копытами животных до нижнего слоя. В двух шагах от продолговатого выщербленного желоба поднялась тонокоствольная овсяница, опушились метелки ковыля, взметнулась рослая полынь, зазеленел сочиный зултургаи. Столько теплых дождей прошло в мае и июне! Вчера над степью прокатилась гроза. Дождь лил целую ночь, перестал под утро, на восходе солнца. Такая благодать вокруг, хоть запевай в тои расхोдившимся пичугам. Даже те из них, что успели обзавестись выводком, затеяли в густой траве разноголосую переключку...

Однако шестерым табуищикам у колодца не до веселья. Тихо переговариваясь между собой, они попеременно шарят багром по глинистому дну. На длинном замусолении от множества рук шесте набалдашиник с ржавыми усиками — кошка. Ею по обыкновению вылавливают соскочившее с барабаника журавля ведро или достают упущенную неинароком бадью. Сейчас у мужчины иная цель. Спозаранку, лишь кончился дождь, они разъехались по ближним хотонам в поисках пропавшей из дому Сяхля. Обскакали небольшие кошары, спросили чабаиов.

— Если пропала девка, то не в колодце! — заявил взопревший от стараний широкоплечий табуищик. — А может, и жива еще... Заехать в такую ночь слишком далеко Сяхля не могла.

— Да как сказать! — тут же нашелся другой из компании. — Вон из Бергясова хотона, говорят, два пария удрали на пристань работать. Уехали оборванцами, вернулись — свое хозяйство занимали.

— То — парни!.. Девушку, да еще такую, как Сяхля, тут же какой-нибудь пройдоха приберет к рукам!.. Поиграется купчишка и — в притон!

Стоявший поодаль от остальных парней не участвовал в разговоре. Он лишь поглядывал на широкоплечего мужчину с кошкой в руках да вздыхал втихомолку. Табуищик кивнул в его сторону, проговорив:

— Кому девку жалко, а кому лошады!.. Это на его

буланом ускакала вчера Сяхля. Жеребчик только что обьезженный, дороги к дому не знает... Бросят его в степи за ненадобностью, любому дураку достанется.

Такой разговор тревожил парня. Конь был не совсем его: отец, старый табунщик, доверил жеребца на время, пока привыкнет к узде. Пропажа этого породистого скакуна обернулась бы настоящей бедой для всей семьи табунщика. Наконец парень, ругнувшись с досады, присел на кочку, перестав наблюдать за степью. Ему не хватило выдержки ровно на одну-две минуты, потому что как раз в это время из-за невысокого кургана показался всадник. То прибывалась к родным местам Сяхля.

Последняя встреча с Нармой, так легко отдавшим свою любимую на волю судьбы, виделась девушке позором не меньшим, чем сватовство Хемби. Сяхля, едва отдалившись от Налтанхина, расслабила повод и дала волю коню. Пусть несет, куда придется. Даже в стан разбойников, если таковые обитают в степи. Может, кто-нибудь прикончил бы, чтобы самой на себя рук не накладывать... Всегда боявшаяся одиночества в степи, прятаясь от молнии, девушка просила разыгравшуюся над степью грозу, молнилась низким тучам, чтобы они взяли ее жизнь, прекратили страдания.

Под грозовым ливнем Сяхля промокла, с нее и коня текли ручьи, когда они приблизились к чьей-то не вывезенной с зимы копне. Там, вырыв с подветренной стороны углубление, Сяхля спряталась, сняла с себя и выжала одежду. Конь понуро стоял возле, обливаемый потоками дождя, фыркал.

Мысль о смерти всю ночь не покидала девушку. Но постепенно брал свое рассудок. Как ни странно, Нарма, доведший ее своим равнодушием до мысли о самоубийстве, теперь неким образом спасал. Сяхля мучительно приходила к выводу, что Нарма для нее не лебедь, не пара, коль не захотел умереть с нею вместе. А ведь можно было и выжить, не только умереть. Как ни редко это случалось, но степь приходила на помощь обреченным. Тем, кто умел бороться за свою судьбу. Хембя мог отказаться от преследования беглецов, когда узнал бы, что Сяхля и Нарма стали мужем и женой. Ему ведь не Сяхля нужна, как единственная избранница сердца. Требовалась женщина, способная родить. А таких, мечтавших переступить порог роскошных хором зайсана и

вкусить счастья от близости в щедром господином, каким слыл Хембя, нашлись бы в степи десятки. Стоило лишь протянуть руку. И рука была протянута... Не самим Хембей, а его завистливой к чужой красоте супругой. Ей захотелось сорвать и измять в старческих ладонях нежный тюльпан. Саму зайсаншу, говорят, бог не обошел чарами смолоду, но это вовсе не означало для нее, что она относилась к хорошеньким девушкам без зависти. В конце концов, думала Сяхля, в том же Орсуде кроме нее были девушки на подбор. Перебился бы Хембя со своею доукой, женившись на любой другой...

— Ах, Нарма, Нарма! — в который раз восклицала с горечью девушка. — Почему ты оказался таким трусливым? Или у мужчин таков ум, что они все должны видеть на сто лет вперед?.. Тебе же самому будет плохо без меня, я знаю... О, какая красивая и одновременно какая жестокая ты, жизни!

Небо было на редкость чистым, ясным, даль распахнута до самой линии горизонта. Беспечные птицы звали: «Жи-ить... жи-ить!» Сяхля уже не замечала тропы, конь шел куда-то сам по себе. Наконец Сяхля стала замечать кое-что из запомнившегося с детства: мелкий овражек, с polegшей на его склонах от дождевого потока травой, овальная проплешина солоняка... Конь перешел на рысь и вынес Сяхлю на склон кургаи. Она увидела вдаль худук и рядом с ним несколько мужчин. В одном из них угадала двоюродного брата. Он сначала глядел в степь, а затем опустил на траву.

«Что же я делаю? — спросила себя девушка. — Сама собираюсь на вечный покой, а парню из-за меня маяться?.. В худук я могу броситься и ночью, а коня-то брату нужно вернуть!»

Она поскакала к хотону в объезд, но кто-то из мужчин заметил странного всадника. Все стали шумно кричать вдогонку, подзывая девушку к худуку. Звал Сяхлю и брат. Он сизмальства дружил с сестренкой, очень привязался к ней. По правде сказать, он больше переживал за Сяхлю, чем за коня. За буланого можно было отработать, можно купить и вырастить жеребчика взамен. А Сяхля из всей родни была самой умной и приветливой. Встречи с нею запоминались надолго, освежали душу. Убери из круга родичей эту звонкоголосую сестренку, жизнь сразу потускнела бы. Теперь вот, уви-

дев Сяхлю живой, еще не зная, что ей пришлось пережить за долгую дождливую ночь, парень громко выкрикивал ее имя и смеялся, смеялся как ребенок, от счастья.

3

Въезжая в хотон, Сяхля дала себе слово ни с кем не разговаривать, не отвечать на расспросы, не выслушивать сочувствий. Ей хотелось поскорее добраться до постели, упасть лицом в подушку, забыться. «Пусть ругают, придумывают любые обидные упреки, допытываются... Буду молчать!.. Да и что значат теперь чьи-то вздохи, если даже Нарма не понял меня?»

Первой к ней подошла тетя, младшая сестра матери.

— Деточка ты моя неаглядная! — всхлинула женщина, уткнувшись в плечо племянницы. Обняла Сяхлю, принялась гладить плечи.

У матери Сяхли была лишь одна сестра. Ее рано выдали замуж за Чотына Хечиева в Бергясов хотон. Чертами лица, разговором и даже походкой она очень напоминала старшую сестру. Сяхля замечала в ней много материнского, радовалась любой встрече с тетей. После смерти матери Сяхлю нередко привозили в хотон Бергясов, однако слишком долго жить у тети не приходилось. Гостевания эти запомнились девочке как самые приятные сны детства.

Сейчас для Сяхли, как никогда прежде, была желанна встреча с любимой тетей. Приехала близкая родственница не сама по себе.

Вечером, когда стало ясно, что Сяхля исчезла из дома на выпрошенном у брата коне, отец и те из мужчин, что были ему поближе, сошлись на совет. Первое, до чего додумались — что девушка станет искать убежища у тети. Туда направили брата Сяхли. Десять верховых, в том числе приехавший в гости Пюрвя, разбрелись по степи. Вместо ожидаемой Сяхли брат привез тетю, а следом за ней приехал и Чотын. Даже этому мудрому советчику не пришло в голову, что девушка устремится на ночь глядя в Налтанхин, искать защиты у Нармы. Такого случая с калмычками не помнили и самые древние степняки.

Узнав, что племянницу сватает зайсан, тетя обрадовалась так, что загордилась. Однако страдальческий вид слегшего в постель Нядvida пробудил в ней размышле-

ния нного толка. Первоначальная радость тети объяснялась несложно: выданная замуж за Чотына несмышленным подростком она попала в руки человеку умному, умеющему относиться к женщине уважительно. Каких-то особенных чувств к мужу она не испытывала, полагала, что семейная жизнь у всех женщин одинакова. А счастье или неудача людей измеряется лишь достатком в доме. Мужчины тоже все виделись ей на одно лицо: только работай на них у гулмуты да ублажай в постели.

«Счастье девушки в ее подоле», — говорят калмыки. О другом счастье перешептываются лишь подружки на посиделках, пока их не засватали. «Какая разница, — рассуждала за Сяххлю ее покладистая в семейных заботах тетя, — молодой мужик или старый? Лишь бы добытчиком удался хорошим!.. Не успеешь оглянуться, дети пойдут. Их надо обихаживать да врачевать от хворей... А мужик чем старше годами, тем приставать будет меньше, и без него забот полно».

Тяжкие вздохи отца, занемогшего от дум, неразговорчивость Чотына, который находил ситуацию со сватовством зайсана сложной, мытарства исчезнувшей из дома девушки, наконец, измученный вид появившейся племянницы переменил ход мыслей безмятежной родственницы.

Первыми словами подъехавшей к своей кибитке Сяххли были:

— Тетя, милая! Только вы меня поймете! Роднее вас нет у меня человека... Не оставляйте меня здесь ни на минуту! Буду вашей помощницей в доме, рабой стану, только спасите от зайсана!

Увидев заплаканное лицо племянницы, не имевшая своих детей женщина сомлела от жалости к Сяххле. В одно мгновение она перебрала в памяти все сиротское детство девочки, вспомнила слова умиравшей сестры, ее последнюю просьбу, чтобы люди добрые доглядели ее кровнику, не давали в обиду. Тетя преобразилась, лицо ее стало хмурым и грозным, как у львицы, обнаружившей опасность для своего беззащитного дитя.

— Доченька ты моя ненаглядная!.. Я положу край этой пустой затее, сама доберусь до зайсана!.. Брошусь в ноги нойону Дяявиду, спасу тебя, дитя мое, если мужчины только охатъ горазды да дым пускать из ноздрей.

Сяххля с тетей, все время угрожавшей кому-то, вошла

в кибитку. Люди, стоявшие вокруг, принялись на все лады обсуждать сказанное воинственно настроенной гостьей. Вскоре она выглянула из кибитки и обратилась к мужу все тем же решительным тоном:

— Чотыи, запрягайте лошадей!.. Здесь, я вижу, сирота никому не нужна. Эти бессердечные люди не чают спихнуть ее на руки даже старику... А для нас она — родственница, своя кровь! Как-нибудь угол сироте у нас найдется! Страшно подумать: в зятя просится человек, который на полтора года старше отца своей будущей жены! Люди в этом хитоне, видно, совсем посходили с ума!

— Не спеши со словом, жена! — спокойно предупредил супругу Чотын, дав ей высказаться до конца. — Мы здесь в гостях, а в Орсуде свои порядки.

— Запрягайте, говорю, а то я сама возьмусь за сблюю! — не унималась женщина. — Если и родной отец не считается с дочерью, то ее здесь любой прохожий подомнет. А мне она, может, станет утехой под старость. Пока силы есть, сама о ней позабочусь... Однохотонцам она, как вижу, и вовсе в обузу: готовы девчонку за кружку воды сбыть, лишь бы вволю напиться!

Гневные слова свои тетя произносила нарочито громко, чтобы и отец Сяхли слышал в кибитке, и люди, сбегавшиеся по привычке, поняли непростой их смысл.

Толпа уже роптала, нехорошо повторяя имя строптивой девушки, а с тетей спорили в открытую, напоминая ей, что она лишь гостья здесь, что в Орсуде на неучтивых людей всегда находили управу.

— Я всегда считал тебя умной женщиной, — сердито заговорил с лежанки отец Сяхли. — Но сейчас ты будто с цепи сорвалась!.. Готова всех нас перекусать! Не радости, а горя добавляешь, свояченица!

Женщина пропустила и эти слова мимо ушей, наставая на своем:

— Чотын, не стойте, как верстовой столб при дороге!.. Выводите лошадей!.. Мы с Сяхлей уже повязали узлы.

Муж неожиданно согласился со своей решительной супругой.

— Сяхле нужно дать успокоиться... И ты, свояк, собирайся, не оставлять же тебя одного, больного, — обратился он к хозяину кибитки.

Жена Чотына была неглупой женщиной, но часто срывалась на скандал, и тогда ей не смей ни в чем перечнить, языком резала, как бритвой, понесет — не остановишь. Чотын перебарывал ее своей мудростью, а лучше сказать — терпением. Сорвет зло — начинает плакать, жаловаться, кидается на шею мужу, ласкается... Этакая домашняя гроза, оканчивающаяся теплым дождиком!

Сейчас жена Чотына была как раз на гребне своего возмущения и с гневом отметала притязания толпы.

— Онн, кажется, увозят Сяххлю? — доносились с улнцы возгласы хотонских зевак. — Если девушка уедет, зайсан лишит нас худука!

На ропот толпы из кибитки показался сам хозяин. Нядвид был страшен лицом, заросший, худой, еле держался на ногах. Сиплым, застойным голосом он пытался усомнить однохотонцев.

— До сегодняшнего дня я уговаривал свою дочь, чтобы она по-доброму вышла замуж за Хембю. Этой ночью я, наверное, сошел с ума от горя. Родное ведь днтя! Пусть, видно, сама решает, ей жить!

Люди смолкли, но ненадолго.

— Вы-то уедете, а нам опять оставаться без воды? — выкрикнула Жиргал, тетка Нармы, которая чуть не убила своего мальчонку за пролитую воду.

Сяххля и ее тетя прошли к телеге с узлами в руках.

— Эй, ты, умница! — кричали на разные голоса женщины, будто видели в руках девушки не узлы с тряпьем, а увязанный худук. — Ты уезжаешь к родственникам, а мы здесь подыхай без воды?!

Движения Сяххли, смертельно уставшей за ночь, вдобавок чувствовавшей в теле озноб, были замедленными, вялыми. Едва пристроив на возу узелок, она привалилась к нему боком.

— Тетя, не ругайте меня, пожалуйста! Я никуда не поеду, — проговорила Сяххля, пугаясь собственного голоса.

— Чего еще! — прикрикнула на нее тетка, продолжая пристранять поклажу на дроги.

— Я остаюсь, — спокойно и обреченно сказала Сяххля.

Тетка с досадой толкнула от себя узел с бельем, обернувшись к толпе.

— Слушай ты, горластая! — обратилась она к самой ближней, возмущению махавшей руками. — Ты свою дочь, кровинку свою отдала бы на подстилку вонючему деду за кружку воды?.. Говори: отдашь, когда вырастет? Нет?.. Так заткнись, не распоряжайся чужим ребенком!

Умерив таким образом пыл самой крикливой женщины, тетка обернулась к Сяххле, подталкивая ее к телеге:

— Не бойся их, доченька!.. Беги, милая, спасайся!

Сяххля тяжело, с перехватом вздохнула:

— Тетя, я никого больше не боюсь!.. Только ехать с вами не могу... По другой причине.

Сяххля в это время думала о Нарме, который так постыдно отказался от нее.

Толпа замерла. Тетя уставилась на Сяххлю расширенными глазами. Женщина считала битву уже выигранной, когда осадила самую напористую крикуху. Теперь с людьми хотона разговаривала сама Сяххля.

— Успокойтесь, люди!.. Я пойду замуж за старого зайсана.

Толпа, казалось, не принимала ее жертвы. Шумнее всех на улице вела себя теперь тетя, уговаривая племянницу со слезами на глазах:

— Нет, моя сиротинушка!.. Если бы жива была твоя мать, она ни за что не благословила бы такой брак!.. А я-то? Разве не мать для тебя?.. Сегодня же, сейчас поеду в Дуид-хурул к багше!

Сяххля была непреклонна в своем неожиданном для всех решении.

— Тетя, родная! Спасибо вам за такое участие в моей судьбе!.. Я знаю: если поселюсь у вас, вы с дядей Чотыном не обидите меня, пригреете старость моего отца... Подойдет время — найдете для меня достойного жениха... Поймите меня в эту минуту, пожалуйста, как понимали всегда: я — молода и знаю себе цену среди девушек хотона. Не боюсь я никого, это всем понятно... И все же ради теплого угла для себя не хочу приводить в родной хотон большое горе!.. Только сейчас, глядя в глаза перепуганных людей, я поняла, что не вольна распоряжаться своей судьбой, коль она так связана зайсаном с судьбами моих сородичей.

— Значит, ты согласна стать второй женой зайса-

на? — воскликнула тетя, уронив в пыль баклагу с ку-
мысом.

— Да, тетенька!.. Не судите меня строго. Хотя я и
ваша племянница, но всего лишь дочь табуищика. У ме-
ня не может быть какой-то иной судьбы, как ее нет ни
у кого из этих обездоленных степняков Орсуда. — Сяях-
ля обвела рукой притихшую толпу. — Один человек не
может позволить себе приесть так много горя в каждый
джолум. Это было бы с моей стороны слишком жестоко.

Сяяхля закрыла ладонями лицо, чтобы люди не уви-
дели ее слез, и пошла к кибитке.

Услышав такие слова от совсем юной девушки, муж-
чины зацокали языками, а женщины перестали галдеть
и потянулись уголками платков к глазам.

Минуту тому назад бушевавшая от гнева тетя тоже
смахила слезу и обияла Сяяхлю, давая тем самым знать
всей здешней родне, что она тоже давно понимает на-
висшую над хотоном беду. «Кто заглянет наперед, —
думала тетя, — может, люди еще оплатят своей лю-
бовью Сяяхле за ее немыслимую жертву, за ее будущие
муки?»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Сяяхля не утопилась в худуке... Однако люди родно-
го хотои не называют теперь этот злополучный колодец
иначе, как Сяяхля-худуком. Доведись кому из проезжих
спросить дорогу на аймак, всяк махнет рукой в сторону
приземистого кургана, задумается: «Держись, человек
добрый, стежки, что ведет мимо Сяяхля-худука». Же-
нщина, сказав такое, глядишь, и слезу смахнет украдкой.
Так источник живительной влаги стал вечным укором
и напоминанием о загубленной девичьей судьбе.

А Сяяхля — что?.. Сяяхля жива, в полном здравии.
Приглядись к ней со стороны: блаженствует бывшая
дочь бедного табуищика. Разодета в шелка, что на пле-
чах, что на иогах — дорогие обивки. Две девушки из
таких же латаных джолумов, какой был над головой
у Сяяхли в пору ее девичества, прислуживают молодой
госпоже. Свой выезд у молодой зайсанши, свой гнедой

жеребчнк под седлом, разукрашенным серебряной отделкой.

В доме зайсана, а старый Хембя твердит теперь походя, что это дом молодой жены, Сяхля н внду не подаст, что чем-лнбо недовольна. О ее распорядительности по хозяйству вслух охают пожилые женщины. Прнмет гостей Сяхля — долго вспоминают заезжие люди, удивляясь ее непринужденности н уму. И гостей прнветит, н достоинства супруга не уронит в компанн, женскую покорность выкажет мужу, посланному ей богом.

Хембя так стал неузнаваем после второй женитьбы — взбодрился, помолодел, расправил плечи. Сорочки носят лишь белые с «бабочкой» или с пестрым галстуком, два раза в день бреется. С юной женой разговаривает вполголоса, почтительно склоняя голову. Нужно зайсану принять какое-нибудь решение, отложит до разговора с Сяхлей.

И хотя страсть первых дней после свадьбы начинала утихать, Хембя до сих пор верил н не верил своему счастью н тому, что может сотворить с мужичной женщиной. Сяхля, эта девочка, вернула ему молодость. Теперь ему казалось, что он, орел, всю жизнь прожил с клушкой, с этой богобоязненной Байчхой. И прнтом у Сяхли — та же трогательная заботливая нежность, что у старой зайсанши, преданность семье, дому. «Повезло! Просто повезло!» — вздыхал нногда Хембя от избытка чувств.

Юная жена зайсана ничем не выдавала своего недовольства мужем, новыми заботами, окружением. Не давала она повода для пересудов в ее адрес или сочувствующих вздохов. «Вышла замуж, значит, теперь я — мужняя жена», — отваживала она решительным словом оборотистых товарок, способных на всякие уловки за спиной вечно занятых супругов.

И лишь в минуты невыразимой тоски, когда слы ее вдруг покидали, из горла рвался крик отчаяния, она велела седлать любимого гнедка. В чем была, вскакивала со ступенек крыльца в седло, во весь опор мчалась в степь к задернутому дымкой кургану, где похоронен отец. Не помня себя, кубарем скатывалась на землю, словно раненая птица, разбросав руки, прижималась всем телом к родному холмику... И было в тех словах, слышимых сквозь рыдания, такое, от чего умолкали од-

на за другой и падали с высоты птицы, солище темнело и растворялось в небе, никли травы. Степь цепенела в негодующем молчании. Все живое в степи, потрясенное горем Сяххли и своими бесчисленными бедами, ждало перемен, напрягалось в той немоте, что бывает перед грозой.

2

Прошло четыре года. У зайсана не появилось ребенка и от второй жены. Не переставая ценить молодую супругу за ее несомненные достоинства, Хембя все более сурово относился к себе, а к окружающему миру — терпимее. Иногда он, впадая в благостное настроение, заговаривал с Сяххлей о ее будущем, чуть ли не открыто признаваясь в своей вине перед ней.

Сяххля не собирался мстить ни Хембе, ни другим участникам постыдного торга. В конечном счете за нею и тогда оставалась возможность все оборвать, уйти из жизни, как случалось с другими людьми, которым надоело ждать лучшего. Сяххля находила в себе мужество выслушивать откровения мужа, его покаяния. Иногда, осмелев, она и сама задавала зайсану тяжелые для ответа вопросы.

Как-то перед отправкой мужа в дальнюю поездку, по зайсанским его заботам в ставку улуса, собрав все необходимое, Сяххля спросила:

— Хембя! Можете ли вы мне сейчас сказать откровению: решились бы вы расстаться с тем худуком, если бы не нужно было задобрить моих сородичей перед тем, как увезти меня?

Хембя потрепал жену по подбородку, как делал это в минуту особого расположения к ней.

— Люблю тебя за прямоту, Сяххля!.. Умница ты у меня, все насквозь видишь! Ты ведь и сама знаешь правду, но такая у вас, у женщин, натура: видеть мало, хочется еще и слышать!.. Ну так знай, если не терпится казнить старика... Не отдал бы худука ни богу, ни черту задаром! Это все равно, что выбросить горсть золота в толпу!.. Раздашь по крупнице — никого богатым не сделаешь... Да и не моя это забота — всех нищих благодворить! Кладбище большое, всех не оплачешь!

— За четыре года с той поры хозяйство ваше не пошло на убыль и без худука Беергни...

— Сяхля-худука! — поправил зайсан не без ехидства.

— Пусть Сяхля-худука, — согласилась жена. — Не потеряли вы ничего с той малости, а людям сделали добро. Бедняки хотона расправили плечи...

— Добро не всякому впрок! — впал в размышления Хембя. — Люди ведь разные, всем одинаково жить нельзя... Посмотри на эту руку: пальцы на ней и то разные! Родные братья в семье, от одних матерн-отца, а как они не похожи друг на друга! Один умный, работающий, другой — бездарь, пропойца... Ты, Сяхля, не видела жизни дальше своего хотона и нынешнего нашего аймака. А я учился в Астрахани, слышал рассказы бывалых людей, повывавших мир... Бааза-багша ходил с караваном через тридцать гор и долины, встречался с людьми нашей и другой веры — везде люди поделены на богатых и бедных. Так устроен мир от века, и никому его не изменить... Давай мы лучше поговорим о другом, — внезапно оборвал себя Хембя.

— О чем же? — тихо отозвалась Сяхля, занятая раздумьями о судьбе людей родного хотона.

— Хотя бы о твоём будущем, — просто ответил Хембя, полуобняв жену. — Сегодня исполнилось ровно четыре года, как мы поженились. Два года я надеялся на появление наследника. Теперь уж совсем ясно, что ни Байчха, ни ты не виновны в том, что детей у меня нет... Рядом с тобой я чувствую себя помолодевшим. Но это все обманчиво, я понимаю. Ты возвратила мне утраченную молодость. Только дурак может не оценить этого... Я виноват перед тобой, но того, что свершилось, не поправишь. Можно лишь отплатить добром за добро, и я это сделаю непременно... Скажи мне, Сяхля, так же без утайки, как ответил я на твой горький вопрос: хотела бы ты вернуться к любимому, если он у тебя есть?.. Пойми, я с тобою сейчас разговариваю не как муж с женой, а как отец с дочерью.

— Не нужно трогать меня отца, Хембя! — попросила, едва удерживая слезы, Сяхля, сжав кулаки у груди. — Я вышла замуж по воле судьбы... Я не из тех женщин, Хембя, кто, выйдя замуж, продолжают думать о своих любимых.

В ту ночь они разговаривали долго и, как никогда прежде, доверительно. То был разговор двух равных в

беде людей, решивших разобраться во всех своих сомнениях. Никогда Хембя не был таким близким Сяхля, и никогда Сяхля не осуждала его суровой. Что толку от его понимания и участливости! Вот разбередил душу воспоминанием о прошлом, обессилев, уснул с чувством исполненного долга. Покаялся, получил прощение, а ты думай и думай о своей судьбе!.. Кто поможет? И Сяхля, почти свободная, по словам зайсана, не знает, куда брести, в какой стороне искать потерянное счастье?

Не раз приходил на ум Нарма. Он тут же, при дворе зайсана, как управлялся с лошадьми, так и состоит при его выезде. Не женат до сих пор. Выйди во двор, и ночью можно его встретить: возится со сбруей, чистит коней, смазывает ступицы колес перед очередной дальней поездкой... Да только не тянет чего-то Сяхлю к Нарме, очужел он ей после той последней встречи, когда она умоляла его бежать, а Нарма не решился, покорился судьбе.

Нарма не сразу смирился со своей долей. Однажды, выглядев молодую зайсаншу в теплом сарае, где зимовали коровы, паренёк обхватил ее сбоку и пытался поцеловать. Сяхля размахнулась и ударила его по лицу так крепко, что у парня посыпались искры из глаз.

— Если еще раз полезешь, скажу обо всем хозяину! — строго предупредила она. На этом все и кончилось.

«Можно ли скленть стеклянную вазу, если она выпала из рук и разбилась на кусочки?» — без всякой веры в свое счастье думала в ту ночь Сяхля.

3

За день на резвых конях да на хорошо смазанных колесах зайсан с умелым кучером отмахали до Дундурула. Ночевать остановились, как всегда, у зурхачи. Зайсан всегда находил, о чем потолковать со звездочетом, знавшим бездну примет на небе, по которым можно проследить судьбу человека. К звездам и вообще к ночным светилам зурхачи относился, как табунщик к своим разбредшимся по степи коням, знал их по кличкам. От его разговоров с блаженной улыбкой на лице Нарма быстро уставал. Едва поужинали, Нарма вышел во двор подложить уставшим коням свежего сеица. У линейки зайсана стояли два человека.

— Нарма, менде! Я узнал, что ты здесь, вот и решил поговорить,— сказал Бергяс, протягивая руку.

Бергясова спутника Нарма не узнал, уже совсем стемнело. Но тот, в свою очередь, поздоровался с Нармой, тоже пожал руку. А потом будто растворился в вечерней мгле.

— Этот мужчина едет в Кетченеры, торопится. Он хотел бы сегодня достичь хотона Дееде-ламин, в десяти верстах отсюда,— зачем-то пояснил староста.

Нарме было все равно, достигнет незнакомый ему мужчина Кетченеров или заночует в хуруле.

— Вы-то в Царицын направились? — поинтересовался Бергяс.

— Нет. Мы едем в ставку. Зайсан по каким-то делам хочет встретиться с попечителем.

— Если выехать пораньше, пока не пригрело, сможете к обеду успеть,— как бы между прочим прикинул Бергяс.

— Нам не к спеху. В жару остановимся возле озера Лавин-улан, зайсан там искупается, переоденется в чистое и появится в доме попечителя свежим и опрятным. Так ему посоветовала молодая жена.

Озеро Лавин-улан, в двух километрах от ставки, будто по заказу: как хорошо встряхнуться, смыть с лица дорожную пыль! Попечитель не терпит неопрятных людей. Говорят, его экономка даже нищих посылает к озеру омыть лицо и руки и лишь тогда покормит.

— Озеро глубокое! — зачем-то сказал староста. — А зайсан плавать не умеет.

— Да Хембя и не заходит в воду, поплещется лишь на отмели,— пояснил Нарма.

— Вот как? А ты, Нарма, плавать умеешь?

— Мое дело холопское! — ничуть не рисуясь, вроде как с сожалением заявил Нарма. — Мне все полагается уметь.

Поговорив немного, Бергяс хотел было уйти, но Нарма остановил его.

— Зайдите в дом, хоть поздоровайтесь с зайсаном,— сказал он. — А то узнает, что вы были и не повидались — обидится.

— Нарма, мы же с тобой друзья,— вдруг заговорил льстиво Бергяс и обнял его. — Ты не скажешь своему зайсану, что видел меня здесь... Вот и все.

Зайсан отсыпался утром после долгих полуночных бесед со звездочетом. Позавтракали, поехали не спеша. Когда скрылись из глаз острые шпили монастырей, Нарма оглянулся, вспомнив о странном разговоре с Бергясом.

Первый раз Нарма познакомился с Бергясом на охоте. С тех пор прошло два года. За это время Бергяс несколько раз навещался к зайсану, иногда оставался ночевать. «Бергясу приглянулась молодая жена Хемби, вот и зачастил», — говорили о нем. Разговоры дошли до зайсана. Нарма догадывался, что в подозрениях людей была доля правды. «Этому нахалу ничего не обломится. Сяхла быстро отошьет Бергяса», — думал Нарма об ухаживаниях старосты за молодой женой зайсана.

Сытые лошади легко несли линейку по укатанной дороге. Настигли пешехода, который, перекинув сапоги через плечо, шел босиком. Когда в экипаже имелось свободное место, Хембя всегда подбирал пеших попутчиков. Этим он отличался от других господ в степи.

— Куда наострился? — спросил у мужика Хембя.

— Я из аймака Ики-Хурула, — охотно представился тот. В Абгаиерово путь держу, там у меня тетя. Иду вот навестить.

Нарма обернулся, пригляделся к молодому попутчику, и ему вдруг показалось, что где-то он слышал этот голос, но вспомнить не мог. А широкие скулы, узкий, заросший лоб, быстро бегающие глазки молодого мужчины ни о чем не говорили ему.

В полдень они увидели озеро, объехали его почти вокруг, выбирая место в тени. Озеро было только с виду большим. От одного берега до другого меньше двухсот сажень. Берега густо заросли высоким камышом.

Нарма и попутчик быстро разделись, кинулись в воду. Они были уже на середине озера, когда новый знакомый попросил Нарму:

— Слушай, пареня! Я выдохся, поплывем назад, боюсь за себя...

Зайсан Хембя, разоблачась до кальсон, осторожно передвигался вслед пловцам. Но вот и он остановился, погрузившись по пуп.

Пловцы вернулись, отдышались неподалеку от зайсана.

— А ты, парень, тоже испекся. До того берега-то едва ли бы дотянул,— усмехнувшись, с вызовом сказал попутчик.

Нарма, ничего не говоря, расправил плечи и легкими саженками поплыл через озеро. Он уже приближался к другому берегу, когда зайсан как-то странно, будто от испуга, крикнул и скрылся под водой.

Попутчик нырнул за ним следом и, вынырнув, прокричал:

— Что-то не видно твоего господина! Поспешн, парень, не случилось ли с ним беды?

Нарма так размахался, пока плыл обратно, что сердце едва не выскочило из груди. Отдыхать было некогда. Едва набрав воздуха в грудь, он нырял и нырял. Попутчик тоже нырял, но чуть в стороне...

Не отыскав зайсана на дне озера, Нарма впал в отчаяние. Звать на помощь? Кого? Вокруг — безлюдье! Вдруг какой-то всадник выскочил из камышей на другом берегу. Не успел Нарма крикнуть, всадник скрылся в клубах пыли.

— Смотри-ка, на том берегу в камышах был человек! — взволнованно заговорил Нарма.

— Ха... ха!.. Ты небось думаешь, что это зайсан от нас ускакал! Дудки! Зайсану конец наверняка! Давай искать тело, пока раки не съели! — торопливо, с неуместным смешком сказал попутчик и нырнул опять.

Нарма быстро оделся, побежал навстречу подводам, показавшимся на дороге. Кое-как рассказал о случившемся возницам. Те поверили подводы к берегу. Теперь уже пятеро мужчин принялись отыскивать утопленника. Озеро местами было очень глубокое, колдобины на дне достигали трех саженей и больше, дно вязкое, подернутое тиной и водорослями. На крики прискакало еще двое мужчин. Искали долго и лишь к вечеру тело зайсана обнаружили у другого берега, близко от того места в камышах, откуда выметнулся торопливый всадник.

— Зайсана Хембю утащил водяной, — решили съехавшиеся люди.

Эта версия и распространилась потом по всей Сарпинской низине.

В ту же ночь попечитель Богданов и надзиратель Курилов привезли тело зайсана Хемби в Налтанхин.

Таким странным образом закончилась жизнь самого доброго в степи зайсана, который не успел ко времени своей кончины сделать лишь кое-какие мелочи из того, что обещал: Нарме, как приемному сыну, передать наследство; Сяххлю выдать с почестями замуж за любимого, если она обретет такого; Байчхе помочь определиться в одиночестве.

Когда Сяххля пришла в дом зайсана, Байчха жила в отдельной кибитке, не вмешиваясь в их домашние и семейные дела, и вступала в разговор, лишь когда речь шла о стадах, о пастбищах, о батраках. Четыре года Байчха и Сяххля жили дружно, понимали друг друга с полуслова. Внезапная и трагическая гибель Хемби их еще больше сблизила. Особенно тяжелым было расставание с мужем для Байчхи. Белый свет потемнел для нее, все стало ненужным, а жизнь казалась пустой, ничемной. У Сяххли после смерти отца тоже не оставалось никого, кроме Хемби, кто позаботился бы о ней.

Через год аймак преподнес хурулу большие поминальные дары, в том числе стадо коров. Монахи отслужили в Налтахиин молебн, совершили обряд гал таялгин.

Не прошло и месяца после обряда, как прожившие пять лет в согласии Байчха и Сяххля поссорились. «Нарма любит тебя. Несмотря на то что ты вышла замуж за Хембю, он не женился и до сих пор не женится. Выходи замуж за него», — вздыхала Байчха, жалея Сяххлю. Но молодая женщина мыслила свое будущее по-иному. Она не верила Байчхе. В задумке старой зайсанши было не столько жалости к ней, сколько беспокойства о сохранении за собой богатства Хемби. Кроме того, Байчха уже однажды пыталась устроить ее судьбу... Не довольно ли одного раза?

Поразмыслив так, Сяххля с чем ушла, с тем и вернулась в родной хотон... Месяца через три до Байчхи дошла весть: Сяххля вышла замуж за Бергяса.

4

И только теперь в доме покойной сестры, четырнадцать лет спустя, в год бар¹ и в месяц лу² Нарма рас-

¹ Год бар — год барса.

² Месяц лу — месяц дракона.

сказал о страшной гибели зайсана на озере Лавни-улан учителю Араши Чапчаеву и Вадиму Семиколенову, когда они приехали в хотон Чонос навестить детей Нохашка.

— Все эти годы я думал о случившемся,— продолжал свой рассказ Нарма.— Как он мог вдруг упасть на отмели и очутиться у другого берега? Что за человек появился во тьме у дома зурхачи вместе с Бергясом? Не преследовали ли они зайсана в пути со злым умыслом?.. А всадник на другом берегу? В лицо его не разглядеть, но конь был Бергясов—это точно. С тех пор как увижу Бергяса, в глазах темнеет от ненависти к нему. Послал на смерть отца Гахи и Нохи, мою тетю, укоротил жизнь еще одному человеку... Да какому человеку! Пора бы и Бергяса отправить на тот свет.

Рассуждения Нармы о гибели зайсана почему-то не тронули гостей.

— А что, ваш зайсан был лучше, чем Бергяс? — спросил Араши Чапчаев.

— Нашли с кем сравнивать! Зайчишку с волком. Зайсан был таким добрым, душа-человек,— чуть не обиделся Нарма.

— Твой «благодетель» силой отнял худук у целого хотона, оставил людей на мучение без воды! Потом великодушно вернул худук, но во имя чего? Чтобы взять в жены молоденькую девушку из этого же хотона! Пренебрег страданиями и девушки и своего верного слуги! Тебя лишил счастья иметь семью, детей. И такой человек может быть хорошим? — сказал возмущенно Араши.

— Насчет женитьбы на Сяххле зайсан не виноват,— продолжал настаивать на своем батрак.— Так повелел ему нойон.

— Да, нойон — сила! Он может любого казнить или миловать... Тут, как говорят грузчики на пристани, выше пупка не прыгнешь.

Эти слова изрек в поддержку Нармы Гаха.

Ноха, еще больше занкаясь от возмущения, вступил в спор с братом:

— Ты же не-не-давно говорил, что хочешь удушить Бе-Бергяса. Пусть я его родственник, но я... я о-о-тому ему! А ты как хочешь, если теперь готов за-а-ащщать богатеев.

— Послушайте меня, друзья мои,— заговорил Вадим.— Убрать одного Бергяса — дело несложное. Здесь важно другое: вы втроем ненавидите старосту, ваши мнения сходятся на том, что бергясы — насильники, волки... Сегодня вас трое, кто недоволен судьбой и готов бороться. Завтра с вами будут тридцать... Если объединятся тридцать человек, они могут изгнать из хотонов и Бергяса и нового зайсана. Но ведь останется нойон целого уезда. За спиной нойона Тундута царская власть, жандармы, армия... Русские батраки и рабочие действуют иначе. Они решили накапливать силы, чтобы в открытом бою одолеть своих нойонов. У рабочих есть свои вожаки. Восемь лет назад в больших городах рабочие с оружием в руках дали бой своим князьям и нойонам. Только на первый раз сил не хватило, чтобы одолеть защитников царя. Сейчас работные люди выступают без оружия, но сообщая требуют у хозяев уступок: восемь часов работы, прибавки к заработку. Многие хозяева уже идут на уступки, потому что люди перестают гнуть на них спину день, неделю, месяц — хозяин терпит убытки, вынужден платить работникам, иначе они совсем от него разбегутся... И хозяева везде одинаковы, жадны, злы, и беднота скудно живет повсюду. Нужно всем беднякам — русским, калмыкам, украинцам в этом деле не наособицу действовать, а сообща, и тогда тружеников никто не посмеет обидеть.

Гаха ловил каждое слово. Но многое для него было еще неясным.

— Когда это русские и калмыцкие бедняки объединятся? Мы их и в глаза не видим — русских. Разве что на ярмарке. Калмыки между собой-то не могут найти общий язык: разбрелись по хотонам, а там держатся родами. Вечные ссоры за пастбища, за воду.

Вадим, посочувствовав табунщику, пытался обнадежить Гаху.

— Когда русские батраки и фабричные люди прогонят своих хозяев, может, легче станет калмыкам, татарам, казахам... Только и вы не сидите же сложа руки... Нужно готовиться самим и по примеру русских гнать в шею бергясов и даявидов...

Араши, передавая смысл непростых слов Вадима, горестно размышлял:

«Не только этим безграмотным степнякам, мне са-

мому не верится в такое чудо. Кто бы это мог сказать, когда там, в России, совершится революция? Сколько ждать того часа? Как готовиться? И у Бергяса, и тем более у ийона есть свои преданные псы. Поговори вот так на кругу — тут же донесут».

Пока они беседовали, время между тем ушло за полночь. Дети уснули. Араши посмотрел на них. На подушке, обнявшись, чтобы не свалиться во сне, уснули Церен и Шорва, где-то в ногах у мальчишек, свернувшись калачиком, притихла под овчиной Нюдля.

— Смотрите, друзья! Пока мы разговаривали, дети уснули, — кивнул на кровать Араши. — Жалко глядеть на них, беззащитных! А ведь они надеются на нас, верят... Может, мы поговорим о них, пока спят. Самым близким по крови для них ты, Нарма. Есть ли у тебя жена или мать, может, тетка из близких, кто мог бы приглядеть за сиротами, кормить их, бельешко постирать.

— Какое кому дело до меня и моей жены! Это мои родичи, мне о них и заботиться! — грубо ответил учителю Нарма.

— Если я что-то не так сказал, прости, друг! — положил ему руку на плечо Араши. — Я не в обиду затеял разговор: ведь я — учитель и судьба детей не безразлична мне. Даже когда у них есть отец и мать.

Нарма виновато опустил голову. Через минуту он сказал:

— Не сердитесь, багша-учитель. Я погорячился. Конечно, я не оставлю ребят одних, только сейчас, если хорошенько все взвесить, не до них мне... Такая уж полоса в жизни. Недавно умерла Байчха, первая жена зайсана. После смерти старухи половину скота Хемби передали хурулу, оставшееся расхватили его родственники. Двадцать лет молодой жизни отдал я, пробатрачив на зайсана, а получил две хилые коровенки с телятами и этого коня, на котором приехал. Ни кола, ни двора! И от дождя нигде укрыться. Когда жив был зайсан, не раз они с Байчхой мне толковали: старайся, Нарма, у нас нет человека роднее тебя. Тебе же все и достанется... Но слова ветер унес, бумаг зайсан не подготовил даже своим женам, надеялся жить до ста лет... Нарма ему был нужен, чтобы ломить хребет да над-

рваться на работе. Была одна радость — Сяхля — и с той разлучили.

— Теперь ты хоть понял, что добрых господ не существует? — заметил Араши.

Вадим перебил учителя вопросом к Нарме:

— А как же вы думаете жить дальше?

Батрак с досадой, морщась, как от зубной боли, махнул крепко сжатым кулаком.

— Не знаю!.. Тошно мне! Уехал бы куда глаза глядят. Да вот они остались теперь сиротами!

— Поселяйся здесь, никто тебя не прогонит! — искренне предложил ему Гаха.

Нарма покрутил головой:

— Не уживусь с Бергясом.

Араши не нравилась странная несговорчивость Нармы:

— Тогда ребят не трогай, если у самого крыши нет!

— Попрошусь табунщиком к зайсану Онкорову в Бага-Цохур, — упорствовал Нарма. — Зайсан тот наезжал нередко в наш хотон, все хвалил меня за умение, приставал к Хембе, просил отпустить меня в Бага-Цохур.

— Ну и чудак же ты, Нарма!.. — расхохотался Араши. — Вырвался из когтей налтанхинского беркута, теперь сам лезешь в лапы бага-цохурского шакала!

— Смейтесь, потешайтесь над бедняком, — без обиды, как обреченный, отозвался Нарма. — Вы, багша-учитель, своего в жизни добились: книжную мудрость постигли, заимели свой дом, есть работа, достаток. Теперь остается смеяться над дураками...

— Прости меня, Нарма, — поспешил извиниться Араши. — Это горький смех. Ты, Нарма, живешь пока лишь своими заботами... и не можешь в них разобраться. А мне предстоит разобраться в этой жизни за всех вас, и я не буду счастлив, пока не изменится жизнь таких бедолаг, как ты.

Лишь под утро они пришли к единому мнению о будущем сирот. Пока Нарма найдет работу, Церена нужно отправить на хутор Жидковых, где нашел пристанище Вадим Семиколенов. А Нюдлю Араши отвезет в Астрахань, определит в пансион.

...До Грушовки Вадиму и Араши было по пути. Они наискосок пересекли бездорожное пространство между

оставшимся позади озером и еле заметным вдали курганом. Когда кони заметно притомились и, позвякивая уздечками, пошли рядом, Вадим еказал, кивнув на беслесую проплешину:

— Солнце еще за курганом, а травы никнут, словно не радуются ему... Нехорошо на душе у меня, Араши, после этой поездки. Будто сердце свое оставил в хотоне.

— За ребят переживаешь!.. — с непонятной для Вадима улыбкой отозвался спутник. Он привстал на стременах, расправил плечи, глубоко вдохнул терпкий, настоящий на полыни воздух. — А я предвижу добрую погоду!.. И тех трав, что никнут с утра, мне почему-то не жаль. Одна стеблинка падет, другая выстоит. Так было от веку... А ты приглядиись, Вадим, к темно-зеленым куртинкам, что разбросаны по степи. Это зултурган — хранитель жизни. Он всегда зелен, как сосна в русских лесах. Глубоки его корни, иной раз больше чем на сажень уходят. Поэтому ни стужа, ни жара ему нипочем... Так и народ мой, между прочим: сколько лихолетья и бед перенес, а живет! Выдюжат и сироты Нохашкины. Наблюдая за ними, я не раз вспоминал о зултургане. Особенно мне понравился Церен, ему жизнелюбия не занимать. Как важно он вышагивает по двору, как обстоятельно все делает — мужчина. Думаю, если пособным детям малость, пока корешки свои в глубь жизни не пустят, — а там они пойдут и сами, не догонишь! Не поддадутся бедам!.. Правду я говорю.

Вадиму стало веселее от этих слов.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Ставка Малодербетовского улуса — двадцать низеньких мазанок, среди них два деревянных дома, потемневших от жгучих степных ветров и палящего зноя. В одном из них до осени 1917 года жил попечитель улуса, Богданов, со своей семьей. В другом особняке, четырехкомнатном, с резным крыльцом размещалась контора, царские чиновники. После Февральской революции в деревянных постройках обосновалась земская управа. В самый канун Октябрьской революции в председатели улусного земства выдвигались две кандидатуры: ийон улуса Данзай Тундутов и учитель Араши Чапчаев.

Несмотря на широкую агитацию в поддержку нояона, всякие посулы бедноте и подкупы неустойчивых, результаты выборов оказались в пользу учителя — так широко уже было известно в степи имя этого безбоязненного человека, заступника бедноты.

Потерпевший провал ийон неистовствовал, плел интриги против своего соперника.

Для Араши Чапчаева такой выбор был неожиданным. Учитель никогда не готовил себя в предводители улуса. Канцелярская работа казалась ему отвратительной. Первое время он ждал распоряжений свыше. Но ставленники Временного правительства, что сидели в верхах, не торопились помочь скромному учителю наладить работу земства. Тем временем зайсань, кулаки и приспешники их развили бурную деятельность, чтобы сбить простых скотоводов с толку, а от Араши требовали, чтобы он отстранился от управления улусом.

По настоянию атамана Каледина астраханские казаки начали вербовать скотоводов в наемное войско.

В октябре в поселке Яшкуле открылось совещание представителей улусов. Устроители совещания навязали съехавшимся посланцам резолюцию в пользу вербовки калмыков в казачье войско. Князь Тундутов с одобрения большинства делегированных получил пост товарища атамана казачьего войска... Протащили и еще одно решение: всей Калмыкии объединиться с казачьими формированиями юго-востока России... Князь Тундутов получил мандат на казачий сбор во Владикавказ, где сколачивался союз монархистов, нацеленный на подавление революции...

Князь Тундутов тут же разослал по улусам назначенных им атаманов. Они требовали подчинения себе всех и всякого, оттесняя выборную, земскую, власть на второй план. Присланный князем в правители улуса бывший ветеринарный врач Ордаш Босхомджиев нагло «отвоевал» в помещении земства одну из лучших комнат для своей резиденции...

Араши Чапчаев при первой же встрече напомнил атаману, что в улусе есть избранное народом земство и оно не собирается уступать своих прав никому до очередных выборов... Имевший зычный голос Ордаш расхохотался в ответ и заявил, что казаки по его сигналу могут в один набег порубать в капусту все это земство, а кое-кого и вздернуть на виселицу...

Стычки с Ордашем Босхомджиевым возникали ежедневно, поскольку атаман настоятельно требовал у Араши передать ему земскую печать, на что тот согласия не давал.

В один из таких, очень беспокойных в улусе дней из Царицына прискакал гонец:

— В Петрограде совершилась Октябрьская революция! У власти большевики, Советы!

От гонца Араши узнал не менее приятную для него новость: возвратившийся с фронта Вадим Семиколенов обосновался в Царицыне и сейчас один из руководителей губернской партийной организации...

Неодолимо потянуло Араши к Вадиму! Нужно было так о многом посоветоваться с ним.

В большой и плохо управляемой стране, кажется, наступали времена народовластия. А бедняк с бедняком всегда поладят, размышлял Араши. Однако в руководимом им улусе из-за мятежного характера атамана

на Босхомджиева не виделось конца всевозможным стычкам. Группами и поодиночке степняки шли с жалобами в земство. Одни к Чапчаеву, другие к Босхомджиеву. Бывало, что сначала к одному, потом к другому. И решения, разумеется, были тоже разными.

В словесных баталиях Ордаш явно выигрывал за счет своих голосовых данных у интеллигентного учителя:

— То, что произошло в Петербурге, нас не касается. Мы с тобой калмыки и, кажется, разговариваем на калмыцком языке... А лучшие сыны степей, после Февральской революции, валом валят служить в казачьем войске.

— Кто эти люди — лучшие сыны? — спросил Араши.

— Нойон Данзан, Санджи Боянов, Ноха Очиров, Бергяс Бакуров... Их сотни и тысячи!

— Ордаш!.. Оставь ты эту затею с призывом батраков и табунщиков в казачьи войска генерала Каледина. Не морочь ты людям головы. Временное правительство смещено, в стране установлена власть рабочих, крестьян и солдат. Твоих калединых народ сметет со своего пути, как мусор... Я не хочу, чтобы невинные люди погибли вместе с калединцами!

— Ты, я вижу, стал большевиком?

— Я избран моим народом в председатели земской управы, Ордаш! Если завтра народ захочет превратить управу в свой Совет, то не нам с тобою решать, кто возглавит Советы. Изберут тебя, Ордаш, я приду и первым тебя поздравлю!

— Ты просто издеваешься надо мною, учитель! — вскричал Ордаш, вскинув над головой нагайку. — Ты забыл, что со мною сотня обученных конников, которые хорошо умеют рубить головы.

— Ордаш! Ты можешь приказать своим конникам срубить мне голову... Но не забудь и о том, что у тебя тоже не две головы на плечах. Прислушайся к тому, о чем сейчас говорят в хотонах.

В это время в коридоре послышались шаги. Один за другим в комнату Араши вошли трое посетителей.

— Где тут господин председатель? — спросил первый и обнажил совсем лысую голову.

— Садитесь, аава, на этот стул, — пригласил пожи-

лого степняка Араши.— Говорите, что вас привело в земство...

— Хочу поехать в Царицын продать скот, ваш писарь дал мне вот эту бумажку, а печать, сказал, у вас... — Мужчина положил на край стола измятый уже листок.

— Господин председатель,— заявил еще один посетитель.— Я тоже за печатью... А то ведь такая история... На днях наш человек из хотона Бухус погнал двух телочек на рынок, а в Бекетовке какие-то люди с винтовками отняли скот... Говорят: нет печати...

Араши внимательно прочитал бумаги, расписался на них, достал из кармана печать и заверил документы.

— Вот вам справки с настоящей земской печатью,— сказал Араши скотоводам.— Идите и делайте свое привычное дело... Только не называйте меня господином. Ладно? Я такой же, как вы,— сын табунщика. Это вы доверили мне свою власть.

Мужчины благодарно просияли, раскланялись.

— Знаем, знаем, Араши! Ты — наш человек!.. Все о тебе знаем!

Третий посетитель сидел рядом с атаманом.

— Я к вам, председатель, пришел совсем по другому делу,— начал он, хмуро поглядывая в холеное лицо атамана, как бы выталкивая его взглядом из комнаты.— Мой младший сын в прошлом году окончил улусную школу. Русская учительница говорит, что мальчик он у меня способный. Сам бы я небось не решился докучать вам семейной заботой, да учительница посоветовала: дескать, сходи в управу... Будто в Астрахани школа такая имеется, учат там старательных мальчишек дальше.

Араши обрадовался такому разговору.

— Завтра утром приходите ко мне с сыном,— улыбнулся он мужчине.— Не забудьте свидетельство об окончании школы. Учительница сказала правильно. В Астрахани есть такая школа. Я ее сам кончал.

Посетитель удалился, пожав руки Араши и не взглянув на атамана.

— Ну, Ордаш, ты что-нибудь понял? Люди идут не к тебе, а ко мне,— спокойно рассудил Чапчаев.

— Идут не к тебе, а к печати! — зло заметил атаман.

— Печать, как известно, хранится у законного главы улуса, — пояснил Араши.

«А что, верно говорят этот Араши, — подумал Ордаш. — Действительно, какой же я атаман без печати? И эти олухи наверху: послалн как самозванца, о печати не позаботилнсь».

— Ты, Араши, не выставляйся с печатью, — предупредил атаман, сердито поерзав. — Сегодня печать у тебя, завтра еще посмотрим, чья возьмет и где вы все окажетесь вместе с печатью!

Ордаш выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Сказалн, что уехал за новыми распоряжениями в Туктун.

2

Больше трех лет не видался Вадим ни с кем из калмыцких друзей. Встреча с Араши Чапчаевым обрадовала его, но в то же время и огорчила. Араши недопонимал сложности обстановки в России, да и в подвластных ему аймаках... Был похож на слепого, идущего за глухим.

Вадим показался Араши возмужавшим, да и события последних недель требовали от него полной отдачи сил. Работал он, чувствовалось, на износ, и днями и ночами. Оттого и голос его звучал хрипловато, порой излишне басовито. Там бы, где спокойно посоветовать, он разошелся в упреках:

— Уже декабрь наступил!.. Месяц прошел с того дня, как в России победила революция!.. А ты вознишься с самозванным атаманом! Давно надо было арестовать его и в расход!

Араши чувствовал себя неловко. Не за себя, за Вадима: «Плохо ты, дружище, знаешь нашу степь и забитый народ наш!.. В России революция свершилась, а у нас — приходится только начинать!»

— Милиция подчиняется атаману! — пытался объяснить Араши. Но и сам видел, что во многом не прав.

Вадим толковал уже более спокойно:

— Скоро ни атамана, ни земства у вас не будет. Вместо них создадите у себя Советы из сознательной

бедноты. Сейчас нужно пойти по хотонам, рассказать, что означает для скотоводов революция, чтобы они посылали в Советы своих людей. Ну, и ты хорош, Араши! — яростно размахивал руками Семиколенов. — Испугался атамана! Атаман — пешка, человек временный, назначенный князем! А ты избран народом, ты послан ими в улусную власть, чтобы постоять за бедноту. Сейчас — тем более! Все права за тобой! — обнял он Араши за плечи. — Возвращайся, создавай улусный Совет. Во многих губерниях, во всех крупных городах России такие Советы уже действуют. Волна обновления жизни дойдет и до калмыцких степей. Только не сдавайтесь на милость самозванным атаманам, гоните их в шею!

Почти до утра Араши слушал горячие слова Вадима и зажигался его верой, и все теперь в этой сумятице событий ему казалось проще и достижимей великая заветная цель. Перед рассветом в окно постучали. Вадим тотчас вышел во двор. Через несколько минут он вернулся:

— Снова вызывает Военно-революционный комитет. Мне постоянно следует быть там. По случаю твоего приезда я отпросился до утра. Пора, дорогой Араши. Держитесь там со своими людьми, не сдавайтесь на милость атаманов! И в степи будут созданы Советы! Я верю! — Вадим крепко обнял Араши, спросил, вдруг вспомнив:

— Что слышно о Церене и Нюдле?

— Нюдля в Астрахани, учится в пансионе. Растет девчонка. Такая хорошенькая стала. Церен все там же, на хуторе у Жидкова. Как-то прошлой весной парнишка с Жидковым-старшим ехал из Черного Яра, уговорил хозяина завернуть ко мне в улус. Церен все время спрашивал о тебе.

— Время сложное! — вздохнул Вадим. — И дел невпроворот, и ребят жаль... Растут заглазно. Как бы не закрутила их жизнь, не сбила на обочину...

— Твори свое великое дело, Вадим! — горячо и несколько возвышенно заверил друга Араши. — А за ребятами я присмотрю. Нарме не до них: захомутил его снова местный кулак... — Араши помолчал и спросил уже совсем о другом: — Скажи, Вадим, а что слышно о том парне, который приезжал тогда с тобою вместе к Бергясу?

Вадим хмуро ответил:

— С Борисом Жидковым я встретился на фронте. Он — офицер и заядлый монархист. Мы теперь не только не друзья, а вроде как враги... Мне жаль Бориса, ведь он спас меня тогда от жандармов, увез на хутор. А вот я его спасти не смог. Разного, выходит, поля мыгоды.

3

Возвратившись, Араши разослал гонцов по аймакам, чтобы собрать людей. Съехались только через два дня, да и то не все, как ожидалось. Белое казачье не дремало, распускало всякие слухи. Со дня на день ожидалось появление в степи карательного отряда.

Среди приехавших были старые знакомые Чапчаева: Нарма Тоцаев из Налтанхина, братья Гаха и Ноха из хотона Чоносов, Бова Манджиев из Шарнутовского аймака и с десятков незнакомых ему батраков, но которые знали о Чапчаеве с давних времен и верили ему.

— В России победила революция, — не скрывая радости, сообщил друзьям и единомышленникам Араши. — Временного правительства больше нет. Вместо него создано новое народное правительство во главе с Лениным. Это наша власть, рабоче-крестьянская, она за бедняков. В городах и селах России создаются выборные Советы, из самых беднейших. Настало время и нам создать свою истинно народную власть в каждом аймаке и улусе... Давайте теперь думать, с чего начинать.

— В нашем хотоне был сход, — начал Гаха. — На нем Бергяс объявил, что все калмыки теперь должны войти в казачье войско. Все получают оружие, и когда поступит приказ бороться с большевиками, ни один не должен остаться в стороне. Бергяс говорил: казаки дадут нам новые земли, а тех кацапов, что живут в степи, можно прогнать. Еще Бергяс говорил, что если придут большевики, то тогда все наши земли отойдут к русским. Ты, Араши, — председатель. Скажи нам, как жить калмыкам? С казаками нам обороняться от большевиков или никому не верить, ждать, что бог пошлет? Казаки-то ведь люди не нашей веры?

Нарма тоже запросился со словом в круг.

— Гаха верно передал то, что слышал от Бергяса. К нам наведывался один человек, людей созывал. Он сказал, что калмыцкие нойоны, зайсаны и ученые люди вроде Санджи Боянова, Нохн Очирова дали клятву казачьему атаману Каледнну. Если такие умные люди пошли к казакам, а мы примем другую сторону, на что нам надеяться, когда разгневанные нойоны и те самые казаки однажды нахлынут в степь?

— Теперь слушайте меня, друзья! И ты, Нарма, слушай, и ты, Гаха... и все остальные,— начал Арашн.— Вы сказали, что нойон Данзан, адвокат Санджи Боянов, зайсаны, староста Бергяс пошли за Калединым... Давайте хорошенько подумаем, почему они выбрали эту дорогу? Казаки ведь тоже разные. Есть богатые, вроде Бергяса, есть и бедняки, как мы с вами. Нойон Данзан и староста Бергяс пошли к генералу Каледнну, а генерал тот не из батраков небось. Станет ли Каледни защищать вас от зверств Бергяса? Нет, конечно! А Советская власть для того и создается, чтобы не давать в обиду бедноту. Нойоны, зайсаны и кулаки хотят ввести калмыков в казачьи войска, затем вооружить и направить против таких же бедных русских рабочих и безземельных крестьян. Для русских батраков и безлошадных хлебопашцев хватит той земли, которую они уже отобрали у своих нойонов и зайсанов. Им наша степь ни к чему. А потому мы, простые чернокостные люди, должны стать истинными хозяевами степи!

Арашн закончил, все возбужденно заговорили разом: «А как ее организовать в хотоне, бедняцкую власть, если Бергяс может за одну ночь всю эту власть перерезать?.. Что делать, если атаман наскочит на хотон со своей вооруженной сотней?»

Арашн не просто было ответить на такие вопросы, да и что он мог ответить. Главное на теперешний день было не дать сбить бедноту с толку, а остальное — время подскажет.

— Ваша задача сейчас,— толковал Арашн,— подробно рассказать людям каждого аймака, каждого хотона о том, что в России прогнали царя и всяких господ, что там уже есть своя, народная власть... Нужно готовиться к выборам своей власти, а бергясов слу-

шаться все меньше. Вот тогда и полетят все эти бергясы к дьяволу!

Когда люди разошлись, в кабинете Чапчаева остались Нарма, Гаха и Ноха.

— Нарма, после нашей последней встречи ты что-то стал сдавать,— грустно пошутил Арашн.— На висках седина.

— Четыре года, как мы не виделись,— отозвался Нарма.— За это время много воды утекло в реке Шорве. После той встречи два года был табунщиком у Бегяли Онкорова. Потом нанялся к одному богатому моиаху в Дунд-хуруле. В этом году десять коров остались яловыми, хозяин указал на порог... А чем я виноват, если бугай не подходил к его проклятым животинам? Что остается батраку? Кнут на плечо и пошел дальше...

— Мы с братом тоже пе-пер-реехали в Цаар-ланкин. Не смогли жить о-около Бер-бер-гяса,— пожаловался Ноха.

— Не унывайте, друзья! Скоро власть будет ваша. Нам помогут русские бедняки и рабочие. В Царницыне я недавно встретился с доктором Вадимом. Он там большой начальник. Не забыл о нас добрый доктор! Придет на помощь, если позовем. А сейчас разъезжайтесь по домам, говорите с однохотонцами. Разъясняйте, почему калмыкам не следует вступать в казачье войско. Нас хотят столкнуть с такими же, как мы, русскими бедняками... Говорите об этом каждому встречному скотоводу и батраку. На днях Ордаш Босхомджнев сказал мне, что хотят взять на учет калмыков шести возрастов. Пусть их одни калмык не явится на приписку, а приведут силой — не берет оружие! Пусть попробуют одни нойоны и зайсаны потягаться своими силами против бедняцкой власти. Пусть свою кровь проливают в несправедной схватке! Русские бедняки нам ближе, чем собственные бергясы.

Степняки разъезжались от Араши повеселевшими, уверенными. Нарма успел сказать Арашн перед отъездом:

— Я заехал в хутор Жидково, встретился с Цереном. Совсем мужичной стал... Два дня погостевал у него, звал сюда, но он заупрямился. Не влюбился ли в дочь хозяина? Женится на русской дочери, крест напялит... Считаю, пропащая душа.

— А ты, Нарма, не бойся, если такое случится. Если любят друг друга, будут счастливы. А насчет креста, пусть сам решает!.. Ты видишь, друг мой, как круто жизнь заворачивается... Дай бог к лучшему!

Нарма не стал возражать Чапчаеву.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В мае 1918 года немцы заняли Ростов и Батайск. В те же дни «добровольческая» армия Денникова стала расползаться по югу Донской области. Разбой и грабеж обрушился на хаты степняков.

В сентябре 1918 года был созван Чрезвычайный съезд Советов Калмыкии, который подтвердил, что трудовые массы степняков бесповоротно стали на платформу Советской власти. Съезд постановил конфисковать в пользу трудящихся имущества бывших нойонов и зайсанов. Было решено признать весь их скот и инвентарь в степи достоянием калмыцкого народа.

Съезд обратился с просьбой к Совнаркому об учреждении в Москве Калмыцкого отдела.

Был обсужден также вопрос о привлечении калмыков к службе в Красной Армии для защиты завоеваний Октября.

Меры эти были продиктованы чрезвычайными обстоятельствами: молодому Советскому государству навязали войну интервенты, внешняя и внутренняя контрреволюция.

2

Расставшись с Араш, Вадим продолжал думать о нем, все больше сочувствуя другу. Помощь братьям по классу всегда должна быть конкретна — этот закон революции Вадим усвоил еще в годы подполья. Одно дело — дать обстоятельный, взвешенный на фактах совет, относящийся к области теории, другое дело — сама реальность!.. «Надо бы выбрать время для поездки в Калмыкию!» — решил про себя Вадим.

В тот день он уже не мог отойти мыслью от пережитых им в степи дней и недель... Все ему вдруг каза-

лось теперь близким, а сам он виделся себе непростительно отдаленным от людей, которые так крепко верили ему и помогали, чем могли.

Все чаще в память приходило лицо тихого, скромного мальчонки по имени Церен и его бедной сестренки, поднятой им на ноги. Для многих, посвященных в судьбу семьи табуищика Нохашка, выздоровление девочки было почти чудом! Не зря, видно, Арашн между заботами особой важности упомянул и об этих двух сиротах... Разве можно любить народ, не любя простого человека, с кем столкнула на одной тропе судьба?

Вадим до глубокой ночи, день за днем, восстанавливал в памяти свое пребывание на хуторе Жидковых...

Церен был во всем преданным «доктору», и это всегда по-особому волновало и трогало Вадима.

...Вадим Семиколенов перевез Церена на хутор сразу, как договорился с Нармой. Вадим открыл тогда на хуторе фельдшерский пункт. Пациенты его — большое село Грушовка. Там насчитывалось до двухсот дворов. Наличие фельдшерского пункта придавало уединенному хутору особое значение: хозяин его слыл человеком просвещенным, понимающим нужды простых людей. Двухэтажный дом Жидковых ежегодно подновлялся — фасад окрашивали под цвет деревьев. В зеленый цвет была расписана и часть строения, обращенная к пруду. Все здесь носило свое название: «Жидков пруд», «Аллея Анны» — жены миллионера... Вокруг пруда, как и вокруг жилого дома, возвышались пирамидальные тополя. Куртина буйной зелени посреди голой степи придавала усадьбе вид оазиса. За оградой поместья, на площади около двух десятии, раскинулся сад. Здесь росли яблони, груши, вишни, которые очень любил хозяин. В стороне от хозяйского дома жался к земле небольшой флигелек. В одной половине флигелька поселился кучер — дед Наум, отставной фельдфебель — еще не старый, с окладистой жесткой бородой, побитой проседью. Науму было под шестьдесят, а его жене, Дуе, на половину меньше. Характером она удалась еще боевнее своего braveго супруга: крикливая рябая баба-тараторка. Украинка по происхождению, Дуня была мастерицей по части приготовления яств, ведала кухней

хозяина. У Наума почти не прекращались шумные перепалки с такой заслуженной супругой.

Собственно ради этого ее качества — угодить блюдами на всякий вкус — миллионер Жидков и подобрал где-то в поездке эту страну неугомонную пару.

В другой половине, но с отдельным входом, в небольших квадратных комнатах разместил свое хозяйство «фершал».

Чтобы получить диплом, Вадиму полагалось проучиться еще один курс. Но годы реакции, пребывание около трех лет на нелегальном положении, отодвинули его юношеские мечты о благородной профессии врача.

Ежедневно принимая больных, Вадим изучал настроение людей в глубинке, заводил новые знакомства.

На хуторе близ села Грушовки Вадима Петровича чаще всего называли просто «доктором», как и любого другого человека в белом халате. Слава о молодом врачевателе скоро разлетелась по степи. К нему приезжали люди из других сел, даже калмыки, которые, кроме своих гелюнгов и знахарей, никого не признавали. И все же, когда прижмет беда, не дождавшись исцеления молитвой, запрягали коней в телегу, правили на хутор Жидковых.

Церен пристрастился собирать в степи лекарственные травы, помогал доктору Вадиму изготавливать из них нужные настойки и снадобья.

Однако кипячение инструментов, растирание подсушенных трав, мытье пузырьков надоедало непоседливому мальчишке, любящему простор.

Он помогал деду Науму ухаживать за конями, поить их и кормить. Вначале Церен был очень нелюбим, неразговорчив. Дед Наум и его жена Дуня незлобиво окрестили его в калмычонка. Потом за черноту глаз, непоседливость звали в шутку чертенком.

И то и другое в устах деда Наума звучало не обидно. Просто фельдфебель, долго прослуживший в армии, не знал других ласковых слов. «От чертенка! От чертенка!» — кричал он восторженно, когда Церен ловко вскакивал на необъезженного коня, неся, как оглашенный, по степи, уцепившись за гриву...

Долго не могли привыкнуть к Церену дочери-близнецы Жидкова: Нина и Зина... Они строили ему рожи-

цы, показывая, что калмычонок узкоглаз, дразнил, выставляя кончик языка при встрече.

Церен лишь улыбался в ответ. Он не знал, как ему держаться с девушками-подростками из господского дома, а спросить об этом у Вадима стеснялся. Церен с благоговейным отношением относился к «доктору» и к его заботам. Если Вадим уезжал куда-либо на день-другой по своим делам, Церен не находил себе места от тоски. Он даже не отвечал на выходки хозяйских дочерей.

Как-то в середине июля дед Наум возвратился из Царицына, куда отвозил Жидкова. В начале уборки хлебов Николай Павлович надолго отправлялся в город, где у него были водяные и паровые мельницы. К той поре возрастал завоз зерна, требовался хозяйский пригляд за действиями вороватых мельников. Жидков предпочитал сам почаще контролировать источники доходов.

На этот раз дед Наум привез Вадиму письмо... Церен видел, с какой серьезностью Вадим прочел послание из города, как торопливо сжег его на огне спиртовки. На другой день доктор прощался с Цереном. Все нажитое и часть денег он передал мальчику. А самого поручил деду Науму, строго наказав глядеть за Цереном, как за родным сыном.

Дед Наум с супругой были рады такому поручению, потому что мальчик охотно слушался их, не докучал излишними шалостями, спешил на помощь в их немудреных хлопотах. Церену пошел уже пятнадцатый. Через год ослабевшего зрением, как-то вдруг сломавшегося здоровьем Наума перевели в шорники. Церен стал личным кучером хозяина.

3

В одну из поездок Церену пришлось везти приехавшего из Казани Жидкова-младшего. Незадачливый отпрыск Николая Павловича ударился в городе в разгульную жизнь, запустил учение на медицинском факультете. Компанейские дружки из таких же состоятельных семей перетянули Бориса на юридический факультет из Саратова в Казань. Отец терпел эти вольности Бориса, утешаясь тем, что «мальчик» все же при деле, не прожигает жизнь подобно многим лоботрясам без определенных занятий.

На Царицынский вокзал поезд пришел утром. Борис сел в линейку, где его уже ожидал отец. Застоявшиеся кони с места рванулись размашистой рысью. И Цереи стал невольным свидетелем дорожного разговора сына с отцом.

— Папа, может, завернем в какой-нибудь ресторан, перекусим? — спросил Борис, когда привокзальная площадь осталась позади.

— Потерпи, сынок!.. Пока не припекло солнце, нам нужно выбраться из города. А там в Бекетовке или Чепуриках хорошие тракторы.

Борису не понравился ответ родителя.

— Ты еще злишься на меня за то, что я изменил призванию и оказался в Казани? — усмехнулся он.

Отец качнулся с боку на бок, усаживаясь поудобнее.

— Профессия не для меня, а для тебя... Но в Саратове ты уже кончал бы курс и стал доктором.

— И тебе это нравится? Уездный лекарь? Поповская дочь в женах, тесовая изба, свиньи в закутах, куры...

— Не паясничай, Борис! При чем здесь свиньи? Да и что дурного в том, что женился бы на поповской дочке? Шут их разберет, у кого они лучше, эти дочери: у попа или у купца?.. Не о них забота. Война, мой друг! Теперь тебя — рядового, необученного — призвуют в окопы.

— Нашел чем пугать! — Борис даже присвистнул. — Все воюют, а я чем лучше? Да, я забыл тебе сказать: мы проходим военный курс, будут присваивать офицерское звание... Ты ведь и сам хотел, чтобы я пошел на юридический, когда был гимназистом.

— Много чего я хотел! — отец отмахнулся. — Ты же знаешь, почему я сейчас говорю о медицинском. Будь ты врачом, получил бы назначение в госпиталь, а это не одно и то же, что на передовую линию.

— Не всем дают назначение в госпиталь, отец. Вадим по опыту врачевания заткнет за пояс много профессора, а на фронт поехал рядовым. Твой сын будет офицером! — сказал Борис, немного рисуясь.

Жидков-старший в раздумье долго жевал былнику клевера, поднятую с задка линейки.

— Семиколенов — это совсем другое дело! — из-

рек отец с какой-то непонятной для Бориса интонацией в голосе.— Он поехал на фронт, чтобы распространять свои идеи. А какие—мы с тобой не очень-то в них разбираемся. Нам должно быть ясно одно: если идеи Семиколениковых возьмут верх, то нам с тобою несдобровать.

— Фи-фи! — присвистнул Борис опять.— Гляжу, не шутейно испугал он тебя? Меня-то Вадим не осилил распространять, а ты, старина, поддался? А еще называешь себя владельцем капиталов!.. — Борис залихватски расхохотался, толкнув отца в плечо.

— Мы с тобою, сын, такие же капиталисты, как из деда Наума греиадер. Иметь много скота—это еще не богатство. Один затяжной зуд, и все пойдет прахом. А Вадим, он мне определенно импонирует: своей целеустремленностью, верой и в себя и в жизнь. И за веру эту он готов заплатить по большому счету. Мне это всегда нравилось в людях. Жаль, Бориска, что мы с тобою не из той породы людей... Ты со мной согласишься?

Борис знал, чем оборачиваются для него подобные разговоры, и молчал. Так оно и случилось: отец полез за примерами в родословную.

— А дедушка наш, Никифор, был не богаче слепого Наума смолоду, да прозрел-таки, прозрел рано! Умение жить, изворотливость в коммерции сделали и его и нас людьми с достатком.

Борис заметил хмуро:

— Пусть я, по-твоему, вырожденец... А почему ты на себя злишься? Разве ты не приумножил достатка и дедова, и отцова?

— По мелочам, сынок! По мелочам!.. Боюсь вот, как бы мы с тобой совсем на баиковские иуди не скатились.

— Плачешься ты слишком в последнее время! — настаивал на своем Борис.

— Подбодрил бы старика! — в голосе отца прозвучал горький упрек.— Сотворил бы такое, отчего отцу хоть на душе полегче стало.— Не дождавшись ответа, продолжил: — Надо нам, сынок, получше вглядываться в то, что творится около!.. Мир вот-вот вверх дном переверотится!.. Почитываю я газетки, иной раз большевистские в руки попадутся... Ох, не простое за-

тевается!.. Что на фронтах, что по городам волжским... Напяливаем на серую крестьянскую массу шинелишки да ружья в руки сует, а в души людям никто, кроме большевиков, не заглядывал... Долго, думаешь, мужичок этот, что от плуга да от голодных детских ртов оторван, грудь свою будет под германский штык подставлять? Озверееет и хряснет по башке и мне и тебе, да и повыше, глядишь, замахнется.

— Руки коротки! — резко, с неожиданной яростью заявил Борис... — Над серой скотиной есть «пастухи» в офицерских мундирах. А эти присягали царю, вере и отечеству!.. Знаешь офицерскую поговорку перед строем: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим!» Вот почему, отец, я тоже хочу в офицеры. Солдаты — стадо, в какую сторону погонишь, туда и пойдут. Армия всегда держалась на офицерах и генералах.

— Стадо тоже полагается знать, Борис!.. В стаде, оказывается, есть свои вожаки, незаметные до поры... Тебе никогда не приходилось видеть отару, когда она попадает в огонь или снежную заметь? Все безумие выплеснется наружу!

Борис не ответил, но, судя по выражению лица, в чем-то был несогласен. Он как-то почти вдруг поверил в себя, записавшись на офицерские курсы. Отец, поняв нынешнее настроение сына и уже определившееся отчуждение от прочих забот, решил посвятить его кое в какие из своих промыслов.

— Ты не забыл о том калмыке Бакурове, которого в свое время называл варваром? А ведь он в делах-то оказался половчее многих русских! — не скрывая зависти, заявил Николай Павлович.

— Бергяс, что ли? — Борис состроил кислую мину.

— Он самый! — Николай Павлович заерзал на сиденье, расслабляя галстук, продолжал: — Едва объявили о войне, Бергяс потихоньку сбыв дойные стада, пригнал из Задонья табун жеребят-одиолеток. Сейчас кони в самой поре, идут по двести пятьдесят целковых за гриву!.. Вспомни: два года тому красная цена степным кобылкам была — четвертной, не больше!.. Вот где, оказывается, ждало человека богатство!

Борис понял сетования отца.

— И в чести у начальства небось ходит тот Бергяс патриот, печется о снабжении армии!

Николай Павлович даже руками замахал, распаясь от досады:

— Как в воду глядел, сынок!.. Бергяс получил диплом военного ведомства: опора цареву войску, надежный поставщик...

Борису стало жаль отца, страдающего от ненависти к конкурентам.

— Но и ты, папа, не обижен!.. Ему — диплом, а тебе — орден!.. Да и табунок у тебя вот-вот под седло пойдет!.. И о другом вовремя позаботился.

Николай Павлович, недовольный осведомленностью сына, нагнулся, сдвинул брови:

— Ладно тебе!.. Где бы посочувствовать родителю, а ты в глаза пустой железкой колешь... Да и на пачку ассигнаций нынче наплевать, не то богатство. Подсказал бы, как с бумажными деньгами обернуться, чтобы все они по ветру не полетели однажды.

— У меня денег нет, и думать о них нет желания, — ответил Борис. — Привыкаю думать о судьбе отечества! Не за горами армия, фронт и вообще бог знает что.

— Никто тебя на те курсы не гнал! — упрекнул отец резко. — А если бы и гнал, нашли бы как открутиться... О-хо-хо мне с тобою!.. Влип — терпи, мужчина! Я о другом: жизнь и после войны не прекратится. Кроме нас, мама есть, две сестренки подрастают. И сами, бог даст, поживем еще... Поживем, Бориска!

Обернись Борис на шутливый толчок отца в бок, ответь что-нибудь веселенькое, мужское, подмигни ему понимающе, и Николай Павлович поведал бы ему, притершись поближе, о своей неслыханной удаче: не когда-нибудь, а позавчера только ему подфартило найти в Царицыне доверчивого человека и обменять почти все иаличные, вырученные за коней и телят, на звонкую монету! Да так выгодно, что, узнай об этом Бергяс, он взбесился бы от зависти!

Однако сын снова углубился в свои думы о невеселом будущем, лично его поджидавшем. Связав свою судьбу с военными курсами, Борис остро сознавал: кроме молодости и собственной жизни, ничем он на этом свете не располагает. Да и жизненку-то, теперь казенную, можно однажды потерять безвозвратно, как теряют его ровесники на фронтах каждый день.

Дальше у мужчины разговор пошел спокойнее: о по-

правке усадьбы, пока не заступили холода, о нездоровье матери, о сестренках — таких непохожих одна на другую, требующих все большего к себе внимания.

Когда отец с сыном заговорили о войне, вновь упомянув имя Вадима, Церену хотелось спросить что-нибудь о своем наставнике и друге, славном человеке. Но он не был уверен, что его переживания поймут. И все же он узнал, что Вадим ушел на фронт... «Какой же он храбрый, этот человек, только вчера врачевавший болячки деревенских людей!»

4

В разговоре Бориса с отцом была названа газета, которую иногда читает Жидков-старший. Церен решил: после возвращения, когда дома не будет Николая Павловича, попросить у его дочерей ту газету. Может, там что-нибудь написано про войну и про Вадима, думал парень. Читать Церен научился у Бергясова сына, Сарана, когда обучал того русскому языку. Саран хорошо знал буквы, произносил их вслух, но русских слов не знал. Церен же, наоборот, не знал букв, а если ему читал по букварю Саран, очень все было понятно. Так они и просвещали друг друга, пока не одолели азы этой непростой науки. Дальше Церен учился чтению у Вадима. За полгода Вадим так поднатаскал мальчонку в грамоте, что Церен одолевал уже небольшие книжечки. Дочери хозяина охотно приносили калмычонку книги из библиотеки отца. Больше — сказки или рассказы о путешествиях, журналы, где было много картинок.

Нина и Зина окончили церковноприходскую школу, дальше не учились. Так решил отец. Будучи внешне очень похожими, они отличались одна от другой привычками, характерами. Зину в доме почему-то считали старшей. Удалась она тихоней, любила что-нибудь делать, вечно была занята. У Нины характер баловницы: смешливая, озорная, подвижная. Смеялась и плакала она громко, не умела скрыть и того, что у нее на душе. Каждый в доме знал, где сейчас Нина и чем занимается. К шестнадцати годам Зина обошла сестру в росте, сложилась совсем, как невеста. К ней уже дважды приезжали сваты. Родители не торопились отдавать свою

любимицу в другую семью. Да и сама Зина не обиживала такого желания.

С момента появления в их доме калмыцкого мальчика Нина проявляла к нему повышенный интерес: толкнет, пробегая мимо, опрокинет таз с пузырьками, спрячет седло... Когда отец увозил мальчика на охоту или на покос, становилась скучной и раздражительной, втихомолку плакала.

Цереи ей нравился своей терпимостью к ее шалостям, тихой покорной улыбкой, пониманием многих вещей, которых девушка попросту не знала. Будучи постоянно занятым работой наравне со взрослыми, Цереи перечитал почти всю библиотеку ее отца. Иногда он просил газеты. Нина приносила их пачками. Лишь одну из газет она не давала Церею — ту, которую отец прятал в комод и не разрешал трогать. А Нине те газеты без надобности. Она упивалась любовными романами. Знала она лишь название запираемой на ключ газеты. Поэтому когда Цереи спросил у Нины газету «Правда», девушка удивлению повела бровью.

— А зачем тебе та газета, Сирень? — она с первых дней так окрестила мальчика. Церею в то время было все равно, как называют его Жидковы. Но когда повзрослел и отношения между ним и Ниной стали более доверительными, он умолял не называть его так. Девушка почему-то уперлась в своем желании произносить имя паренька на свой манер и, в свою очередь, просила не обижаться, шепнув: «Как-нибудь позже я тебе все объясню! Ладно?»

Цереи понимал лишь то, что новому его имени девушка придавала какое-то таинственное, одной ей известное, значение. Родители считали все это не больше, чем детской забавой дочери. Но когда Нина повзрослела, заневестилась, а голос ее приобрел распевиую нежность, и «Сирень» эта зазвучала в голосе дочери некоей музыкой, они добились, и то не сразу, лишь того, чтобы дочь не называла так работника при гостях. А Цереи между тем превращался в статного широкоплечего молодца, развитого, ловкого во всяких работах. Нина не сводила с него глаз, назло отцу и матери, и придумывала какие-то новые имена или присваивала вычитанные из романов.

Как-нибудь изменить отношение дочери к кучеру

родители не смогли. Сошлись на том, что девушке одной под родной крышей не жить, а выйдет замуж — забудет свои детские увлечения. Подумывали и о том, чтобы избавиться от кучера: выделить ему две-три коровы, коня и пусть себе с богом отправляется в свой хотон...

План было совсем созрел, но внезапно умер дед Наум, и все конюшенное хозяйство на какое-то время оказалось в ведении Церена. Кроме того, на Жидкова-старшего в дороге напал грабитель из дезертиров. Церен спас жизнь Николаю Павловичу. После того случая Жидков не мог решиться отказать в месте преданному слуге.

Сейчас, когда Церен попросил газету, которую отец не разрешил никому показывать, Нина заколебалась.

— Я знаю, что у Николая Павловича такая газета есть, — наставлял Церен. — Они с Борнсом говорили о ней в пути.

— Ах, тебе нужна газета! — тараторила девушка, кокетничая. — По тебе здесь, может, кто-нибудь скажет. Это тебя не тревожит. Только появился — давай газету... Зачем тебе именно та газета?

— Я только взгляну, — умолял девушку Церен. — Может, там что-нибудь про доктора Вадима сказано.

— А почему там о нашем фельдшере должно быть написано? — с недоверием спросила Нина.

— Потому что эта газета — большевников, а твой отец говорит: доктор Вадим — большевик!

— Мой папа, может, тоже большевик, а о нем ни одна газета еще не напечатала ни строчки.

Церен не знал, что ей сказать. Но Нина уже давно решила принести газету. Ей было приятно поболтать с Цереном.

— Ладно, постараюсь, но ты и про меня не забывай, — с обидой закончила девушка.

Газета «Правда», которая попадала в дом Жидкова, прочитывалась и Цереном. Не все слова в ней понимал паренек. О чем-то догадывался, но было и такое, что полагалось бы спросить у старшего. Только где этот старший? Если Жидков и впрямь большевик, как говорит Нина, почему же прячет под замок газету?

В калмыцких хотонах забрали подчинстую трудо-
способных мужчин на рытье окопов. Война продолжа-
лась, и казалось, ей не будет конца. Жидков стано-
вился все мрачнее. Борис тоже ушел на фронт. Написал
лишь два письма и как в воду канул. Церен старался
выполнять свое дело, чтобы не разгневывать хозяина. Два
раза Жидков наведывался к Бергясу, и разговоры
в кибитке старосты были уже не такие шумные и ве-
сельные, как прежде. Жидкову перестали привозить
«Правду», или он прятал ее подальше, так, что Нина
не могла отыскать.

С Араши Чапчаевым Церен встретился за эти годы
только дважды. Один раз в Царицыне, мельком. Вто-
рой раз в ставке Малодербетовского улуса. Араши удив-
лялся тому, как вытянулся Церен, стал совсем взрос-
лым. Рассказал о Нюдле, та все еще жила в пансионе.
Церен кое-что знал о жизни сестренки из ее писем.

Церен надумал было даже забрать Нюдлю к себе
на хутор. Узнав об этом, Араши рассердился и запре-
тил отрывать девочку от учебы. Учитель пришел в вос-
торг, когда узнал о пристрастии Церена к книгам.

— Говоришь, перечитал всю библиотеку Жидко-
вых? — не переставал он удивляться. — Какие же книги
ты прочитал?

Церен назвал Чехова, Толстого, Джека Лондона.

— И про Ваньку Жукова читал? — спросил Араши.

Церен тут же, как на уроке в школе, точно, даже
с интонацией передал содержание чеховского рассказа.
Учитель принялся благодарить Жидкова за его внима-
ние к сироте, обещал навестить любознательного па-
ренька на хуторе. Тогда же Церен узнал из разговора
Жидкова с Чапчаевым о том, что царь свергнут. Жид-
ков возмущался: «Как же без царя? Куда приведут
Россию эти ниспровергатели?» И всю дорогу ехал на-
хохлившись.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Был конец августа, но жара стояла невыносимая.
К обеду Церен пригнал выездных коней на пруд, что

в балке Нугры. От Жидкова хутора до пруда — пять верст, но земля и здесь принадлежит арендатору Жидкову. Лошадей в жару купали в дальней заводи пруда. Здесь можно было и самому освежиться, но Церен был стыдлив, а сюда часто наведывались дочери Жидкова.

Церен решил угнуть коней за лозняки, в такое место, куда никто не заглядывает. Раньше, до поселения здесь Жидкова, никакого пруда в балке Нугры не было. Жидков нанял людей и перегородил балку плотиной. С весны котловина заполнялась водой. Теперь здесь водилась рыба, по вечерам квакали лягушки; пошли в рост краснотал и камыш. Церен иногда уединялся в этих местах, чтобы отдохнуть после долгой дороги, смыть с себя пыль.

Больше всего в такие минуты Церен боялся появления Нины. А девушка не очень раздумывала над тем, где и в какое время появляться, если ей понадобится Церен.

Парень опасался не за себя. Ему-то что? Выгонит Жидков — подастся в свой хотон, найдет приют у соседей. Любая работа ему не страшна, сил не занимать, прокормится. Не подвести бы Нину. На что она надеется, все больше привязываясь к нему, безродному калмыку? Дочь богача, русская... Если в соседних поместьях узнают об этом ее увлечении, Жидкова засмеют. Прояви Церен уступчивость, они с Ниной давно бы уже стали близкими. Радости на час, а горя на всю жизнь. Нина такая горячая, когда обовьет его шею руками... Но разве непонятно, что они не могут стать мужем и женой? Так пусть останется она в памяти чистой и прекрасной, как луна в летнем небе, как далекая звездочка.

Пока он так думал о Нине, возвышению и жертвенно, девушка уже стояла возле воды, а конь ее, привязанный за длинный повод, щипал траву.

— А, ты здесь, мой Сиреньчик! Надумал сбежать от меня? Ишь, куда запрятался!

Выкрикнув это, девушка в одно движение сбросила с себя платье и, перетянув пояском купальник, кинулась в воду. Плавала она легко, быстро, саженьками... Настигла Церена в лозняке на другом берегу.

— Ты обо мне думаешь или нет? Я вся измучилась! — она сжала его голову мокрыми ладошками у

висков и стала целовать в лоб, в щеки, в губы.— Сирень, милый, как я стосковалась по тебе! Люблю! Люблю! Люблю! — произносила она с какой-то торжественностью после каждого поцелуя.

— Я... И я — тоже! — сказал Церен робко, будто не своим голосом.

— Скажи еще раз, милый!.. Говори много раз, сколько сможешь! — почти приказывала она. В глазах ее перемешались восторг и ожидание.

— Люблю! Люблю! Люблю! — приговаривал теперь Церен, с каждым словом смелея.— Если хочешь, я крикну на всю степь?

Нина отстранилась от него, посмотрела испуганным взглядом в лицо парня и поплыла назад. Выскочив на берег, она оделась, села на коня и умчалась, вскинув руку над головой.

Церен тоже вышел на берег. Руки и ноги у него дрожали от волнения. Он никак не мог попасть ногой в штанину, посмеивался над собой...

Уже вечером, когда совсем стемнело, он возвращался домой огородами, держа коней за повод.

Церен отказался от предложенного тетей Дуней ужина, свернул матрас и пошел к сараю, где стояла можара со свежим сеном. Там он обычно спал летом.

Церен долго не мог уснуть и, наверное, пролежал бы так с открытыми глазами до утра. Вдруг почувствовал прикосновение ко лбу легкой прохладной ладони.

— Не бойся! Это я,— услышал он ласковый голос.— Я сама напугалась, как дурочка.

— Прости, Нина! Дурак я — не ты.

Церену очень хотелось обнять ее — такую близкую, доверчивую, нежную. Она была как птица, опустившаяся с неба на руку. Но парень уже понимал, чего не должен позволять себе в те минуты, когда птица садится на руку вот так доверчиво.

— Нет! Не ты меня напугал. Я сама себя испугалась. Если бы еще секунда, еще слово, еще поцелуй... И я не знаю, что произошло бы со мной. Я ведь такая трусиха, ты меня еще не знаешь...

Смысл ее слов не совсем доходил до Церена. Он лишь ощущал ее рядом, улавливал ее голос, дыхание...

Ему хотелось, чтобы эти губы, целовавшие его на пруду, всегда были рядом, чтобы с них срывались слова, похожие на музыку, ласкали его слух... Церену казалось, что он понимал даже то, о чем Нина не успевала сказать или говорила от волнения невнятно.

— Вериулась с пруда... Закрылась у себя в комнате, даже Зину не пустила... Ревела, кусала подушку, обливалась слезами... Дурочка! — говорила сама о себе Нина, едва касаясь губами губ Церена. — И только к вечеру успокоилась. Думаю: зачем я плакала? Надо радоваться, если знаешь, что и тебя любят... От любви разве плачут?

— Я тоже чуть не заплакал, — соизлился Церен. — Но вспомнил, что я мужчина. И мне полагается прежде всего думать...

— И что же ты надумал? — спросила Нина, смеясь. Она не дала ему ответить, прикрыв его губы своими губами.

— Ну вот, послушай сначала, что я надумала. Стенело — пошла к тете Дуе... Она пришла в наш дом, когда мы только родились. Тетя Дуя — нам с Зиной няня. Мне кажется, больше она любит меня. Ей я могу сказать то, чего не решусь сказать и маме. Так вот ее слова: «Если любишь человека, иди с ним на край света». А о себе она сказала, что упустила в молодые годы свою любовь, а потом пришлось выходить замуж за старика... Я ей так благодарна за эти слова — нянечке моей. И пришла сказать тебе, Церен, — она впервые назвала его полным именем. — Я — твоя... Сейчас, завтра, всегда...

С тех пор они никого и ничего не боялись. Еще в ту ночь, рискуя быть изгнанными из дома, казненными, проклятыми родителями Нины, они испытали счастье близости и дали клятву верности друг другу. Нина успела ему сказать все, что было на душе: «Если нас прогонят, поедem в твой хотон или в другое село. Будем работать вместе. Дома считают, что у нас Зина лучшая рукодельница. Пусть! Но я тоже могу стряпать, шить, стирать. Пробовала коров доить, сею косила... У нас будет сын. Пусть волосы и глаза у него будут твои, черные, а лицо как у меня. Мы его выучим, ставим он доктором, уминым, добрым как Вадим Петрович!...»

О том, что отношения между дочерью и кучером-калмыком зашли очень далеко, Николай Павлович узнал в доме позже других. Сначала он дал трепку жене и дочери при закрытых дверях. После крутого разговора с главой семьи обе трое суток не выходили из дому, не зная, чем все это кончится для каждой из них. В те дни Николая Павловича телеграммой вызвали в Царицын спасать коифискованное имущество... Приехал едва живой, а здесь его ждала еще одна новость: Нина — беременна!..

Чтобы сорвать на ком-то зло, Николай Павлович всерьез подумывал застрелить своего слишком «образованного» батрака, который вместо благодарности обрюхатил дочь...

Тяжесть переживаний Николая Павловича несколько сглаживала его последняя выгодная сделка. Чтение большевистских газет все же пошло Жидкову на пользу: Николай Павлович охотнее других партнеров по акциям расстался со своим недвижимым имуществом, успел до реквизиции сбыть всяким твердолобым собственникам большую часть своих мельниц и даже скот...

«Смейтесь теперь, глупые спесивцы, отдавшие всю свою собственность Совдепам, а я, Жидков, над которым вы подтрунивали и потешались, обвиняя в опрометчивости, сумел распродать, пусть по дешевке, почти семьдесят процентов недвижимого... Вовремя превратил керемки в незаметные для чужих глаз вещи, которые при любой власти будут в цене... Ах, Нина, Нина! Если бы ты не подвела! Глядишь, махнул бы за границу! А теперь, размышлял Жидков, вместо виллы на берегу Женевского озера жить тебе у бабки-повитухи в Грушовке, пока не избавит тебя и всю семью нашу от позора».

2

Нина оказала такое ожесточенное сопротивление родителям, что Николая Павловича едва не хватил удар. Ее заперли на втором этаже дома, а Цереиу предложили убираться на все четыре стороны. Сделали это почти торжественно: запрягли пару коней в дроги, взвалили на подводу четыре мешка мук, по обеим сторонам сзади drog привязали по корове...

— Вот что я тебе скажу, дорогой работничек,— еле сдерживая себя, напутствовал Николай Павлович.— Мотай с хутора, да поскорее, чтобы тебя здесь мои глаза не видели! А иначе... — хозяин не договорил, что иначе.

Церен обычно молча и терпеливо выслушивал упрёки и поношения Жидкова, а сейчас все в нем клокотало от ярости, он был готов взорваться. Но усилием воли погасил этот взрыв. Ради Нины смолчал. Ради себя поступил так: не сказав ни слова, даже не взглянув на подводу, ушел из хутора. И свой пиджак на гвозде в фельдшерской оставил.

Церен ушел с хутора под вечер, шел всю ночь по весенней распутице, иногда переходя балки по пояс в воде. Преодолеl он больше тридцати верст до ставки улуса. Там он надеялся встретиться с Араши Чапчаевым, который, по слухам, был председателем земской управы. В ставке юноше сказали, что Чапчаев переведен в Астрахань на другую работу.

Астрахань!.. Каким заманчивым теперь стал для Церена этот далекий и чужой ему город! В Астрахани можно увидеть сестру. Араши поможет найти работу, любую, лишь бы остаться рядом с этими двумя самыми близкими людьми. «Постой, а как же с Ниной?» — подсказал ему внутренний голос. Церен еще не научился хранить где-то у сердца имя любимой. Нина была как бы в пути к нему. Удастся ли ей преодолеть этот нелегкий путь?

В ставке жил знакомый человек из русских. У него приходилось останавливаться с Жидковым. Приняли его в доме приветливо, накормили завтраком, и Церен уснул как убитый. Пробудился он сразу, услышав знакомый голос Николая Павловича. Но долго не мог понять — вечер на дворе или утро.

— Как успехи, Церен? Если со своими делами покончил, поезжай домой, там в линейке тебя Нина ждет,— Жидков говорил весело, будто вчера расстались друзьями.— Передай жене, что я задержусь дня на два.

Нина действительно сидела на передке линейки. В новой пуховой косыночке, в дорожной кацавейке, веселая, только синева под глазами.

Обратно ехали вдвоем, кони, будто под настроение

им, шли доброй рысью. Едва Церен сел рядом и взял-ся за вожжи, Ннна обняла его за плечи и не опустила рук всю дорогу. То было самое счастливое их путешествие. Иногда целуясь, они молча праздновали свою победу над судьбой.

— Здорово это он придумал — отпустить нас вдвоем. Наверняка в ставке Николою Павловнчу и делать-то нечего, — раздумывал вслух Церен.

— Точно, Сирень!.. Точно! Но ты ведь не знаешь, какой ценой далась мне эта поездка к тебе! Умереть можно!

Сейчас я хоть улыбаюсь. А тогда было совсем дурно... Когда ты ушел, всю ночь и следующий день меня держали взаперти. Сначала родители думали, что ты вернешься. Потом от кого-то услышали: ты уже за Грушовой. Вроде бы успокоились. Выпустили меня и сказали: «Вот и вся ваша любовь, нашкодил и махнул хвостом на прощанье». Не верила я, плакала, ни с кем не разговаривала. И только тетя Дуня по секрету сказала, как тебе предлагали откупного за меня: коров, муку, упряжку, лишь бы убирался с глаз долой. А ты их ко всем чертям послал со всем этим добром. Тогда я стала собираться в дорогу. Матери бросила слова: «Ухожу навсегда!» Отец опять затолкал меня в темную боковушку на втором этаже. Я выбила раму и спустилась во двор. И подалась степью на Нугру. Ты как-то говорил, что к вашему хотону — через балку. В балке отец и догнал. Думала: выпорет, свяжет и домой отвезет. Нет, сошел, сел рядом на бугорок, принялся так ласково уговаривать, приглашает перейти в ливнейку. Я ни в какую! Тогда он — вот чудак! — дал честное слово, что ты пошел не к хотону, а в ставку, принялся заверять, что завтра утром едет туда же и меня возьмет обязательно... Что мне, дурочке, оставалось делать? Брести куда глаза глядят? Говорят же и родители иногда правду своим глупеньким деткам. Вернулась домой. Всю ночь проревела, откуда и слезы брались.

Перед рассветом за мной зашел уже одетый по-дорожному отец: «Не передумала? Собирайся!» А я и не раздевалась. И вот мы опять с тобой вместе. Никто нас теперь не разлучит, правда?

Нина прижалась головой к плечу Церена, дотянулась, поцеловала.

— Как бы кто не заметил,— произнес Церен, все еще не веря в свершившееся чудо.

Нина, как настоящая хозяйка, похвалилась новостью:

— А у нас теперь свой дом!

— Будет и дом! — полагая, что Нина мечтает о чем-то отдаленном, заверил он.

— Нет, ты только послушай... Ту половину флигеля, где вы с Вадимом Петровичем пользовали пациентов, старики нам с тобой отписали. Мое приданое уже туда перенесено.

Церен рывком осадил разошедшихся коней и долгим взглядом посмотрел в лицо Нине. Голубые глаза ее, слегка запавшие, были полны счастливого блеска. Церен бережно, будто малого ребенка, привлек Нину, нежно поцеловал в щеку, раз, другой.

— Кроме тебя, мне ничего не нужно. Разве дороже счастья бывает что-нибудь на свете?

Занятые самими собой, довольные победой, они ошибались, считая Николая Павловича таким уж добряком. Отдать родную дочь за голодранца-сироту, батрака в другое время Николай Павлович ни за что не согласился бы.

Жидков обладал аналитическим складом ума. Взвесив обстоятельства, он решил использовать бедного зятя для своей защиты. По крайней мере, на те дни и месяцы, пока существует Советская власть, зять из батраков будет хорошим заслоном от нападков таких же голодранцев, как Церен, а они сейчас хозяева. «Падут Советы,— рассуждал Жидков,— глядишь, и появится новый человек в доме, более достойный Жидковых. А пока часть скота, земли, флигель и сад припишем дочери как приданое...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Осень затягивалась. Пора бы выпасть снегу, но холода и заморозки приходили лишь по ночам.

На хуторе стало известно, что белые заняли Грушов-

ку и другие соседние села; нахлынули в калмыцкие хобаны, расположенные в северо-западной части улуса.

В ответ на разбои, чинимые по станицам и хотонам контрреволюцией, беднота Дона и степняки стали съезжаться в отряды для согласованного отпора.

В апреле 1918 года Ока Городовников создал из калмыков Платовской станицы конную сотню и влился с ней в партизанский отряд Буденного — Думенко в Сальском округе. В мае сотня Городовникова выросла до эскадрона...

Большинство улусов Калмыкии оказались под пятой белогвардейцев. Только к середине лета белоказаки были отброшены от Царницына. Но к этому времени денкинцы развернули наступление на Южном фронте, и им удалось продвинуться до Курска и Орла. Ожесточенное сопротивление белым оказала осажденная контрреволюционерами Астрахань. О жизни в осажденном городе у дельты Волги по всему югу ходили ужасающие слухи. В калмыцкой степи заявляли о себе возникающие то в одном, то в другом улусе банды карателей... Кулаки мстили бедноте за попытку лишить их власти и богатства.

2

Николай Павлович никуда не отлучался уже дней десять. Ни с кем не разговаривал, закрывшись в своей комнате, пил. Изредка выходил во двор, глядел на все мутными, покрасневшими глазами.

Для Церена, хоть он и стал зятем Жидкова, ничего не изменилось. Как и прежде, он ухаживал за лошадьми, возил Николая Павловича по окрестностям, не смея заходить в покои к господам.

В то раннее утро Церен наполнил коров и выездных лошадей, шел во флигелек умыться, позавтракать. На укатанный шлях за садом выскочили какие-то верховые. Нина, не окончив доить корову, встревоженная, прибежала домой:

— Ты видел: на хуторе военные?

— С десятков проскочили, — нехотя ответил Церен.

— Это только здесь, а на площади в селе их уйма. Прячься где-нибудь!

— Я ничего такого не сделал, чтобы прятаться, — заупрямился Церен.

— Ох, чует мое сердце! — Нина металась по комнате, хватаясь то за то, то за другое. — Прощу тебя, Церен, подальше от греха. Это же белые. Ты ездил на собрание в ставку, что-то говорил там в защиту батраков. Отец как-то ругал тебя заглазно.

Нина стояла, сложив руки под передником, умоляюще смотрела на мужа.

В это время отворилась дверь, вошли два солдата, постукивая прикладами винтовок о порог.

— Все мужчины — на выход! — скомандовал первый, в погонах унтер-офицера, и строго уставился на Церена.

— Нет! Я никуда его не пушу! — Нина кинулась к унтеру, загораживая мужа, готовая на все. Пришедший с унтером солдат был пожилым, шинель на нем топорщилась сзади. Хриплым голосом он сказал, как попросил:

— Не расходуй себя попусту, дочка! Война — дело мужицкое... Как начальство велит, так сделаем.

На улице шум и гам. В Грушовку к площади гонят старых и молодых мужчин, ведут лошадей, коров. Истопленно лают собаки. Где-то за садами прозвучал выстрел.

Из хутора Жидкова на площадь трое: хозяин, Николай Павлович, синеватый, посеревший лицом, в старенькой шубе, новый конюх — кургузый мужичонка в зипуне, которого только что наняли, и Церен. Мужиков набралось десятка три. В последнее время с фронтов вернулись многие. Женщины с младенцами на руках, старые бабки с клюками окружили жиденькую толпу мобилизованных, ревели в голос. Подъехал в сопровождении двух казаков штабс-капитан, распорядился: отобрать десять коров на кухню, лошадей забрать всех, какие послабее, направить в обоз.

— Зачем стариков набрал? — спросил он унтер-офицера визгливо. Ткнул кулаком в зипун подслеповатого конюха. У Жидкова спросил: — Вам пятьдесят есть?

— Пятьдесят семь, — недовольно ответил Николай Павлович. — Сын-офицер на фронте...

— Слушай, Уваров! — обратился капитан к унте-

ру. — Опять набрал всякого сброда... В твою же сотню пошлю, будешь им командовать!

Отобрал только двенадцать человек, погнал пешком за околицу. Бабы долго шли за мужьями и братьями, пока их не отогнали казаки. Нина тоже шла с деревенскими, почти до другого села.

Мобилизованных затолкали в школьное здание и приказали ждать дальнейшего распоряжения. Осенний день короток, начало смеркаться. Вдруг дверь в большую классную комнату отворилась, все обернулось на зов:

— Сиреньчик, подойти сюда!

Церен кинулся к двери.

Нина молча протолкала вперед себя большой узел со снудом и лишь тогда заговорила:

— Я разузнала у ваших офицеров, что дня три вас продержат здесь... Подойди ближе, слушай, что скажу... Это базар, не армия! Сунула часовому денег, он и пропустил. Да еще говорит: «Приведите хорошего коня есаулу или ублажите штабс-капитана, он любого отпустит...» Жди, Сиреньчик, папа за тобой придет завтра, лошадь приведет.

Как обрадовался Церен ее появлению здесь! Почти десять верст шла вслед за колонной, нагайками угрожали, гнали прочь. Никто так не ласкал вниманием Церена за всю его сиротскую жизнь, как Нина... Разве что мать.

Церен раздал продукты тем, кто оказался ближе, сам пожевал домашнего сала с ржаным хлебом.

С утра начали приводить новых людей. Держали всех как заключенных, а призывали стоять за веру, царя и отечество.

Кое-как переночевав на полу, привыкнув к обстановке, мобилизованные стали знакомиться друг с другом, слышались разные предположения насчет их дальнейшей судьбы, многие открыто возмущались. От всего этого в здании школы не смолкал надоедливый говор. Даже соседу, сидящему рядом, нужно было напрягать слух, чтобы услышать другого.

Голос из коридора мог быть тоже не услышан, но на скрип дверей все оборачивались. Скрип всегда сулил какую-нибудь новость. И вот ржавые петли снова проскрипели.

— Нохашкин есть? — второй или уже третий раз выкрикивал из полуотворенных дверей часовой. До Церена не сразу дошло, что речь идет о нем.

— Выходи с вещами! — гаркнул солдат, когда Церен шагнул к нему из клуба махорочного дыма.

В сумраке коридора он услышал торопливые шаги, затем знакомые теплые руки обхватили его за шею.

— Домой! Домой скорее! — громко шептала Нина.

Церен мог рассчитывать на что угодно, только не на такое: освободиться от службы у беляков!

— Ну как, молодые, нацеловались? — вдруг прозвучал в стороне чей-то веселый голос. К Церену приблизился незнакомый молодой офицер. — Позволь, сестренка, мне по-родственному обнять твоего муженька.

Борис приехал домой в тот день, когда на хуторе проводили мобилизацию. Домой он заехал дня на два. С родными не виделся после шестнадцатого года. Тогда он заезжал попутно, направляясь служить в другую часть. В иовенькой офицерской форме ездил к друзьям в Царицын, на охоту, на озеро Хаиату. Мать почти не видела его, ворчала: «Мало ему стрельбы на войне!..» И вот теперь он снова дома.

Вернувшись на хутор среди ночи, Нина принялась просить брата: «Вызволи Церена, ты — офицер, а там такие же, как ты, пьют, гуляют... мобилизованных бессчитно! Одним меньше, одним больше!»

Отец протестовал. По-видимому, у мужичи уже состоялся разговор насчет замужества Нины. Борис встретил эту весть без паники. Не поругал сестру, а поздравил. Хлебнув лиха в окопах, он узнал истинную цену жизни, цену человеческого счастья.

Штабс-капитан Закотнов, приехавший в тыл за пополнением, оказался фронтовым знакомым Жидкова. С кем только за последние годы не приходилось служить! Пропьянствовав полдня за счет сына Жидкова, штабс-капитан освободил Церена, но взял у Бориса расписку, что поручик Жидков берет мобилизованного калмыка Нохашкина своим коноводом в действующую армию. В расписке был указан номер полка Бориса.

— Ну, крыса бумажная! — выругался Борис в адрес Закотнова, когда сделка была оформлена по всем статьям с обещанкем прислать в дополнение к лошади двух ягнят.

Через день Борис уезжал с новоявленным коноводом в свою часть.

— Ничего, Церен! Ты теперь мужчина! Нужно и пороку нюхнуть в наше время. За конями ухаживать можешь, стрелять тоже умеешь... А истинный мужчина за бабью юбку всю жизнь не держится.

Нinna была недовольна таким оборотом дела: из огня да в полымя! Ее немножко утешало лишь то, что служить Церен будет вместе с братом. Глядишь, да и пожалеет Борис своего солдатика, порадеет сестринному счастью.

3

Поручик Жндков с новым коноводом прибыл в свою часть на второй день. Находилась эта часть близ станции Абганерово. С ходу приняли участие в боевых действиях. Преследовали в дневное время расчлененный на небольшие отряды красноармейский полк. На восьмой день белые подошли к селению Большие Чепурники под Царницыном. Поручик Жндков уже два месяца командовал сотней Астраханского казачьего полка. Весь день шел яростный бой на подступах к селу. Засевшие в глубоких окопах красноармейцы отгоняли конников дружными ружейными залпами, нанося атакующим значительный урон. Особенно опасной для кавалеристов была батарея красных, расположенная где-то за селом в балке. Шрапнель обороняющихся разила без промаха.

Командир полка впадал в бешенство: уже четвертая атака на небольшое село оказалась неудачной. Под вечер полковник Заславский вынужден был поставить в строй два последних эскадрона из резервных. В составе резервных находилась пока и сотня Жндкова. В напряженный момент боя эскадроны прорвались через две линии обороны. Красноармейцы дрогнули, побежали. Но совершенно непредвиденно для атакующих навстречу им выкатилась лавина подоспевших частей стальной дивизии Жлобы.

Эскадроны Заславского сжались в пружину, теснимые свежими силами сзади. Началась беспощадная рубка. Под Борисом и Цереном были лучшие кони из жндковской конюшни. Из передовой сотни, которая уже да-

вила копытами дрогнувшие линии красных, командир сотни и его коновод оказались ближе других к несущейся навстречу лавине с обнаженными клинками. Почти перед носом сотни развернулась тачанка красных, полоснула огнем пулемета. Буланый конь под Жидковым упал, перевернувшись через голову. Церен подскочил к Борису, прыгнул на землю, освобождая для него свое седло. Борис вывихнул ногу, едва поднялся. Над головами свистел рой пуль. Церен вскинул Бориса на свою гнедую кобылу. Но было уже поздно. Увидев на плечах Бориса золотые погоны, на них с гиком неслись два краснозвездных конника.

Церен хотел сесть сзади Бориса, но тот пустил лошадь в галоп, ударив ее клинком по крупу.

При всей расторопности Церен не успел сесть, пробежав несколько шагов, споткнулся и упал. Через него прынули кони атакующих.

На второй день пленных белогвардейцев, числом до трехсот человек, привели в опустевшие бараки лесозавода. Здесь же неподалеку размещались воинские части красноармейцев.

Когда пленных вели строем на обед к кухне лесозавода, навстречу им шагала небольшая команда, выделенная охранять артиллерийский склад. Церен, шедший в первой шеренге, заметил, что среди караульных есть калмыки. Вот команда совсем приблизилась, зазвучал калмыцкий говор.

— Прекратить раз-го-воры! Раз, два, раз, два! — командовал по-русски идущий чуть сбоку строя приземистый командир, тоже калмык.

Церен пригляделся к бравым воякам и вдруг выкрикнул, не помня себя от изумления:

— Шорва-а!

Из группы красноармейцев отделился боец и побегал в сторону пленных.

— Назад! — приказал ему командир.

Все с удивлением наблюдали, как красноармеец обнимается со вчерашним беляком.

— Да это же Церен Нохашкин, из нашего хотона! — горячился между тем маленький, юркий красноармеец.

— Ну и что? Пусть не якшается с беляками!.. Боец Уташев, становись в строй!

— Товарищ командир, — не унимался Шорва, — он

совсем не белый, это батрак, сирота!.. О нем недавно спрашивал сам комиссар Семиколенов.

— Ладно, после разберемся!

В тот же день о Церене было доложено командиру дивизиона первого Царицынского кавалерийского полка Хомутикову, бывшему казаку-калмыку из Денисовской станицы. Дивизион этот был сформирован из калмыков, призванных в Красную Армию еще в сентябре восемнадцатого года из Малодербетовского и Манычского улусов.

На следующий день конвойный привел Церена в большой деревянный дом. В просторной комнате его представили Вадиму Семиколенову. С ним был невысокого роста поливатый для своих тридцати лет калмык.

— Ну, Церен, удивил ты меня! — воскликнул сурово, с осуждением комиссар. — Как тебя занесло к белякам-то?

Церен от волнения не знал, с чего начать рассказ. Разве о такой встрече он думал? Поняв его состояние, Вадим подошел, положил руку на плечо и затем посадил на табурет рядом.

— Ну, не расстраивайся. На войне всякое бывает. И все же мне хочется узнать подробности. Они в таких случаях важны.

Церен рассказал ему все: как гнул спину на Жидковых, как пристрастился к книгам и даже почитывал «Правду»... Не шутейно сошелся с Нинией... Рассказал и о приезде с фронта Бориса.

— Вроде бы выручил меня Борис при мобилизации, а на самом деле получилось одно и то же, — горестно развел руками Церен.

Вадима поразила нечитателность Церена и то, как правильно он судит обо всем в свои восемнадцать лет. Конечно, Церен оказался у белых по чистой случайности, как и многие другие бедняки: не подчинившись воинскому приказу — расстрел на месте.

— Все ясно, Церен! — сказал комиссар. — Жаль, что не так, как нужно, началась твоя взрослая жизнь. Но, как говорят русские, о жизни судят не по ее началу, а по концу. Может, ты вернешься к своей Ниние? Отпустим!

— Не могу вернуться таким! — заявил убежденно

Церен. — Мне хотелось быть с вами... Всю жизнь хотелось, Вадим Петрович!

— Хорошее решение! — одобрил Семиколенов.

Поливатый молодой калмык, все время наблюдавший за встречей друзей молча, обратился к Семиколенову:

— Товарищ комиссар! Откомандируйте этого парня ко мне. Так здорово чешет по-русски! Мне такие люди очень нужны!

Семиколенов тут же согласился.

— Церен, всегда и во всем слушайся этого человека, — сказал он, напутствуя его. — Отныне ты боец калмыцкого дивизиона, а командир твой — вот: Василий Алексеевич Хомутников.

Получив красноармейскую книжку и краснозвездный шлем, Церен запросился во взвод, в котором служил друг детства Шорва. После лечения на хуторе Жидковых зрение парня пошло на поправку. Во всяком случае, ни одна из медицинских комиссий к глазам Шорвы не придиралась. Спали теперь одиохотоицы всегда рядом, раскатав две шинели.

Шорва рассказывал новости из хотона. Особых новостей, конечно, не было, если не считать, что иные из ровесников обзавелись семьями, многие девушки вышли замуж. Не забывал Шорва и о тех, кто доставил им горе.

— Ты знаешь, Лабсаи тоже должен был попасть в Красную Армию по призыву. До ставки доехал — и вдруг заболел или прикинулся больным. Помнишь, как он, гад, тебя предал тогда? Видел же, что давали деньги, а потом отказался. Он и сейчас с Такой якшается!

Шорва говорил о предавшем их Лабсае, как о последнем человеке.

— А правда, что ты жеился на русской? — тормозил друга Шорва. — Я случайно услышал об этом, не поверил.

— Правда! — коротко ответил Церен. — И счастлив... Никогда не думал, что девушка может быть таким другом...

— Ты ее любишь?

— Конечно.

— А она тебя?

— Не сомневаюсь... Не любила бы, не пошла замуж.

— Что ты? — не согласился Шорва. — Есть такие супруги, что всю жизнь будто чужие, только постель да крыша общие.

— И дети, — добавил Церен. — У нас с Нинной совсем не так...

— Рад за вас! — сказал Шорва, вздохнув. — Перед тем как меня призвать, отец ездил сватать за меня девушку из рода Налтанхна, но Бергясу не понравилось наше сватовство. Позвал отца, принялся распекать... Почему, говорят, сватал именно эту? Мы с ее отцом давно условились породниться. Мой Така еще не женат, а вы в Налтанхна со своей торбой претесь! То нареченная сына.

— Ты видел ее хоть раз?

— Нет, конечно! Но отец говорит: как только что расцветший тюльпан... Работящая, из хорошего рода.

— Я бы так не смог, — заявил Церен. — Нужно самому посмотреть. И твоей избраннице полагалось бы знать, за кого идет. Да ты не горюй! Така — выродок, ему только на дочке ведьмы жениться. А та, если действительно умная, все поймет и отвадит Таку. Глядишь, и будет твоей!

— Спасибо на добром слове, но ты забыл, что моя суженая — калмычка... Или мой отец, табунщик, в сватах, или Бергяс?.. Смекай, дружок, что к чему!

— Была у Бергяса сила! — воскликнул Церен. — При Советской власти все люди будут равны.

— Ты так хорошо говоришь, Церен, как наш комиссар. Я всегда тебе по-доброму завидовал. Мне хотелось быть таким, как ты. И вот теперь мы вместе.

— Шорва! Ты меня спас! — Церен стиснул друга в объятиях. — Меня ведь могли шлепнуть, если бы не ты.

— Нельзя так говорить, Церен... Все равно с каждым из пленных разговаривает комиссар. Кому неизвестно: беляки насильно ставят людей под ружье. Большинство ваших запросились в калмыцкий дивизион к Хомутникову. Их приняли. Ты же рано или поздно сам перешел бы к нам. Разве не так?

Калмыцкому дивизиону была поставлена задача: скрытно просочиться за линию окопов противника и нанести удар по тылам. Разведгруппа упорно искала брешь в обороне белых на стыке двух частей. Наконец обнаружили глубокую балку, сильно заросшую по ска-

там лещиной и полынью. Балка простреливалась замаскированным пулеметом. Изредка по ней постреливали из орудия. Хомутников понимал: без подавления пулеметной точки, хотя бы на время, — по днищу балки не пройти. Командир решил обратиться к добровольцам. Шорва первый шагнул из строя. За ним — Церен. Хомутников хорошо знал Шорву, не раз отмечал его благодарностью за умелые действия. Наметили план: Церен короткими перебежками направится по склону балки. Шорва с гранатами двинется в обход.

Как и предполагалось, пулеметчики почти тут же обнаружили мелькающего среди лещины бойца. Стали охотиться за ним. Били короткими очередями и в поленты, злобно. Церен низко прижимался к земле, менял позицию, постреливал сам. Юркий, сметливый Шорва смог доползти до мертвого пространства перед бойницей пулеметного гнезда. То, что пулемет белых стрелял непрерывно, теперь было ему лишь на пользу. Приподнявшись, Шорва привычным ему широким взмахом руки швырнул одну за другой две гранаты. Смертоносный ливень на время прекратился. Этого было достаточно, чтобы бойцы преодолели балку и ударили окопавшегося врага с фланга. Белые не ожидали такой смелости от горстки красноармейцев и примкнули штыки. Многие из бойцов калмыцкого дивизиона погибли в тот день. Дивизион выполнил свою задачу, но из-за малочисленности состава его пришлось расформировать, передав оставшихся людей и оружие одной из частей Десятой армии.

4

Весна и лето этого года на пастбищах вокруг урочища Хазлур оказались благодатными: почти до осени зеленели густые травы. На степь обрушились щедрые проливные дожди, да такие затяжные, каких в этих местах не могли припомнить. Для скотовода нет большей радости, чем видеть стадо сытым, лоснящимся от нагульного жира. Но блуждающие по степи банды белых тревожили хотоны все чаще и чаще.

Месяц тому назад хазлурцы пережили полное разорение — навалился конный отряд белоказаков. Угнали все стада, которые попались на глаза в окрестности.

Лишь Бергясовы телочки и дойное стадо остались нетронутыми!.. Отвел кто-то руку грабителей от Бергясова достатка! «Война и та прежде всего опустошает скудные запасы бедняков, — рассуждали с горечью табуищики. — Богатому и война — не разор!»

Но в обширной степи от Астрахани до Царицына шла в это время и еще одна схватка. Немногие числом грамотные люди несли в хотоны слово правды о новой жизни, рушили своим словом вековые полуфеодалные привычки, призывали скотоводов понять и поддерживать Революцию и Советы. По просьбе Араши Чапчаева из состава частей Десятой армии были отозваны в распоряжение калмыцкого ЦИКа двадцать грамотных бойцов для разъяснения в хотонах появившегося в те дни «Воззвания к калмыцкому народу».

Цереи снова надел гражданскую одежду. Он уже побывал в нескольких хотонах Ики-Цохуровского улуса и направлялся сейчас в Малодербетовский улус. Откровенно говоря, к нему вернулись его мальчишеские воспоминания. С детства он боялся Бергяса, не переносил его злого, произывающего насквозь взгляда. Теперь с этим волком ему, бывшему батраку, придется схватиться на равных. Мог ли подумать Бергяс, что робкий толмачонок, сын Нохашка, через какие-то шесть лет придет в хотон Чоносов, чтобы объявить самому Бергясу — кончилась его власть! «Управиться бы поскорее, провести сходку да хоть на часик к Нине!» — размышлялся Цереи.

В последние дни при воспоминании о Нине у него перехватывало дыхание... Он как бы чувствовал рядом запах ее волос, ощущал нежную теплоту ее тела.

Родной хотон встретил его пугающим безлюдьем.

Почувствовав что-то неладное, Цереи направил коня к крайней кибитке. Заглянув внутрь, он увидел у гулмуть седого сгорбленного человека. Это был Азыд Ходжигуров. Старик курил, незряче уставившись в проем двери. Его когда-то зоркие, как у любого табуищика, глаза почти ничего уже не видели. Азыд сидел полураздетый, в потертых исподниках с развязавшимися тесемками и засаленной бязевой рубашке — вращал барабан священной мельницы-экюрд и шептал молитву. На вошедшего и не взглянул, лишь спросил, кто и зачем его потревожил.

— Говоришь: сын Нохашка? А о тебе же говорили... — старик не стал пересказывать чужих слов о Церене, наверное, плохих, пожаловался вслух: — О, бурхан великий! Молодые и сильные гибнут где-то под саблями, а про меня, никому не нужного, даже бог забыл... Садись, внучек... Чай тебе сварить мне уже не по силам, а табачком угощу.

— Спасибо, аава, я не курю! — поблагодарил Церен. — Мне бы узнать, куда подевался народ? На улицах ни души.

— Ни души, ни души! — повторил дед, трясая головой. — Где же им быть теперь, как не у священного дерева Хейчи? Разве ты, внучек, не знаешь нашей беды?

Церен вспомнил: к священному дереву люди ходят замаливать грехи. Но почему всем хотонем? Таких молений он раньше не знал.

— Позавчера верстах в пяти от хотона, — принялся, шамкая беззубым ртом, рассказывать Азид, — кто-то убил двух солдат. Двух или даже трех... Говорят: убили кадетов. Кто такие те кадеты, одному богу известно. Наверное, из начальства. К вечеру понаехали на конях. Начали ловить наших, допытываться, кто убил. Никто даже не видел-то тех убитых... Клялись, молились... Солдаты не поверили, восемь наших мужчин расстреляли... О горе нам!.. Да ведь на том не кончилось. Сказали: если через пять дней хотоницы не выдадут тех, кто убил этих самых кадетов, расстреляют всех до единого. Забрали Бергяса, увезли в аймак. Бергяс хитрый, выкрутится. Глядишь, снова появится, когда беды минуют, — укажет на любого, лишь бы самому уцелеть. Но сын его, Така, совсем обнаглел, держит людей в страхе хуже, чем Бергяс. Говорят, теперь он ходит в одежке казака... Винтовка и пистуль при нем. Колотит людей без разбору, скот забирает, да что там скот: любая девушка аймака — его, будто пленница... Бергяс хотел высватать ему невесту из рода Налтанхиа, те отказали, потому что, говорят, просватана за Шорву. Неделью назад Така с друзьями под страхом привел ту несчастную девушку из Налтанхиа и держит взаперти в малой кибитке. Привязали, говорят... Ой, яха-яха! — сокрушался старик, то и дело молясь. — Может, мы с той пленницей Таки и есть-то во всем хотоние... А другие, внучек, будут сп-

деть у дерева Хейчи до тех пор, пока казаки не убьют их или не отпустят.

Раздумывая об услышанном, Церен между тем привел коня к подворью Бергяса. Дверь снаружи была приперта колом. Когда Церен распахнул дверь, из-за бара на уставилась на него ненавидящим взглядом измученная, с синяками под глазами девушка. Одежда на ней была изорвана, руки и ноги крепко скручены волосяными веревками.

— Слушай, как тебя... Не бойся, сейчас я тебя освобожу.

Она удивленно посмотрела на незнакомого юношу, попыталась улыбнуться, но что-то тревожное, недоверчивое мелькнуло у нее в глазах.

— Да вставай ты скорее! — приказал Церен.

Девушка поднялась. Худые, острые плечи торчали из-под разорванного ситцевого платья. Несчастный вид ее растрогал Церена. «Она ведь не намного старше Нюдли», — думал он. За отодвинутым бараном были видны обгрызенные связки из сыромятины. Девушка, пытаясь освободиться, рвала ремни перегородки зубами.

— Вот за это ты молодчина! — от души похвалил Церен пленницу. — За жизнь нужно бороться!.. Как тебя зовут? — Церен притронулся к худенькому плечу.

— Кермен, — сказала она тонким, ослабшим голосом и доверчиво посмотрела на своего избавителя.

— Вот что, Кермен, рассуждать нам в чужой кибитке долго нет смысла. Верхом хорошо ездил?

— Было бы на чем! — обретая уверенность, сказала она.

— Я видел во дворе дойную кобылу. Сейчас оседлаю ее. Ты беги, пока не поздно. Имей в виду: будут искать...

— Лишь бы добраться до тети в соседний хотон. Та меня спрячет.

— Идем же скорее!

Когда кобыла уже была под седлом, Церен не удержался от вопроса:

— Кермен, скажи: ты знаешь парня по имени Шорва?

— Какого еще Шорву? — девушка рвалась к седлу.

— А того, за которого тебя высватали.

— Мы с ним не виделись... Отец как-то говорил...

— Ну так вот помни: я — друг того парня! А Шорва служит в Красной Армии. Скоро он придет сюда с большим войском и освободит всех вас... Запомни его имя!

Девушка не ответила, пустила лошадь наметом. Церен смотрел вслед и любовался ее посадкой. «Боевая девчонка! Зубами перегрызла путы, чтобы вырваться на свободу! Хорошая будет жена у Шорвы!»

Проводив девушку взглядом, Церен рысью направил коня к дереву Хейчи.

5

Лет шестьдесят тому назад у рода Чоносов были пастбища и сенокосы в шести местах. После отмены крепостного права крестьяне из Центральной России, из Таврии в поисках вольных земель приблизились к здешним степям. Вначале переселенцы арендовали земли у калмыцких богачей, брали у общины куски выгонов на время. Постепенно эти земли оставались за арендаторами. Случалось, за малый выкуп или другую услугу. Скотоводы отступали все дальше в степь, в полупустынные места. Сейчас у хотона оставалось лишь два пастбища. На одном из них, в часе езды от урочища Хазлур, в низине, издали совсем незаметной, хотон Чоносов спасался от губельного суховея-астраханца.

Случилось это много лет тому назад, иные из стариков еще помнят те годы... Отец Чотына, Хейчи — из мудрейших мужчин рода, добрый совет которого почтился в людях дорожке самого ценного подарка, наблюдал в Черном Яре за посадкой деревьев. Узнал он там от людей, что куртинки заматеревших тополей и акаций останавливают летучие пески, мешают ветрам сносить верхний слой плодородной земли. В те времена редкий калмык задумывался о лесонасаждении. Не в честь были яблоки и абрикосы. И вот Хейчи замыслил: если привезенные им деревья укоренятся в низинке, он со своей семьей оседет на склоне лога, а там, глядишь, и другие родичи подсядутся, и будет у них зеленый хуторок, как у русских.

Возвращаясь с возом необычной поклажи, Хейчи неторопливо приближался к хотону. Но к своему крайнему удивлению, не обнаружил селения на привычном мес-

те. Стояла лишь одна полуразвалившаяся кибитка. Под пологом оказалась древняя старушка. Она металась в бреду, просила воды. Хейчи вскипятил чайник, напоил ее. Потом приготовил еду. Но помощь его была уже напрасной. На другой день старушка умерла. Хейчи и прежде слышал о таком: люди уезжали, оставляя больных или престарелых, ставших им в обузу. Похоронив старуху, Хейчи отправился по следам кочевья, но еще в пути почувствовал недомогание. И тогда он понял, что судьба уже пометила его страшной болезнью, чумой. Но ему так хотелось еще раз взглянуть на жену и своего восьмилетнего сына... Подъехав к перебравшемуся хотону, Хейчи остановился недалеко от своей кибитки, распряг коня и лишь затем, повалясь без сил в телегу, позвал по имени жену. Когда же она с радостью кинулась к нему, Хейчи властно остановил ее:

— Не подходи близко! Со мною случилась беда!.. Скорее позови трех старейшин рода, хочу говорить с ними.

Со старейшими он тоже простился на расстоянии.

— Вот что, почтенные люди! Дорогая супруга! — сказал он. — Я заразился в пути этой страшной болезнью, приехал напоследок взглянуть на вас, да простят меня бурханы за принесенные вам хлопоты. Слушайте меня, люди! Снимайтесь и переезжайте на другое место. До рассвета вы должны удалиться верст на десять.

Мудрого Хейчи очень любили в хотоне. Поднялся плач. Жена рвалась к телеге.

— Остановись! — приказал ей Хейчи. — Живи ради ребенка! И вы не плачьте обо мне! Уезжайте скорее, я рад, что еще раз увидел вас всех.

— Не приходите и хоронить! — напомнил Хейчи. — Душа и тело мои сами уйдут к Эрлык номы хану. Сюда вернетесь только через три года.

Мужчины попрощались с умирающим Хейчи поклоном, попричитали женщины, и хотон снялся со своего места.

После отъезда охотонцев Хейчи собрал в себе последние силы и посадил у колодца в лошине привезенные деревья. Джолум и телега запылали. И откочевавшие увидели с бугра огромный костер и бросившегося в тот костер обреченного болезнью человека...

Через три года ранней весной люди рода Чонос возвратились к месту прежней стоянки. За это время никто не осмелился туда заглянуть. В народе ходила молва, что дух этой болезни три зимы и три лета витает над местом погребения и болезнь может еще ужалить любопытного.

Люди не спешили к страшному месту. Они пригласили из хурула трех старых гелюнгов, собрали знатных людей рода на обряд изгнания злого духа болезни.

И когда они подошли к тому месту, то увидели недалеко от обвалившегося колодезного сруба настоящее диво: там пышно цвела молодая яблоня!

— О, хяэрхан! Бурхан-багшн! — старейшины и монахи опустили у дерева, шепча слова молитвы.

К тому времени подошло все кочевье, и люди с благоговением тоже падали ниц у дерева.

— То чистая душа Хейчн, достигнув рая, послала нам это райское дерево на счастье... — рассудили монахи.

Год тот удался неслыханно щедрым на покосы. Род Чоносов разбогател. Все это суеверные люди отнесли за счет яблонн Хейчн. И с тех пор к яблоне стали приходить с горем и радостью. Молодожены приносили сюда свои дары, несчастные просили под яблоней помощи у духа мудрого Хейчн. В пору изнурительной засухи, в дни губельных буранов вся община сбивалась у яблонн. Появились паломники из самых дальних хотонов. Взять замуж девушку из хотона, где растет райское дерево, считалось большой честью для степняков.

И вот сегодня к яблоне пришли стар и мал в надежде, что священное дерево отведет от них руку карателей.

Когда Церен приблизился к логоу, он увидел хоровод стенающих и плачущих людей, ходивших вокруг яблонн. Сорок девять раз должны они были обойти яблоню вокруг и затем, отдав земной поклон, взять щепотку земли, как заклинание от беды.

Церен терпеливо ждал, пока моление это кончится. Люди поодиночке стали подниматься с земли. И тут они заметили Церена. Как бы ни тяжело было у них на душе, появление давно исчезнувшего из хотона сына Нохашка, да еще по слухам убитого на войне, тоже мно-

гие восприняли, как диво, в которое не очень-то и верилось.

— Церен, поднимись на телегу! — стали просить его. — Слух прошел, что тебя красные убили. Да ты ли это, Нохашкин сын?

Церен сошел с коня, взобрался на чью-то телегу. Толпа сбилась вокруг. Церен видел вымученные улыбки.

— Эх, вымахал-то! Не женился-еще? Говори же скорее, чего молчишь? — торопили со всех сторон.

Церен думал о том, с чего начать непростой разговор.

— Товарищи, отцы, матери и сестры! — сказал он, едва пересиливая волнение. — Прошло почти шесть лет, как меня увезли из хотона. За это время перевидел я хороших и плохих людей. Сиротская доля не бывает легкой. Батрачил у Бергясова дружка, был коноводом у белого офицера. Когда под ним убили коня, отдал господину поручику своего, думал, он посадит меня сюда. Офицер бросил меня в бою. И не просто так, ваше благородие, был тот поручик, а брат жены... Попал в плен... Вот так ласкала меня судьба на чужбине! И все же, дорогие однохотонцы, ваша беда сейчас страшнее! Не знаю, смогу ли помочь вам, но вчера, когда ночевал в Адгудовском аймаке, прослышал я, кто убил тех двух кадетов.

— Говори же, Церен, скорее! Может, твое слово отведет от нас беду.

Церен продолжал, не торопясь:

— Те двое наткнулись на дезертиров в балке. Если бы кадеты проехали мимо, все обошлось бы. Но белые стали требовать документы, угрожали расстрелом. И тогда один из дезертиров застрелил их из карабина... Вот такая история. Разве человек знает, когда творит зло, чем обернется это зло для других?

Люди возмущенно зашумели. Раздался вопрос:

— Скажи, Церен, где сейчас те дезертиры? Может, они примут вину на себя?

— Ищи ветра в поле! — ответили на этот вопрос из толпы.

— Люди добрые! — перекрикивая гул толпы, продолжал Церен. — Зло здесь не в солдатах, не желающих воевать. Все зло в тех толстосумах, что не дают встать на ноги нашей народной власти. Конечно, они хотят,

чтобы власть осталась за ними, а потому всякой хитростью натравливают бедняков на новую бедняцкую власть и защитницу ее — Красную Армию. Меня послали в степь из Астрахани, где теперь новое калмыцкое правительство, а руководит им учитель Араши Чапчаев.

— Учитель — хороший человек! Только он в Астрахани, а мы здесь, и нас беляки давят, как волки овец.

— Ладио, не перебивай пария!

Цереи извлек из бокового кармана пиджака газету «Известия», где было напечатано «Воззвание к калмыцкому народу», развернул ее.

— Братья мои, я прочитаю вам слова, обращенные к вам нашей бедняцкой властью и Лениным, самым справедливым человеком на земле, отдающим жизнь свою и душу свою за лучшую долю простых людей, таких же чернокостных, как мы с вами, будь они русские, украинцы или калмыки...

— «Братья калмыки!» — начал читать Церен.

— Подожди, Цереи, — остановили его, — скажи сначала, кто он такой, Ленин? Он вместе с Араши или от другой какой власти?

— Ленину вместе с Араши... Он — вождь бедноты. Он с большевиками и народом прогнал царя и Временное правительство. Сейчас он глава Российского правительства рабочих и крестьян. Это правительство защищает бедных, хочет, чтобы простые люди жили без нужды и страха.

— Русским хорошо, а калмыкам на что надеяться? Вот пришли солдаты и убили восьмерых наших ни за что ни про что!

— А почему он говорит: «Братья калмыки»?

— Потому что, хотя он и русский, но родился недалеко от Калмыкин, знает страдания всех малых народов: чувашей, татар, мордвы, калмыков... Всем этим народам Советское правительство дает право жить, как они захотят!

— Ты скажи, Цереи, а какой веры Ленин, если он, как и мы — волжанин? — спросил вездесущий дед Онгаш.

Церен не мог ответить, какой веры Ленин, смутился. Он думал, как лучше ответить старику, чтобы тот понял его и не обиделся. На помощь Церену пришел Чотын.

— Аава, — обратился он к деду Онгашу, понявшему смущение Церена по-своему. — Почему не даете парню рта раскрыть? Церен столько лет не был дома, скитался на чужбине. Кое-что узнал из того, чем люди живут на белом свете. Неужели ты забыл пословицу: «Лучше спроси у парня, объехавшего мир, чем у старика сидня, не покидающего джолума!»

Толпа успокоилась. Чотына, сына Хейчн, посадившего священное дерево, здесь слушались.

— Власть Советов, власть Ленина и Араши несет калмыкам волю от всяких господ, землю, пастбища и равенство между людьми! Жизнь теперь будет без князей и нойонов!.. Слушайте, о чем сказано в Обращении Совета Народных Комиссаров, — говорил Церен.

Шум затих. Церен читал долго. Толпа замерла, вслушиваясь.

— «За это освобождение борется Рабоче-Крестьянское правительство и его Красная Армия... Нужно, чтобы весь калмыцкий народ, как один человек, восстал против царских генералов, белогвардейцев и помог Красной Армии быстро смять Денкина...» — закончил Церен с подъемом.

— Хорошие слова! — сказал рослый со всклокоченными, будто в драке, волосами табунщик. — Только многое ли от нас зависит? Ты скажи, Церен, есть ли хоть сила, чтобы унять разбойников в золотых погонах? Одним-то нам не управиться с этими бандитами. Кто там с Лениным, у него есть еще люди?

— Я уже сказал: Араши Чапчаев, — начал перечислять Церен. — Еще, если помните, к нам приезжал русский доктор Вадим Семиколенов. Он тоже большевик, встречался с Лениным. И еще много красноармейцев. Пешие и конные. Они бьются с белыми, чтобы прогнать их отсюда. Вот Красной Армии-то и зовут Ленин помогать всеми силами.

В это время на взгорке показались четверо верховых.

— Така со своими подручными! — предупредил Чотын. — Спасайся, сынок, как бы они на накнулись на тебя!

— Я никуда от вас не уйду! — решительно заявил Церен. — Вы собрались здесь просить бога, чтобы отвел от хотона беду. А беда — вот она, своя, доморощенная.

Надо, мужнины, самим добывать свое спасение. Взгляните на бугор: там красуется на строевом коне разряженный в казачий мундир сын Бергяса. Он заехал в чужой хотон, украл чужую невесту, запер ее дома и держит на привязи, как собаку! Разве это порядок для честных людей? Обычай нужно уважать всем! А если за него нужно драться, давайте все постоем за порядок! Кто согласен служить в Красной Армии, седлайте коней! Нас ждет Араши!

Рослый парень, протиснувшийся сквозь толпу к телеге, заявил громко:

— Я хоть сейчас! А ты знаешь дорогу к красным? Там есть калмыки?

— Еще сколько! — объявил Церен. — Ока Городовиков командует дивизией красных конников. Считаю, генерал калмыцкий! Наш земляк Василий Хомутников командует полком, Хартин Кануков — бригадой.

Така с приспешниками медленно съехал в лог и теперь протискивался к телеге, на которой стояли Церен и Чотын. Старый Чотын поднялся и стал рядом с Цереном, чтобы не дать Таке расправиться с парнем.

— Ты что здесь раскричался? — с ухмылкой спросил у Церена сын старосты, выставив впереди себя плетку. — Рассуждаешь, будто ты теперь и нойон, и глава рода, и всем нам начальник! Может, ты уже царем заделался и едешь теперь всюду свои порядки наводишь?

Така зашелся смехом. Вслед за ним заулыбались его спутники, только Лабсан отвел глаза от Церена.

— Царя больше нет! — ответил Церен строго. — Нойонов и старост тоже скоро не будет!

— Взять смутьяна! — скомандовал заученными фразами Така. — А отец... он вот-вот появится!

По команде старшего трое подручных наскочили на Церена, стащили с телеги, скрутили руки конскими путями.

Уже лежавшего на земле Церена сынок старосты пиул начищенным сапогом:

— А теперь говори, где Кермен!.. Иначе — вот! — он вытащил из кобуры револьвер.

На руках Таки обвисли Чотын и Сяхля. Така ударил Чотына в грудь ногой, а мачеху отбросил резким движением плеча. Из рта старика потекла струйка

крови. Люди помогли ему встать на ноги. Над логом взвился чей-то отчаянный вопль:

— Что же это делается? Хромой выродок поднял руку на старика!

Чотын поднялся, опираясь на двух мужчин, и хотел снова взобраться на телегу, но не смог, его подсадил. Старик вытер платком окровавленные губы, на правой щеке осталась запекшаяся кровь. Глаза его горели ненавистью, от его всегдашней уравновешенности не осталось и следа.

— Люди хотона! — кидал он в толпу гневные слова. — Здесь больше тридцати мужчин, а этих бандитов четверо. Неужели мы позволим убить Церена? Неужели той крови, что пролилась два дня назад, мало? Решайтесь, мужчины, иначе эти бешеные собаки всех нас перебьют!

— Замолчи, старый дурак, а то проглотишь пулю! — завопил Така, потрясая револьвером над головой. Стоявшие рядом с ним приспешники щелкнули затворами винтовок.

— Пали, стервец! — крикнул Чотын. — Мой отец пожертвовал собой ради сохранения рода, чтобы ты жил на свете! И я не пожалею жизни за людей. Слушайте, мужчины! Раз уж так вышло: или стать овцами, чтобы эти волки перерезали вас всех по одному, или идти к красным и гнать банду из хотонов. Идите за Цереном! Развяжите же его, не ждите милости от головорезов!

Така спокойно поднял револьвер и выстрелил. Толпа ахнула и сомкнулась над упавшим с телеги Чотином.

Лог заклокотал от людских голосов. Кричали мужчины, порываясь в круг, где теснились друг к другу Така и его подручные, рыдали женщины, заходились в крике дети. Часть людей ринулась врассыпную на взгорки.

И вдруг Лабсан, вскинув винтовку, с неожиданной яростью опустил приклад на голову Таки. Убийца Чотына рухнул рядом со своей жертвой.

Сяхля и еще две женщины хлопотали вокруг Чотына. Вытирали ему рану на груди, прикладывали листья подорожника. Еще двое, прнехавшие с Такой, рванулись было к коням, но их остановил выстрелом вверх Лабсан, приказав:

— А ну, прочь от коней, гады!.. А то сейчас продырявлю головы.

Те трусливо подняли рукн. Их тут же разоружили, отвели в сторону.

Церен уже был на ногах.

— Спасибо, Лабсан! — сказал Церен, сбрасывая с рук веревку. — В решительный момент ты поступил честно.

— Хватит с меня подлости! Было время — струсил, а сейчас я с тобой, Церен... Если возьмешь, конечно.

Чотына осторожно опустили на телегу. Сяхля своим платком стянула старику грудь. Но кровь проступала сквозь повязку. Ранение было опасным. Церен склонился над Чотыном. Глаза его стали влажными, он покусывал губы, сдерживая себя от рвавшегося наружу крика.

— Церен, торопи людей! — прошептал умирающий старик. — Бери всех мужчин, и мальчонка не оставляйте, иначе всех прикончат...

Кто-то успел сжечь кусок кошмы, чтобы приложить золу к ране, но было уже поздно. Ближние к подводе мужчины стянули с голов шапки.

Люди обступили Церена. Теперь он был вожаком. Это понимали все.

Церен еще раз перебрал в памяти последние встречи с Араши Чапчаевым, вспомнил его советы. А советы Араши сводились к одному: быть осторожным, избегать опасности. До сих пор Церену это удавалось — и поговорить с людьми, и тихо удалиться. В степи полно кочующих банд! В задачу Церена не входило вооружать табунщиков в тылу белоказаров.

— Давайте еще раз подумаем вместе, как быть? Если уходить, то куда, в каком направлении? На что надеяться оставшимся? Говорите каждый, сейчас нам нужно принимать решение сообща.

— Лучше того, что завещал нам Чотын, ничего не придумаем, сынок, — первым высказал свою мысль отец Шорвы. — Веди к красным, если знаешь дорогу.

Обоз из двадцати восьми подвод и нескольких запасных лошадей, не заезжая в хотон, двинулся в сторону Адгудовского аймака.

Толпа женщин с малыми детьми на руках безголосо провожала их, постепенно редая. Некоторые брели

вслед: одни шли искать убежища в других хотонах, а кто просто так, чтобы сказать последнее слово мужу, пожелать ему удачи.

Сумерки постепенно скрывали это молчаливое шествие по степи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На Облупниской площади в Астрахани стоял тупым углом к дороге двухэтажный дом, возведенный в шестидесятые годы прошлого века на средства от общинных сборов. Здесь размещался до революции со своими службами главный попечитель Калмыкии. В улусах правили службу чиновники, назначаемые их астраханским главой.

Попечитель одновременно являлся товарищем губернатора. До революции главой попечительства значился некто Криштафович. Одновременно с князьями Туидутыми и Тюменем попечитель убрался из Астрахани через два месяца после свержения Временного правительства. Убрались они не подобру-поздорову, а после провала белоказацкого мятежа. Сейчас в этом полуразрушенном, со следами артиллерийского обстрела доме расположен Центральный исполнительный комитет Калмыкии.

На первом съезде трудящихся Степного края в июле восемнадцатого года председателем ЦИКа был избран народный учитель Араши Чапчаев. Шел декабрь девятнадцатого года. Араши почти не выходил из здания исполкома — работы было невпроворот.

Кабинет председателя, в котором стойко держались рождественские холода, находился на втором этаже. Наряду с красными командирами, уходящими в бой, в кабинет шел всяк по своим заботам. Первым посетителем сегодня был худощавый человек, очень подвижный, среднего роста, одетый в черную кожаную куртку и меховую шапку-ушанку. Плечи перехвачены португезами, слева шашка на ремне, справа кобура с револьвером.

— Командир Яндыко-Мочажной улусной сотни Джалыков, — представился он, щелкнув каблуками.

— Хорошо, что заглянули! — бодро отозвался Чап-

чаев. — Признаюсь: ждал вас... Говорите же скорее, все ли готово к выступлению? Не забудьте о продуктах и одежде для бойцов...

— В моей сотне, товарищ Чапчаев, сейчас сто шестьдесят человек. В среднем на двух бойцов три лошади, зато на троих две винтовки... Одеты, обуты все.

— Сложная арифметика! — согласился председатель ЦИКа. — Вы в общем хорошо подготовили сотню к выступлению... Но меня заботит и другое, на что обращал внимание Сергей Миронович Киров: нужно разрушать не только линию фронта противника, но и тылы. Не лучше ли часть бойцов, которым все равно недостает оружия, разослать по аймакам. Пусть предупреждают неграмотных людей от вступления в белую армию, пусть степняки уклоняются от мобилизации, саботируют рытье окопов...

— С этим делом у меня похуже! — признался командир сотни. — Увлечся строевой подготовкой, упустил обучение лазутчиков... Поправлю, товарищ Чапчаев, вместе с комиссаром сейчас отберем надежных людей для работы в тылу.

Деловой разговор в холодном кабинете председателя прервал дежурный секретарь:

— К вам двое, товарищ Чапчаев! — доложил он.

— Пусть заходят оба! — распорядился Араши.

Первого, приземистого крепыша, тоже в ремнях и с шашкой, комиссара Маслова, Араши узнал еще с порога. Из-за плеча Маслова выглядывало знакомое русское лицо в лохматом треухе.

Забыв ответить на приветствие Маслова, который, не дойдя двух шагов до председательского стола, взял под козырек, председатель ЦИКа по-мальчишески завопил:

— Вадим! Да ты ли это? Какими судьбами?

— Судьба у нас одна, дорогой Араши!.. Революция.

Они крепко обнялись.

Хозяин кабинета представил Вадиму Джалыкова и Маслова. Затем сказал:

— И Джалыков и Маслов о тебе знают из моих рассказов. Наш военком только что из Москвы... Расскажите, Алексей Григорьевич, нам о результатах поездки в столицу.

— О том, что мы решили собрать здесь калмыцкую

дивизию, вы все, наверное, знаете. Так вот: Реввоенсовет замысел наш одобрил. Вооружение на дивизию дадут. Строевых коней, сказали, республика в запасе не имеет. Если сможете, сходите сами. Отказ с лошадьми — куда ни шло, — вел свой рассказ к главному Маслов. — Просили в командиры дивизии Оку Городовикова — категорический отказ.

Семиколенов нашел такой отказ обоснованным.

— Городовиков сейчас командует дивизией в Первой кониой. Дивизия отличилась в боях за Воронеж и Касторную. Там решается судьба Южного фронта. Буденный не согласится на потерю для себя такого опытного комдива... Я вас перебил! Извините, — сказал Семиколенов. — Прошу продолжать, все это очень важно и для меня.

— В предместьях Саратова организоваю два кавалерийских полка. В поездке со мной был член нашего ЦИКа товарищ Амур-Санан, — заключил краткий доклад Маслов.

— Славно, друзья, что вы так много отдаете сил нашему общему делу, — сказал Семиколенов. — Рад доложить вам, что первый ваш революционный калмыцкий полк Хомутикова достойно проявил себя в боях. Реввоенсовет Десятой армии просил меня передать организаторам этого боевого полка большевистское спасибо! Между прочим, в штаб армии пришло донесение о храбром бойце-калмычке Нарме Шапшуковой. Она владеет оружием не хуже мужчин-кавалеристов. Гордитесь своей землячкой, друзья! Будет представлена к награде!

— Спасибо, товарищ Семиколенов, за добрые вести. Но нас ждут неотложные хлопоты, — Араши поглядел на командира и комиссара. Те еще не окончили деловую беседу с председателем. — А уж потом, Вадим...

— Если сумею в чем-то помочь, я к вашим услугам! — вежливо обратился ко всем трем Семиколенов. — Я к вам направлен для оказания помощи политотделом Южного фронта.

Вадим предъявил Чапчаеву свой мандат.

— Вот так бывает! — с упреком покачал головой Араши. — Я с ним запросто, как с другом, а он, оказывается, прибыл как начальник!

Араши, улыбаясь во все лицо, вернул Семиколенову мандат и удостоверение.

Когда военные ушли, Вадим придвинул свой стул поближе к председательскому, спросил по-свойски:

— Араши, что с Цереном-то? Не пропал ли паренек в этой заварухе?

— О, Церен проявил себя сверх ожидания! Послали мы его агнтатором в тыл, а он чуть не весь хотон перевел через линию фронта. Сейчас командует взводом под Черным Яром.

— Твое воспитанне, учитель! — горячо, с благодарностью сказал Вадим другу.

— Кто знает, чьи хорошие семена дали всходы. Я часто думал о вас обоих, когда вы уехали на хутор, — проговорил Араши и, помолчав, добавил: — Если сказать откровенно, я и не надеялся, Вадим, что революция произойдет так быстро.

— События иногда опережают наши планы... — улыбнулся, хлопнув его по плечу, Вадим.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В конце девятнадцатого года белоказачьи войска были отброшены от Черного Яра. Откатывались они к югу, бросая на дорогах снаряжение, госпитальные подводы, склады с обмундированием. Отступление прикрывала немногочисленная, но свежая, недавно с отдыха, первая Астраханская казачья дивизия. Дивизия не доставало на сплошную оборону. Казаки отбивались отдельными контратаками, затем отходили, создавая очаги сопротивления в русских деревнях и калмыцких хотонах. По ночам их прижимал к жилью лютый мороз.

Разведвзвод Церена Нохашкина в количестве тридцати бойцов вышел с наступлением темноты в сторону хотона Шар-Даван. По данным беженцев, днем там появлялась небольшая группа белых.

Еще летом, когда по фронту прогремела весть о том, что красный агитатор Церен Нохашкин привел из-за линии фронта мужчин целого хотона, Шорва добился у командования разрешить ему служить во взводе земля-

ков. Участие в боях рядом с Цереном еще больше сблизило бывших подпасков Бергяса.

Вот уже полгода Шорва — командир первого отделения во взводе Церена и замещает взводного, когда тот отлучается по делам службы.

Под вечер мороз крепчал, громко хрустел мохнатый ледок под копытами лошадей, морды коней, башлыки и шарфы красноармейцев покрылись инеем.

По всем приметам хотон Шар-Даван должен был уже показаться — располагался он на берегу озера. Когда бойцы поравнялись с высокой грядой нескошенного камыша, к Церену приблизился, коснувшись стремени о его стремя, Шорва. Стыдась и заикаясь от смущения, Шорва проговорила:

— Церен, в этом хотоне живут родители Кермен... А что, если и девушка с ними?

— Тебя это пугает? А я-то думал: какой у меня храбрый заместитель! — пошутил Церен и тут же заговорил всерьез: — Вышибем беляков и тут же свадьбу сыграем! Тебе, Шорва, теперь ни одна красавица не откажет.

— Тише! — попросил Шорва друга. — Зачем ты так? Мне бы только взглянуть на нее.

— Можешь не сомневаться... Девушка, каких поискать! За тебя, между прочим, пострадала, не приняла в женихи Таку.

— Така — зверь! — Шорва от возмущения потрянул головой. — Но говорят: он выжил! Отлежался и сбегал!.. То-то кровушки попьет из людей в отместку!

— К сожалению, это так... Лабсан лишь оглушил его прикладом... Ты же помнишь, какая голова у Таки? Как у кабана, ее и пуля не всякая возьмет!

Помолчали, прислушиваясь к приглушенному цокоту копыт за спиной. Шорва снова думал о Кермен. После рассказа Церена девушка эта была для него лучшей на свете. А тут еще Церен со своими шуточками: «Твоя будет Кермен! Засватаем!»

То, что Кермен девушка хорошая, Шорва понимал и сам: Бергяс не станет сватать за своего сына абы какую. «У него наметан глаз на красавиц», — подумал Шорва, вспомнив Сяххлю.

— Она смелая, но и ты не из робких! — подбадривал Церен.

Хотон возник сразу за поворотом дороги. Был тих,

пустыни. Тишина оказалась тревожной и скорбной. Мужчины — никого. Женщины, если и были в отдельных кибитках, не могли слова вымолвить от горя.

Вчера здесь стоял небольшой отряд белых, человек тридцать. Куражились сутки, перерыли все сундуки, съели двух коров, еще двух угнали с собой. Почти вслед за грабителями, будто ждали в камышах, появились еще восемь всадников, среди них трое калмыков. В одном местные узнали хромого сына Бергяса. Другой, в погонах офицера, был известен каждому — сынок Микола Жидко. Офицер приказал пороть шомполами всех мужчин за сочувствие к большевикам... Один старик скончался, не выдержав наказания... Отца Кермеи вывели на площадь. Сначала били, допытываясь, где спрятал дочь... Затем офицер выстрелил ему в голову.

А Така в это время расправлялся с матерью Кермеи. Женщина валялась у него в ногах, прося за мужа. А потом, когда старика не стало, Така пригрозил ей, ударив нагайкой, если дочь сама не явится к нему в хотон Чонос, мать заплатит за ее упрямство собственной жизнью.

Девушку они все же нашли...

Цереи и Шорва слушали горестный рассказ, еле сдерживая себя от гнева. Когда хозяйка кибитки узнала, что перед ней стоит жених Кермеи, она подошла и по-матерински благословила бойца.

— Сынок, милый, спаси девушку, вызволи Кермеи!.. Проклятые убийцы не могли далеко уехать.

Шорва выхватил из ножен клинок и поцеловал его.

— Цереи! — обратился он к взводному. — Ты должен отпустить меня! Сам понимаешь, настала та минута...

— Не горячись, Шорва, — остепенил друга Цереи. — Дело здесь не только в Кермеи. Нужно уничтожить Таку — этот зверь уже не раз попробовал человечины. Он отступился от чести и совести, льет кровь потоком. Давай-ка хорошенько подумаем...

— Цереи! Ты же понимаешь, что я не могу...

— Понимаю! — оборвал его Цереи. — Поэтому приказываю: вас — десять! Выступаете в погоню за бандой всем отделением. Така с друзьями действуют отдельно, справитесь сами. Обнаружите крупные силы — посылай связного... На вашей стороне внезапность, ваш со-

юзник — мороз... Вряд ли привыкшие бражничать каратели в такой холод будут торчать на улице. Часового срубите с ходу, а дальше действовать по обстановке.

— Есть! — отчеканил Шорва и выскочил на улицу.

Уже у коновязи Церен предупредил:

— Копыта лошадей оберните тряпьем!.. И еще вот что... Там Жидков... Нельзя его убивать, привези живого. Пусть я буду ненавидеть сам себя до конца дней за малодушие, но его осудит ревтрибунал.

Несмотря на то что соседний хотон был в трех верстах от Шар-Давана, отделение Шорвы возвратилось лишь в полночь. Шорва переусердствовал: вместе с Борисом он привез связанным и Таку, и еще двух белоказаров, захваченных в одной кибитке. В схватке с Борисом Жидковым, памятуя о строгом наказе командира, красноармейцы действовали лишь прикладами. Жидков успел застрелить одного из пистолета, но сам был тут же обезоружен другими подоспевшими бойцами.

2

Неожиданное сопротивление оказала Шорве Кермен, отысканная в дальней кибитке. Когда пред нею предстал незнакомый человек в красноезвездном шлеме и попросил собираться, чтобы ехать к матери в Шар-Даван, девушка с плачем отказалась.

В разгар схватки ей удалось выскочить из джолума, где ее охранял часовой. Кермен была рада, что удалось спрятаться у пожилой калмычки. Она считала себя почти спасенной и, измученная, уснула под кроватью в нагретом джолуме. А тут опять военные и снова надо куда-то ехать...

Высказав все свои доводы, Шорва решился на последнее.

— Кермен! Ты помнишь Церена Нохашкина, что уберет тебя от надругательства в кибитке Бергяса?

— О, того парня я не забуду вовек! — воскликнула девушка. — Только где он теперь?

— Он в вашей кибитке сейчас в Шар-Даване. Сидит, беседует с матерью. Он мой командир... Церен разрешил мне догнать бандитов и спасти тебя. А мать просила привезти домой, если ты еще жива.

Кермен плакала, не решаясь довериться человеку, которого видела впервые.

Наконец сторону Шорвы в этом их споре приняла пожилая тетушка, укрывшая Кермен.

— А ты не врешь, что Церен Нохашкин у нас в хотоне? — не однажды спрашивала Кермен, уже сидя в саях.

— Знаешь, Кермен, — отважился на последнее Шорва. — Мне совсем не грех и клятву тебе дать... Ведь мы с тобой не такие уж и чужие.

— Сейчас ты начнешь рассказывать баечку о том, что все калмыки в конце концов родня.

Шорва вздохнул удрученно:

— Нет, Кермен!.. К сожалению, мы с тобой не родня.

— Было о чем жалеть!.. Если ты действительно хороший человек и привезешь меня домой, к матери, я не знаю, что сделаю для тебя и твоего командира. Ведь спасителя можно и поцеловать. Жаль, что я не сделала этого, когда тот парень оседлал для меня кобылу во дворе Бергяса.

— Свою ошибку ты можешь исправить сегодня же... Твой спаситель Церен ждет тебя. И тех вои, что едут за нами в саях связанными.

— Откуда тебе известно, что это тот самый Церен из хотона Чонос?

— Я друг Церена. И тоже из рода Чоносов. И зовут меня, между прочим, Шорва.

И это сообщение не удивило Кермен.

— Шорв, как Церенов, по степи много...

— Мне говорили, что Шорвой зовут твоего жениха, — со смутной надеждой на то, что Кермен наконец догадается, кто рядом с нею, намекнул парень.

Девушка на миг задумалась. Но тут же сказала печально, улыбнувшись:

— Мой нареченный, сказывали мне, мал ростом, конопат и заикается.

Усмехаясь нарисованному недобрым человеком портрету, Шорва осторожно спросил у девушки:

— А что, если я тот парень, за которого тебя, Кермен, сватали?

— Не верю! — упрямо твердила Кермен, украдкой поглядывая на Шорву.

— А если Церен подтвердит?

— Церен... Церен — это такой человек... Он не может сказать неправды.

Шорва понимал, что весь этот разговор не ко времени, но все-таки спросил девушку:

— Значит, у меня есть еще кое-какая надежда... на Церена, если он убедит тебя, что тот самый Шорва — я и есть.

— Да, — тихо отозвалась девушка, пряча лицо в воротник шубы... — Плохие слова о моем женихе я слышала от Бергясова сына... Я ненавидела его и не верила ни одному слову. Но сама себе дала клятву: если судьба спасет меня от супружества с Такой, то я выйду замуж за своего суженого, пусть он будет маленький росточком, конопатый, какой угодно! Лишь бы не Така.

3

Война уже ставила перед Цереном немало неразрешимых порой задач. Как быть? Какой выбор сделать, чтобы себя не опозорить и не подвести людей? Но сейчас задачка была потрудней всех прежних: Шорва привез Бориса. Вот он лежит связанный и сам просится под пулю, оскорбляя часового, кляня последними словами Советскую власть... Тут бы другой на месте Церена давно не выдержал. Влепил бы пулю по принципу: «Одним гадом меньше!» А как быть Церену?

Пленных решено было поскорее отправить в штаб полка в Черный Яр.

Церен знал, что там трибунал и наиболее ответных вратов по законам военного времени навсегда убирают с пути. Но ему было жаль Бориса, слишком не сдержанного на злые слова да и на руку... Перед отправкой он хотел сказать Борису кое-что с глазу на глаз. В конечном счете, когда-то Борис выручил его от нелепой мобилизации в Грушовке. Да и брат же он Нине, брат! Офицер, а как плохо понимает, что война есть война и можно напороться даже на шальную пулю. А Борис просит себе не шальной...

Жидкова привели конвойные.

— Ну, здравствуй, Церен! — первым заговорил Борис, заискивающе глядя ему в глаза.

— Здравствуйте, Борис Николаевич, — ответил Це-

рен, не приняв протянутой руки шурина. — Присядем, нам есть о чем поговорить.

— Да, есть, — как-то по-глупому улыбаясь, словно на гуляинн, торопливо согласился Борнс. — Я все это время ждал встречи, чтобы сообщить тебе весть: у тебя сын!.. Поздравляю! Скоро уже шесть месяцев!.. Твоя копия, только глаза голубые, как у Нины.

— Долго же вы везли мне эту весть! — горько усмехнулся Церен. — Долго и слишком уж не прямыми дорогами...

— Война! — повел плечамн Борис. — Всякому свое... Разве ты не рад такой вестн?

— Рад... Но и горя много вокруг!.. Напрасной кровн потокн.

Борнс побледнел, уставясь в пол. Он понял: Церена не купишь даже ценой такого радостного известия. Отвечать за свой кровавый разгул придется. Даже перед бывшим батраком.

— Как назвали мальчика? — спросил Церен, думая в эти минуты неотступно о том, что сейчас делается на хуторе Жндковых.

— Ребенок пока без имени! Чудачка Нини! Уперлась, говорит: без отца не могу дать имя сыну. Вот как в нашей семье уважают тебя, Церен, — усмехнувшись, ответил Борнс.

— Ладно, Борнс Николаевич, насчет уважения ко мне в вашей семье я и сам кое-что знаю. Сейчас нам нужно развязать, как вы сами понимаете, тугой узелок.

— Отпусти меня, Церен! — попросил Борнс. — Ради Нины. Наконец ради сына отпусти! А?.. Я понимаю: тебя, Церен, ждет наказание! И суровое! В любой армии должна быть дисциплина, но не можешь же ты?.. Не можешь! — проговорил он с нажимом. — Расстрелять меня.

Церен глядел на него подавленно.

— Не могу, Борис Николаевич!.. Ни расстрелять вас не могу, ни устроить вам побег... Лучшее, что смогу, — отправить в Черный Яр...

— Ты шутишь, Церен? — глаза Борнса округлились. — Отправить в Черный Яр — это значит под трибунал! Вместе с Такой?! Нет, Церен, ты еще раз хорошенько подумай: ну разве я достоин одной судьбы с этим ублюдком?

— Может, и не расстреляют... Искуните вину, вернетесь чистым, — тихо, но уверенно говорил Церен, будто упрашивая. — А то ведь и службу могут предложить... В Красной Армии много бывших офицеров.

— Ты издеваешься надо мной! — фальцетом вскричал Жндков. — Кто же за меня там заступится, в трибунале?.. Узнают о Шар-Даване — и в расход!

— Зачем вам нужно было убивать отца Кермен? — с глубокой горечью упрекнул Церен. — Что вам плохого сделал старик? Защищал свою дочь...

— Он твой родственник? — спросил Борне.

— Если угодно — родственник! Потому что я человек и он человек. Только зверь может поступить так — лишнить жизни старика ни за что ни про что. Вы и сами это знаете.

Борис угрожающе наступал:

— За какого-то вшивого старика хочешь погубить близкого тебе человека? Ну, ладно! Руби голову шурину! Посмотрим, что ты скажешь сестренке! Не забывай: тебя она любит как мужчину, меня — как брата! Останется ли она с тобой, если узнает, что муж — убийца ее брата.

— Скажу Нине все, как было. — Церен решил на этом прекратить объяснение. — Я вас не убивал, а поступил по долгу... Прощайте, Борис Николаевич.

Часовой увел Бориса, а Церен все ходил по землянке, казнясь в противоречиях. «Может, я в самом деле поступил слишком по-казениному? А как нужно было? Как поступил бы Араши?.. Подумать только: что я теперь скажу Нине и ее родителям о нашей последней встрече с Борисом? Можно бы и выпустить его. Но освободи — Борис не остановится. Он просто озверел. А зверь, хвативший человечины, очень опасен. На него делают облаву всем обществом!»

В господском доме, несмотря на поздний час, горел свет. Церен быстро прошел через сад к флигелю. На двери висел замок, так знакомый со времен батрачества. Церен улыбнулся. Времени на побывку у него только день. Так и отпустили: «Посмотреть сына-первен-

ца». Заглянул в светящееся окно другой половины, где жила кухарка Жидковых, тетя Дуня.

Нина, распахнутая по-домашнему, в одном халате сидела на кровати тети Дуни и кормила младенца грудью.

— Здравствуйте! — выкрикнул Церен, рванув на себя разошедшиеся, загремевшие клямкой двери. Нина едва не уронила с коленей малыша!

— Сиреньчик! Родной! — бережно отложив ребенка поближе к подушке, обвила шею мужа теплыми руками. Не стыдась присутствия тети Дуни, поцеловала, всхлипнув.

Ребенок, не вовремя оторванный от соска, заплакал. Тетя Дуня вроде бы затем, чтобы успокоить малыша, повернулась к молодым спиной. Затем она незаметно вышла.

— Жив, родной? Что с рукой-то? — Нина подвела мужа поближе к лампе.

— Не волнуйся! Кость цела! — Церен, чтобы успокоить ее, пошевелил пальцами забинтованной руки.

Нина присела на табурет, вспомнив о чем-то другом, чем жила в последние дни.

— Церен, уходи! — сказала она, словно очнувшись. — Вчера вечером приезжал Борис с друзьями, пили они, а он все грозился тебя убить!.. Отцу сказал, что ты отправил его на расстрел. Ведь это неправда? Я не верю Борису. Он стал какой-то иной, на всех злится... Я могу верить только тебе.

— На расстрел не посылал, — Церен почувствовал, как что-то сильно сдавило ему горло — не продохнуть. — А в Черный Яр, к начальству своему отправил.

— Но он говорит, что там какой-то военный суд... Расстреливают офицеров. И ты послал Бориса на этот суд?

— Так его освободили? — удивился Церен.

— Нет, он бежал! — громким шепотом произнесла Нина. — Но дело не в этом. Борис был в твоих руках, и ты послал его на верную смерть? Но как же так? Мой дорогой муж!.. Если это действительно так, завтра ты отправишь за какую-нибудь провинность на виселицу моего отца, а там, глядишь, и меня с сыном?

Нина зарыдала, прижимая к себе плачущего маль-

чика, все больше отстраняясь от Церена. В глазах ее был ужас.

— И это я любила такого человека, перессорилась ради нашей любви с родными...

— Ниня! Постарайся понять!.. Выслушай!

— Не пойму!.. Нельзя такое понять, Церен!.. Уходи, пожалуйста!

Впервые после похорон матери Церен заплакал: от обиды на Ниню, на себя, на судьбу.

Так продолжалось долго. Они молча плакали. Ребенок уснул.

Окна во флигеле обычно не занавешивали до глубоких сумерек. Сейчас же, после прихода Церена, Ниня забыла обо всем на свете, не только о шторах. И напрасно! В разгар перепалки, возникшей между супругами, когда Ниня в отчаянии плакала и гнала от себя Церена прочь, на крик в комнату вошла тетя Дуня. Поглядывая на кроватку с уснувшим ребенком, она молча достала из нижнего ящика комода стекло от керосиновой лампы и трясущимися от волнения руками принялась надевать его на проржавевшую горелку. Стекло не влезало в узорчатое гнездо горелки, лампа на гвозде колыхалась, зажженный фитиль отчаянно коптил. Церен подошел и помог женщине. Комната осветилась, и сам он, Церен, стоял рядом со взыгравшей пламенем лампой озаренный. Ниня, взглянув на мужа, тут же притихла, будто увидела в нем свое отражение, некий укор себе, принялась поправлять сдвинутую набок кофту, тронула волосы, подошла к зеркалу.

В эту минуту произошло что-то и во дворе: громко стукнула дверь в господском доме, на присыпанной галечником дорожке послышались резкие, мужские шаги. Церен понял по частому тяжелому скрипу: к флигелю приближаются двое. «Кто и кто?»

Дверь рывком распахнулась. Ниня мгновенно отирпнула от комода, прижалась спиной к зеркалу. На лице ее Церен увидел ужас, рот распахнулся в немом крике... В прихожую вошел, ухмыляясь и подергивая жидким усиком, Борис.

— А-а, гад! — процедил он, увидев Церена. — Ну, что я тебе говорил? Вот и встретились... Встретились же?

Борис дико всохотнул, почти взвизгнул, повторяя

вопрос, и от этого его крика завожился в кроватке малыш. Тетя Дуня кинулась к ребенку, прикипела к зыбке, слегка поколыхивая ее.

Борис шагнул мимо растерявшегося Церена к столу. Однако как ни странно, Церен не испугался его появления. Он глядел больше не на Борнса, а на Нину, оцепеневшую, с раскрытым ртом — в нем будто застыл крик. Лицо Нины постепенно менялось. Гнев на Церена и упрек, которые, казалось, навсегда запечатлелись на ее лице, по крайней мере, на время встречи с Цереном, уступили место растерянности и жалости к мужу. Глаза Нины словно спрашивали: «Что же теперь? Ну, подумай, Сиреньчик!» А Церен в свою очередь думал о спасении Нины и ребенка, больше ни о чем. Отчетливее, чем когда-либо прежде, он понял, прочитал на лице жены: она любит его, любит сильнее, чем брата, и сейчас на что-то решится. Минуту тому назад Нина готова была отринуть от себя мужа, избавиться от него навсегда и даже вслух говорила об этом. Сейчас взгляд ее испепелял, выталкивал из комнаты уже не его, виноватого во всем происходящем, а Борнса.

Борис, едва не задев лампу, висящую над краем стола, заученным движением караульного выволок носком сапога из-под стола табурет и, пропустив его между длинных, в галифе, ног, уселся.

— Спасибо Таке! — рассуждал убогому офицер, отерев взмокший лоб тыльной стороной ладони. — Подрыл парень стену в вашей вонючей кутузке, себя вызволил и мне руку подал... А ты... Развалю твою красную башку одним махом!

Борис взвился над табуретом, лицо перекосилось, губы повело в сторону. Вопя, он выхватил пистолет и взметнул его над головой Церена. В дверях, не смея пройти дальше, появился Бергасов сын, Така.

В это время Така, не без помощи кого-то третьего, оказавшегося сзади, грузно отвалился от притолоки. В комнату ворвался в плохо застегнутых брюках на одной помочн поверх голубоватой байковой исподней сорочки Николай Павлович. Губы старика были синими, как у покойника, и тряслись. Он стал между Борнсом и Цереном. В молчаливой потасовке с сыном отцу удалось овладеть пистолетом. Ему помогала Нина, хватая Борнса за руку сзади.

Впрочем, родительская акция не была помощью ни Церену, ни дочери. Отдышавшись, Николай Павлович принялся спокойно, с присущей ему деловитостью в голосе поучать сына, как следовало бы действовать, чтобы не оставить следов.

— Ты же боевой офицер! — принялся отчитывать старший Жидков младшего. — Не понимаешь простых вещей!.. Нашел, где применять оружие — в собственном доме, на глазах у сестры и няни... Завтра всем это станет известно! Ты скроешься, а кому отвечать? Хозяину дома?.. Вы все хотите моей смерти! Что дочь, что ты!.. Паршивую собаку пристрелишь, а отца потянут на виселицу?.. Ты об этом хоть подумал?

Борис, согнувшись, вытирал лицо, тяжело дышал от обиды. Отец продолжал наставительно:

— Свезите в балку, а там... Кого по нынешним временам не носит судьба проселками?.. Шел солдат и нет его... Ясно, болван?

Николай Павлович пиул ногой табурет и шагнул в темноту за дверным проемом, откуда по-волчьим светились глаза отступившего в сени Така.

Пистолет, оставленный отцом на столе после схватки, какое-то время лежал рядом с кувшином, никому не нужный. И лишь когда Нина, вроде бы смахивая полотенцем крошки со стола, протянула к нему руку, Борис, все время краем глаза наблюдавший за единственным здесь предметом, дающим ему силу над остальными, опередил сестру. На большее, чем исподтишка завладеть оружием, Нины не достало... А могла бы она — ловкая, напряженная в ту минуту и, несомненно, более сильная, чем брат, — могла бы выхватить у Бориса пистолет, понимала, что могла! Как жалела об упущенном моменте после!

Борис и Така без уговору принялись связывать Церена. Когда Така крутанул раненую руку мужа, Нина застонала от боли, будто рука была ее, рванулась, схватила Таку за ремень, потянула в сторону. Борис сильным ударом отбросил Нину к кровати.

Церена повели в подвал — так послышалось Нине в словах брата. Она в бессилье зарыдала. В ней еще не угасла обида на Церена. Муж, по ее убеждению, где-то там на стороне, поступил точно так же с Борнсом, а теперь пришел час возмездия... Выходило, что Церен

пожинает сейчас то, что сам посеял... «Да, — шептал внутренний голос Нине. — Но ведь Церен — муж, любимый человек, тот самый, единственный, как жизнь, как молитва во спасение... Брат — своя кровь! Но он сегодня здесь, завтра далеко, а послезавтра еще дальше... А с Цереном жить!.. Жить ли? Вдруг они нынешней же ночью отнимут у него жизнь? Тогда как?.. Нет, этого не должно произойти! Что угодно, только не смерть Церена!»

Жестоким теперь выглядел в глазах Нины и отец. С каким равнодушием к ее судьбе, как непривычно для его мягкой натуры и цинично прозвучали слова: «В балку... Никто не узнает!» — «А я? Твоя родная дочь!.. Или для тебя я перестала существовать вместе с Цереном? Но я еще жива и даже не связана по рукам и ногам! А значит!..»

Внутренний голос побуждал ее к действию.

Первое, что пришло в голову Нине, — зареветь и броситься вслед. Этого, конечно, мало, но что же другое? Другое придет позже.

Нина резким движением ладони отерла слезы с лица. Взглянула на кроватку, в которой разбросался сын, посмотрела на согбенную спину няни. Тетя Дуня опустилась в углу на колени и усердно отбивала поклоны, часто-часто, захлебываясь словами, читала молитву. Нине показалось, что женщина произнесла: «Церен...» Не за упокой ли Церена?.. Могла ведь и рехнуться баба. Церен — нехристь в ее понятии... При чем его имя в молитве? Не за упокой ли?

Эта страшная мысль вынесла Нину за порог. Борис неумело — он никогда этого раньше не делал — провоцировал в скважине пудового амбарного замка мохнатый от ржавчины длинный ключ. Разгоряченный Така помогал ему, ухватившись обеими руками за замок. Оба свирепо матерились от бессилия справиться с непокорным замком.

«Значит, решили пока в подвал!» Нина, хотевшая было кричать, протестовать, звать на помощь, длинно, с перехватом вздохнула. Но тут же ей взбрело кинуться на врагов Церена. Наскочив сначала на Таку, она побабь, обеими кулаками замолотила по спине, да так удачно, что тот прынул в сторону и споткнулся, упал у порога. Борис оставил замок, схватил Нину за косу.

Но тут же отпустил, получив резкую, звонкую пощечину. Второй ее удар пришелся брату по носу — Нина на этот раз целнулась. Она знала, Борис, при всей его кичливости военного, спасует, увидя кровь. Вид собственной крови всегда парализовывал его, приводил в отчаяние. Когда Борис заметил на взлетевшей ладони сестры красное пятно, пятно своей крови, глаза округлились, губы искривились, как в детстве. Еще щелчок, и ой заревел!

Но это уже был не мальчик!

— Така! — властно окликнул он. — Хватай ее, Така!

Бергясов сын навалился сверху, словно опрокинутая арба с сеном. Нину со связанными руками водворили во флигель.

Борис долго фыркал под рукомойником. Затем вытер лицо, осмотрелся в зеркало.

— Ты, стерва, пускаешь кровь родному брату из-за какого-то грязного калмыцкого хахала! — вскричал он в ярости, забыв в эту минуту, что слова его слушает другой калмык. Впрочем, тут же, взглянув на Таку, поправился: — Сейчас мы прикончим Церена, как собаку, а тебя... а ты... ляжешь в постель с Такой!

Сынок Бергяса хмыкнул, по-лошадиному переступив ногами, готовый выполнить приказ.

Тут подала голос творившая свою бесконечную молитву тетя Дуня. Со слезами в голосе вскричала, замала руками на Таку:

— Ушел бы ты отсюдова, бусурман! Иди! Ай не видишь: брат с сестрой разговаривают.

Така, взглянув на Бориса и не получив от него никаких распоряжений, удалился.

После ухода Таки Борис заговорил тише. Сейчас он больше походил на прежнего мальчика Бориску, которому в детстве не однажды перепало от бойкой младшей сестренки. Тем не менее слова его были отнюдь не детскими:

— Если тебе понадобится калмык, получишь калмыка! Все они на одно лицо!

Нина, отчаянно выкручивая себе руки, пыталась освободиться, вскидываясь на полу: весь ее вид говорил — как ей хочется ударить брата и что она никогда не простит ему этих слов. Кусая в кровь губы, она подка-

тилась к скамейке, на которой сидел Борис, проговорила сдавленным голосом:

— Боря! Братик мой!.. А может, ты сам?.. Ну зачем же калмыка звать? Ты теперь, я вижу, всему обучен...

Борис, услышав такое от Нины, в отчаянии прижал ладони к ушам и завопил:

— Сволочи!.. Вы меня с ума сведете в конце концов!

Впрочем, он быстро справился с истерией. Он видел, слова его ранят Нину сильнее ударов. Выждав, когда тетя Дуня отойдет в сени затворить дверь за Такой, он тут же поднялся и последовал за нею. Там, в сенях, Борис выпроводил упирающуюся няню на крыльцо, зло накричал на нее, прогоняя. Она с плачем удалась. Борис закрыл дверь флигеля на клямку и чем-то подпер ее снаружи.

— Жди гостей! — злорадно крикнул в окно. Шагн его стихли, и все вокруг охватила жуткая, зловещая тишина. Лишь посапывал малыш в кроватке.

Сначала Нина пыталась освободить руки. Однако новый сатиновый платок крепко держал стянутые двумя мужскими запястьями. Перекатываясь по полу с места на место, она разглядела за печкой топор. Ей удалось подтолкнуть топор связанными ногами к порожку и далеко не с первой попытки поднять его торчком, лезвием вверх. Через минуту Нина уже ощущала спиной холодную близость заостренного железа. Рискнув располосовать себе руки и спину, она, как могла, осторожно пропустила между стянутыми ладонями лезвие. Наконец почувствовала: сати с легким потрескиванием рвется... Немеющие от напряжения перетянутые руки обрели свободу...

Нина с минуту сидела у порога, давая рукам набраться силы. Затем с трудом, прибегнув опять к помощи топора, развязала узлы веревки. Ноги связывал Така, для этого он принес из сеней остатки какой-то сбруи и действовал заученно, как путал перед выгоном в степь выездных лошадей.

В дверь, конечно, не выйти... Она снимет створку глухого окна, выходящего на огороды, откуда сейчас ее никто не заметит.

Пока она лежала связанной и освобождалась от пут, родился дерзкий план спасения Церена. Конечно, ни мать, ни тетя Дуня, наверное, тоже запертая где-нибудь,

не помогли бы ей в этой затее. Все придется делать самой и все брать на себя.

У подвала прохаживался часовой... Знать, Борис нагрянул в хутор не только с Такой!.. Братец все предусмотрел. Не мог он позабыть — тетя Дуня, как и покойный дед Наум, жалела и любила Церена. Тетя Дуня небось тоже откуда-нибудь поглядывает сейчас на дверь погреба, украдкой вытирая слезу. Обреченных на смерть не оставляют без присмотра. Всегда найдется добрая душа, спасет! Но Нина не могла надеяться на шальную удачу.

Главное, размышляла она, отвлечь часового. А уж силы, чтобы сорвать замок, у нее найдутся. После того как ей удалось с таким трудом освободить руки, она поклялась никогда больше никому не позволить лишить ее рук! Даже если ради этого придется расстаться с жизнью. Пока свободны руки... О, она лишь сейчас почувствовала всю ловкость, всю силу своих молодых рук. Тяжелая, набухшая рама глухого окна, которое за все лето ни разу не открывалось, слетела со ржавых петель, как пушника... Нина готова была кинуться на часового, сбить его с ног и, быть может, проломить голову. Но понимала — с рослым, откормленным мужчиной ей не справиться. Ему ведь достаточно крикнуть, позвать на помощь. Да мало ли чему их там обучают в армин, как защищаться при нападении. А здесь в случае неудачи и покричать некому.

Свой план освобождения Церена Нина начала осуществлять как бы с конца, с момента, который занимал ее воображение все время, пока лежала связанной. Она пошла в конюшню, оседлала одного из Борисовых коней, увела к пруду и привязала на длинном поводу к тополи, чтобы скакун мог дотянуться до травы под деревом и не заржал ненароком.

В сарае среди огородной утвари отыскался ломик-гвоздодер: дед Наум иногда сколачивал ящики для помидоров, и Нина не раз наблюдала, как ловко извлекал конюх глубоко сидевшие скрюченные гвозди.

Не выпуская ломика из рук, Нина торопливо приблизилась к сараю и, чиркнув спичкой, поднесла огонек к пучку соломы на повети. Огонь быстро охватил весь задний скат крыши, пламя заплясало выше конька.

Громко трещал камыш, служивший настилом для солом.

Пока все шло, как представлялось Нине: кто-то увидит пожар, люди всполошатся, забегают.

По двору действительно заматались тени. Вот и часовая, схватив валявшееся неподалеку пустое ведро, кинулся к колодцу.

Нина просунула расплющенный конец ломика между доской и клямкой замка. Рыжая шляпка гвоздя повлыла вверх. За первым выскочил и второй гвоздь. Пугавший прохожих огромный амбарный замок был теперь просто куском железа.

— Скорее же! Скорее! — торопила Нина громким шепотом, сбегав по ступенькам в темноту. Блики пожара уже разрывали сгустившуюся тьму вокруг погреба.

Церен так и не отнял своей руки от руки Нины, пока они бежали задами огоронов, перепрыгивая через кучи картофельной ботвы, Церен задыхался от бега и еще больше от волнения.

— Родной человек ты мой! — сказал он Нине, обнимая. — Спасибо тебе за все.

— За то, что люблю! — поправила она резко, помогая мужу сесть в седло.

Перед тем как прищипорить скакуна, Церен спросил о том, о чем он думал со дня появления сына на свет:

— Сына сможешь уберечь?

— Да! — сказала Нина уверенно. — Если тебя пока сберегла, то сына... А как назовем мальчика? — вдруг спросила она мужа.

Церен на миг задумался. «Неужели у сына еще нет имени? Значит, нет!..»

— Пусть будет Чотын!

— Как? Разве есть такое имя? — В голосе Нины обозначился испуг и удивление.

— Это имя принадлежало одному очень хорошему человеку! Ты привыкнешь к нему. Оно прекрасно.

Церен круто развернул коня в сторону глубокой балки.

Нина метнулась к флигелю, где заходился криком ребенок.

Посреди неохватной глазу степи, будто огрех нердивого косаря, сплеховавшего второпях, сиротливо жмутся друг к другу джолумы калмыцкого селения с красивым именем Чилгир — светлое, чистое... Кто-то из основателей хутора, похоже, искал для нового сельбища доброе слово, поярче, душевнее... Но неточным оказалось название предков, добавили нечто насмешливое. А может, вдаль глядели степняки! Надо же такому случиться, до сих пор голову ломают люди: именно в этом селе собрался Первый съезд Калмыкии.

Начало июля 1920 года... Обычно к этой поре на степь насаждает жара, солнце жалит все живое, вода в прудах испаряется, травы жухнут, поверхность земли берется трещинами, каменеет. Степь становится как бы неживой, страшной. Жаркое дыхание ветров в июле не удивляет калмыка.

В том памятном году ранней весной насыпало снега в пояс, май выдался дождливым. Буйное цветение трав как бы передвинулось на месяц, в июле продолжался май и июнь. Степь полыхала цветами, теплые ветры разносили духмяный воздух степей, казалось, по всему Поволжью.

Похорошело в обрамлении моря тюльпанов и наше Беспросветное, стало больше соответствовать истинному своему названию — Чилгир. Сюда съехались представители улусов из Астраханской и Ставропольской губерний, с Дона и Маныча, с побережья Кумы. Прибыли посланцы из далекой Оренбургской губернии. Гонцы побывали в каждом хотоне. Первый съезд, быть может, за всю многовековую историю калмыков! Съезд истинных тружеников степи, ее рачителей и заступников. Но место для его проведения в заурядном хотоне было избрано по особому расчету. Столетиями находились калмыки под двойным гнетом царской власти и местных работодателей. Получив из рук Октября свободу и права на собрания, степняки могли уже все решать сами, не ожидая высочайшего позволения. И они использовали это право самым неповторимым способом.

Если перечертить Калмыкию вдоль и поперек двумя невидимыми линиями, точка пересечения, некий географический центр, как раз и обозначится в этом Чилги-

ре — заурядном, скудном, вдали от проезжих дорог, зато уж беспорочно глубинном калмыцком поселении. На съезд собралось триста пятьдесят делегатов с решающим голосом и больше сотни с совещательным.

В хотоне тогда набралось около сорока приземистых мазанок с маленькими, будто кулаком продавленными в стене окнами. Была здесь русская церковь и несколько деревянных домов, выстроенных скупщиками скота и доморощенными кулаками. На фоне мазанок и островерхих кибиток деревянные дома смотрелись будто некие храмы. Да, но к чему здесь православная церковь?.. Не ради насмешек над послушниками будды возводили это сооружение с куполом и крестом в центре хотона. Калмыков никто не притеснял в их вере, но ставившие церковь надеялись: придет время, одни за одним потянутся местные жители ко всему русскому, в том числе к христианской вере. Царь преследовал свою цель: всех инородцев постепенно обратить в единую веру, научить молиться одному богу, подчиняться единой власти.

На восточной окраине Чылгира посланцы народо-властия сколотили к дню открытия съезда обширный барак, на сотни мест. Вокруг этого деревянного строения другие приезжие ставили кибитки, а в них, наподобие тому, что в бараке, врывали топчаны, завозили матрасы. В кибитках жили делегаты. Рассчитывали, что в каждой из них поселится пять-шесть человек. Но вместо трехсот избранных на съезд Чылгир посетил около тысячи любопытных. Многие степняки не понимали, почему сосед поедет на такое большое собрание, а ему не обязательно? Седлали коней делегат и не делегат...

В кибитку набивалось больше десятка взрослых. Спали по двое на одном топчане или ложились впокат на нарах.

Одна из таких кибиток досталась для ночлега Но-хашкину Церену, Нарме, Гахе, Бове Маиджиеву, Саижди Очирову... Под одной крышей с ними оказались еще четыре делегата из аймака Бухус. Этим повезло, потому что у каждого имелась отдельная узкая койка.

Временные жильцы собирались только к ночи. Питайлись все по-военному, с общей кухни. Делегатам были приготовлены подарки: кирпич калмыцкого чая и что-либо из промтоваров: отрез на рубашку, ботинки. Од-

нако праздничное настроение людям создавали больше этих нечаянных даров встречи с людьми из других улусов, всяческие новые знакомства, которым не было конца.

По своему характеру калмык общителен, его тянет к другому человеку. Степняк — существо непоседливое, кочевое. Ушел вслед за стадом и пропал с глаз на целое лето. Перекочует хотон на двадцать, а то и на пятьдесят верст в глубь степи — только от случайного прохожего и узнаешь, живы ли там свои и знакомые, что произошло за три долгих месяца. Как говорится: ни столбов, ни проводов. Вести только из уст в уста.

Большинство делегатов были бедняки и батраки, не знавшие дороги дальше окрестности родного хотона. Никто из них не участвовал в решении каких-либо дел общественного значения. Делегаты слушали выступления, не пропуская ни слова. В перерывах между заседаниями и по вечерам не могли наговориться между собой, спорили до хрипоты, удивляясь самим себе, откуда и слова берутся.

Пятого июля в восемь часов вечера закончился четвертый день работы съезда. Первые три дня не было отбоя от ораторов. После ужина Нарма, Церен и Гаха пришли в кибитку.

— Церен, с кем ты так долго разговаривал по-русски, сразу после обеда? — спросил Гаха.

— О, вы, друзья, не знаете этого человека. Его зовут Андрей Семенович... Это калмык, но приехал из Оренбурга.

— Город такой?

— Оренбургские калмыки больше двухсот лет живут среди русских. Язык свой они почти забыли. Ты же слышал, как он выступал: слово по-калмыцки, два по-русски. Но сердцем он степняк, пастух настоящий. Давно эта группа единоверцев отбилась от наших предков, осталась на Урале. Теперь вот хотят слиться воедино... Такую весть он повезет в оренбургские степи. Поэтому расспрашивает дотошно, чтобы не подвести своих и чужих.

Нарма слушал, высказал сомнение:

— И те делегаты, что с Кумы, и донские твердят одно: хотим жить вместе... Где же мы разместимся?

— Власть новая, и условия жизни переменятся, —

толковал однихотонцам Церен. — Вы видели, сколько земли у Онкорова, у Бергяса? Таких богатеев по степи не перечесть! Отберем у них владения и раздадим переселенцам. Не от хорошей жизни они разбредлись по чужбинам.

Беседу их прервал вошедший в кибитку человек в краснозвездном шлеме. Церен сидел спиной к двери и не сразу заметил вошедшего. Когда обернулся, вскрикнул удивленно, побежал гостю навстречу:

— Шорва, менде! Каким ветром?

После ранения Церена на Маныче друзья надолго разошлись. Церен, конечно, знал, что Шорва служит в армии, ведет непоседливую походную жизнь. Несмотря на изгон белых, врагов у Советской власти не убавлялось:

— Еле отыскал тебя, — произнес Шорва, озаряясь своей широкой полудетской улыбкой. Он тут же уселся на кошму, подобрав под себя ноги.

— Разве ты не делегат? — с ноткой обиды в голосе принялся допытываться Церен. — Почему до сих пор не объявлялся?

— Дай, пожалуйста, отдышаться, все узнаешь. Сначала возьми сверток... Отвезешь моим старикам в подарок. Так же, как и вам, мне вручили пакет. Плитка чая и пять аршин ситца. Отрез пойдет маме на платье.

— Не беспокойся, все будет сделано! — заверил Церен.

Шорва, переведя дух, продолжал успокоенно:

— После твоего ранения нашу сотию слили с калмыцким кавалерийским полком. Сейчас мы под Краснодаром. Почти ежедневно рубимся то с зелеными, то с голубыми, то черт знает с какими. Наш эскадрон прибыл сюда обеспечить охрану делегатов от возможного налета местных банд.

— Что же ты глаз не кажешь? — с обидой упрекнул друга Церен. — Четыре дня съезд.

— Мы за селом, Церен, не здесь... Днем и ночью в карауле... Да и откуда знать, здесь ли ты? Вчера только удалось заглянуть в списки делегатов. А сегодня, как видишь, мы уже вместе!

— Ладно, снимаю с сердца обиду! Садись за чай. — Церен разлил в пиалы джомбу.

— Увидел как-то Араши Чапчаева... Худюший ходит, но веселый... Не узнал он меня...

Шорва спешил выговориться, пересказывал с одного на другое.

— Ха! Ну и сказанул! — Церен насмешливо устался на Шорву. — Когда он видел-то тебя? Еще мальчишкой! А сейчас ты красный командир.

Шорва спохватился:

— Да, не забыть бы спросить: как там у вас с Ниной? Имя уже придумали сыну?

— Помирились! — Церен почесал пальцем переносицу. — Я их забрал в ставку. А паренька называли Чотыном. В память о незабвенном старце, отдавшем жизнь за народ.

— Вот это дело! — воскликнул Шорва радостно. — Я тоже дам такое имя, если сын появится. Пусть на свете не убавляется Чотынов.

Друзья помолчали, отхлебывая из пилы, лаская друг друга взглядами. Каждый из этих двух понимал: вот-вот разлучатся, а когда новая встреча — неизвестно.

Церен не дождался, пока Шорва сам заговорит о Кермен, и осторожно спросил друга о девушке. Ответ был не радостным:

— Несколько раз писал я ей — молчит... Не глянул-ся я ей, пожалуй...

— Не спеши, мой друг, с обидами на девушку! — предупредил Церен. — Вот ты научился в Красной Армии читать и писать, а в джолумах наших все так же темно, как тысячелетие назад. Разве забыл, что в Шар-Даване ни одного способного водить карандашом по бумаге? Теперь представь себе; может ли девушка-калмычка ходить от кибитки к кибитке в поисках грамотея, тем более — довериться ему в своих сердечных делах! Весной я ездил в Цаган-Нур, по пути завернул в Шар-Даван. Кермен вся засияла от счастья, когда узнала, что мы недавно встречались... Ждет тебя девушка!

— Успокаиваешь? — требовательно посмотрел Шорва на друга. — Ладно, поверю и на этот раз.

— Сердцу своему верь, друг! Кермен не растратила этой веры.

— Как вы с Ниной?

— Терпим, брат, терпим! Война!

Вошли Джергя, Шалаев, Санджи Очиров, с ними двое из делегатов. Церен представил им Шорву.

Едва отрекомендовавшись, командир сотни посмотрел на часы и заявил по-войсковому:

— Разрешите идти? Мне пора.

Часы с серебряной крышкой и звоночком привлекли внимание Нармы.

— Ого! — воскликнул бывший батрак. — Часы как у зайсана.

— Именной подарок комдива Ханукова... За успешную операцию по уничтожению банды! — доложил Шорва, взяв под козырек.

Церен вышел проводить друга.

— Отпросись, Шорва, после съезда на неделю, навести Кермен. Будь понастойчивее: если согласится, увези ее домой, оставь у своих родителей.

— Церен, не будь таким простаком! Разве она поедет со мной без свадьбы?

Церен, кажется, все продумал до мелочей.

— Может, и поедет! Время сейчас тревожное... Если какой-нибудь парень приедет сватать да задобрит старуху, наврет, как в свое время наврал ей о тебе Така — ищи тогда, кто из вас прав, кто виноват... А ты не дремли, вояка. Не согласится уехать — засватай ее и возвращайся в полк!

— Ой, Церен, — вздохнул Шорва будто перед тяжким испытанием. — Не осрамится бы этому вояке. Но выхода нет! Будь по-твоему!

Он вскочил на коня.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В июле 1921 года Араши Чапчаев выехал в Москву. Из-за недостатка кормов уже летом начался падеж скота. Поволжье голодало. В столице работала Всероссийская комиссия по оказанию помощи голодающим. Комиссия эта отнеслась с пониманием к подробной докладной записке Калмыцкого ЦИКа: что сделано на месте по спасению семей скотоводов и на какую помощь надеются из центра.

Семьдесят четыре тысячи пудов мяса и другого продовольствия снабжала Москва бедствующим жителям степи. Кроме того, выделялась крупная денежная сумма.

Обрадованный такой щедрой помощью, Араши несколько раз перечитал полученную бумагу и тут же засобирался с доброй вестью домой. Ему оставалось заглянуть в канцелярию ЦК РКП(б), чтобы сделать отметку в подорожных документах. Здесь, на Старой площади, он и столкнулся с Вадимом Семиколеновым — тот выходил из здания ЦК.

Араши опешил вначале:

— Это ты?.. Здравствуй, Вадим Петрович! И ты здесь? Как там у вас в Поволжье — худо?

— Не легко и там, — ответил Семиколенов. — Но я со вчерашнего дня — москвич. Сюда перевели... Не знаю, уживусь ли, но пока здесь. Привыкаю к Москве-матушке.

— А не привыкай, Вадим!.. Если бы ты знал, как нам в Калмыкии нужны знающие люди!

— Араши, друже, не агитируй! Я хоть сейчас с тобой махнул бы в степь, на вольный воздух! Но только не на большую должность... Измотался за гражданскую: простуды, сыпняк, недоедания...

— Нам как раз первого секретаря недостает.

— Не потяну с нынешним здоровьем, понимаешь... А как-нибудь работать не умею. Привык с полной отдачей.

— Но если хорошенько подумать? И принять мои слова как просьбу друга? — не терял надежды Чапчаев.

— Знаешь, Араши... Если бы мы вчера встретились, может, как-то договорились бы. Но я уже дал согласие... Посчитают несерьезным.

Араши на миг задумался. День у него был сегодня на удивление удачным, а как повезет — только не зевай!

— Послушай, Вадим, — сказал он вполне серьезно. — Я ведь человек везучий — так до сих пор считают в степи... Еще со времени суда над зайсаном... Вот возьму сейчас да еще раз постучусь в высокие двери, где теперь своя родная власть. По шее не дадут, если и откажут.

— Действуй! — разрешил Семиколенов. Он-то знал, что его назначение на новую должность в Москве уже состоялось по всей форме. Пусть чужак-человек сам убедится, чтобы после обиды не было. Но на другой день после их разговора Араши разыскал Семиколенова в гостинице «Метрополь» и вручил ему назначение в Калмыкию. А еще через день Араши и Вадим выехали вместе из Москвы.

В Царицыне их ждала машина. До Астрахани они добрались только в одиннадцатом часу вечера. Но, несмотря на долгую дорогу, на следующее утро Араши и Вадим уже были в старом доме на Облупинской площади. В здании этом размещались Калмыцкий ЦИК и вновь созданный Калмыцкий обком РКП(б). Занимающий две должности, Араши Чапчаев работал в кабинете председателя ЦИКа. И заседания бюро обкома он проводил в том же кабинете — зал заседаний еще не был отремонтирован.

Уже утром были оповещены члены бюро и президиум исполкома. Когда все собрались, Чапчаев доложил об итогах поездки в Москву, рассказал о помощи, которую выделила калмыцкому народу Всероссийская комиссия.

— И вот, товарищи, еще какая нам помощь оказана, — сказал Чапчаев, когда гул одобрительных возгласов умолк. — Хочу представить вам Вадима Петровича Семиколенова. Некоторые из вас знают товарища Семиколенова по гражданской войне... Он далеко не новый человек в нашем крае. Цека направил его на работу к нам. О его конкретном занятии мы и поговорим на бюро. Правильно я говорю?

Давно так много не шутили и не улыбались члены бюро, как на этом заседании.

2

Когда все разошлись, в кабинет Чапчаева вошел, опираясь на палку, невысокий, плотного сложения человек с редкими зачесанными назад русыми волосами, положил перед ним корреспонденцию за последнюю неделю, хотел было идти, но председатель остановил его вопросом:

— Что здесь неотложное?

— Три дела мне показались наиболее важными. Они в папке сверху, — ответил секретарь.

Чапчаев, пробежав глазами два письма, тут же написал, кому из руководителей отделов ями заняться. В третьем письме замелькали знакомые фамилии. По ходу чтения Араши ронял фразы, понятные Вадиму:

— Из Шорвинского улуса... По поводу исключения из партии Нохашкина Церена. Да тут целая пачка бумаг... Докладная записка улусного прокурора... Дела!..

— Исключение из партии Церена? — изумился Вадим.

— Протокол на девяти страницах, — покачал головой Чапчаев... — Постой-ка, мне говорили, что вчера из улуса вернулся товарищ Оркчинский...

— Совершенно верно, — подтвердил секретарь.

— Срочно пригласите ко мне Олега Лиджиевича! — распорядился Чапчаев. Секретарь вышел.

— Ну, что ж, Вадим, давай вместе разбираться. Читай! Я страницу, ты страницу...

Картина, обрисованная протокольными фразами официальных бумаг и дополненная рассказом пришедшего в кабинет Оркчинского, была мрачной. Под Церена кто-то подкапывался — хитрый и беспощадный...

После изгнания из Шорвинского улуса белогвардейцев Церен командовал взводом охраны. Это было нечто подобное улусной милиции, до организации специальной службы ЧОНа по защите населения от банд. Потом взвод усилили до сотни бойцов. Вскоре, после окончательного утверждения на местах Советской власти, в улусе была создана своя партийная организация. Ответственным секретарем ее избрали Кару Кандуева, ранее работавшего председателем исполкома. В председатели исполкома был выдвинут Нохашкин, причем на эту должность землякам рекомендовал Нохашкина сам Араши Чапчаев. Правда, когда решался вопрос, Кандуев решительно возражал против кандидатуры Нохашкина, предлагая в председатели Доржи Даганова. Но коммунисты улуса отдали предпочтение Нохашкину.

В начале мая, еще до выборов Церена Нохашкина в председатели исполкома, восемь вооруженных всадников проинкли на территорию области с другого берега реки Сал, саблями и выстрелами разогнали людей ближнего хотона, угнали целое стадо коров. В одном из ай-

маков по пути сожгли здание исполкома. Табуищики заметили: один из восьми всадников был в поношенной офицерской форме, без погон. Люди слышали, что налетчики обращались к своему главарю, называя его то господином капитаном, то господином полковником. Нашелся даже старик, слышавший фамилию главаря, вскользь произнесенную его сообщником: Жидов или Житкии... В Шорвинском исполкоме сразу поняли: речь идет о сыне бывшего скотопромышленника Жидкова.

Командир охранной сотии Церен Нохашкин, узнав от своих дозорных о появлении на территории улуса банды, тут же разослал по улусу разведчиков, а сам обратился к председателю исполкома Кару Кандуеву за разрешением обрушиться на налетчиков всей сотией, отрезать их от реки и переловить в хотонах. Кандуев был уже немолод, ему перевалило за сорок, и он уже привыкал беречь себя, не рисковать излишне.

Бросить всю сотию на ликвидацию банды, оставить улус с его учреждениями, а главное его самого, Кару Кандуева, и его семью без охраны, недавний улусный стряпчий, а ныне глава улуса устранился. «Нохашкин снимет охрану, кинется в погоню за бандой, а вдруг эта банда повернет удила на незащищенный улус?»

После короткого, неприятного для обоих объяснения, Кандуев разрешил снять с охраны лишь половину бойцов. Сознавая, что этого мало для охвата большой территории, Церен рванулся в погоню. На ходу он расчленил полусотию на пять групп... Одну из групп возглавил сам.

На исходе второго дня группа Церена настигла бандитов в глубокой балке. Бойцы спешили, началась перестрелка. Двое бандитов залегли у пулемета, еще четверо стреляли из винтовок со склонов балки. Балка простреливалась насквозь, в организации обороны чувствовалась рука профессионального военного.

Пулемет создавал большие преимущества для тех, кто оказался на взлобке, заросшем кустарником. Кроме того, не все бойцы Церена были достаточно обучены правильным действиям в пешем строю. Двое полегли сразу. С остальными Церен прорвался к пулемету, забросав его

гранатами. Пулеметчики были убиты, еще два бандита погибли, сраженные меткой пулей Церена, а два, тяжело раненные, вопили и просили пощады. Но главарю и его телохранителю удалось скрыться.

Вымотанные погоней и напряженным боем на подступах к балке, бойцы валились с ног от усталости. Навигалась ночь. Преследование решили продолжить на следующий день. И порознь, группами, и вновь собравшись вместе, полусотня Церена обскакала все хотоны, расспросила скотоводов — никаких примет местонахождения Жидкова и его напарника по разбою обнаружить не удалось. Видимо, той же ночью они переплыли Сал и где-то затаились.

А месяц спустя, когда Церен уже заступил в должность председателя исполкома, в улус привезли известие: тот же беспогонный офицер с кучкой озверевших выроdkов напал на почтовые дроги, забрал письма и небольшую сумму денег, а девушку-почтальона изнасиловал.

Секретарь бюро улусного партийного комитета Кару Кандуев созвал срочное заседание.

Упомянув о пролетарском происхождении нового председателя исполкома, о его батрачестве и сиротском детстве, Кандуев обрушился на Церена за потерю рабоче-крестьянской бдительности, обвиняя его в пособничестве бандитам...

— Есть такое предположение, — с мстительной неотступчивостью заявил Кандуев на бюро, уставившись в лицо Церена, — что товарищ Нохашкин, руководствуясь родственными чувствами, сознательно упустил в тот раз бандита Жидкова... И потому, товарищи, — с прежней напористостью продолжал Кандуев. — Нам необходимо поставить вопрос о поведении коммуниста Нохашкина на обсуждение.

— Не спешим ли мы с обсуждением Церена? — спросил один из членов бюро.

— Не спешим ли? — На территории улуса хозяйничает банда, товарищу Нохашкину еще месяц тому назад было поручено ликвидировать ее... Он приехал и доложил: с бандой покончено. И что же?..

— Это было не совсем так, — пытался возразить Церен.

— А вам, товарищ Нохашкин, — оборвал его председательствующий, — слова еще не давали. Сначала ответьте на несколько вопросов, потому что членам бюро, как видите, не все ясно. С бандой вы столкнулись в балке, банду уничтожили — и вновь Жидков орудует почти в тех же местах?

— В балке я был не один, целое отделение бойцов! Любой из них подтвердит, что Жидкова мы не обнаружили ни живого, ни мертвого. Кроме того, всей полусотней мы прочесали местность от Элнсты до Царицына, каких-либо подозрительных лиц ни в одном хотоне не нашли.

— Предположим даже, что это так, — Кандуев хитро сузил глаза. — Но скажите нам: в те дни, когда вы с вашей полусотней преследовали банду, кто-нибудь из родственников главаря приезжал к вам домой?

— Да, позже я узнал, что мою жену навещала ее сестра Зинаида. Но какое отношение имеет сестра жены к бандитам, мне неизвестно.

— Да как же! Обе они родные сестры главаря банды! — выпалил свой главный аргумент Кару Кандуев.

Члены бюро удрученно молчали. Кто-то промолвил со вздохом:

— Ну и узелок!

Кару продолжал, входя в раж:

— Товарищи, члены партийного бюро улуса! Три месяца тому назад, когда наш уважаемый Араши Чапчаев рекомендовал Церена Нохашкина на должность председателя исполкома улусного Совета, я возражал. Я пытался убедить: выдвигать Нохашкина рано. Во-первых, он еще слишком молод, комсомольского возраста. Кроме того, а я до сих пор придерживаюсь этого мнения, мы как следует не изучили Нохашкина. Ну, хотя бы — как это могло получиться: атакуют пулеметное гнездо трое — два бойца и командир. Красноармейцы шли в атаку: один слева от Нохашкина, другой справа... Оба рядовых гибнут, командир целехонек! И глава банды жив и невредим! Чудеса, да и только!

— Товарищ Кандуев! В бою и не такое бывает: остаются живы из передней цепи, а погибают те, что во второй или третьей! — бросил реплику один из членов бюро — седоусый человек в военной гимнастерке. — Соображения ваши бездоказательны.

~~Кор.~~ Я высказываю здесь свое мнение, — не воспринял замечания Кандуев. — Выскажусь до конца: Церен Нохашкин мог сознательно упустить главаря банды. Главарь — не чужой человек Церену, родной брат жены. Здесь, я думаю, дали себя знать родственные чувства.

— Можю мне, так сказать, по ходу «обвинения» против меня сказать несколько слов? — попросил Церен и, не получив возражения, волиуясь, заявил: — Родственных чувств у хозяина с батраком не было и не могло быть. Моя семья не имела никакого отношения к Борису Жидкову, хотя бы уже потому, что я уехал по тревоге, ничего не сказав жене, куда еду... И кто мог знать: будет ли в той банде ее брат!

— Допустим, — продолжал все так же в тоне допроса Кандуев. — Почему в таком случае совпали эти, как будто бы очень разные события: в дом к командиру сотни приезжает сестра главаря банды, командир уничтожает или берет в плен практически всех участников налета, кроме своего шурина, главаря? Так вот, я могу ответить на этот вопрос: Нохашкин лишь делал вид, что ищет бандита Жидкова. Я приказывал тогда товарищу Нохашкину не возвращаться в улус, пока полностью не ликвидирует банду. Коммунист Нохашкин не только не выполнил мой приказ, но не выполнил свой партийный долг. Мне кажется, Церену Нохашкину не только руководить исполкомом рано, а и в партию его поторопились принять...

В кабинете после такой бурной речи Кандуева наступила гнетущая тишина. Большинство партийцев были люди в годах, они не раз видели в жизни и свою и чужую беду. Когда Церена выдвигали на должность председателя улусного исполкома, многие из них испытывали двойственное чувство: молод Церен, по существу паренек. Ну, нюхнул пороху, ну, боевитый. А здесь работа, что и мудрецу подчас не по силам, внове работа. Но пережившие немало невзгод люди эти видели также, как молодецки берется за всякое дело Церен, знали и ценили его прямоту, честность. Был, правда, серьезный довод против его кандидатуры: как-никак жена его — дочь крупного скотопромышленника, считай, наследница классового врага. Поди, проверь, чего она нахваталась от своего предприимчивого родителя. Хоть муж и считается головой в семье, да жена — шея. Куда шея повер-

нет, туда и голова клонится... Факт женитьбы Церена на сестре бандита, так умело обыгранный Кандуевым, давил сейчас на пролетарское самосознание членов бюро.

Подавал голос прокурор улуса:

— У меня вопрос к товарищу Нохашкину.

Церен выжидательно уставился ему в лицо.

— В день встречи с бандой вы приезжали домой или нет?

— В тот день — нет. Только через пять дней я смог навестить семью.

— И те пять дней вы все время были на глазах у людей? Никуда не отлучались?

Церен вздохнул удрученно:

— Все пять дней я ни на минуту не оставлял своих бойцов.

Кандуев, поискав кого-то глазами в заднем ряду, предложил:

— Не послушать ли нам очевидца встречи дочерей капиталиста Жидкова у дома председателя улусного исполкома товарища Нохашкина.

Все обернулись на мешковатого, с одутловатым лицом заведующего отделом исполкома Даганова, претендовавшего на должность председателя. Пряча глаза в косматых бровях, он начал рассказывать, будто хорошо заученный урок:

— В те самые дни, когда командир сотни преследовал банду, к дому Нохашкина подъехала запряженная породистыми лошадьми линейка. Из дома вышла с ребенком на руках жена Церена. Она очень обрадовалась приезду сестры с мужем, таким важным русским господином в шляпе. Я, конечно, не мог слышать всего их разговора, но одна фраза запомнилась. Сестра жены Нохашкина плакала, подносила платок к глазам и все время твердила: «Борис просил... Борис говорил...» Нина тоже плакала и успокаивала сестру. Я ушел к себе и весь день наблюдал за домом Нохашкиных. Гости уехали только к вечеру.

После Даганова говорили прокурор и заведующий улусным отделом здравоохранения, пожилой врач Коноплев. Оба сходились на том, что лишь по таким приметам и косвенным уликам обвинять человека в соучастии с действиями банды непозволительно. Нужна более

детальная проверка фактов, сопоставление событий, прежде чем выносить дело на бюро. Трое, в том числе Даганов, склонялись на сторону секретаря бюро.

— Если Нохашкин считает себя настоящим коммунистом,— зло выкрикнул Даганов,— он давно должен был разойтись с женой, отец которой был эксплуататором и контрреволюционером, а брат оказался главарем банды! Церен не только пригреб гадюку на своей груди, но и гадинышей с нею плодит!

Церен вздрогнул, качнулся от этих слов, как от предательского удара. На миг он словно потерял сознание и сидел с закрытыми глазами, но придя в себя и почувствовав силу в руках, медленно поднялся и шагнул к Даганову:

— Что ты сказал о моей жене? — спросил Церен, приблизившись вплотную.

— Дратья надумал?! — с испугом отступил тот. — Смотрите, товарищи, Нохашкин готов напасть на человека, осмелившегося его покритиковать!

— Что ты сказал о моей жене?.. Повтори! — тихо и раздельно проговорил Церен, уже не замечая, что кулаки его сами собой сжались.

Зато все видел внимательно следивший за ним Кандуев. Он предупредил строго:

— Товарищ Нохашкин! Прекратите безобразие!

И Даганов, чувствуя поддержку со стороны секретаря бюро, повторил вызывающе резко:

— Я сказал: ты спишь с гадюкой!

Кулак Церена пришелся в рыхлую щеку обидчика.

— А это за моих детей! — выдохнул Церен, ударив с другой стороны. И тут же рванулся к выходу, но его задержали. Да и сам он понял, что разговор теперь пойдет куда более серьезный.

— Нохашкин, садитесь! — приказал Кару. Белки его глаз подернулись красными жилками, щеки пылали, будто Церен ударил его самого.

На то Кандуев и рассчитывал: затравленный им Церен в конце концов кинется в драку. Удовлетворенный, однако, тем, что удары пришлись по щекам Даганова, секретарь заговорил более сдержанно, входя в свою обычную роль председательствующего:

— Если бы Церен Нохашкин и не совершил других проступков, его хулиганские действия во время заседа-

ния бюро — пример незрелого поведения, не достойного звания коммуниста.

На этот раз защитников у Церена не нашлось.

— А вас, товарищ прокурор, я прошу привлечь Нохашкина к уголовной ответственности за хулиганские действия, — обратился Кандуев к прокурору.

Прокурор, все время сидевший безмолвно, ответил с непривычной для его положения резкостью:

— В подобных случаях привлекается и человек, спровоцировавший эти действия.

— Вы обязаны выполнить указание улускома партии! Как коммунист, вы подотчетны в своих действиях улускому, — придавив ладонью бумаги, заявил ему Кандуев.

На другой день на место председателя исполкома улусного Совета сел Доржи Даганов.

Побывавший совсем недавно в улусе сотрудник ЦИКа Оркчинский уточнил обстоятельства:

— Я побеседовал с каждым из членов бюро, а потом с командирами взводов и бойцами сотни. Вся сотня подтверждает личную храбрость Нохашкина и его преданность делу революции. Среди населения улуса явное недовольство решением улускома. Многие бойцы и оба командира взводов сотни подали заявление на демобилизацию. По словам участников преследования банды, Нохашкин все время был со своей группой. Кандуеву зачем-то нужно было скомпрометировать Нохашкина, возможно, чтобы продвинуть в председатели исполкома своего приятеля Доржи Даганова. Если бы Нохашкин не погорячился на бюро, пожалуй, все обошлось бы лишь неприятными объяснениями конфликтующих сторон...

— Все это скверно еще и тем, — отметил Вадим, — что об этом уже наверняка знает теперь каждый житель улуса!

— К сожалению, слухи уже расходятся, — подтвердил Оркчинский.

Араши стиснул виски ладонями.

— Вниоват во всем я! Ведь это я рекомендовал на должность ответственного секретаря улускома этого бывшего писарчука попечителя. Но ведь мы его посылали на курсы — такое рвение проявил! А в душе так и остался мстительным мелким хозяйчиком!

— Конечно, все это вздор — насчет соучастия Церена. Но поднять руку на товарища по партии, хотя бы тот был и неправ... — Семиколенов откровенно досадовал, обвиняя Церена в невыдержанности.

Араши, готовый казнить себя за промах с избранием Кандуева в секретаря, почти кричал в лицо Вадима:

— А если бы на твою жену кто-нибудь такое ска-
занул? Вспомни Пушкина! Не кулаки в ход пустил, за
пистолет схватился.

Вадим передернул плечами:

— Слава богу, я еще не женат... А женюсь... В об-
щем, не знаю... Думаю, что это не наш, не большевист-
ский метод доказывать правоту.

— Ладно, — медленно приходя в себя, сказал Ара-
ши. — Пушкин нам тут не поможет. Надо самим раз-
бираться. Мне ясно одно: Кандуев — не секретарь. Нуж-
на замена... Но кого послать в Шорвинский улус?..
Если бы ты знал, Вадим, как мало подготовленных
к партийной работе людей!

— Знаю, дружище! О том был у нас с тобою разго-
вор еще в Москве. Потому, что я знаю, как тебе здесь
трудно, я и приехал сюда, от столичных должностей от-
казался... Короче говоря, если доверяешь...

— Ты согласен на улус? — вскричал Араши, изум-
ленный. — Да мы тебя в обкоме заждались!

— А я к народу поближе!.. Ты ведь тоже меня зна-
ешь: не за чинами гнался — был в подполье, прошел
гражданскую комиссаром... Привык я к людям, Араши,
тянет к ним поближе... А? Давай по рукам?

Араши медленно опустил свою руку на подставлен-
ную ладонь Вадима.

В Шорвинском улусе Вадима Семиколенова хорошо
знали многие коммунисты, поэтому они единогласно
избрали его секретарем улускома.

Держаться так надменно на заседании бюро Кару
Кандуеву было нелегко. Ведь не простые люди со-
бирались, а самые достойные в улусе. Однако выручал
опыт прежней жизни человека изворотливого, двуликого.

Конечно, Кару знал, что Церен Нохашкин никакой
связи с главарем банды Жидковым не имеет. Готовясь

к неизбежной стычке с неугодным для него человеком, расспросил каждого из бойцов, гнавшихся за разбойниками, и проследил, таким образом, каждый день и час, вывернул каждый шаг командира. По отзывам бойцов, среди которых отнюдь не все любили своего взводного, Церен вел себя неустрашимо, ни разу не уклонился от боя; ел, коротко отдыхал на привале вместе с подчиненными, никуда не отлучаясь... Все это как раз и не нравилось Кару. А еще больше не по душе ему была излишняя самостоятельность Нохашкина, несговорчивость в таких делах улускома, где человеку военному полагалось только молчать и голосовать вместе с другими. На заседаниях Церен, по мнению Кару, вел себя так, будто слово старшего в улусе мало что значит для него, Нохашкина, у него, мол, есть свое мнение. Другой раз так получается, что исполкомовцы забывают о мнении председателя, ндут за Нохашкиным.

...Отец Кару Кандуева не был ни нойоном, ни зайсаном, но считался в округе человеком самостоятельным и... заносчивым, поскольку находился при должности смотрителя почтовой станции на тракте Ставрополь—Царцын. Привыкший угождать перед богатыми господами и получать чаевые, калмык этот баловал себя вином, а во хмелю распускал язык, выставлялся своим сыном Кару, который будто бы шел первым по учебе в Астраханской семинарии. «Вот посмотрите: окончит курс и в улусе станет первым!» — любил повторять он.

Бражники недоверчиво переглядывались, кося пьяным глазом: «Неужто попечителем поставят?»

Попечителем улуса по традиции мог быть лишь русский, из дворян или духовенства, но тороватому родителю казалось и такое возможным: «Женится на дочери астраханского купца — и в попечители назначат!»

Окончив учебу, Кару вернулся под родительский кров и принял дела писаря и толмача при попечителе. «Место с первого взгляда неказистое, — рассуждал отец. — Но если отнестись к своему положению с обдумкой, можно и здесь кое-чего достичь... Перед старшими, сынок, держи голову пониже, господам не перечь... А все остальное быдло — не замечай, табунщик и выпачканная в кизяке баба нам не родня, это ты теперь запомни навсегда. Но уже если кому сделаешь услуги на фунт,

веди себя так, будто твой фунт пуда стоит! Копейку вкладывай только туда, откуда рубль после возьмешь...»

Кару привык с детства видеть в отце ловкого добытчика, поэтому и слово его ложилось на душу веско. Калмыки почти сплошь не знали грамоты. Отослать прошение в ставку, заявить о беде по начальству могли разве при сговорчивости таких людей, как сынок Кандуева. Кару удался покладистым: не только настроит нужное прошение, но, если бедняк не поскупится на дары, доложит попечителю по всей форме. А то и напоминт — выберет удобную минуту, когда попечитель в хорошем состоянии духа. Глядишь — выгорело дело! Не нарадуется табуищик удаче, тащит во двор Кару вдобавок к барану курицу или индейку, а то и кошелку яиц... И от начальства за рвение к престольному дню серебряные рублики перепадут.

Случается в жизни такое — смерч набежит из степи!.. Откуда и возьмется непогода: все разворошит на подворье, сдвинет кибитку, телегу опрокинет!.. День, другой прошел, и человек с помощью соседей все на свои места расставит. Но бывает и так: бежит себе крохотный ручеек через поле, вьется после дождика тонкой струей, врывается в землю незаметно... Какой-нибудь год миновал, оглянуться не успели, а поле перерезано оврагом! Вчерашняя канавка преграждает путь пешему и конному... Так врезался за малый срок в жизнь улуса писарь Кару Кандуев!

Народные Советы стали возникать по хотонам, как добрые гробы в урожайный год. И везде нужен человек, способный и прочесть и написать! Кару оказался находкой для исполкома. Отца богатеem не назовешь, как возился с лошадьми на тракте, так и сейчас толчется на приезде двора. А если по пьяному делу когда и похвалятся старик преуспевающим сыном, кто же своему дитятку не рад, пробившемуся в люди?

Выкладывался Кару в исполкоме при новой власти с еще большим усердием, чем подле попечителя в прежние времена. Его ставили в пример другим, вслух подумывали о выдвижении. Пользуясь поддержкой, Кару не вдруг подал заявление в партию. Старшие по службе видели в таком шаге бывшего чиновника желание стать поближе к трудовому народу, доказать верность новой жизни.

Улусное руководство в ту пору часто менялось: кого в область выдвинут, кто на учебу собирается в Москву.. Однажды сложилось так дело, что Кару пришлось исполнять обязанности председателя!.. Сбывались честолюбивые мечты отца: его сын стал первым человеком в улусе!

На какое-то время Кару Кандуев вроде остепенился — нужно было закрепиться на столь высоком рубеже. А раз так, требовались надежные помощники, преданные люди. Жизнь подобна скачке в седле... Конь, хоть у него и четыре ноги, может споткнуться о случайный камень... Кто поддержит? А подиявшемуся над головами других всегда нужна опора. Кто же этого не знает! А тому, кто поддержит — не грешно и из общего котла подложить лакомый кусок... С одними Кару удалось поладить сразу, другие, по крайней мере, терпели его, не ставили палки в колеса. Не склонял головы перед Кандуевым лишь Церен Нохашкин! «Вот от кого жди подвоха», — думал Кару. Ну, а если получше разглядеть самого Церена, так ли уж прочно он сидит в седле? Что у этого батрачонка за плечами? Ликбез да красноармейские курсы?.. И в армии служил совсем недолго... Таких уж прочных связей с губернским руководством не замечается. Рассудить трезво: на одном характере да на честном слове держится человек! Такие быстро падают без поддержки от легкого толчка сбоку! Смотрящего вперед легко свалить ловко подстроенной подножкой... А тут и изобретать нечего: упустил бандита, брата своей жены!

4

Действительно, Борис Жидков успел в тот день скрыться в урочище Унгун. Только через двое суток, убедившись, что улизнули от погони, Борис вместе с Такой Бергясовым подался в родовое поместье отца, чтобы оправиться от страха, сменить коней и наметить новый маршрут.

Дом отцовский стоял унылый, с забитыми глазницами окон. С тоскливой болью Борис оглядывал одичавший сад и, нерешительно проскрипев по гравию дорожки, постучал в оконницу. Зина с мужем жила во флигеле.

Увидев Бориса через окно, Зина долго не открывала дверь. Пришлось стук повторить. И только тогда Зина появилась на крыльце, всхлипывая и неловко тыкаясь холодным носом в небритую щеку брата.

— Чего ревешь? — недовольно спросил Борис. — Или меня не узнала?

Зина молча повела его через сени в освещенный проем полуоткрытой двери.

— Дай чего-нибудь поесть! — потребовал Борис с порога. Убедившись, что кроме нее в комнате никого нет, вышел на улицу предупредить Таку, чтобы тот не отлучался от крыльца.

— Будет готов ужин — позову, — сказал Борис напарнику. — Сестра, кажется, одна.

— Вы же говорили, что она замужем?

— Не у каждой замужней бабы муж ночует дома, — грубовато пошутил Борис.

В комнате он сказал сестре:

— Свет потуши, чтобы не привлекать внимания прохожих.

И только сейчас он заметил, что сестра трясется, как в лихорадке.

— Что с тобой?

— Да знобко! — с досадой ответила Зина, кутаясь в шаль. — Я же только из постели. — Ей не терпелось и самой спросить: — Ты один, а что же с папой и мамой?

— Об этом после... Скажи, где муж?

Зина сдвинула брови:

— Зачем он тебе?

— Значит, он здесь, если говорить не хочешь! — заключил Борис. — А я думаю: из-за кого ты так переживаешь? Впрочем, не подался ли, сестрица, твой благоверный доносить? Может, он вместе с Нохашкиным выслеживает меня?

— Перестань! — оборвала Бориса сестра. — Сергею не до вашей поножовщины!.. У нас теперь есть дело...

— Ты как будто и не рада мне? — спросил Борис, вдруг поняв, что так оно и есть.

— Не выдумывай! Раздевайся, чаем напою... Или ты — насовсем?

Зине очень хотелось, чтобы Борис поскорее сбросил с себя френч, обвешанный этими страшными железка-

ми. До нее доходили слухи, что Борис в банде, но не верила этому, не хотела верить. В последний раз она видела его в новенькой офицерской форме с золотыми погонами и фуражке с кокардой. И очень гордилась братом. Теперь, когда Борис, одетый во что попало, со следами глины и болотной жижи на френче постучался воровски в дом ночью, заговорил с крыльца осипшим голосом, Зина испугалась и на всякий случай убрала с глаз мужа.

— Если твой муженек не красный, я его не трону,— заявил Борис, желая успокоить сестру.— А Нинке можешь передать: ее разлюбезного я прикончу, и рука не дрогнет!

Чтобы не продолжать этот неприятный разговор, Зина принялась стучать кастрюлями, готовить ужин. Сало, масло и кое-какой другой припас у нее имелись. Фамильные ценности отец в ее присутствии закопал между двух тополей у пруда, когда Борис приехал за родителями с эскадрой отступающей Первой Астраханской казачьей дивизии. Вещи эти ей теперь оченьгодились, хотя продавать их было тяжело, как память о прежней жизни, о родителях, которых она уже не чаяла и увидеть.

Запах шипящего на сковородке сала дразнил аппетит.

— Послушай, Зинуль, нет ли у тебя поблизости молочка?

— Сколько душе угодно! — воскликнула обрадованная переменной разговора Зина.— Но, может, подождешь, когда ячница поспеет.

— Не могу ждать! — признался брат, обводя кухню голодным взглядом.

Зина коротко всохотнула и метнулась в сени. Борис одним духом выпил кружку не остывшего после дойки молока и стал рвать зубами краюшку.

— Молочко еще есть! — напомнила сестра.

— Подожду!.. Может, тебе помочь? — предложил Борис, хлопнув чугунной дверцей плиты.

Зина молча посмотрела на разбросанную постель. Но вот встревоженный взгляд ее остановился на темном окне, на котором поигрывали отблески пламени, когда Борис заглядывал в пылающую плиту.

— Боря, там кто-то ходит, во дворе! — объявила сестра испуганно.

— Разве я не сказал: там мой товарищ.

— Снеси ему молока,— предложила Зина, снова тревожась.— Небось тоже проголодался.

— Еще бы! — мотнул головой Борис, осердясь, будто Зина была в том виновата.— Почти трое суток проторчали в балке... Така разрывал сусличы норы и жарил зверье... А я не смог есть... Едва не пропал... Между прочим, мы трижды подбирались к хутору и всякий раз натыкались на постороннего человека. Кто у вас вчера ночевал?

Зина опешила.

— Приезжал друг мужа из Цари... Они с Сергеем затеяли скупать скот у калмыков, а потом продают в Царицыне.

— У твоего мужа губа не дура! — позавидовал Борис.

— Жить чем-то нужно,— объяснила Зина.— Или тебе не нравится наше занятие?

— И жить нужно, и дело это ваше стоящее! — одобрил Борис. И вдруг спросил: — Может, твой Сергей и меня принял бы в компаньоны?

Зина ответила как-то неопределенно и засуетилась, собирая на стол.

— Ну, вот что, сестра,— заявил Борис сурово.— Хватит тебе играть со мною в прятки. Говори сейчас же, где твой Сергей?.. Он мне нужен.

— Зачем?.. В банду?

— Полегче со словами! — предупредил Борис.— Сказал же: не трону! Посоветоваться нужно.

— Не тронешь — оставь нас в покое. Мой муж не делал и не сделает тебе подлости.

— Ну какая ты зануда! — воскликнул Борис.— Поговорить с ним нужно. Клятву тебе давать, что ли?

— Дай слово брата! — потребовала Зина. Она тяжело и часто дышала от волнения.

Когда Борис дурашливо поклонился сестре, та, вздохнув и перекрестив лоб, позвала:

— Ладно, Сережка, выходи... Давай поверим ему в последний раз!

Из-под кровати выполз в нательном белье со взъерошенными волосами, диковато озираясь, невысокий человек и виновато стал у стола, на котором уже повсюду дымилась на сковородках картошка и яичница.

Борис зашелся смехом.

— Тоже мне, конспираторы! Нашли где прятаться от ночных гостей!

— Не успели! — оправдывалась Зина, тоже смеясь. — Ты так забарабанил в дверь.

— А окно во двор? — подсказал Борис серьезно. — Нинка — та сообразила.

Сергей затанцевал по комнате, не сразу попав ногой в штанину.

Это был шуплый на вид, одетый по-крестьянски в посконную рубашку и брюки с большой пуговицей на жилоте мужничонка. В Борисе он вызывал едва сдерживаемую брезгливость. «С кем только не приходится хлебать из одной миски!»

— Теперь, любезный, всех приходится бояться, — неожиданно витневатого заговорил Сергей. — Время такое... То бандиты нагрянут, то власти... Власть страшнее, потому как я — нэпман.

Сергей, одевшись, вышел на улицу и принес откуда-то полчетверти самогонки. Выпили по рюмке, и Борис объявил:

— Из тебя такой же нэпман, как из моего дерьма пуля...

Зина тихо возразила:

— Зачем ты так, Боря?

Но Сергей, обрадованный тем, что все обошлось мирно, не обижался на шурна. Он готов был на все, только бы поскорее оставил его в покое.

— Борис Николаевич! — услужливо предложил Сергей. — А вашего товарища нельзя ли позвать? Скучно ему там!

Борис смерил Сергея изучающим взглядом. Ему не понравилось слово «товарищ».

— Не так скучно, как голодно, — резко поправил Борис. Немного поразмыслив, согласился.

Така тут же пришел, зябко потирая руки.

Сергея отослали покараулить у входа, пока Борис с Такой расправлялся с шикарнейшей по их нынешним понятиям закуской.

Когда гости опростали всю посуду и как будто насытились, Зина попросила брата рассказать о родителях.

Горьким был тот рассказ Бориса о своих скитаниях

на чужбине и гибели отца с матерью, сорванных его же руками с насиженного места...

Белогвардейские войска откатывались от Черного Яра и Царицына на юг... Борис прискакал тогда на хутор уговорить родителей спасаться, ехать вместе с обозом деникинцев. Отец воспротивился было, но Борис пригрозил террором красных. Собирали узлы уже под орудейный грохот наступающих конармейцев. Погрузив самое необходимое на две подводы, выехали из хутора перед рассветом.

Борис уже командовал полком, ему несложно было пристроить подводы с домашним скарбом и стариками к армейскому обозу. Чем ближе подъезжали к морю, тем плотнее становился поток беженцев. Борис выделил двух солдат, чтобы они помогали родителям на переправах и отбивались при случае от мародеров.

На подступах к Новороссийску все смешалось; дороги превратились в клокочущий поток упряжек, людей, скота... Пропускали в первую очередь строевые части. Полк Бориса должен был войти в город одним из первых, но Борис всячески оттягивал переправу, ждал обоза с родителями.

Ночью в колоннах отступающих началась паника. Мародеры из мобилизованных уголовников затеяли шмон¹ у обозных, будто бы отыскивая оружие. Разъяренный подъесаул Черенцов, возмущенный тем, что Николай Павлович отказался раскрыть перед ним кожаный саквояж, выстрелил в старика...

Его подручные тут же схватили саквояж и скрылись... Борис разыскал мать едва живую, в бреду. Она умерла через несколько дней в полевом лазарете.

Полк Бориса был окружен у переправы. С десятков офицеров сумели переплыть реку, схватившись за хвосты хорошо обученных коней.

Вернувшись в степь, Борис собрал десятка полтора таких же бродяг, не желавших расстаться с оружием. Напали на улусный Совет, затем на станичную милицию в Задонье. В открытом бою их чуть не поголовию порубили казаки из местной самообороны. Борису н здесь повезло: его спасла офицерская форма. Гнавший-

¹ Шмон — обыск на воровском жаргоне.

ся за ним казак из рядовых растерялся, не выстрелил. Теперь, после столкновения с отрядом Церена у урочища Унгуи, потеряв соратников, Борис искал, куда бы приклонить голову. Кто-то подсказал о существовании вооруженной группы конокрада Шанкунова. К этому новому не очень-то надежному прибежищу и направлялись они с Такой.

Перед уходом Борис сказал:

— Спасибо вам, Зина и Сергей, за хлеб-соль... Хотел мобилизовать тебя, шурин, по законам военного времени, но вижу — не вояка. Ладно уж, будь по-вашему: торгуйте бычками, пока совдепы собственные ваши шкуры себе на кожанки не выделают... Не обижайтесь за иечайное вторжение... Покатился я, видно, как курай через степь. Чует сердце: последний раз мы вот так вместе.

Зина уткнулась в грудь брату, плакала без слов, не смея ни остановить Бориса, ни поругать его за беспутную долю, которую он сам себе выбрал.

...В стане Шанкунова Жидков пробыл пять дней. Больше не мог там оставаться. Шанкунов вел в степи образ жизни заурядного ворюги: угонят стадо овец — пируют, пока сожрут. Оголодают — снова идут на грабеж. Хватали, где удавалось, обирали всех подряд, кто на глаза попадется. Об организованной борьбе с совдепами, как мыслил себе настоящее дело кадровый офицер Жидков, ни Шанкунов, ни его подручные не помышляли. Кончилась их недолгая связь тем, что один из бандитов изъял у сонного Бориса портмоне и отцовский серебряный портсигар... Застрелив грабителя на глазах у главаря банды, Борис покинул это сборище, ушел с ним вместе и Така.

Вскоре в Задонье объявился отряд «зеленых» под предводительством Маслакова. Эти яро ненавидели Советскую власть и были Борису ближе по своим целям.

Маслаковцы численностью до пятисот сабель переправились через Дон и крупными отрядами растеклись по калмыцким улусам. Они громили только что созданные Советы, расстреливали активистов. Временно им удалось овладеть Элистой... 29 апреля 1921 года налетчики расстреляли здесь тридцать два коммуниста и комсомольца. В числе расстрелянных оказались: председатель Манычского улускома Буданов, ответственный секретарь улускома партии Наумов. Этих бесстрашных

людей степняки успели полюбить за бескорыстное служение бедноте. Горе прихлынуло к обескровленным военными годами хотонам.

Калмыцкий ЦИК принял срочные меры по обузданию налетчиков. К середине лета банда распалась. Позорной смертью погибли под саблями конармейцев Григорий Маслаков, ставший его ближайшим помощником Борис Жидков и неразлучный с ним Така Бергясов.

Зина приехала в ставку улуса к сестре на другой же день после ночной встречи с Борисом, да и то лишь затем, чтобы поведать Нине о кончине родителей.

Сестры погоревали, поплакали. О том, что в степи рыскают Борис и Така, готовые обезглавить Церена, Зина так и не решилась сказать сестре. Обронила лишь как-то походя: мол, пусть Церен бережется, много у него врагов.

Нохашкины и без намеков знали о непростой своей нынешней судьбе.

Расстались сестры без грусти, словно позабыв пригласить друг друга в гости.

Именно эту встречу очень непохожих и очужевших одна к другой сестер и обратил Кару Кандуев на заседании исполкома против Церена.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

А время весело бежало вперед, набиралась сил новая жизнь в степи.

Прошел еще год. Вадим с Цереном не щадили себя ни на выезде, ни в улусном центре. Много дел — много и ошибок, потому что иногда недостает времени как следует все продумать. Да ведь и опыт руководства людьми появляется лишь с годами.

В отличие от прежнего секретаря улускома Вадим Петрович никогда не вмешивался в конкретные дела исполкома улусного Совета. Его любимой поговоркой была: «Чтобы научить человека плавать, бросай его на глубокое место, не спешь со спасательным кругом!»

Конечно, Вадим не оставлял молодого председателя исполкома без внимания. Позвонит Церен или придет

за советом — вместе разбираются в трудном деле дотошно. Не упустит Вадим случая поговорить с Цереном о ленинском стиле руководства, даст нужную книгу. Радовал Церен своей энергией. Огорчал горячностью, случалось, и срывался...

Как-то к концу рабочего дня в исполком пожаловал из Дунд-хурула преосвященный Богла-багша. Пришел с жалобой на смуту, посеянную в стане хурула новой властью. История этой смуты в изложении настоятеля монастыря выглядела так. Еще весной, согласно решению исполкома, все граждане улуса, в том числе и гелюнг, были обложены налогами — в соответствии с численностью стада и другими доходами. Часть гелюнгов почему-то уклонялась от внесения своей доли в казну.

В Дунд-хуруле таких недомышников оказалось четверо. Об этом доложили председателю исполкома сборщики налога. Нохашкин приказал командиру улусной сотни Шорве Уташеву «обеспечить явку недисциплинированных граждан», не пожелавших считаться с требованиями закона. Шорва отрядил конного бойца в Дунд-хурул. Гелюнг пожелал идти пешком. Было ли так условлено среди недомышников, или монахи подбился в пути, но один из них лег посреди дороги и отказался идти дальше. Боец долго уговаривал гелюнга, затем, рассердившись, протянул его вдоль спины плетью. Гелюнг, вопя молитву, подхватился с места и бегом кинулся обратно в хурул. Боец не знал, как быть дальше: гнаться ли за одним или привести трех других. Пока он соображал, гелюнг прибежал в монастырь и, вопя на весь двор, отрекся от своего сана, призывая остальных монахов к протесту против насилия над верой...

Богла-багша пришел к председателю исполкома с жалобой на насильственные действия красноармейца, поднявшего руку на служителя культа...

Историю эту в какой-то мере Церен уже знал со слов Шорвы.

— Вы, гражданин Богла-багша, извините меня, но что бы вы делали на месте того бойца, который выполнял мое распоряжение и приказ командира сотни? Разве монахи не могли сесть на лошадей и спокойно пренести в исполком, чтобы объяснить, почему они не платят на-

лога? А почему они сами не приехали, не ожидая нарочного бойца?

Богла-багша счел такой тон разговора с ним неуважительным к саю и, обидевшись, пошел искать защиты у Семиколонова.

— Хамба-лама, наш представитель буддийского духовенства в Петрограде, прислал в хурул грамоту, где сказано, что Советская власть не будет преследовать священников, потому что у новой власти есть такой закон, как же можно расценить действия того воина? Я усматриваю поругание веры. Председатель улусной власти не пожелал согласиться со мной и наказать виновного за богопротивный поступок, — напористо толковал багша.

— Боец применил самоуправство, — разъяснил Семиколонов. — За это самоуправство он будет наказан. Вы же, как иастоятель хурула, примите со своей стороны меры к тому, чтобы прислужники веры соблюдали гражданские законы и не вступали с нами в конфликт.

Богла-багша молча перебирал четки, уставясь в пол.

— У вас все? — спросил Вадим Петрович у багши.

Багша решил высказаться до конца.

— Преследуя бандитов, ваши воины ворвались на территорию хурула, огласили окрестности стрельбой. Мы просили бы не допускать такого богохульства впредь.

— И это будет сделано, святой отец! — заверил настоятеля монастыря секретарь улускома. — Но у нас встречная просьба: не пускайте в монастырь бандитов. Надеюсь, вам понятно существо нашей просьбы: бандиты убивают невинных людей, а это противно всякой вере — и христианской и буддийской.

Когда Богла-багша ушел, Вадим долго думал об этом разговоре, перебирая в памяти подробности. Будучи неверующим, Вадим сторонился общения со служителями культа. Как правило, это люди начитанные, они хорошо готовятся к встрече с противником. «Для нас же, — раздумывал Семиколонов, — их появление — всегда неожиданность. Вот и Церен: оттарабанил ему показанному, что можно, чего нельзя, а второпях мог сказать лишнее, как проявил неуместную ретивость боец в обращении с гелюнгом. Нужно серьезно как-то поговорить с Цереном о его упущениях. Одно дело — пре-

данность работе, другое — уменне!» — подумал секретарь.

Вдруг зазвенел телефон. Семиколенов поднял трубку и услышал веселый голос Церена.

— Вадим Петрович, вы еще не наработались сегодня?

— В самую точку попал! — Семиколенов отозвался в тон ему, непринужденно, борясь с соблазном отчитать ретивого исполкомовца. — Дочитаю жалобы на тебя и — на свежий воздух!

— А я к вам собрался! Хорошая идея появилась...

— Дождусь!..

Вадим Петрович ежедневно работал до десяти, а то и до одиннадцати вечера. Пока не уйдет ответственный секретарь, другие сотрудники улускома не покидали кабинеты из товарищеской солидарности. Жил Вадим пока на частной квартире, неподалеку.

Церен вошел без стука, запыхавшийся, веселый.

— Вадим Петрович! Нина приглашает вас на ужин!

— Какой теперь ужин! — воскликнул Вадим, взглянув на часы. — Половина одиннадцатого. Не забывай, дружок, что я медик. А по-научному вечером употребляют лишь простоквашу.

Церен замялся. Судя по всему, он наобещал Нине прийти к ужину не один.

— Гостя у нас! — с едва скрываемой радостью сообщил Церен. — Нюдя приехала! Может, вам, как врачу, не мешало бы взглянуть на свою пациентку.

— Подловил! Подловил! — воскликнул Вадим. — Ну и хитер же ты стал, Церен Нохашкин! Почему сразу не сказал?

— Мы так с Нинной договорились... Вроде сюрприза: узнаете вы сестренку или нет? Да разве от вас что скроешь? Приходится уже в кабинете раскрывать все карты.

— Есть тут у меня одно дельце к тебе, за которое не мешало бы выпороть. Но ради приезда гостя придется временно отложить!

— К порке уже привыкаю, — сознался Церен. — Что бы с кем ни случилось, виновата Советская власть.

— А как же ты думал?.. Отстегали монаха, и будь здоров!.. Да он сейчас пойдет по хотонам и сотни доверчивых людей отвратит от новой власти.

— Накажем за антисоветчину,— заявил Церен.

— Опять накажем? Ты мне эту политику брось! Наша сила в слове! Помни об этом. Не владеешь логикой убеждения — не берись руководить людьми.

— У меня этот монастырь, как бельмо на глазу,— пожаловался Церен.— Ни с какой стороны не подступись. Ребенок у кого родился, свадьба ли, обряд погребения — гони корову или годовалого телка... Жиреют эти бездельники в хуруле!

— Наладим в каждом улусе свон, советские храмы культуры, появятся новые обряды, даже песни новые — сначала молодежь, затем и остальные станут забывать религию. Но для таких перемен нужна не плеть, а десятки лет терпеливой работы с людьми.

— Когда эти новые храмы появятся! — вздохнул Церен.— Тут хлеба нет вволю.

— Да, о хлебе заговорил... Вот тебе пример — голодающие за спасением потянулись к нам в Советы, а не к монахам. Это уже немалая победа!

— Так что же мне,— спросил Церен,— извиняться теперь перед монахом?.. Ни за что!

— Нет, друже! — незлобиво отчитал его Вадим.— Умелый руководитель должен владеть искусством дипломата. Ошибся — извините, и делу крышка! Ну, хорошо, мы об этом еще поговорим. А пока ступай домой, чтобы Нина не волновалась.

— А вы?

— Я чуть позже! Забегу домой!.. Там три куса сахара для Чотына... Дочурка ваша еще мала, а парню — гостинец.

— Эх, жаль времени! Может, не стоит за сахаром идти? Отсюда бы напрямик подались к дому... Сахар у нас есть,— соврал Церен.

— Откуда же это?

— Не забывайте, Вадим Петрович, я — зять капиталиста.

Они все же зашли на квартиру Семиколонова. Вадиму пришлось открывать дверь ключом, он остановился на пороге в недоумении.

— Куда же могла уйти в такое позднее время Евдокия Свиридовна?

— Тетя Дуня наверняка у нас! — сказал Церен уверенно.

Дуня — бывшая жена деда Наума, работавшего конюхом у Жидковых. Дед Наум давно умер, Жидковхутор отошел к коммуне, а когда Церен перевозил семью в ставку улуса, то по доброму согласию между супругами пригласили с собою и тетю Дуню. Она была нянькой Нине, а теперь привязалась к Чотыну! Будто к своему. Все эти годы тетя Дуня жила у Церена, Нина относилась к ней, будто к родной матери. Только в прошлом году, когда Вадим Петрович переехал на работу в улус, по решению семейного совета тетя Дуня отделилась, чтобы помочь в устройстве на новом месте другу их дома: прибирала в квартире Семиколенова, стряпала, ждала хозяйна из поездок, чтобы привести в порядок одежду секретаря улускома. Эта привязанность к Вадиму была у тети Дунн еще со времен той далекой фельдшерской практики Вадима на хуторе.

— Я уже все думки передумала! — радостная и в то же время с упреком в адрес мужа встретила их Нина. Она раскраснелась у плиты. После рождения дочки Нина округлилась и в новом платье выглядела вполне на уровне жены председателя исполкома.

— Церен хотел было свернуть куда-то налево, но я задержал на правах старшего, — пробасил Вадим Петрович с порога.

— Ой, не нужно было удерживать! — приняла шутку хозяйка. — Может, и я среди людей себя человеком почувствовала бы. Пошла бы снова в детдом, а то по целым дням у плиты да с пеленками.

Между тем она уже гремела посудой, ловко, аккуратно расставляя тарелки на чистой льняной скатерти.

Со дня переезда в улус Нина работала воспитателем в детдоме. Вначале это занятие ей не глянулось: чужие, звероватые дети, отбившиеся от семей, неухоженные. Однако после она привыкла к шалунам, научилась понимать их, по-матерински жалела. Месяц тому назад у Нохашкиных прибавилась семья, и теперь Нина с двумя маленькими детьми прочно засела дома. Так уж особенно она не удручалась, но нет-нет да и вспомнит о своих детдомовских «замарашках».

— Что-то я не вижу Чотына! — громко позвал Вадим Петрович. — Куда же я буду девать столько сахара?

Слегка подталкивая смутившегося мальчонку, Чотына вела из соседней комнаты Нюдля.

Вадим опешил, забыл о гостинце. Перед ним стояла настоящая красавица. На ней было синее шелковое в сиреневых цветах платье. Девушка была тонка и стройна. Лицо чистое, белое. Глаза — черные, полны света. Темные волосы спадали на плечи. Нюдля уловила на себе восхищенный взгляд Вадима, все еще державшего на ладони три кусочка сахара, и, засмутившись, опустила ресницы.

— Вадим Петрович, здравствуйте! — громко выкрикнул Чотына, сгребая с широкой ладони гостя сахар. Семиколонов ласково потрепал мальчонку по плечу, вслух подивился тому, как быстро растут дети.

— Здравствуйте, Нюдля! — обратился Вадим к девушке. — Вот вы теперь какая!..

— Какой я вам показалась? — спросила Нюдля, засмутившись, робко протягивая руку бывшему своему исцелителю.

— Настоящая королева! — воскликнул Вадим, осторожно пожимая ей руку. — Рад видеть вас!

Последний раз Вадим встречался с Нюдлей в Астрахани, три года тому назад. Он запомнил ее худеньким угловатым подростком. Годы преобразили девушку. Нюдля окончательно ушла из детства... «Какая прелесть! — восхищенно подумал Вадим и тут же упрекнул себя за неуместный восторг. — Ей восемнадцать, а мне уже четвертый десяток, недавно тридцать два отметил».

— Прошу всех за стол! — объявила сияющая от переполнявшего ее радушия хозяйка. — Вадим Петрович, хватит вам смущать девушку красивыми словами. А то, знаете, женщины в таком возрасте не безразличны к тому, что о них говорят. Не справится с собой — влюбится!..

— Как бы не вышло наоборот! — за грубоватой шуткой Вадим скрывал свою растерянность, возникшую при первом взгляде на девушку.

— Ну, вот, уже сразу о любви! — упрекнула Нину Нюдля. — Мужчины наработались, им в последние дни и поест, как следует, некогда...

— Вот мы его оженим, — рассуждала Нина делови-

то,—тогда все будет как у людей: и сыт и обласкан. А то он у нас засиделся в холостяках.

— Увлеченность делом — украшает мужчину, — отшучивался Вадим. — Однако заботы — старят преждевременно... И нас, и вас, — обвел он глазами застолье.

— Не дадим состариться в одиночестве! — не сдавалась Нинна. — Сегодня же и засватаем.

— Нинна! Только без намеков, — вспыхнув вся, попросила Нюдля. — Ты же знаешь: Вадим Петрович спас мне жизнь. Я ему так благодарна! Может, я и в медицину-то пошла из-за этого... А ты сразу о каком-то сватовстве!

Девушка встала было из-за стола, чтобы скрыться, унять охватившее ее волнение. Нинна насильно усадила ее на место.

— Товарищи, назревает скандал! А причина одна: все голодны. Поедом едят друг друга... Евдокия Свирновна, где вы там пропадаете? Без вас нет порядка за столом, — Церен постучал по столу ложкой.

У тети Дунн давно уже все было готово. Церен освободил ей место рядом с собой.

Нинна переключилась на Церена.

— Вот видите, друзья, милые! До чего муженек дожил. Для него теперь и жена, и дети, и сестра — все стали «товарищами». А семейное застолье — вроде очередного собрания. Не вздумайте, Вадим Петрович, выдвигать моего мужа дальше в начальники. А то я ему скоро и в товарищи не сгожусь!

На какое-то время застолье уgomонилось, дружно работая кто вилок, кто ложкой.

Постучался в дверь. Вошла молчаливая, чем-то расстроенная Кермен. Увидев, что в комнате много людей, смутилась, отступила к порогу. Вадим Петрович встал, пригласил ее в рядок на скамейку.

— Где сейчас наш боевой друг, Шорва Апяшевич?

— Где же ему быть? — тихо проговорила Кермен. — Мотается по улусу. Я и вижу-то его, может, раз в неделю. Когда и реже... Все ничего, лишь бы жив был.

С недавнего времени Вадим Петрович относился с особым уважением и вниманием к этой худенькой невысокой женщине.

Случилось это седьмого марта. Отряд Шорвы погнался за бандитами, напавшими на хотои со стороны Черных земель. В этом бою был смертельно ранен бывший конармеец Бадма Эльдеев. Он пролежал в джолуме пастуха без сознания до сумерек и скончался. По решению улускома отважного бойца должны были привезти в центр улуса и похоронить на кладбище участников гражданской войны.

День погребения Бадмы Эльдеева совпал с праздником Восьмого марта. Подготовку к первому женскому празднику в улусе возглавила комсомолка Кермен. Утром раньше обычного женщины подоили коров и отогнали в степь. Затем убралась по дому, накормили ребятишек. Сбор наметили у здания школы. Четыре молодые женщины в алых косыниках вместе с Кермен вышли на крыльцо. А народу больше сотни. Иные хозяйки пришли с детьми — тоже одетыми в чистенькое, нарядное. Еще накануне, по чьему-то предложению, было решено не приглашать на «бабье» торжество ни одного мужика: «Хоть раз без них!»

— Смотрите-ка! — выкрикнула одна из глазастых бабенок в заднем ряду: — Никак, хоронить везут кого?

Кермен знала от мужа, кто пал во вчерашней схватке с бандитами.

— Дорогие матери и сестры! — обратилась Кермен к собравшимся, сняв с головы косынку. — Наш праздник омрачен горькой вестью. Злодейская пуля оборвала жизнь бойца красной сотни Бадмы Эльдеева. Сиротами остались трое малых детей. Сегодня нашего дорогого Бадму будут хоронить на кладбище героев. Пойдемте все к могиле товарища! Отдадим ему последний долг.

Толпа грустной, молчаливой вереницей потянулась следом за процессией.

Женщины подошли, когда гроб с телом покойного стоял на краю могилы. Рядом теснились мать, жена и дети погибшего. Шорва и двадцать бойцов выстроились в почетном карауле. Принесли скамью и поставили ее недалеко от гроба. На скамью, сдерживая волнение, поднялась Кермен.

— Матери, сестры! Вы видите заплаканные лица сирот! Нет таких слов, чтобы можно было утешить мать, потерявшую сына, никем не заменить детям отца. Чем

можно измерить глубину скорби молодой женщины, которая потеряла любимого мужа? Мы, женщины, не можем наравне с мужчинами взяться за оружие, чтобы мстить грабителям и насильникам! Но мы тоже можем участвовать в священной борьбе с кровавыми врагами! Есть ли у нас такое оружие? Да, есть. Наше оружие — харал!¹ Нас здесь больше ста. Пошлем бандитам наше проклятие! Харал зверям в облике людей! — начала Кермен, сжав кулаки у груди.

— Харал! Харал! Харал! — прокатилось по толпе.

— Разбойникам, осиротившим троих малых детей, — харал! — выкрикнула Кермен снова.

— Харал! — клятвенно повторила толпа.

— Принесшим безутешное горе матери нашего защитника — харал!

— Харал! — стоуто гремело у гроба.

— Банде, отнявшей радость жизни у жены воина, — харал!

— Харал! Харал! Харал! — вторили словам Кермен молодые и старые.

Седая, простоволосая мать Бадмы воздевала вверх жилистые, темные, как земля, руки и вместе с другими посылала материнское проклятие убийцам сына.

— О, родная степь! Донесн наш голос проклятия до каждого из бандитов! Чтобы вы, звери кровожадные, не знали ни сна, ни покоя, ни днем, ни ночью! Чтобы вы не увидели больше своих детей, были отвержены матерями, братьями, сестрами!.. Чтобы каждого из вас ужалила пуля, а смердящие трупы ваши растащили по своим норам хищники!.. О, ветры, несите наши проклятия бандитам по всей степи! Пусть громы повторяют наше проклятие над вашими головами, пусть молния гнева сразит вас на этой земле!

— Харал! Харал! Харал!

Церен и Вадим подъехали на лнейке, когда Кермен говорила слова проклятия убийцам Бадмы Эльдеева. Церен переводил Семиколенову гневную речь Кермен. Вадим Пстрович уже немного понимал по-калмыцки и в отдельных случаях обходился без переводчика. Но такой обряд он видел впервые в жизни. И настолько был потрясен происходящим, что вцепился пальцами в запястье руки Церена.

¹ Харал — проклятие.

— Ты знаешь,— проговорил Вадим, склонившись к Церену,— это удивительно! Это страшнее всякого суда и даже самой смерти!

Результат, который последовал за харалом, был неожиданным. Слова харала быстрее ветра разнеслись по Шорвинской степи. Калмыки с давних времен боялись и избегали проклятий. А тут стоустое проклятие! Проклятие это подействовало на бандитов покрепче всяких официальных обращений. Слух об ужасных заклинаниях докатился до самых отдаленных хотонов. Первыми отозвались на харал матери и сестры бандитов, их родственники. Испугавшись возмездия харала, родичи наседали на своих отщепенцев, требовали сложить оружие и без промедления идти с повинной. Матери бандитов гнали в шею своих беспутиных сынов из дому, не отпирали двери по ночам, случалось, что приводили заупрямившегося сыночка в улусный центр со связанными руками. К слухам о грозном харале прибавилась весть о том, что на другой же день после похорон Бадмы одного из головорезов сразила прямо в седле молния...

Не вияли ни доброму слову, ни проклятиям лишь самые отпетые враги. Действовали больше в одиночку: днем прикидывались батраками у мироедов-кулаков, ночью постреливали в окна активистов.

Как-то Церен напомнил Семиколенову:

— Может, еще разок Кермен соберет женщины да приструнит оставшихся? Мы же их знаем теперь поименно!

— Нет, Церен! Во всем требуется мера! Остатки банд нужно уничтожать силой! Там собрались самые отъявленные, которым и жизнь не дорога.

Церен открыл бутылку шампанского, пробка стрельнула в потолок. Чотын сначала испугался, затем захлопал в ладоши и полез под стол добывать себе пробку.

— Где это ты отыскал такое чудо?— спросил Вадим Петрович у хозяина дома.

Церен кивнул на Нюдлю:

— Ее подарок!

Девушка объяснила:

— У моего сокурсника отец в торговле... Узнал, что я еду к брату, разыскал где-то на складе.

Нюдля теперь училась в Саратовском университете

на медицинском факультете. Она называла имена профессоров, и Вадим удивлялся тому, что многие из видных ученых продолжают работать на кафедрах, как в его бытность студентом. Вадим чувствовал, как тепло и охотно отвечает на его вопросы нынешняя студентка, и ему был приятен ее голос.

В свою очередь Вадим был необычно для многих весел, затеял игру с Чотыном в прятки, а взрослым рассказал несколько забавных историй из жизни прежних саратовских купцов, которых он изучил еще в те годы, когда репетировал их тугодумных и избалованных сынков... Всем было легко от такой раскованности Вадима, будто у каждого прибавилось близкой родни.

Между веселыми разговорами Вадим вспомнил о своем многолетнем романе с дочерью священника Таней. Девушка была начитанной, воспитанной светски и даже чуточку сочувствовала революционерам. Но стоило Вадиму попасть однажды под арест за участие в студенческих волнениях, дверь дома священника оказалась для него закрытой. И сама Таня после того случая изменилась, глядела на Вадима как на обреченного.

После Вадим служил в Красной Армии. Приходилось ему встречаться и с другими женщинами. С удивлением он отмечал теперь, что ни одна из них не обрадовала и не взволновала его до сих пор, как Нюдля.

«Но ведь она совсем ребенок!» — жалея о своем слишком солидном возрасте, украдкой поглядывал на девушку Вадим. Иногда взгляды их сталкивались, и сердце Нюдли замрало от страха и радостного предчувствия.

3

Прошедший голодный год опустошил Шорвинский улус. Из ста коров хотона перезимовало лишь двадцать. А это означало, что на многодетную семью калмыка оставалось по одной, в лучшем случае по две коровы. Нельзя забывать: коровы калмыцкой породы — полудняки. На молоко они не щедрее козы. Стоило ли ради одной такой коровы сниматься с обжитого места, пускаться в кочевье. Но не только нужда заставляла менять сложившийся веками кочевой образ жизни. Степняки почувствовали вкус к оседлости. А раз складыва-

стся поселок, ему требуется и школа, и больница, и баня, и хоть плохой ларек с необходимыми товарами... Непростые эти заботы привели секретаря улускома Семиколенова в Астрахань.

В Астрахани Семиколенов побывал у ответственного секретаря обкома Марбуш-Степанова и председателя ЦИКа Араши Чапчаева. ЦК партии поддержал инициативу Калмыкии к переходу на оседлый образ жизни. Выделялись деньги для этой цели и строительные материалы.

Чапчаев обрадовался причине приезда Семиколенова:

— Двадцать тысяч безвозмездно и тысяч сто в кредит — освоите на первый случай? — предложил он без лишних рассуждений.

Семиколенов был доволен денежной помощью. Но были заботы иного плана.

— Мы вот прикинули на бюро улускома... — продолжал выкладывать свою программу Семиколенов. — Для нашей будущей больницы потребуется семь-восемь врачей и столько же среднего медперсонала... Но сейчас хотя бы одного врача и одного фельдшера.

— Дорогой Вадим Петрович! — воскликнул Араш. — Примите мое сочувствие, но эти проблемы посложнее любых других... Все будет зависеть от того, сколько врачей получим на губернию.

— Ну, тогда бы хоть фельдшеров побольше! — не отступал Семиколенов.

— То же самое скажу и о фельдшерах. Разбогатеем, залечим раны войны, откроем свою фельдшерскую школу — все получишь. Сейчас же рады каждому специалисту, направленному к нам из центра. В этом году только одного дадим.

И об этом, кажется, договорились. Но у Семиколенова оказалось, как он выразился, «еще одно дельце»:

— Церен поручил мне поговорить с тобой, Араш, — начал он уже доверительно. — Вот о чем: Нюдля написала брату, что из университета хотят отчислить младшего сына Бергяса Сарана. Кто-то донес в Саратов, будто он сын ийона. Нюдля просит помочь парию. Мне думается, хватил бы для поправки дела письма от имени Калмыцкого ЦИКа, с разъяснением: Бергяс не ийон, не зайсан... человек богатый, но таких богачей,

как Бергяс, в период нэпа расплодилось тысячи и тысячи. Кроме того, Саран давно вышел из-под влияния отца, был секретарем аймачного Совета, боролся с бандитами. Помнишь, в прошлом году, когда банду Окона Шанкунова брали, выяснилось — паренек жизнью рисковал, пряча печать аймака от головорезов. Вскоре после этого он уехал, и никто не знал куда. Только осенью стало известно — поступил парень на медицинский факультет в Саратове.

— А мать у него из самых бедных, да такая умница и упрямица — любое влияние Бергяса переиначит, — заявил Араши.

— Все ясно. Постарайся помочь Сарану, — еще раз попросил Семнколенов.

Араши на минуту задумался, всматриваясь в лицо друга.

— Знаешь, Вадим, пока я с тобой разговаривал, у меня промелькнула мысленка... А что, если послать в Саратов толкового представителя и выпросить на все будущие годы десять мест на медицинском факультете и десять на сельскохозяйственном — для Калмыкии? Уже с осени мы могли бы направить туда наших парней и девушек.

— Лучше не придумаешь, Араши! Через четыре года у нас будет десять своих врачей и столько же специалистов сельского хозяйства. К тому же есть и другие институты...

— Вижу, что ты понял... Так вот собирайся в Саратов.

После непродолжительного раздумья Вадим согласился.

На рабфаке агрономического факультета калмыкам обещали уже в этом году двадцать мест. Но на медицинском, как ни бился Вадим, больше пяти мест не забронировали. С такими просьбами обращались уже многие.

4

На второй день после приезда в Саратов у дверей университета Вадим встретился с Нюдлей, вроде бы случайно. Но чтобы произошла эта случайность, поджидал ее с самого утра. Нюдля не скрывала радости... И до глубокого вечера ходили они по притихшим ули-

цам города, бродили по набережной. Вадим видел, что девушка устала, у него был хороший номер в гостинице, но пригласить Нюдлю к себе не решался. На прощанье он вынес ей на набережную коробочку с пряниками, которые купил в обкомовском буфете.

А другой вечер они провели втроем: Вадим пригласил Нюдлю и Сарана в харчевню к изпману и угостил хорошим ужином. Здесь же Вадим сообщил Сарану о том, что вопрос о его исключении закрыт. Нюдля радовалась, как ребенок, этой новости. «Два студента из одного хотои!» Саран тоже был весел в тот вечер, но вел себя куда сдержаннее, чем Нюдля, исподволь наблюдая за Вадимом.

Расставались долго, провожая друг друга, много говорили и спорили. Прощаясь с Нюдлей и Сараном у общежития, Вадим предложил им встретиться на другой день у причала, где грузилась огромная новая баржа, чтобы провести еще один вечер перед отъездом Вадима.

На условленное место Вадим пришел за час до встречи. Ему, умудренному жизнью человеку, было стыдно как-то за себя, но поделать ничего не мог — его неудержимо влекло к девушке.

— Вадим Петрович! — оклинула Нюдля от парапета. Оказывается, она тоже пришла раньше. Одета в белое платье в горошек, Нюдля была празднична, легка в движениях! И эта неугасающая улыбка на лице, которая так нравилась Вадиму и волировала его.

Онн уже вдосталь наговорилнсь и намолчались, когда показался Саран. Решили ехать за Волгу.

Нюдля первая подошла к плоскодонке у причала, смело занесла ногу на скамеечку... Но лодка дрогнула и заколыхалась. Нюдля потеряла было равновесие, однако Вадим, прыгнувший следом, протянул ей руки, но лодку еще раз качнуло, и девушка на какое-то мгновение прильнула к груди Вадима. Он ясно почувствовал молодую упругость ее тела. Через мгновение Нюдля уже сидела на корме. О том, что это все было не сон, а на самом деле, говорил ее ярко вспыхнувший румянец и опущенные ресницы.

Саран в это время возился с уключинами, вставляя весла, и ничего не заметил.

— Вадим Петрович, куда прикажете править? — спросил Саран, потихоньку выводя лодку на простор.

— Прямо в Астрахань! — шутливо скомандовал Вадим. — А оттуда в отчине края!

— Я согласна! — отозвалась Нюдля. Смушение ее прошло, но осталась радость, та радость, которая весь мир, кажется, делает прекрасным, а жизнь бесконечной.

Вадим не стал скрывать замысла сегодняшнего путешествия.

— Махнем-ка мы, други, к бакенщику Михенчу отвезать его ушницы!

Саран принялся грести, а Вадим и Нюдля сидели рядом робкие и смиренные, вздрагивая каждый раз, когда их руки или ноги случайно набредали друг на друга.

Лодку спрятали в лозняке, потом долго шли по лесу. На поляне вперед, в светлой тени от развесистых берез, теплился костерок. Широкоплечный дед с окладистой бородой и веселыми глазами встретил их восклицанием:

— Жаждался вас, дорогие гостечки! Уха в поре самой! Прошу отпробовать! — он протянул черпак Нюдле.

Вадим познакомил старика со своими спутниками, подчеркнув, что они будущие врачи.

— Лекарь — самый желанный друг старому человеку. Не одно, так другое дает знать, — напомнил о своем возрасте Михенч.

— Сегодня же вас посмотрим! — серьезно пообещала Нюдля.

— Премного благодарен за внимание, дочка! — пробасил старик. — А пока — прошу за стол.

Михенч поставил у костра низенький, сколоченный из березовых чурбачков стол, одну большую деревянную миску-долбленку. В ней дымился куски рыбы. Ароматную юшку разлил гостям в большие кружки.

— Вот, медки! — обратился Вадим к студентам. — Полюбуйтесь: Михенчу семьдесят два, а он еще свеж, как огурчик с грядки. Ни разу у нашего брата на приеме не был! Скажите, Михенч, я вру?

— Истинная правда! — подтвердил старик. — Но не потому, что не хворал. До революции на лечение денег не было, а после... Бывает, придешь в лечебницу — народу навалом. Одним словом, привык лечиться по-на-

шему, по-народному: хлопнешь шкалик, да чаю с малиной, да на горячей печке шубой накроешься... Глядишь: хворь-то и отошла.

— Михеич — мой учитель, — серьезно объяснил Нюдле и Сарану Вадим. — Когда переехал из Казани в Саратов, жил я у Михеича, работал с ним на паровой мельнице.

— Ха, нашел за что хвалить старика!.. Подпольщики попросили скрыть от сторонних глаз нужного человека, только и всех заслуг у Михеича. А работал ты, парень, — залюбуешься! Хоть и на хозяина хребет ломил, но в деле не сплоховал!

— Ладно, Михеич! В молодости труд инкого еще не испортил. Давайте вспомним у костерка с ухой, как здесь, на этой поляне, на маевки собирались.

— Всяко приходилось! — отозвался Михеич, сведя в одну линию седые, колющие брови. — Когда лучше, когда хуже сходились, однако; по сотне лодок с того берега приплывали с людьми. Знамя вон на той сосне вывешивали! И охраняли его, с жандармами схлестывались. Хорошо, что в конце концов наша взяла!.. Учитесь, ребятки, — обратился он к Нюдле и Сарану. — У вас иная будет жизнь, но попомните мои слова: легче вам не придется! У каждого поколения свои заботы.

До густых сумерек не угасал костерок на берегу. Щедр на угощение, на добрые напутствия молодым был в тот вечер Михеич.

— Жаль, что жизнь так быстро прошла! — грустно проговорил он, прощаясь. — Не забывайте старика!

Возвращались не спеша, по луиной дорожке, протянувшейся в полумраке позднего вечера чуть не через всю ширь Волги. Греб Вадим, нечастыми, сильными толчками. В лодке было тихо. Каждый по-своему вспоминал о встрече с Михеичем... Бурлаком ходил он в молодые годы по берегам Волги!.. Сколько революционеров спас от жандармов в своей сторожке! И теперь готов поделиться с другими небогатым достатком лесного домишка и щедростью своей души.

Вадим проводил Нюдлю и Сарана до общежития, дал слово почаще писать. Сам он от волнения долго не смог уснуть. Подхватив свой легкий чемоданишко, он ушел из гостиницы бродить по набережной. Какой-то

запоздавший с верховья парходнк подобрал одинокого пассажира у дебаркадера и сонно зашлепал плнцамн в сторону Астрахани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Год двадцать четвертый спешил к своему завершению... Но калмыцкая степь, потерявшая почти весь свой скот во время небывалых дотоле засухи и бескормицы, прокатившихся двумя грозными волиамн по Поволжью, еще никак не могла оправиться. Между тем наступил месяц жертвоприношения огню.

Обычно этим месяцем считается предзньме, когда в степи настывают зорн, а под копытамн лошадей по утрам звонко похрустывает первый ледок. К середине дня, бывает, и распогодится, завеселеет небо. Набежит тучка, тряхнет снежком, но снежинкн, не долетая до земли, тают.

Природа не торопится со своими строгостями, будто проверяет исподволь готовность людей к ее непростым испытаниям. Убрав урожай хлеба и трав, насушив во дворе целую гору кизяка, степняки по обыкновению к этой поре готовы к самому большому своему празднику — принести жертву огню. Чтобы умиловить бога Окои Теигера, хранителя очага и семейного благополучия, в каждой семье, когда настанет ее черед, режут барана. Часть мяса, сало и все кости кидают в костер, а оставшееся идет на пир собравшимся родичам. Так сотворяется обряд...

В хотоне Чоносов обычай этот соблюдался с особым старанием. Каждой семье староста отводил свой день жертвоприношения заранее. Случалось, день тот выпадал сразу на два двора. Радости хватало на всех: для взрослых хозяева кибитки припасали теплую араку; молодежь, насытившись свежей баранной в обед, развлекалась до глубокой ночи играми и танцами под домбру.

Четыре недели подряд целыми сутками — когда и отсыпаться успевали? — над хотоном звучали смех, музыка, озорные выкрики танцующих. Протяжные кал-

мыльные песни чередовались с не всегда приличными складухами, а то, глядишь, молчавший год табунщик вдарится в воспоминания на людском кругу о том, что пришлось пережить одному со стадом на отгоне, что дну все даются — как только человек жив остался!

Случайный рассказ подвыпившего рассказчика забывается, а общее веселье надолго остается в памяти. Так надолго, что ждут потом повторения тех дней долгий-предолгий год.

Но месяц жертвоприношения огню проходил — а в хотоне Чонос веселья не слышалось.

Припоздавший всадник, увидевший огоньки хотона уже в густых сумерках, уловил чутким ухом лишь голодное тьяканье собак да унылый напев домбры.

Всадник приближался к хотону со стороны озера, то и дело сворачивая в камыши, чтобы оглядеться. Давно он не заезжал к чоносам. Слишком давно! В те годы хотон был сплошь из войлочных кибиток — сейчас насчитывалось более двадцати саманных мазанок и даже полуторазтажный деревянный дом. Чей дом, поздний гость знал хорошо, а не знал бы — не трудно догадаться. В каждом поселении полагалось быть старшему, а старший выделяется среди других не только новым бешметом...

Постороннему показалось бы странным расположение дворов в хотоне: темноверхие кибитки бедняков сгрудились в окружении мазанок, и вся эта картина напоминала стадо баранов, сбившихся тесной кучкой в загоне. Порывистый ветер, пробегаая между мазанками, добирался до кибиток и вздирал войлочные заплатки, вторгаясь внутрь плохо защищенного жилья. Кибитки жалко хлопали заплатами, как обездоленные птицы крыльями, не успевшие вовремя улететь в теплые края. В лучшие времена кибитки ставились на приличном расстоянии одна от другой так, чтобы оставалось место для камышовой изгороди, спасающей от ветра и заюсов. Строились обширные утепленные загоны для скота. Сейчас куцые хлебочки и загончики для одной-двух буренок да для полдюжины овец. Не сдалась ни годам, ни нужде лишь усадьба главы рода.

Летом 1916 года купил Бергяс у торговца лесом в Черном Яре богатенный сруб из толстых, пахнущих смолой бревен. Целый обоз воловьих упряжек потребо-

вался, чтобы доставить сруб в глубь степи. Двенадцать русских плотников во главе со светлочубым веселым Денисом Горбачевым, кудесником по рубке изб, сколотили старосте просторный дом в четыре комнаты с верандой и мансардой. В полуэтаже, опущенном в землю, хозяин держал в зимнее время ранних ягнят и телят. Снаружи дом был обшит тесом и покрашен в зеленое... Внутри рукодельный Денис разукрасил и прихожую и гостиную затейливой резьбой, на которую только и горазды орловские плотники. Дом обнесли двухметровым заплотом да еще битым стеклышком присыпали по гребню, чтобы смельчак из детворы, если отважится заглянуть во двор старосты, не остался безнаказанным. Прочные, осанистые хозяйственные постройки за этим забором раскинулись почти на полдесятины сзади дома.

Ни война, ни разруха, ни бандитские налеты на хотон не поколебали Бергясовой крепости. Лишь на заплоте, стоящем неизменно прочно, слегка пооблупилась местами краска. Правда, скота стало меньше, однако на то есть своя причина, известная лишь хозяину.

Еще до войны с германцем Чоносов-хотон был кочующим. Сейчас степное поселение это будто утратило тягу к перемене мест. Да так оно и было. Кони ушли под седло в армию. Коровенками поиздержались. А без стада какой смысл кочевать? Сусликов пасти? Для небольшого стада кормов и поблизости хватало.

Поблескивают, манят к себе огоньки в хотоне. Но и огоньки-то не одинаковой яркости. В иных кибитках и согревает людей и разжигает тьму ночи все тот же огонек гулмуты. У тех, кто позапасливее — коптилки, свечи, а то и керосиновая лампа.

Всадник сошел с коня, расслабил подпруги, одернул на себе скомканный за долгую дорогу суконный пиджак. Затем присел на сухую кочку и достал из кармана деревянную, обитую серебром трубку. Набив ее, закурил от спички. Он никого не боялся здесь, не ждал засады, но что-то задерживало его у камышей. Быть может, собственная неподготовленность к разговору с хозяином хотона.

2

Бергяс в это время лежал на широкой, с никелированными спинками, кровати под стеганым атласным

одеялом. Кровать была завезена вместе с другой мебелью к новоселью из Царницына. Показавшаяся сначала удобной панцирная сетка Бергясу разонравилась. Осердясь на непривычное ложе, он велел нарезать досок по длине кровати и, уложив их поверх сетки, застелать кусками кошмы...

Убранство спальни не было богатым. С левой стороны стояла точно такая же кровать для Сяяхли, но поуже. Торцами между кроватями, будто соединяя их, был поставлен низенький диванчик, обитый желтым плюшем, а посредине комнаты небольшой столик, покрытый льняной скатертью. Пол был выкрашен в тон диванчику и скатерти, а когда кровати застлались — все в спальне становилось желтым, как луговина в цветущих одуванчиках. От порога в глубь комнаты, но не закрывая весь пол, пролегал ковер светлого тона. Бергясу хотелось, чтобы убранство комнат у него оказалось таким же, как у зайсана Хемби. Но Сяяхля воспротивилась этому, резонно заявив, что всякий человек отличается от другого и обликом и голосом, а значит, и обычаи в доме должен соблюдать свои, какие приличествуют его воспитанию и положению в обществе...

— Дом по хозяину — привет гостям по достатку, — напомнила она пословицу. Бергяс не собирался с нею спорить на этот счет.

Но как далеко ушли те радостные дни! Две недели Бергяс уже не вставал с постели. Впервые за всю жизнь болезнь оказалась к нему такой неотступной. Нельзя сказать, чтобы и прежде всякие вольности с едой и питьем, небрежным отношением к себе так просто сходили ему с рук. Другой раз прихватит боль в правом боку или пояснице — хоть кричи. Но чтобы свалиться с ног и надолго...

Разгульная жизнь в молодости, когда елось и пилось без меры, обернулась ослаблением почек и печени. Теперь, выпив вроде и не так много, он мучился бессонницей, ходил по спальне, прижав грелку к боку... К этим временным болям прибавилось постоянное неприятное ощущение в груди слева. Часто кружилась голова.

Валяться в постели по целым дням для такого неугомонного по натуре человека, каким был староста, да еще в столь беспокойное время, казалось настоящей пыткой. Если раньше Бергяс очень разборчиво от-

носился к гостям и тут же избавлялся от неужного человека, сейчас он изнывал от скуки, радовался каждому захожему. Ему не вдруг, но захотелось приблизить к себе старика Оигаша, как перекаати-поле слоняющегося по чужим дворам и напичканного всякой бывальщиной.

Бергяс сам себе удивлялся: пускал ли он когда-нибудь дальше прихожей этого растрепанного старика? Теперь извольте слышать приказ старосты: «Позовите Оигаша». И пока его разыскивали, Бергяс нетерпеливо перебирал четки, волновался: а вдруг и вовсе запропастился старик, изведешься от скуки! Окончив молитву, Бергяс похлопал в ладоши. Из соседней комнаты с вязаньем в руках вошла Сяхля. Она была уже не молодая, время оставило и на ее красоте свои отметины: мелкие морщины в уголках глаз врезались все глубже, пролегли две складочки между бровей, вытянулось и обострилось лицо!.. «Вот уж чьей красоте не виделось износу! — думал иногда Бергяс. И тут же гнал неприятную мысль прочь: — Нет, нет! И сейчас лицо жены достаточно свежо, а глаза неугасимы, как у девушки на выданье, фигура стройная, тело гибко! В белом платье с мелкими цветами по полю, она по-прежнему мила и желанна. А ведь ей через три года сравняется пятьдесят!»

— Сяхля, я закончил молитву, — сказал Бергяс и приподнялся на локте. — Может, мы чего-нибудь перекусим?

Есть ему уже который день не хотелось. И поесть — не идет впрок! Это знали и муж, и жена. Просто в это время они обычно садились сумерничать. Как хотелось Бергясу: сбросить все хвори и возвратиться ко всему привычному!

Он так и сказал:

— Хочу встать и посидеть вместе с тобой за столом.

— Вставать нельзя! — предупредила Сяхля. — Разве вы забыли наказ Богла-багши? Он приказал не вставать из постели целых три недели... Прошло лишь две.

— Сегодня я чувствую себя лучше, — соврал Бергяс. — И потом, знаешь: надоело!

Бергяс попытался опереться на другую руку.

Сяхля приблизилась и опустила прохладную ладонь на лоб мужа, весь в бугристых морщинах. Если

бы кто поднес в это время зеркало к глазам Бергяса, то он, наверное, в ужасе отшатнулся бы и зарылся лицом в подушки: исхудавший, желтый, морщинистый, он больше походил на обезьяну, чем на человека. И только великодушная Сяхля могла каким-то образом перебарывать в себе ужас и отвращение к этому человеку, сделавшему ее своей вечной пленницей, превратившему в свою тень.

— Сейчас принесу еду и помогу вам подняться,— сказала она.

Вскоре Сяхля принесла большую деревянную миску с дымящимся мясом, нарезанным большими кусками. Еще раз взглянув в глаза мужа, пренесполненные покорности и ожидания, она вдруг придвинула стол к изголовью кровати и села рядом. Бергяс, хмурясь, принялся крошить себе мясо, вяло жевал.

— Как там новости в хотоне? — спросил он, чтобы нарушить молчанье.

— А-а, все то же! Бедствует народ,— Сяхля отложила свой нож в сторону, вытерла губы передником.— Встретилась утром со снохой Окаджи... Помните, какая она была крепкая, ладная, смешливая... Сейчас — что тень, на ветру качается... Дети с голоду пухнут. Приношу им каждый день молока, да толку от банки молока на троих немного, видно, надо бы помочь еще чем-то, а коровы наши сейчас почти не доятся...

— И в степи нет корму,— вздохнул в тон ей Бергяс. Он хотел переменить разговор с Сяхлей, которая в последнее время стала слишком жалостливой.

— Надо бы, Бергяс, помочь сородичам! — настоятельно заговорила Сяхля. — В кибитках Окаджи, Азыда дети обессиленные лежат, и взрослые еле ноги переставляют.

— Не выйдет! — упрямо, с пробудившейся злобой отклонил просьбу жены староста. — Хватит того, что я оказался дураком в двадцать первом году! Полстада раздал, а чем отблагодарил? Слова-то какие для меня придумали: «Байн!» Нудрм»², — кричали на всех перекрестках! Когда нужно было ншполкома избирать, то сынков Окаджи и Азыда послали туда, а не главу рода! Пусть теперь они сами себя спасают от голода, если

¹ Байн — толстосум.

² Нудрм — мироед, кулак.

такие умные и хорошие! А плохой Бергяс и без них обойдется!

— Успокойтесь, вам нельзя так волноваться,— стараясь уговорить его, продолжала Сяхля.— Все помнят о нашем добром участии. И это еще скажется, вот увидите. Вы могли умереть от сердечного приступа, но выжили. Людские молитвы спасли нас. Но помнят доброе и те, что там, наверху!— Сяхля кивнула на потолок.— Бурхан помнит. О, хяэрхан, бурхан, багша!.. Избавьте моего мужа от страданий... Он добрый, он нужен людям, чтобы спасти свой род от голодной смерти...

Сяхля опустилась на колени перед изображением будды.

— Ладно тебе, Сяхля!— оборвал ее муж.— Все равно не разжалобишь! Сегодня я не в духе. Клятая печень замучила... Да ведь подумать только, о чем просишь: сами скоро ноги вытянем... Скота и половины не наберется против тех лет.

Сяхля подхватила на ноги. В глазах ее промелькнул гнев.

— Стен этих постыдитесь, если не совестно мне говорить неправду... Будто я не видела или забыть успела, как вы деньги и драгоценности пересчитывали при закрытых окнах!

Бергяс мог бы содержать в голодное время не один такой хотон. На поставках строевых коней в первые годы войны он разбогател, как никогда раньше. Русский друг Микола Жидко, когда отоварил свои капиталы, свел и приятеля-калмыка с нужными людьми, менявшими ассигнации на золото. То было хорошее время для Бергяса. Целый табун превращался в увесистый мешок желтого металла. Табун не спрячешь ни от своих, ни от чужих, а золотишко может лежать в укромном месте хоть сто лет! Сто властей переживет и однажды может снова превратиться в стадо коров, в новые дома, в возы с мукой и сахаром.

Попробовали голодранцы жить без богатых — не вышло! Сами себя морят голодом, есть-то нечего, а муку, крупу, мед, ситец отдают тем, кто приберег на черный день золотишко...

Нельзя сказать, что гражданская война, волны белых и красных, перекатывавшихся через хотон Чонос,

никак не затронули благоденствия старосты. Красные придут — реквизируют коровенку на приварок воинству, белые пожалуют — и дураку ясно: офицеров собери за стол и на солдатскую кухню вели отвести бычка-однолетка. А таких смен не перечесть! Да ведь и уводили подчас без спроса! Свои же оголодают и, глядишь, сведут в балку барана! Бергяс давно не держит лишнего скота. Только то, что под рукою, на глазах. И не всякому пастуху доверял староста.

«Есть еще кое-что в заглазнике! — рассуждал, прислушиваясь к молитве жены, Бергяс. — Есть, да не про вашу честь! Знать бы лишь, как обратиться с золотом, подсказать некому. Был бы жив Микола, глядишь, и придумали бы вдвоем что-нибудь... Да нет, говорят, Миколы в живых. Заезжали однажды Така с Борисом по весне в двадцать первом. Ночь скоротали в подполье — и снова в бега! Лисья жизнь — не долгая жизнь! Уже давно и о Таке с Борисом говорят, как о покойниках!.. А власть голодранцев, против которой перла такая сила, — что твой зултурган, год от года корни глубже в землю пускает. Да голод ведь страшнее штыков и орудий! Вот выкинут на прилавки остатки хлеба и крупы, на том их власть и засохнет».

Прибавившись мыслью к такому выводу о неизбежном крахе новой власти, Бергяс успокоился, обратил свои думы к Сяххле.

«У жены, как у любой женщины, сердце мягкое. Увидит в хотоне голодных людей — и в рев, ко мне со всякими просьбами... Я не господь бог одаривать всякого попрошайку хлебом насущным. Хорошо, что не все тайники бабе известны. Давно бы разнесла в подоле по кибиткам! И сама пухла бы с голоду рядом с другими! А я, может, из-за этого золота на годы лишился сна и покоя! Сердце подорвал так, что в голове монастырские трубы поют».

Во дворе залаяла собака, скрипнула калитка. Бергяс, окликнув Сяххлю и не дождавшись ответа, хотел было рывком подняться, но в сердце будто раскаленная игла вошла, руки сами собою вытянулись вдоль тела.

3

Вошел Онгаш в белых валяных чулках, со смятым, будто после долгого сна лицом, небритый, сквозь седую

шетнну вокруг рта едва пробивалась жалкая улыбка.

На голове Онгаша была пушистая лисья шапка с красивой тульей, поверх длинного с надорванной по какому-то случаю полый бешмета натянута безрукавка из волчьей шкуры, а штаны из старой, кое-где зашитой грубыми нитками овчины... На шее старика небрежно болтался бессмешный в любую пору года шерстяной шарф неопределенного цвета.

За красивую тулью шапки, красивые заплаты, которые он предпочитал латкам другого цвета, Онгаша в окрестных хотонах прозвали Красивый Онгаш... И старик не пытался оспаривать эту новую кличку.

— Все лучше, чем Капуста, — говорил он близким.

Бергяс был рад появлению старика, но прямо высказать свою радость не мог, не позволяла гордость.

— Ну и вырядился же ты, Онгаш! Как пугало!.. Где так долго шлялся?

Безропотный ранее Онгаш уже научился, однако, оговариваться:

— Не шлялся, а ходил по делу, — ответил старик, сдвинув брови, отыскивая, на что бы присесть.

— Хоть бы шапку сменил! — продолжал Бергяс. — Говори скорее, что ты там принес под этой своей красной шапкой?

— Что ни принес, то со мной. А ходил ради людей. Ты вот лежишь, мясо лопаешь, а люди этого мяса неделями в глаза не видят, и чаю на заварку нет... Так вот я и ходил в ставку. Узнать хотел, что там о нас думают.

— Узнал? — Бергяс, одолев боль, пытался завести себе подушку за спину.

— В ставке был, у самого главного! — хвалился старик и в раздумье зацокал языком. — Какой умный стал наш Церен да важный! Толстые книжки читает. Если захочет, с Элнстой по провсдам разговаривает, захочет — с Москвой!

— Домой к нему заглядывал? — выпытывал по слову староста.

— А как же? Сам позвал отобедать, на почетное место усадил! Разве могло быть иначе? Когда его мать умерла, я днем и ночью не отходил от сирот. Кто тогда мог подумать, что голодный подпасок станет самым большим ахлаци в улусе? Выходит, что Церен самого

нойона Тундутова по уму переплюнул. И жена у него — красавица, каких поискать! Дочь твоего друга Мнколы... — Онгаш нскося взглянул на хмурого Бергяса. — Прямо скажу — жена Церена — загляденье и сердечная женщина. Не видел таких красавиц и в домах нойонов. Правда, Сяяхля твоя в молодости была почти такой же. Глаза у Нины как небо чистые, и всегда огонек в них. Голоса не повысит ни на мужа, ни на гостя, не то что наше бабье... Лицом бела, и груди... — тут старый Онгаш закатил глаза под веки и покачал головой, будто подыскивая нужные слова.

— Насчет грудей ясно! — перебил его Бергяс. — Что еще ты у Церена увидел?

— Двое суток гостил у Церена, на пуховом матрасе спал. И на дорогу буханку хлеба дали да четверть плитки чая. Я еще не видел за свою жизнь таких людей! — закончил свой рассказ о гостевании у Церена старик.

— Ладно! — согласился Бергяс. — О чем же ты с ним разговаривал? И поближе к делу, — а то все вокруг да около...

— Короче нельзя! — отрезал старик. — В груди¹ накопилось столько дум, что сразу и не выразишь. Не перебивайте, Бергяс... На чем я остановился? Да... ребенка Нина кормила... А старшенького они называли Чотыном! Вот как! Еще одного Чотына родила эта русская женщина; и я вам скажу, Бергяс, мальчик удался умом точь-в-точь, как наш Хейчнев Чотын! Вот так рассудил бурхан, услышав молитву прекраснейшей из женщин, пусть она и русская, а не калмычка! В семью Церена послал наш бог носителя мудрости и чести всего рода!

— Хватит о Чотыне! — зло оборвал его Бергяс, сразу вспомнив о своем беспутном Таке. — Я спрашиваю, о чем вы там толковали с Цереном?

В последнее время, еще задолго до своей болезни, Бергяс все чаще зазывал к себе Онгаша. Всяк ведал: старик заговаривается, любит прихвастнуть. Но сквозь мусорок его слов нет-нет да и проскользнет весть, какую от другого не услышишь. Старый Онгаш был скор на ноги, перелетал, как пчела, от цветка на цветок и был весь вывален в «пыльце» новостей... Только и разницы,

¹ Калмыки считали, что мысль рождается в груди.

что старая пчела эта уже не могла перерабатывать свой взятки на мед, а стряхивала эту пыльцу, где придется. Завирался Онгаш насчет увиденного и услышанного, однако не забывал в последнее время подколоть Бергяса острым словцом, показать ему свое неуважение.

— С Цереном обо всем на свете говорили! — продолжал хвалиться Онгаш. — Если сойдутся два умных человека, всегда найдут, о чем потолковать... Я только грамоте не обучен, а умом покойный родитель меня не обделил... С любым сойдуся запросто.

— Не голова у тебя, а худая кошелка! — заключил Бергяс. — Два дня гостевал и кроме грудей у жены Церена ничего не запомнил.

— Так вот я и говорю ему... — не обращая внимания на издевку в словах старосты, продолжал Онгаш. — Теперь ты у нас все равно как князь Тундуков, только наш князь, красный, а про своих родичей — терелов — забываешь! За буханку хлеба и плитку чая спасибо, только ведь Онгаш один эти дары твои есть и пить не станет, а на весь хотон маловато твоих даров... Голод, говорю, гуляет по хотону, мрут бедняки, как мухи, только один Бергяс беды не знает... мясо у него не переводится...

— Что ты мелешь там в улусе обо мне, трепло безмозглое! — завопил на Онгаша Бергяс, меняясь в лице от испуга. — Откуда тебе известно, знаю я беду или не знаю! Да, может, мне сейчас горше, чем всем вам вместе приходится!..

Бергяс со стоном повалился на подушку, схватившись за бок.

Онгаш продолжал, живописуя словами:

— Церей выслушал мои слова, разволновался, стал ходить быстро-быстро по кабинету и говорит: и мы здесь ночей не спим, думаем, как помочь голодающим беднякам. Хювин йосн¹ не даст скотоводам умереть с голоду... Победили кровавых врагов, победим и голод! Теперь у нас есть старший брат — народ русский. Люди русские поделятся последним куском, вот увидите.

— Церей твой, — с яростью отозвался, уткнув нос в подушку Бергяс, — такое же трепло, как и ты! Байками людей кормите! В России голод еще страшнее, чем у нас! Недород у них, как в двадцать первом. Ясно?

¹ Х ю в и н й о с н — Советская власть.

А ты уши развесил, старый верблюд, и разносишь выдумки Церена по хотону!

На этот раз возмутился и терпеливый Онгаш.

— Трепло не я, а вы — Бергяс!.. Церен сказал, что нынешний год не такой, как в прошлом году. Арасея¹ не вся голодает. Во многих губерниях уродился хлеб,—заявил старик возмущенно.

— Ха, ха! — зашелся смехом Бергяс. — Арасея всегда была богата! Продавали хлеб немцам и англичанам, а свои погибали от голода! Вот что такое Арасея! Не забыл небось Миколу! Уж на что богат был, а привезли он хоть мешок муки своему пастуху, что бычков его выкармливал здесь? Микола Жидко тоже Арасея! Ты жрать хочешь, старый потаскун? — перехватив взгляд старика, устремленный на мясо, заключил Бергяс. — Так вот бери и лопай, сколько влезет! Да поменьше болтай о том, что ты сам слышал от красного своего князя Церена! Тьфу, голытьба!

Пересилить голод Онгаш не смог. И кляня себя в эту минуту за слабость, склонился над миской, подтолкнутой ему от своего края стола Бергясом.

— Что, вкусно? — издевался Бергяс. — Может, подогреть?

— Поем и холодного! — слабо защищался Онгаш и поспешно глотал редкую для него еду, проворно орудуя ножичком.

— А говоришь, что Церен дал бухайку хлеба и чай! — продолжал насмехаться Бергяс.

— Мяса можно и в запас поесть,—рассудил Онгаш,—а хлеб и чай я уже отдал детям. Так и люди Арасеи помогут своим младшим братьям пережить голодное время.

— Люди Арасеи о нас и думать забыли! — воскликнул Бергяс.

— Может, кто и забывал. А Ленин обо всех нас помнил.

Бергяс уже не раз слышал о Ленине. Спорить против самого главного большевика считал неуместным. Вступив в перепалку с упрямым стариком, Бергяс вел как бы заглазный спор с Цереном, слова которого завтра Онгаш разнесет по всему хотону.

— Не верь Церену, понял? Русским не до нас! Вся-

¹ Арасея — Россия.

кий народ должен своим припасом обходиться. Так надежнее!

Самое несносное для Бергяса было видеть, что Оигаш ест его мясо, а мыслями где-то далеко-далеко.

— Русские лучше живут, я так приметил,— стоял на своем Оигаш.— В Грушовке или Садовой самый бедный мужик что-нибудь да имел. А у нас? И в добрые-то времена не видели еды досыта. Если каждый русский даст каждому калмыку по фунту, и то будет нам спасение. Делиться с бедными велел сам Ленин... Пусть он еще раз возродится новым младенцем в каждой хорошей семье и народа каждого!

Оигаш, отринув от себя пустую миску, начал косо поглядывать на Бергяса, шарить у себя на груди и извлек оттуда, где носят бу¹, квадратик плотного картона с изображением нестарого еще человека с подстриженной бородкой. Бергяс узнал снимок великого русского в кепке.

— Большой человек был! — с грустью в голосе произнес Оигаш.— Только Церен говорил, будто его теперь не стало... Умер еще зимой... Эрлык иномыи хан забирает к себе таких нужных на земле людей, а мы с вами, Бергяс, пережили многих, кто был лучше нас.

— Как ты смеешь равняться со мною! — с возмущением закричал староста.— Ты на двадцать лет раньше меня пришел в жизнь и уйти должен раньше! Вон с моих глаз, неблагодарный!

— Для Эрлык-хана мы равны: что старец, что младенец. Вспомните его предупреждение всем живущим: «Пробьет смертный час, не купишь и мгновения жизни ни за какие деньги». Я к тому все это говорю, что ни я, ни вы, хоть мы и живы, не поможем голодающим, а Ленину помог бы! Я из бедности не в состоянии помочь, ты, Бергяс, из жадности!

— За что же ты его так расхваливаешь? — спросил Бергяс, бросив снимок на край стола.— Ты не знал и даже не видел этого человека живым!.. А повторять чужие слова все равно что разносить собачий лай по ветру...

— Его видел наш Араши Чапчаев! — гневно возразил Оигаш.— О Ленине, как об отце, говорил Церен Нохашкин. А Церен мог бы и о вас, Бергяс, отзываться

¹ Бу — молитвенная записка, талисман.

ся, как об отце, когда осиротел с сестренкой, а вы были старейшиной рода! Вспомните, каким вы «отцом» был всем нам, пока мы держались за вас и верили!

Бергяс, привстав на локти, смерил безропотного прежде табунщика, а теперь непослушного и дерзкого красношапочника презрительным взглядом.

— В девятнадцатом ты, жалкий трус, тянул руку за белого царя и за его опору — Денкинна!.. Сейчас за Ленниа и Церена глотку дерешь!.. Посмотрим, за кого ты будешь завтра, когда голод перехватит дыхание!

Старик уже отыскивал свою лисью растрепуху, чтобы натянуть на голову.

— За вас я тогда руку тянул, Бергяс! Вы были тогда аймачиным атаманом. Не так ли? А ваш сын Така, убийца многих невинных, ходил в урядниках... Не вы ли тогда с ним вопли в один голос: казак даст калмыку свободу, пастбище, скот! И все станут равными, как братья! Не один я, дурень, верил! Мечтал о сытой жизни, бешмета захотел нелатаного! Думал: царь обирает нас! Прогнал царя, не пустим большевиков в степь, станем хозяевами... А хозяевами в степи, пока здесь ийойи и зайсаны и верные их прислужники, как вы, Бергяс, бедняки не станут. И только власть Хювни йоси, власть Нохашкина сына Церена отдаст бедняку степь...

Онгаш смотрел в блестящие темные глаза Бергяса, но страха не испытывал, боялся лишь, что староста не выдержит его слов — так все накалилось в Бергясе.

— Разве прежде бедняк мог назвать своего господина на «ты»? А сейчас любой скажет вам, Бергяс, что угодно, и не тронете, потому что руки коротки... А мое обращение — это по привычке! Могу и «ты», господин староста! Бывший староста!..

Этот старик, одетый в тряпье и обноски, кудлатый, нечесаный, в расползшейся шапке, был горд и независим.

— Опомнись, Бергяс! — вдруг предупредил Онгаш бывшего старосту грозно. — Ты исхудал телом, но ты богат! Вели, пока жив и владеешь голосом, раздать лишних лошадей и коров голодающим! Это тебе, Бергяс, говорю я, один из самых старых в хотоне, много повидавший за свою долгую жизнь, и говорю не шутя,

хотя ты надо мной всегда смеешься... Я знаю: сейчас я тебе нужен! Многие считают меня балаболкой, а может, и дураком. Потому что Онгаш беден и вынужден бродить по чужим дворам, развлекая хозяев. Моим словам не верят, подсмеиваются... А я никогда не вру. Если к увиденному и услышанному прибавлю малость, то совсем не во зло собеседнику, а чтобы согреть его словом, развеселить в горькой жизни. А может, хочу, чтобы так оно и было на самом деле, как выходит в моих сказках... Пусть я чудак, Бергяс, зато ты уже никто, понял? Все ты понял давио, иначе не позволил бы мне в стоптанных буршмаках переступить через крашеный порог своих покоев... Твоего слова уже никто не слушается, не оттого ли тебе понадобился мой язык? Даже мне, балаболке в твоём понятии, поверят люди охотнее, чем прежнему хозяину хотоиа!.. Скажи, что я не угадал твои мысли, Бергяс! Скажи сейчас же — и я сгину, провалюсь под землю... Глаза мои лопнут, как у поджаренной в котле мыши!.. Или ты пропадешь, негодяй, под большим курганом зла, сотворенного тобою за все твои волчьи шестьдесят лет!

Бергяс почувствовал, как горло его что-то сдавило, он раз и другой взмахнул рукой, сопровождая слова, которые все еще застревали во рту комом. Наконец он выдавил из себя хрипя:

— Иди же!.. Уходи с глаз!.. Пропадите вы все пропадом!.. Сяххля!.. Где ты, Сяххля! Спаси меня от этого страшного человека.

Онгаш осторожно поднял со стола маленький снимок и опустил за подкладку жилета. Лишь потом шагнул к порогу.

— Бергяс! — напомнил он, переступив высокий порожек одной ногой: — Поторопись сделать людям добро! Иначе Церен через три дня пришлет сюда подводу с мукой, и люди окончательно проклянут тебя за жадность... В Черный Яр из улуса отправляется десять подвод: пришли долгожданные дары крестьян из Ара-сеи...

4

Онгаш шагнул было из спальни разгневанного и в то же время озадаченного хозяина дома прочь и едва не столкнулся лоб в лоб с таким же высоким, широкоску-

лым человеком, одетым по-дорожному, в мерлушковой шапке с алой кисточкой сзади, обутым в новые сапоги армейского покроя.

— Извините,—сказал незнакомец войдя, буркнув скороговоркой приветствие.—Но я невольно услышал ваши последние слова о прибывшем в Черный Яр продовольствии для калмыков... Разве кто-нибудь сомневается в том, что новая власть поможет бедным скотоводам?

Он охотно и немного загадочно улыбался, глядя прямо в лицо Онгашу. И старик, еще не остывший от спора со старостой, нелегкого для себя спора, вдруг поверил пришельцу, сказав:

— Бергяс не верит нам, красным!

— О, это любопытно! — заговорил поздний гость, подойдя вплотную к постели и вглядываясь в лицо хозяина дома — заострившееся, злое. Наконец Бергяс слабо ответил гостю на приветствие.

— Мендевт.

Мужчина, не раздеваясь, опустился на стул посреди комнаты и принялся объяснять причину своего появления здесь.

— Услышал я, что глава рода Чоносов приболел, и решил навестить...

Бергяс, похоже, не знал или не узнавал сейчас этого человека и молчал, поглядывая на Онгаша, будто прося его задержаться... Это озадачило старика. Не спуская глаз с незнакомца, он принялся звать Сяхлю. Жена старосты куда-то запропастилась, ошибочно предположив, что словоохотливый Онгаш на какое-то время подменит ее у больного.

Онгаш помялся в прихожей и пришел в спальню снова.

— Чьим сыном будешь? — спросил Онгаш, потому что хозяин дома продолжал тупо смотреть в потолок, будто в покои наконец пожаловала сама смерть или ее подобие в офицерских хромовых сапогах.

— Разве вы забыли, аава, о заповеди предков: «Сначала утоли жажду путника, потом спроси о деле»? — И гость снова улыбнулся. На этот раз в глазах его промелькнула тревога.

— Ты прав, сын мой,—принял упрек Онгаш, между тем настораживаясь: «Пока не дождусь Сяхли, никуда

не уйду отсюда!.. Мало ли что на уме у человека, приезжающего навестить больного, когда на улице совсем темно».

Онгаш вспомнил: гость вошел в дом так тихо, что не залаяла собака... Правда, собака иногда увязывается за хозяйкой, если ей это позволяют.

Оглядев еще раз приезжего, Онгаш предложил ему свою трубку. Тот принял трубку, соблюдая обычай.

Бергяс искоса поглядывал из-под наслупленных бровей, ничего не говоря. Впрочем, и гость больше обращался к Онгашу, вероятно приняв его за ближайшего родственника или доверенное лицо хозяина.

— Я вижу, вы, аава, озадачены моим появлением здесь, но я не чужой человек Бергясу. С главой вашего рода мы свои люди, только давно уже не виделись. Он мог забыть меня, я не обижаюсь... Несчастливая сестра Отхон погибла, и связи наши оборвались...

— Не брат ли ты покойной Отхон? — воскликнул Онгаш, вглядываясь в лицо приезжего.

— Он самый! — подтвердил гость.

— Так бы сразу и сказал! — наставительно заявил старик. — А то ведь какие слова: «Несчастливая... погибла». Этак можно и обидеть весь род Чоиносов!

Онгаш рьяно заступался за главу рода.

Старику все больше не нравился пришелец: после каждой фразы он воровато скашивал глаза в сторону или смотрел в пол, будто выискивая, чем бы ударить хозяина. И Онгаш понес гостю что было и чего не было, лишь бы отвлечь от возможного неприятного разговора до прихода Сяхли.

— Твоя сестра сама наложила на себя руки, бедняжка... Болезнь души укоротила ее жизнь... Сначала Отхон отрешилась от всех, ушла с сыном в другую кибитку... Ее не оставляли без еды и ухода... Но не ровен час: ушла спозаранку в степь за кизяком и не вернулась... Сама себе нашла кончину.

— Все это мы, ее братья, осознали позже. А вначале разум помутился от горя и обиды... Ну и пришлось высказать все накипевшее Бергясу, — уже с видом провинившегося толковал гость.

— Твой отец, — изошрялся в красноречии, оттягивая время, Онгаш, — известный на Маныче зайсан и богач, Малзанов Гучин, был умным человеком, пусть возро-

дится его образ в хорошей семье! Хороший сын никогда не позволит себе уронить чести своих родителей... Как твое имя, сын Гучина Малзанова?

— Долан! — представился охотно гость и опять-таки повел взглядом куда-то под стол, рядом с которым он сидел, все не раздеваясь. — Еще раз прошу — извините меня за прошлое...

А было так: прискакал в хотон Малзанова Гучина на взмыленном коне гонец и рассказал о страшной смерти Отхон... Шурны подкараулили Бергяса, когда тот ехал на ярмарку в Царцын, и навалились скопом. Отделали его знатно. Бергяс об этом вспомнить не любил.

— Бергяс добрый человек, небось давно забыл обо всем... — охотно поддержал приездного Онгаш.

— Если я правильно понял, вы, аава, собирались идти куда-то, да я помешал, — проговорил, плохо скрывая свое нетерпение остаться один на один с Бергясом, сын манычского зайсана.

— Конечно, у всякого теперь полно забот, — согласился Онгаш, спрашивая глазами у Бергяса: как ему быть?

И Бергяс понял этот разговор.

— Найди Сяхлю и вели ей скорее возвращаться домой! — повелительно, как встарь, произнес Бергяс, давая своим тоном знать гостю, что он остается старшим здесь в хотоне, и слово его твердо.

Онгаш вышел, прикрыв за собою дверь, но покидать дом не торопился. «Если этот сынок зайсана позволил себе подслушивать в прихожей, о чем мы толковали со старостой, почему бы и мне не уяснить таким же образом, зачем он пожаловал в такую позднюю пору?»

Сын зайсана, едва услышав стук двери за ушедшим из спальни стариком, переменил тон:

— Ну что, ахэ¹, молчишь, будто воды в рот набрал? Или язык у тебя отнялся от неожиданности?.. А может, ты глухой, как побитая кошка, которая в погребке сметаны обожралась?

Бергяс молчал, отсчитывая минуты, когда появится Сяхля. Только она может избавить его от злого, как февральский волк, Долана. На Онгаша надежда слаба...

Долан продолжал, ярься:

— Сестру довел до самоубийства!.. Молоденькой

¹ Ахэ — старший брат.

захотелось!.. И смерть Хемби — твоих рук дело!.. Отделаться двумя только поломанными ребрами за такое зло — мало, Бергяс! Совсем мало!.. И вот пришло время потребовать от тебя прибавки!

— Вон отсюда, стервец! — закричал Бергяс визгливо. Резким движением руки, откуда и силы взялись, он выхватил из-под подушки браунинг и направил в голову Долана.

Тот попятился, но, уловив шум в прихожей, решил разыграть из себя шутника.

— Ха-ха-ха! — зашелся Долан смехом, все время поглядывая на дверь. — С каких пор Бергяс стал таким трусливым? Не от собственной ли жены обороняться — держишь в постели браунинг? Боюсь, это не то оружие, если от женщины...

Долан то подходил к постели поближе, то отступал, разыгрывая из себя человека бывалого, и браунинг перед носом для него — игрушка.

— А не боишься, что красные тебя прихлопнут только за то, что хранишь дома оружие?

— Пока красные до меня доберутся, я тебя, стервеца, к Эрлык-хану...

— Хватит, Бергяс, дурака валять! — совсем миролюбиво предложил Долан. — Убери пушку, поговорим о деле... Не за тем, чтобы цапаться с тобой, я отмахал сто верст! Пора забыть обиды... Как бы всех нас, «бывших», как принято теперь называть, не смели в одну яму... Ты слышал, что старик толковал насчет обоза из Черного Яра? А ведь это все правда!

Бергяс пристроил браунинг у стены за подушкой и заворчал ожесточенно:

— Брешете вы все, как собаки!.. Так и норовит каждый вцепиться в горло... Вот и держишь дубинку в доме от своих же... Сгинули бы все разом!

Долана такая воркотня обессилевшего Бергяса устраивала. Он тоже не собирался мозолить здесь глаза всю ночь. Каждый лишний свидетель этой встречи — опасен!

— В Москве после смерти Ленина начинается борьба за власть. Скоро мы увидим все это и в наших улусах.

— Меня ничто больше не интересует! — слабо отходил перетрусивший от неожиданной встречи с бывшим

шурином Бергяс.— Мне дожить бы до весны, а по теплой поре... Тулум¹ за плечи — и в другие края, где поспокойнее...

— Конечно, — согласился Долан, придавая совсем иное значение словам старосты о заплечной суме.— Если тулум наполнен золотишком... А ты не думаешь, Бергяс, что нынешний тулум твой вытрясут за зиму?

— Легче странствовать будет! — в тон ему отозвался Бергяс, тронув на всякий случай браунинг.

В это время у Онгаша, прильнувшего к узенькой щелочке между косяком и дверью, запершило в носу. Он икнул, растирая переносицу, и отпрянул в глубь прихожей. В одно мгновение Долан оказался рядом.

— Вы кто такой? Зачем подслушиваете мой разговор со старостой хотона? Чего вы здесь торчите, спрашиваю?

Онгашу хотелось сказать этому позднему гостю что-то резкое, но он решил не раздражать и без того крикливого человека.

— Шубу ищу! — пробормотал Онгаш.— Стар я, глаза ничего не видят.

Долан был настроен на разговор с Бергясом без свидетелей и кинулся сам искать одежду старика. Наткнувшись на что-то мягкое в углу, он швырнул свою находку деду.

— Одевайся и марш отсюда!

— Плохо тебя в детстве учили родители, если кричишь на старшего в чужом доме! — упрекнул Долана Онгаш.— Да ведь я и не уйду далеко, пока хозяйку дома не сыщу.

Онгаш ушел, сильно хлопнув дверью.

— Тебе тоже пора идти, Долан, — потребовал Бергяс, беря в руки и вновь пряча оружие.— Говорить нам с тобой не о чем!

— Ты так думаешь? — усмехнулся Долан, усаживаясь на ближний к кровати стул.

— Зачем мне об этом думать? Наши дорожки давно разошлись.

Долан обиженно и с вызовом уставился на Бергяса.

— Дорожки разводят людей и сводят опять. Как видишь, свела, такая узкая, что не разминуться.

— Онгаш! — позвал Бергяс с надрывом, вглядываясь

¹ Тулум — мешок из выделанной овчины.

в темное, дышащее прохладой окно.— Найди Сяяхлю!

— Не спешн звать жену, Бергяс! У меня к тебе мужской разговор... — не дождавшнсь ответа, Долан начал говорить торопливо: — После смерти самого главного, в Москве и Питере пошла потасовка за власть. Во многих губерниях люди нашего сословия, нмушне крестьяне, поднимают голову, готовятся к восстанию. Оттуда идут сигналы: и нам пора путать по ногам и рукам здешние совдепы... Голод на нашей стороне, голод сильнее штыков и сабель... Но пуля и сабля тоже потребуются. В драке, сам знаешь, и палка пригоднтся.

— Слаб я, как видишь, отмахал кулакамн,— Бергяс вздохнул, укладываясь навзничь.

— Не руки твои нужны, Бергяс. Ты в другом сильнее любого из молодых.

— Говори скорее, чего вы от меня хотите?.. И уходи, Долан!.. Сяяхля вот-вот придет.

Долан явно горячился:

— Я уйду, но придут другие! И спросят, когда вышвырнут из степи эту Советскую власть: «Ну, а ты, Бергяс, чем помог в борьбе с красными?»

— Чего ты от меня хочешь? — в свою очередь возмущенно вскрикнул Бергяс.— Я прямо об этом спрашиваю, и отвечай прямо, не агитируй меня!

— Мы подобралн надежных людей,— принизив голос и озираясь на дверь, принялся выкладывать свой замысел Долан.— В окрестностях улуса полуэскадрон Озона Очаева, а в Бого-Цохурах с весны накапливается большая группа Цабирова... Все это под нашим глазом... Сейчас настала пора снабдить их оружием. Винтовки есть, но одними винтовками много не настреляешь. Пулеметы нам обещали из-за границы. А за них полагается платить... И лошади понадобятся в запас: на одного всадника — три... Лошади сейчас, в бескормицу, недорого стоят, но все равно деньги нужны... Деньги нужны, Бергяс! — громко повторил Долан последнюю фразу, и то была главная цель, ради которой он пересек степь.

Длинная эта и довольно прочувствованная речь позднего гостя вызвала покамест лишь насмешку у Бергяса. Был он страшен лицом, особенно когда закрыл глаза, вместо них образовывалнсь темные, глубокие впадины, будто у покойника. Но рассудок ему не отказывал.

— Кто такой, твой «спаситель» Озон Очаев? Обовшивевший конокрад! Таким его всяк знал в степи! На любую власть он плевать хотел! Сегодня он угонит коммунаское сгадо, а завтра отымет твой или мой скот! С ним небось полдюжины таких же сучьих сынов! И ты хочешь, чтобы это отребье пошло под пулеметы, ради спасения прежней власти? Да Очаев сколько раз обирал мои стада! Если хочешь знать,—Бергяс привстал, держа в руке браунинг.— Я и оружие-то держу против таких, как Очаев.

Долан с выражением крайней досады на лице хотел остановить неприятную для него разоблачительную речь Бергяса, но тот нашел в себе силы высказаться до конца, не обращая внимания на выкрики Долана.

— Доржи Цабилова я тоже знаю. Разве он уже здесь? Доржи уезжал с князем за границу! Ну, с этим я готов поговорить, да... Хочу узнать: научила ли его чему-нибудь чужбина? Если да, изволь, Долан, помогу... Тут мое слово твердо.

— О чем ты собираешься говорить с Доржи?— с явным разочарованием произнес Долан.— Я все знаю о Доржи и могу уже сейчас сказать о нем все: у Доржи двадцать семь всадников, но требуется оружие.

— Я тоже могу сказать!— воскликнул Бергяс.— Не все, конечно, скажу тебе сейчас, но один вопрос я хотел задать и тебе, и Очаеву, и Цабилову: как это могло случиться, что у белых только на Южном фронте было не двадцать семь всадников, а сто тысяч, были пулеметы и пушки, и они не скинули совдепы!.. Получилось совсем наоборот! А как Цабилов собирается справиться теперь при помощи двух десятков конокрадов и при содействии умирающего от болезни Бергяса?

Долан махнул рукой и опустил на стул, тяжело дыша. Бергяс, как мог, успокаивал его:

— И все же я дам деньги! Но — Цабилову! Только ему!

— Дашь, конечно, никуда не денешься!— с угрозой подтвердил Долан.

Оба они уже отчетливо слышали, что в прихожей стукнула дверь, зазвенела переставляемая посуда.

Вошла Сяххля, приветливо поздоровалась. Она шла, видимо, издалека — на щеках свежесть, но в глазах

озабоченность и смущение: проглядела появление в доме дальнего гостя!

— У нас гость, Сяхля, — сказал с явным упреком Бергяс. — Приготовь ужин, человек проголодался.

Сяхля видела, как устало повалился на подушки муж, как дрожат его руки. Поняла, что разговор здесь шел непростой, и осуждающе посмотрела на Долана.

Сяхля принесла в той же миске свежие куски мяса. На столе появилась бутылка русской водки. Она сама открыла бутылку и наполнила стаканы. Хозяин, опустив ноги с кровати, поднял свой стакан и тронул указательным пальцем левой руки поверхность прозрачной жидкости, стряхнул капельку в угол и, не донеся стакан до губ, поставил на прежнее место.

— Ты, Долан, выпей с дороги, а мне Богла-багша наложил запрет.

Гость, покосившись на Бергяса, опрокинул стакан в широкую пасть.

— Вот что у русских на самом деле хорошо, так это — водка! — заявил Долан, вгрызаясь в самый крупный кусок. По тому, как жадно заглатывал и водку и мясо Долан, было понятно, что он давно в дороге и долго не притрагивался к пище.

— Небось еще вчера из дому? — высказал догадку Бергяс.

Странно, однако с появлением Сяхли Долан вел себя чинно, как вполне благовоспитанный степняк, понимающий, что он в чужом доме и младший по возрасту.

— Сегодня, но очень рано! — уточнил Долан. — Выехал о двуконь. Первого коня оставил в Маныче... К утру мне нужно успеть в ставку... Я ведь там и сейчас числюсь на должности.

— О, ты, Долан, наверное, большой ахлачи! Много лет учился в Петербурге, а грамотные люди везде нужны.

— Ахлачи — это верно! — подтвердил Долан. — Но не очень-то доверяют партийцы нам, выходцам из семей зайсанов... Мне тем более — побывал за границей. Стараюсь... — гость обнажил в фальшивой улыбке редкие зубы.

— И правильно, что не лезешь на рожон! — поучил

младшего Бергяс.— Мышь незаметна в темном углу, а все, что делается в кибитке, видит...

— Вот именно! — согласился гость, намекая на свою судьбу.— Ночь в седле, а днем корпish над бумагами.

— Бумаги случаются разные! Иная больше, чем живой человек, расскажет. А ты читай да запоминай себе... пригодится. Ом-мани-пад-мэ-хум!.. Неужели все это надолго?.. Нохашкин сын будет приказывать, как мне жить дальше!.. Да я его мог зарубить плетью еще в колыбели! И его и всех нохашкиных!

— Имей в виду: мы не одни! — подбадривал Бергяса Долан.— Донские и кубанские казаки не идут в коммуны! Секут головы своим и приезжим комиссарам! Ждут удобного момента, чтобы посадить всю эту рвань на место. Но казаки дружнее нас. У них дисциплина... А мы? С тобой и то попробуй договориться!

— Не с того начал! — упрекнул Бергяс, хмурясь.

— Так вот и давайте начнем с большевистского обоза с хлебом... Нужен ли нам этот обоз? Отобьем его у голытьбы, и пусть эта мука по ветру развеется. Охрану порубим, а по хотонам распустим слух: совдепы кормят только обещаниями. Спасение от голода нужно искать у тех, кто испокон веку спасал бедняка!

— На обоз вы метко нацелились! — похвалил Бергяс.— Но готов ли идти под пули этот ваш Цабилов?.. Конокрад, тот не пойдет, я его знаю!.. Хочу видеть Цабилова!

Бергяс заметно взволновался, в глазах его появился азарт.

— Я не против вашей встречи! — трудно отступал от намеченного плана Долан. Ему никак не хотелось, чтобы взнос в эту затею переборчивый Бергяс делал через главаря банды, способного и прикарманить деньги.— И все же лучше, если необъезженный конь принимает корм из одних рук.

Бергяс не стал оспаривать этой истины, известной каждому табунщику.

— Не беспокойся, Долан!.. Денег я этому вояке не дам. За ними после приедешь ты... Но позволь мне хотя бы видеть, на какого скакуна делаю ставку? Может, и тебе Бергяс что-нибудь подскажет? В общем, загляну в зубы коню, только и всего. А с тобою, считай, договорились! Дай руку!

Участники сговора понимающе глядели друг на друга.

— И за то спасибо! — произнес Долан, гася в душе досаду. — Половину обоза пригоним на твое подворье, тем более что нам и спрятать понадежнее некуда... А Цабилов мною уже взнуздан крепко! Еще когда по Турции и Болгарии скитались, прикармливал голодную скотинку, приглядывался, в какую упряжку годится.

Разговор, к обоюдному удовлетворению, как будто налаживался. Бергяс позволил себе даже отпить глоток водки и перешел на спокойный, наставительный тон старшего по возрасту и опыту жизни.

— Подскажи им, этим «необъезженным», пусть не трогают моих людей, не промышляют мелким разбоем... А то на своих же и налетают, хватают без разбора! Поэтому люди и знают лишь одну защиту — чоновцев!

Долан откровенно лыстил старейшине Чоносов, восхищался умом Бергяса, забыв, что холодный рассудок его собеседника свел когда-то в могилу его же родную сестру.

— Узнаю прежнего Бергяса, знающего, как повернуть коня!.. Очир и в самом деле не придерживается ни ока, ни бока, обижает своих же, сеет недовольство в хотонах. Предупрежу в последний раз, а там — самого к стенке! Цабилову ты намекнешь, ладно? И все же не забудь главного: все будет зависеть от твоего участия. Не вынуждай нас брать необходимое силком.

— Деньги даю! — подтвердил Бергяс свое решение. — А Цабилова ко мне пришли, не волею... До перехвата обоза.

— Договорились! — храбрился Долан, не очень-то веря в то, что Цабилов согласится прийти на поклон к новоявленному попечителю банды. Доржи тоже — штука... Уже одевшись, чтобы идти, Долан вдруг засомневался в своей безопасности. — Что за старик приходил к тебе так поздно?.. Не глянулся мне он. Разговор наш с тобой, сам знаешь, не для каждого встречного.

— Дурной, как болотная кочка! — отмахнулся Бергяс. Однако Долан, судя по его недоверию, ждал иного ответа. И тогда Бергяс счел нужным объяснить: — Про обоз дедок этот уже наслышан. Что Церен Нохашкин собирает подводы в Черный Яр.

— Может, я разыщу его в хотоне да шлепну за кибиткой? — деловито предложил Долан. — Все меньше свидетелей...

Бергяс с брезгливой гримасой крутнулся в постели, куда он отвалился от стола, едва кончили вечерю.

— Онгаш мне пока нужен. Хотя и остарел пустомеля, но на ноги легок!.. Поворчит иной раз да сбегает, куда пошлю... Кусок мяса заработает... А завтра мы с Сяххлей хотели отослать его к нашему бѐ¹ с этой самой... с мочой... Согласись: не каждого теперь пошлешь с таким поручением. А Онгаш и сам часто недомогает, к больным сострадателен.

В какой-то мере слова Бергяса убедили Долана. И он вдруг решил ускорить события.

— Ба! — воскликнул он, хлопнув себя по толстым ляжкам. — Я как раз еду в хотон, где доживает век лучший наш бѐ!.. Пока обернется с поручением твой исполнительный родич, мы успеем покончить с обозом.

— Можно и по-твоему! — согласился Бергяс. — Но как бы не заупрямился старик... Слишком уж ты круто с ним!.. Сейчас не те времена!.. И со скотом, говорят, полагается повежливее.

Оба невесело посмеялись. Затем Долан принялся то-ропить с отъездом:

— Придумай что-нибудь, Бергяс!.. Чутье подсказывает: нельзя с этого старика спускать глаз.

Сяххля, заглянув в спальню по зову мужа, тут же ушла на поиски Онгаша. Бергяс еще раз предупредил Долана:

— Трогать Онгаша не смей, обижусь!.. Человек он из моего рода... Верни, как взял, невредимым!

Онгаш, порядком заспанный, вскоре предстал опять. Но слушал лишь Бергяса, на Долана даже не посмотрел. Старик явно не намеревался отправляться куда-либо на ночь глядя и заявил об этом бывшему старосте без всякого стеснения.

— Как ты смеешь отказывать тяжелобольному! — то сурово, то просительно толковал ему Бергяс. — Может, это последняя моя просьба к тебе, Онгаш... Садись на серого иноходца и езжай вместе с Доланом, он покажет дорогу к манычскому бѐ... Вернешься со знахарем, оба получите по барану.

¹ Б ѐ — знахарь, шаман.

Онгаш с рождения питал слабость к коням: скаковым, иноходцам, верховым, парным в красивой упряжке... За долгую жизнь он так и не разжился капиталом ни на одну приличную лошадку. Кроме низкорослой табунной клячи, другого коня у него не было. И покаяться на рысаке никто не позволял ему. А тут — серый, в яблоках, иноходец Бергяса! За него купчишка изпод Астрахани табун молодняка сулил! «Неужто серого мне дает Бергяс?.. Видно, прижало главу рода не на шутку! Эх, и прокачусь напоследок на зависть всем встречным!.. Жаль, что выезжаем потемну!.. Еще одно доброе дело в угоду бурхану совершу — помогу страдающему от болезни».

С такими мыслями Онгаш и отправился вместе с Сяхлей и Доланом седлать застоявшегося в конюшне любимца бывшего старосты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Долан и Онгаш ехали ночь полную, удаляясь все больше на восток, но признаков жилья все еще не было, хотя уже следовало бы. Конь Долана уже не так высоко держал голову и плохо повиновался уздечке, фыркал, начал уставать. Серый иноходец Бергяса шел так, будто бы только выведен со двора, от кормушки.

— Туда ли мы коней правим? — засомневался вслух Онгаш.

— Да вроде нигде не сворачивали! — заверил старика попутчик. Однако его самого уже одолевали сомнения: степная дорога, что слепая корова, не знаешь куда ведет. Сказали — пятьдесят верст, а едут ночь напролет...

— Дымком запахло, — обрадованно вскрикнул Онгаш, потягивая ноздрей вправо. Оба путника, не сговариваясь, натянули поводья правой рукой. Запах дыма усиливался. Вот уже слышен собачий брех. Степняк издалека, по лаю собак, может определить величину селения.

— Две-три кибитки, — прошептал старик. — Что бы это значило?

В задымленной туманцем низине пасся табун, невдалеке проглянуло озеро, отороченное пожухлой, обож-

жеиной зазимком зеленью. У левого края озера несколько наспех собранных кибиток.

— А коней-то у них многовато,— удивился Долаи, обозревая табуи.— Да у кибиток — с десятков стреноженных.

Неприятные мысли теснились в голове Долаи. «Храин бурхан от встречи с кем-нибудь из улускома! Спросят: «Чын вы?», скажу — конь подбился или еще что-нибудь. Впрочем, Оигаш старший по возрасту и отвечать придется сначала ему. Понесет дедушка свою околесницу, а я и подхвачу будто ненароком... Вот с револьвером можно влипнуть!.. А выбрасывать жаль, после не отыщешь в траве...»

Три исхудавшне собаки заливно облаивали приближавшихся всадников. А люди будто вымерли.

— Поедем на дымок,— позвал старика Долаи, кивнув на крайнюю от дороги кибитку. Они спешились, привязали лошадей. В кибитке было еще темно. Проглядывала освещенная слабым огоньком снизу тренога с полупустым котлом. Не успели путники услышать ответного слова на свое «Меидевт, люди добрые», как были связаны по рукам и ногам. Откуда-то из-за кибиток выскочили трое или четверо дюжих мужчин. Пыхтя от злости и угрожая расправой, заламили руки назад...

Вот, оказывается, почему хотон встретил безмолвием!.. Заметили верховых, конечно, издалека. Четверо, связывавшие их, упревшие от усердия, расселись в стороне, затем к ним прибавилось еще трое...

— А теперь говорите, что занесло вас в такой ранний час? — спросил мужчина лет тридцати с бритой, как у гелюнга, головой. Лицо у него было круглое, похожее на переспевшую дыню, щеки лоснились. Держался он повелительно, слова выкрикивал резко, тогда как другие, возрастом постарше, молчали, как немые.

— Ай, ай, сынок! — заговорил, постанывая, Онгаш. — Кто так встречает гостей? Руки и без того еле держат повод, а ты их скрутил сыромятиной, как чужому. Нешто у вас другие законы и вы запоматовали заповедь: «Сначала утоли жажду путника, потом задавай вопросы!»

— Ты у меня захлебнешься в своей крови, старый верблюд! — прорычал бритоголовый. — Отвечай да поскорее о том, что у тебя спрашивают.

— Бритая голова еще не означает, что ты посвящен в каноны зярлыка¹, чьи слова — закон для любого из нас... Старшие не зря говорили: «Необъезженный конь любой дороги не боится, горделивому человеку и море по колено». Мы к вам с добром, а вы будто на врагов накинудись! Развяжите нас скорее! — увещевал безбоязненный старик.

— Во дед разговорился! — взвопил щекастый и кивнул одному из сидевших поблизости. — Укороти ему язычок! И вообще покажи, на что годишься!

Сам он поддел старика носком сапога, да так, что тот перевернулся и потерял сознание.

— Может, ты расскажешь толком, из какой вы преисподней, шулмусы², и что вам от нас захотелось?

— Едем к знахарю в Хошеуты, — коротко ответил Долаи.

— Дураком меня считаешь? — взвизгнул снова главарь, округлив рот, в котором не доставало двух передних зубов. — Ночью к знахарю? С револьвером?!

— Сейчас все с оружием... Такое время! — как мог спокойнее отвечал Долаи.

— Последний раз говорю: не хитри, отвечай, как положено.

— Я не знаю, как у вас положено, — не сдавался пленник, — а у нас принято взять мочу у больного и отвезти к знахарю. Так мы и сделали...

Бритоголовый рванул за воротник бешмета подручного, склонившегося было над стариком, и потянул его к порогу. Оба они вышли и отсутствовали несколько минут. С надворья раздавались их возмущенные голоса. Похоже, иноходец, трудно привыкавший к чужим рукам, ударил одного из них копытом.

— Да что с ними каинтиться? — вопил старший. — Тащите за курган и там же прихлопните!

— Ях, ях! — застонал Оигаш, придя в себя. Он попытался встать.

Их подняли на ноги пиками, вытолкали из кибитки. Во дворе посадили на телегу и быстро пристегнули к обарку лошадь, выведенную из стойла в хомуте. Везли куда-то на восток. Навстречу им уже всюю полыхало зарево восходящего солнца. На землю приходил новый

¹ Зярлык — мудрец, предсказатель.

² Шулмусы — черти.

день, быть может, самый красивый и радостный для всего живого. Круглое солнце весело глядело с неба, не замечая одинокую подводу, оглашавшую степь печальным скрипом колес. Трое бандитов, давно отрешившихся и от солнца, и от всего живого, несли в холодных от утренней росы винтовках кусочки такого же холодного свинца, чтобы лишить жизни двух своих пленников, случайно побеспокоивших их в этом скрытом логове.

«Неужто пробил мой час идти в покои к Эрлыкухану? — размышлял Онгаш печально. — Понятное дело: когда-нибудь это должно было свершиться. Но разве я, сын степей, рожденный теплой полойной землей, вспоенный ее росами, согретый восходящими лучами, проливший на ней столько слез и пота, увидевший улыбки десяти своих детей и отдавший их с матерью тебе, Эрлык, должен принять гибель от рук мерзавцев, оскверняющих своим гнилым духом нашу благословенную землю? Если я так плох, моя степь, что стал недостойн дышать тобою и хранить тебя, прости меня, моя степь...»

Долан рассуждал иначе. Он давно прикинул, сколько бандитов и в каком они состоянии. «Эх, если бы развязать руки!» Но что это за люди в конце концов! Если они приспешники Цабилова, почему бы не спросить: может, я им совсем не чужой? Странное дело: увидели незнакомых всадников, навалились, связали и — на расстрел! Что бы это такое придумать, лишь бы выкрутиться, выжить?»

Подвода со скрежетом ступиц взобралась на вершину невысокого кургана. Пленных столкнули на землю и заставили раздеваться.

— Меня, ребятки, лишайте жизни, если руки чешутся, — загворил Онгаш, сотворяя молитву. — А вот за парня как бы вам не влетело потом: он ведь единственный сын зайсана Малзанова... Не говорите после, что не знали!

— Мне это нравится! — крикнул приземистый, с редкой просвечивающейся бородкой. — Ни одного белокостного еще не отправлял на тот свет.

Конвоиры, соучастники этого говоруна, тоже разве селились.

— Пошутили, ребята, и довольно! — взбодренный улыбкой на лицах бандитов, зывал к их рассудку ста-

рик.— Долаи Малзанов в ставке работает. Глядишь, и пригодится кому...

— А-а! Вот какая птица в руки попала! — приблизился к Долану бандит с обвисшими усами.— Значит, с него и начнем...

Плеинников раздели до исподнего. Совсем рассвело, в глаза билн косые слепящие лучи.

Долан понял иакоиец, что эти, позвякивающие затворами обрезаов, не шутят и везли их сюда не для того, чтобы поугаты!

— Люди! Дайте слово сказать,— проговорил Долаи, переводя взгляд с одиого бандита на другого.— Я ведь еду к Доржи Цабиову. А старик просто попутчик...

Ничего, кроме злого смеха, не вызвали его слова.

— Худо вам будет, парин, если Цабиов узнает о том, что вы прикончили Долаи Малзаиова... Я ведь выполнял его задание и еду, чтобы доложить...

— Что там тебе поручал Доржи? — спросил, будто нехотя, усатый и на миг отвел винтовку от груди Долана.

— Это вы услышите, если Цабиов разрешит вам присутствовать, когда я стаиу докладывать ему лично.

— Была охота с вами возиться туда-сюда! — с прежней яростью в голосе рассудил бандит и скомандовал подручным: — Приготовиться!..

— Нет! Нет! — взвопил Долан и рухиул на колени.— Я сейчас же все расскажу вам.

Оигаш, все время стоявший прямо, потребовал от Долаи:

— Поднимись, сын мой! Мужчине полагается принять смерть стоя!

— Ну дед! Я твою башку развалю собственными руками! — замахнулся прикладом усатый, а Долаиу, все еще стоявшему на коленях, приказал:

— Говори, а то нам некогда!

Долаи весь дрожал, и слова его срывались с губ почти иевиатно:

— Цабиов просил деиег на оружие... и коией... А потом я узнал... случайно услышал в улускоме, что через два дня из Черного Яра будут везти в Хагту муку, крупу, соль. Можно все это перехватить! — закончил Долан торопясь, захлебываясь собственными словами.

Усатый призадумался, оперся на ствол винтовки, опустив приклад между криво расставленных ступией.

— А не придумал ли ты все это от страха, сучье вымя?

Один из бандитов, по велению усатого, вскочил в седло и погнал лошадь к хотону. И конвойные и пленники смотрели ему вслед. С наступлением дня людей и суеты между четырьмя кибитками прибавилось. Для пленников было ясно, что их судьба теперь зависит от того, как отнесется к сообщению Долана бритоголовый. Онгаш ткнул под бок Долана, смерив его уничтожающим взглядом.

— Змееныш ты подколодный, а не сын достойных родителей!.. Ради спасения гнилой душонки своей ты решился на такое! Себя спасаешь, а сотни сородичей умрут с голоду?

— Молчи, псина, ты свое отжил! — огрызнулся уже обнадеживающийся Долан.

Со стороны хотона в густом облаке пыли летели, будто на крыльях, двое верховых.

Долан, дрожа от охватившего его озноба, все еще стоял на коленях, а Онгаш возвышался над ним и над развалившимися в разных позах бандитами, как судья.

Разглядев ближнего из всадников, бандиты вскочили на ноги, отряхнулись, приняли воинственную позу.

— Бааджа¹, вот они! — вскричал усатый, кланяясь. — Тот, что на коленях, набивается вам в друзья! Ха-ха-ха!

— А ну-ка покажите мне обоих! — сказал мужчина, высвобождая ногу из стремян. Был он средних лет, в легком полушубочке, на голове — кое-как прилаженная чалма. Глаза изучающие, строгие. Приблизившись к Долану, он выхватил нож и разрезал сыромятину на руках и ногах пленника.

— Ахэ! — почтительно сказал он Долану, помогая ему встать. — Пронзошла ошибка! Если вас обидели — накажу виновного!.. Пожалуйста, ахэ, встаньте, берите любого коня!

Долан не успел произнести и слова, как мужчина в чалме со всего маху опустил тяжелую плеть на голову усатого. Тот рухнул на землю.

Конь бритоголового взвился на дыбы, как бы угадав желание своего всадника улизнуть от расправы. Но повелительный жест главаря заставил и бритоголового, и всех остальных замереть на месте.

¹ Ба а д ж а — почтительное обращение к старшим.

— В тебя я разряжу целую обойму, если это ты отправил моего друга на курган,— пообещал бритоголовому Цабиров.

— Не торопись, Доржи! — проговорил Долан, радуясь избавлению.— Я ведь и сам не мог так сразу сказать им, кто я и откуда.

— Старика развяжите и на подводе вслед за нами! — распорядился Цабиров.

Бритоголовый почтительно уступил коня Долану, а сам пересел на подводу, рядом с Онгашем.

Усатый с рассеченной головой остался лежать на кургане.

Вся эта пестрая процессия направилась снова к маленькому хотону.

2

Долану скоро пятьдесят. И никогда, ни перед кем не вставал он на колени. Жизнь у него складывалась на редкость благополучно. Безмятежное детство в хорошо обставленном доме отца-зайсана, учение в Петербурге, канцелярская служба в улусе. Были и черные дни, были. Но никогда не испытывал он такого ужаса унижения, как теперь...

Втиснувшись со своей упряжкой в колонну отступающих деникинцев, зайсан Малзанов взял с собою жену и взрослого уже сына, Долана... Им удалось добраться до Турции, позже попали в Болгарию. Отец умер в Болгарии от какой-то непонятной калмыкам болезни, мать Долан определил в частную лечебницу и забыл о ней, снабдив на первое время деньгами. В дальнюю дорогу семейство зайсана взяло с собою немало ценностей, поскольку тот полагал, что чужбина их задержит лишь на время, а Советская власть вскоре падет. Все эти ремесленники, хлебопашцы, скотоводы покуражатся, отведут душу в злобе на богатых людей и вернутся всяк к своему исконному занятию. Бунты случались на Руси не однажды. Главные накопления, обращенные в желтый металл, зайсан зарыл, о тайнике рассказал сыну лишь за день до смерти. Узнав об оставленных отцом богатствах, Долан рвался домой. Но с оформлением документов не торопились. То было нелегкое время. Не привыкший к труду сын степного князька работал носильщиком на вокзале, чистил са-

поги... Возвратившись к родным местам, обнаружив отцовский клад нетронутым, Долан зауважал себя снова. Правда, перед новой властью не занесешься, тем более ни отец, ни он сам ничем хорошим на людском кругу не славились. Долан иадел на себя личину оскудевшего отпрыска, вернувшегося из эмиграции с пустой мошной и единым желанием: трудиться наравне с другими. И вскоре преуспел. Ему удалось втереться в доверие к Кару Кандуеву, ценившему в человеке прежде всего исполнительность и послушание. Кару поручил ему сначала переписку служебных бумаг, затем выдвинул заведующим отделом исполкома. Потом зайсанского сынка понизил в должности, но все же он оставался в заместителях, которому Кару доверял больше, чем заведующему, часто советовался с ним. Тот платил своему покровителю личной преданностью. Потом покровителя с должности сняли. А он, Долан, остался.

Никто из окружения Цабирова не видел Долана, не знал его в лицо, однако в отряде ходили слухи: у вожака их есть где-то властная «рука», способная в любое время спасти из беды... Слухи такие были выгодны Цабирову, чтобы подручные верили в его всесильность, как верили в неуязвимость его чалмы.

Накапливая силы, Цабиров избегал открытых схваток с чоновцами. Когда на бандитов готовилась облава, его предупреждал через связных Малзанов. И не только предупреждал, направлял подкрепление: провинившихся перед Советской властью, подлежащих аресту воришек, недовольных новыми порядками сынков зайсанов или оскудевших без дарового труда кулаков.

Банда разрасталась, требовала хлеба и оружия... Цабирова нужно было снабжать верховыми лошадьми с запасом, одеждой, деньгами. У посвященных в эти черные замыслы сообщников Долан изрядно повыбирал мелкими и крупными суммами. Очередь дошла до Бергяса. Долан давно бы напомнил прижимистому главе рода Чоносов о том, что другие старосты и сами не забывали, но встрече их мешала давняя неприязнь...

Считая Бергяса человеком неглупым, понимающим, что творится вокруг, Долан постепенно пришел к мысли: уж если не договорится с Бергясом по-хорошему, припугнет. А то и может обложить его таким налогом по линии исполкома, что главе рода не вздышится...

Бергяс давно ждал появления в своем доме агентов и по-своему готовился: усиленно распускал слухи о своей тяжелой болезни, для видимости запустил хозяйство... А если получит извещение о крупном налоге, решил он, уйдет в банду или сколотит на обреченные суммы свою кучку отщепенцев и погуляет напоследок по степи, знакомой ему до каждой балочки и бугорка. Вывернут карманы те, кто не сдался красным, поставит и этим условия: рассчитаться кое с кем из местных активистов. Списочек на них у Бергяса был уже заготовлен.

Встреча с Доланом пошла именно по такой непрямой колее: хотите денежки — послужите и мне лично; а кто служить будет — представьте в дом!..

Долан избегал лишних контактов между своими людьми. Здесь же рассудил так: «Пусть встретятся и обихаюют друг друга... Звери из одного логова узнают друг друга по запаху».

Ловкому в словесных перепалках Бергясу хотелось проверить, на что способен этот новый спаситель имущих степняков от Советов, заодно увериться, на самом ли деле так умен Малзанов, определив в главари человека с дурацкой белой тряпкой на башке, заметной в любую пору суток издаелека?..

Судьба едва не обернулась к Долану снова спиной. Опоздай на несколько минут Цабилов или — еще хуже — не окажись он в хотоне, когда от усатого прискакал гонец с кургана, бандюги порешили бы их со стариком!.. Да что ему Онгаш! Дед уже и память теряет от ветхости, мелет всякую чушь: видите ли, не своей жизни ему жаль, а тех, кто ждет совдеповских подвод с мукой!.. Корми не корми эту гольтьбу, все равно перемерут, как мухи! Было о ком горевать!

Перед испугавшимся насмерть сыном зайсана оказался, будто присланный судьбой, сам Доржи Цабилов.

Доржи Цабилов служил управляющим в хозяйстве князя Тюменя. С ним же подался за кордон. Порядком помыкал нужду там, отринутый почему-то прежними хозяевами. Однажды судьба свела его с таким же скитальцем, Доланом Малзановым, и Долаи на той поре кое-что имел из родительского запаса, поделился с княжеским холуем. Им повезло — возвращались на родину вместе.

— Я ждал вас, Долан, в Кукан-хотоне, как договорились,— напомнил Цабилов, когда отъехали от кургана.

— Разве это не ваш хотон? — кивнул Долан на горстку кибиток, откуда их с Онгашем везли на расстрел.

— Вы ошиблись! — с невеселой усмешкой разъяснил Цабилов. — Кукан чуть севернее, где раздвигается большая балка. — А это хотон Барвык — летнее стойбище. Сейчас здесь моя застава... Именно через Барвык чоновцы рассылают гонцов по степи. Здесь мы их и подстерегаем. Он рассмеялся, довольный, поправил на голове чалму — необычный головной убор для калмыков.

— Умно придумали! — похвалил своего избавителя Долан. — Мы ведь тоже по-дурацки напоролись на вашу заставу. А вы, Доржи, при таком заслоне можете себя чувствовать почти в безопасности в том Кукане.

— От хотона Чоносов к нам дорога прямее той, что вы со стариком избрали... Не затеял бы я с утра объезд постов, не миновать бы вам беды. В Барвыке у меня самые отпетые...

— Старик меня сбил с толку! — Долан покосился на телегу, передвигавшуюся вслед. — Дымок его приманил. А дымок тот, выходит, для приманки.

Доржи захохотал, довольный.

— Ну и псов же ты себе подобрал! — брезгливо покосился на бритоголового Долан. — Не люди, а живодеры какие-то. Ты им о деле, а у них одно на уме: горло перегрызть человеку.

Доржи вздохнул притворно:

— Время такое... Да ведь и выбрать-то получше не из кого.

3

За долгую жизнь Онгаш научился привыкать к любой обстановке. Поэтому как только он ощутил удар в висок и почувствовал на руках путы, тут же догадался, куда их занесло.

К исходу 1923 года все свои и пришлые в степь со стороны Северного Кавказа и Дона, гонимые судьбой и обозленные на новую власть, были выловлены по балкам и камышам. Настало затишье. Усмирять и гнал прочь бандитов военком Калмыкии Алексей Григорьевич Маслов со своими бесстрашными соратниками из

местной бедноты. Люди вздохнули облегченно. Но вдруг летом бывший холоуи князя Тюмена, Доржи Цабилов, сколотил еще одну кучку головорезов. Цабилов и в должности управляющего не отличался добротой к скотоводам, а тут, имея под рукой десятка три недобитков, в большинстве своем осужденных за преступления заочно, совсем осатанел... Попасть в руки приспешников Цабилова — это означало верную гибель. Однако не о себе теперь думал Онгаш. Его куда больше занимал Долан Малзанов. Струсить настолько, что разболтать о долгожданном обозе с хлебом для голодающих! Нет, Онгаш спокойно принял бы смерть ради спасения десятков, а может быть, и сотен сородичей. Сначала Онгаш думал, что Долан «подарил» палачам обоз ради спасения собственной шкуры. По прибытии Цабилова выяснилось совсем иное: Долан Малзанов давно в сговоре с бандитами! Выходит, что Долан такой же враг Онгашу, как и Доржи, хотя сидит в исполнении улуса.

Хотон Барвык, принесший так много переживаний и Онгашу, и Долану, всадники объехали стороной. Степь уже была окутана серой дымкой, красноватый с утра диск солнца стал бледнеть, словно растворяться в тумане.

Под копытами лошадей со звоном ломались подбеленные изморозью безлистые стебли трав. Скоро путники въехали в Кукал, где уцелело шесть глинобитных мазанок и около десятка кибиток. У одной из мазанок всадники спешились. Придержал лошадей и Онгаш, правивший подводой. Первым сошел с коня Цабилов, по привычке тронув чалму.

Онгашу был в диковинку такой головной убор на калмыке. Да и не только Онгашу. Появление человека в чалме вызвало в степи сначала удивление, а когда люди узнали, что творится вокруг по велению носителя чалмы, прокляли сначала Цабилова, затем и его чалму. Цабилов же просто хотел чем-нибудь отличаться от других налетчиков, пусть только внешне, и нечаянный турецкий трофей пригодился ему как никогда прежде.

4

Когда все было обговорено между Цабиловым и Доланом и главарю оставалось лишь повидаться с Бергясом, носитель чалмы решил выяснить: что же ему де-

лать со стариком Онгашем, который все еще оставался пленником.

— Как быть с этим ворчливым дедом? — спросил Цабилов, поигрывая плетью. В каком-нибудь другом случае это был для него совсем праздный вопрос. Но речь шла о доверенном лице Бергяса. Старик чуть не за пазухой берег пузырек с мочой своего старосты.

— Не дед, а какое-то наваждение! — в свою очередь пожаловался Долан. — Всюду нос сует, поучает. Давно бы пора в расход, но Бергяс ждет его возвращения и, если хлопнем его, станет допытываться, пока не узнает все...

— Степь — как огромный стог сена, а человек в ней — иголка, — напомнил Цабилов.

— С Бергясом шутки плохи! — повторил Долан, раздумывая. — Разве что взять его с собой при налете на обоз и там пристукнуть?

Так и не приняв решения, Долан с Цабиловым пришли в мазанку, где отлеживался после злоключений на кургане старик.

— Знахарь, оказывается, уехал в другой хотон к больной женщине, — сказал Долан. — Так что вы, отец, полежите здесь до моего возвращения. Мне нужно кое-куда заглянуть по делам. А вы без меня ни шагу от дома, иначе и поручения не выполните, и прибьют вас здесь ненароком.

Старик понял, что его почему-то не хотят отпустить. Он обеспокоенно завожился на кошме, пытаясь приподняться. Хотелось плюнуть бессовестному Долану в лицо. Но что-то все же удерживало его от этого поступка. Мучительно вызревал в слабом, утомленном переживаниями мозгу иной план, пока до конца неясный ему самому.

— Ладно уж, — проворчал Онгаш. — Только не забудь обо мне, вели этим стервецам привезти сюда знахаря или скажи обо всем Бергясу... Скажешь?

— Скажу, скажу! — проговорил Долан, отворачиваясь.

Скоро послышался цокот копыт его скакуна.

Кроме глухонемой или притворяющейся убогой старушки за целый день в мазанку никто не заглянул. Старушка принесла чай и кусок лепешки. В другой раз — кусок холодного мяса... Окна совсем узкие, дверь

открывается наружу. У порога с надворья сидит или лежит на куске кошмы сторожевой. Толкни дверь — тут же поднимает голову...

«Как бы все-таки дать знать Церену о логове бандитов?.. Ох, стервецы! Вот стервецы!» — вздыхал Онгаш, он не мог простить бритоголовому — заставил раздеться старика чуть не догола, оскорблял, больно толкнул в грудь рукоятью плетки.

Долго тянутся минуты и часы в заключении! А тут еще дразнит храпом подвыпивший часовой, ревет как конь с перерезанным горлом!

Совсем неожиданно в узкое окошко сунулась вихрастая голова замурзанного мальчонки. Онгаш поманил его пальцем. Малец и не думал уходить. Но когда Онгаш приблизился к нему и смерил взглядом, ругнулся с досады. Пареньку было лет семь, не больше. Глазастенький, он с любопытством наблюдал, как бородатый человек отколупывает черными ногтями замазку, выставляя кусок стекла размером в ладонь...

Малец совсем! Да ведь живая душа! Хоть что-нибудь да поймет из дедушкиных слов.

— Зовут-то тебя как, внучек? — спросил Онгаш для начала.

— Мокон я... А что ты тут делаешь, аака?

— Мое имя Онгаш! — прошептал старик в самое ухо мальчику. — Запомнил? Я из хотона Чоносов... Слышал о таком хотоне?

Мальчик понимающе кивнул.

Чтобы привлечь маленького Мокона, старик отыскал в кармане складной ножик, которым обычно нарезал мясо в миске — это была единственная ценная вещь у Онгаша.

— Ты чей будешь, Мокон?

— Сын Очира, — бойко ответил мальчик, обрадованный подарком. — За что они вас?

— За то, что хочу людям добра! — сказал старик. — И тебе тоже! Расти большой, будешь отцу и матери помощником...

— Отца у меня нет, — уставясь в заросшее лицо нежного дедушки, сказал маленький Мокон. — Я буду помогать брату Бамбышу! Он у меня знаете какой храбрый? Он — комсомол!

— Тс-с! — приложил палец к губам старик. Он уже

слыхал это слово и знал, что оно означает.— Нельзя так говорить сейчас... Это плохие люди,—старик кивнул на спящего часового.— Они запрут Бамбыша, как меня, и потом застрелят из ружья.

— Как бы не так! — блеснув черными глазенками, ответил всезнающий Мокон.— Бамбыш спрятался! Только мама знает!..

— Вот и хорошо! — радовался старик вместе с малышом надежному укрытию его брата.— А ты мог бы передать сам или через маму один секрет Бамбышу?

— Я ему этот ножик передам! — пообещал мальчик, опуская складень за пазуху.

— Умница! — похвалил Оигаш.— А еще передай брату то, что я тебе сейчас скажу...

Оигаш задумался. Положение его представлялось ему ясно. Он стал невольным свидетелем предательства Долаиа, и тот уже наверняка распорядится о его судьбе — человека, знающего слишком много.

— Сколько, ты говоришь, тебе годков, виучек?

— Семь, — подтвердил Мокон.

Оигаш неторопливо, слово по слову стал говорить мальчику о том, что где-то по степи идет большой обоз с хлебом для него, для его мамы и для Бамбыша... Хлеб этот собираются отнять те коинные, что сейчас разъезжают по хотону Кукаи. Нужно помешать баиде, а сделать это может лишь брат Мокониа — Бамбыш, если сейчас же сядет на коня и поскачет в улус...

— Я все передам своей маме! — пообещал мальчик, оглядываясь, поддериная штанишки.

— Храни тебя бурхаи, мой мальчик! — проговорил Оигаш, смахивая непрошеную слезу с заросшей щеки.— Может, вы с Бамбышем успеете и меня спасти!

Мальчик отлепился от подоконника и скакнул за угол мазанки.

Отослав паренька, Оигаш засомневался в успехе своей задумки. Что ни говори, несмышленишу только семь. Пока добежит до кибитки, все выветрится из головы... Да и как мать комсомольца посмотрит на все это? Не всякая жеищина отпустит в этакое время сына из укрытия.

Старик продолжал отыскивать и свой путь к освобождению. Он привалился к порогу мазанки и стал вслушиваться во всякие звуки, доносящиеся с улицы.

Вот часовой пробудился, щелкнул затвором, проворчал что-то. Затем, зевнув, поднялся. Обошел мазанку, взглянул в окно. Не обнаружив в позе лежащего на полу старика ничего подозрительного, завел ремень винтовки за плечо и побрел куда-то.

Онгаш сильно толкнул дверь — кол со стуком отскочил в сторону. Это была почти свобода! «Может, меня решили отпустить?» — терялся в догадках старик. С несвойственной ему резвостью, он кинулся за околнцу хотона в степь... Вот уже позади последняя кибитка! Вокруг сумерки!.. Но вдруг из-под кучи сушеного кизяка рванулась наперерез бегущему дворняжка! С заливыстым лаем она вцепилась в истрепанный бешмет Онгаша...

Старик упал в бурьян, откатился, пнул дворнягу ногой, шикнул на нее.

Собачка — видно, это была только что ощененная сука — не отходила, выла, визжала, лаяла взахлеб.

Подбежал испуганный часовой и с размаху ударил старика прикладом. Онгаш тут же потерял сознание.

Истекая кровью под ударами озверевшего бандита, Онгаш не мог слышать цокот копыт удаляющегося в глухую темень коня. То мчался по его сигналу в улус комсомолец Бамбыш. И, может, лай злой дворняжки, встревоженные выстрелы бандитов, кровавая расправа над стариком отвлекли на какие-то минуты часовых от Бамбыша.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Нюдля проснулась от звона упавшей сковородки. «Евдокия Свирндовна что-то уронила на кухне», — подумала она, сбрасывая одеяло; машинальным движением тронула волосы, взглянула на настенный календарь и улыбнулась счастливо.

Все эти дни, а их уже целых шесть, Нюдля чувствовала себя будто подхваченная вихрем радости, погруженная в волшебный сон, от которого не хотелось пробуждаться. То, о чем она мечтала долгие-долгие годы, складывала по крохотному расцветченному в мыслях камешку теремок своих затаенных желаний, расставляла

в этом придуманном теремке все до мелочей рядком-ладком, вдруг сбылось! Как будто кто-то всесильный внимательно следил за игрой ее воображения, а потом взял да обратил в явь! Конечно, и в детстве она верила в чудеса: задуманное человеком внезапно сбывалось! Но для этого нужно было всегда молиться и не позволять себе ничего дурного. Послать человеку удачу мог только бурхан. И когда она тяжело заболела, молитвой взывала о спасении к бурхану. Сам бог не явился, чтобы спасти, но прислал русского парня с деревянной трубочкой в руке, которую он часто приставлял к ее испуганно бьющемуся сердцу... И она поправилась, снова стала на свои ослабевшие было ножки, шагнула к маме...

Так Вадим стал для нее почти богом. Он был самым красивым, самым желанным среди людей. В последующие годы Нюдля, если ей приходилось туго, крепко обижал кто-нибудь или чувствовала недомогание, вместе с молитвой к бурхану обращала слова надежды к Вадиму. Временами он появлялся перед нею, но всегда с Цереном или с Араши Чапчаевым. И первым вопросом его был:

— Как ты себя чувствуешь, малышка?

Вадим смотрел на нее строгим взглядом доктора, озабоченного лишь ее здоровьем, и это подчас обижало девчонку, быстро набиравшую не только силы, но и года. Ей хотелось сказать в ответ твердо и с достоинством:

— Я уже не малышка! Разве вы этого не замечаете?

Нет, он ничего не замечал. Услышав привычное «ничего!», почти тут же забывал о ней. Продолжал бесконечные разговоры с друзьями о неурожае в низовьях Волги, об интервенции, о нехватке учителей и врачей в улусах. Однажды во время такой встречи Нюдля, приготовив мужчинам еду, решила было на крайность: притвориться больной, увести Вадима в отдельную комнату, где они остались бы наедине. И пусть бы он приставил деревянную трубочку к ее груди, положил руку на лоб... Пусть он уличил бы ее в этой маленькой хитрости, но она успела бы ему сказать... Что? Она толком и сама не знала, но, конечно же, что-нибудь хорошее... Ну хотя бы попросить, чтобы не называл больше малышкой. А может, и призналась бы, как часто она думает о нем и что хотела бы вместе с Цереном, Араши, а мо-

жет, совсем без них, одна помочь Вадиму в больших его заботах: поехать с его поручением в отдаленный улус, выстирать ему сорочку, поставить цветы на письменном столе... А когда он углубится в свои бумаги, неслышно подойти сзади и провести ладошкой по непокорным волосам.

Мечтания уводили Нюдлю и дальше... Вот Вадим, утомленный нелегкими государственными делами, наконец ложится в приготовленную ему постель и засыпает, забыв обо всем, и о ней тоже... А она, дождавшись этого момента, подойдет к кровати, станет на колени и тихонечко, чтобы не нарушить его покой, прикоснется своею щекою к его щеке... Или отыщет докторскую трубочку и послушает: что же там творится в его собственном сердце?

Входя в возраст, Нюдля постепенно отвыкала от своих полудетских желаний. Рассудок подсказывал ей: такие люди, как Семиколенов, не созданы для семьи, любви, личной жизни. Им впору бы управиться с государственными делами... А «малышек» и детей постарше Нюдли, выздоровевших после врачевания Вадима, небось десятка два наберется. Если доктору вникать во все тонкости их переживаний, и двух жизней не хватит. К тому же разница в возрасте остановила бы любого здравомыслящего мужчину, окажись он равнодушным к какой-либо из «малышек». «Нет, нет и нет!» — решила Нюдля однажды. И это решение как-то успокоило ее. Навсегда оставила она в своем сердце лишь пламень неугасимого уважения к «своему» доктору, похожего на восторг.

И вдруг это замешательство Вадима при встрече в доме брата! Непривычное для нее обращение на «вы», вкрадчивые, смущенные взгляды, робкое прикосновение к руке, к плечу, когда они садились в лодку!.. Затем письмо, другое...

Слова-то какие! Их и сама Нюдля, будучи девочкой-подростком, готова была прокричать Вадиму в отчаянии!.. Теперь он говорил эти же слова ей и стыдился, как гимназист, пришедший первый раз на свидание!.. И ждал ее ответа, ее решения!

Нюдля испугалась поначалу... Она перечитывала письма Вадима по десять раз. Сердце ее охватывал жар, который она так старательно приглушала в себе. Нюдля

смеялась над собой: девчонкой она была смелее, а сейчас, уже взрослая, студентка, чувствовала себя снова словно маленькой, и прежнее, обидное для нее слово «малышка» казалось ей приятным, как еще одно, дарованное ей имя. Нюдле все же достало сил, получив письмо Вадима с признанием в любви, не поскакать к нему на одной ножке, а поехать сначала за советом к Церену и Нине — единственным близким для нее людям.

Выслушав смущенный и взволнованный рассказ Нюдли о письмах Вадима, Нина подскочила к новоявленной невесте и, чмокнув ее в щеку, поздравила, а Церен повел себя так, словно ему о чувствах Нюдли и Вадима давным-давно известно. Нюдля чуть не расплакалась от обиды на брата, когда тот принялся солидно, как на службе, вслух рассуждать о предстоящей свадьбе...

— Церен! — прервала его сестра, готовая заплакать. — Ты поздравь меня сначала! Или посоветуй, как быть?.. Все же четырнадцать лет — разница в возрасте!

Нина, затем и Церен рассмеялись в ответ, сказав каждый по-своему, что это не главное.

Главным, по их понятиям, была предстоящая свадьба, и Нюдля скоро в этом убедилась, когда прислушалась к разговору между братом и его женой.

— Без настоящей свадьбы не отдадим! — возражала Нина в ответ на слова Церена о крайней скудости с продовольствием в улусе. — Только какую свадьбу? Если калмыцкую, я мало что смыслю в обычаях... Тут уж ты, муженек, сам пораскни мозгами.

— Эх, Нинок, Нинок! Разве в том дело — какую! Лишь бы ладилось у них... Можно и совсем без свадьбы! Посидим за семейным столом...

— И не думай! — сердилась на мужа Нина. — Не забывай, кто ты и кто Вадим!.. Да и мы с Нюдлей небось не последнего десятка.

Церен снова сослался на голод в хотонах. Щедрый стол на свадьбе у секретаря улускома породил бы нехорошие разговоры в кибитках.

— А не съездить ли мне на хутор? — высказала догадку неугомонная в таких случаях Нина. — У сестры что-нибудь да отыщется для нас.

— К эпманам за подачкой? — удивился Церен. Эта фраза отрезвила Нину.

— Ты прав, муженек. Перебьемся, видно, на своем пайке... Зина, конечно, даст, но вслед посмотрит так, что кусок в горле застрянет.

— Разрешит ли еще Вадим Петрович свадьбу? — засомневался Церен.

— Как это не разрешит? — удивилась Нина. — Кто у кого должен просить разрешения? Мы ведь еще и согласия не дали на его предложение... Взгляни на сестренку, что с нею делается!

Нюдля сидела вконец растерянная, поглядывая то на брата, то на его жею: вместо радости принесла в их дом беспокойство. Глядишь, еще и рассорятся из-за нее с Вадимом...

Закончилось все хорошей вечеринкой. Приехали сокурсники Нюдли по институту. Кермен помогла Нине приготовить незатейливую, но вкусную еду. Подвыпивший Шорва принял на себя роль тамады.

На второй день после свадьбы Нюдля уже включилась в бригаду приехавших из Ставрополя медиков: делали прививки против оспы. Это бедствие навалилось на хотоны невесть откуда и было пострашнее голода...

За что бы ни бралась теперь Нюдля, в душе ее вместе с ощущением очень важной перемены в жизни нередко возникала тревога: «Счастлив ли со мною Вадим? Такая ли, как я, нуужа ему спутница жизни?» И если замечала в его глазах веселые огоньки, когда встречались после напряженного для обоих дня, в душу ее накатывалась волна нежности, и Нюдля готова была обнять всех близких, делиться со всеми своим счастьем... И сегодня: первая мысль была о нем, ее муже, ее Вадиме, едва просилась. Даже грохот сковороды, выскользнувшей из рук стареющей Евдокии Свиридовны, казался ей частью симфонии семейной жизни, а не раздражающим дребезгом оброненной посуды.

— Дочка, ты уже встала? Завтрак готов. Вадим Петрович приходил, но не решился будить тебя... Говорит, Нюдля допоздна работала на медпункте, пусть отдохнется... Вот какого муженька тебе бог послал!

— Спасибо вам, тетя Дуня, за завтрак... Но нуужно было накормить Вадима... Петровича.

— За стол без тебя не садится! — вытирая тарелку, с загадочным выражением лица сообщила Евдокия Свиридовна.

Нюдля тут же сунула ноги в шлепаицы, принялась взбивать подушки, застилать кровать. Она вдруг почувствовала себя виноватой — муж пришел на завтрак, а она еще в постели. «Какой же он... — думала счастливо. — Годами не молод, а в душе — ребенок!»

— Завтра я буду сама кормить Вадима Петровича, — весело объявила Нюдля. — И завтра, и всегда!

Эти слова обидели Евдокию Свиридовну:

— Выходит, что я не угодила?

— Я не то хотела сказать!.. Извините!

Дверь с шумом распахнулась. Раскрасневшийся от быстрой ходьбы Вадим рывком шагнул через порог, протянул руки к Нюдле. Она уже умылась и расчесывалась перед зеркалом. И замерла, услышав его частое дыхание, покраснела. Ей так хотелось обнять мужа, но она стыдилась Евдокии Свиридовны, не успевшей оставить их вдвоем.

— Хочет меня работы лишить, — шутливо пожаловалась та и, сделав вид, что обиделась, скрылась на кухню, но скоро вернулась со стопочкой чистых тарелок.

Вадим Петрович, Нюдля и Евдокия Свиридовна втроем сели за стол, покрытый льняной отглаженной скатертью.

Завтрак был не из сытных, но никто не остался в обиде: съели по тонкой скибочке ржаного хлеба с домашним вареньем, по тарелке пшениного супа — в нем больше плавало кусочков пряно пахнущего поджаренного лука, чем блесток жира. Евдокия Свиридовна пошутила, как извинилась за чересчур уж негустое варево: «Крупина за крупиную гоняются с дубинкою!» Восприняв со свойственной ему веселостью уместную погудку, Вадим Петрович не преминул похвалить старшие старшей в застолье:

— Очень даже вкусно!.. Нельзя ли прибавки?

Но разве у такой хозяйки, как тетя Дуня, не найдется для мужчины еще полковника пахучего супа?

Нюдля похвалилась:

— Завтра начну у Евдокии Свиридовны брать уроки стряпания... Сама все готовлю.

— Ох, дети вы, дети! — вздохнула пожилая женщина, думая о чем-то своем, и принялась собирать посуду.

Вадим и за едой был озабоченным:

— Сегодня опять рано не ждите меня со Свиридовой!.. Поеду по хотонам, где особенно разгулялась оспа... Медиков наперечет. Кермен подключила свой женсовет.

— Эта женщина просто чудеса творит! — с восхищением произнесла Нюдля по адресу жены Шорвы. — Малышей двое, муж вечно в разъездах, сама учится и учит других в ликбезе... И женсовет, и оспа — до всего ей дело!

Вадим предупредил:

— Не вздумай пожалеть ее — обидится... Мы уж как-нибудь зачем ее старание после, а сейчас оспа не щадит ни старого, ни малого. Ни от чьей помощи не откажемся.

Нюдля видела по утомленным глазам мужа: для него нет другой заботы, кроме эпидемии в хотонах, и без того обескровленных голодом. Вадим относился к этой повальной беде не только как партийный секретарь. Люди помнили: он — «доктор»... Нередко на обычный вопрос товарища Семиколенова: «Как живете?» — люди принимались толковать о своих немощах... Вадим с пониманием выслушивал «пациентов» прямо в степи, считая вполне логичным: если человек занемог, то страдает и дело его...

В последние дни с прививками стало сложнее, люди прятались от врачей. Как выяснилось, страх на степняков нагнали монахи. Богла-багша и оставшиеся в монастыре гелюнгы разбрелись по степи, страшая божьей карой тех, кто обнажит свое тело для прикосновения злосчастных иголок... По улусам ползли слухи, что в стальных иголках русских докторов та же оспа, что и в крови людей, уже меченных страшной болезнью...

Однажды Нюдля и Кермен вошли в кибитку, откуда только что слышались детские голоса, но никого там не увидели. Заглянули в сарай, обошли подворье. Никого! Вдруг кто-то чихнул... В той же «пустующей» кибитке они обнаружили под кроватью троих детей и трясущуюся от страха старуху. Если бы не уговоры Кермен, Нюдле не удалось бы сделать прививки малышам — бабка с проклятиями гнала женщин, пришедших спасти от неминуемого лиха ее и ребят. Мать их к той поре уже свезли на кладбище...

Молодоженам было о чем поговорить в оставшиеся

после обеда минуты. Нюдля с радостью замечала, как внимателен к ее несмелым подсказкам муж, как тепло лучатся его всегда задумчивые глаза, когда он смотрит на нее.

«Поцелует на прощанье или нет?» — загадала она, когда Вадим поднялся, чтобы идти. Муж оделся, но перед тем как надеть фуражку, обернулся и бережно привлек Нюдлю, шепнув:

— Ты — моя нежность...

Раздался телефонный звонок.

— Церен! Сотию Шорвы! — только и успел сказать Вадим, внезапно побледнев, и кинулся через двор в исполком улусного Совета.

Через несколько минут Нюдля пошла разыскивать Кермен.

2

В кабинете председателя исполкома Вадим застал парня лет двадцати, в пропитанной потом и пылью рубашке, простоволосого, обутого в стоптанные буршмаки. Парень еле стоял на ногах, его качало от долгой верховой езды на мосластой неоседланной лошади. Прикрыв за вошедшим Вадимом дверь поплотнее, Церен кивнул на парня:

— Только что из Кухан-хотона, гоиец... Цабилов обосновался там, но дело тут не только в Цабилове.

Вадим, повидавший всякого на веку, чуть не вскрикнул от неожиданности, когда услышал от гоица, что в сборище там видели одного из служащих исполкома.

Обрадованный своей удачей, Бамбыш готов был тут же возвратиться в родной хотон, чтобы расквитаться с бандитами. Он жестикулировал длинными, жилистыми руками, наседав на Церена, требуя немедленно выступить на Кукаи:

— Дайте мне десять бойцов, и я спасу того славного старика! — не унимался комсомолец, когда закончил свой рассказ о готовящемся нападении на обоз.

— Нет, Бамбыш!.. Все это не так просто! — ответил Церен. — За очень важные вести из стана Цабилова люди еще тебе скажут, и не раз, великое спасибо! А сейчас — отдыхай! Мне нужно кое с кем связаться! Объявляю тревогу!

Бамбыш нехотя ушел из улускома, взял с председа-

теля обещание, что тот разрешит ему вместе с чоновцами выехать на охрану обоза.

Когда в улуском пришел Вадим Семиколенов, Церен уже готов был кое о чем доложить секретарю: позвонил в Черный Яр, чтобы отправку обоза задержали.

Вадиму не понравилось такое сообщение.

— Эх, Церен, Церен! Вечно спешишь со своими звонками! Отправку обоза отменил!.. По какой причине?

— Ни по какой! — загорячился Церен. — Задержал отправку, и все!

— Если все, то куда ни шло! — успокоился Вадим. — А то ведь телефон — такая штука, что служит и нашим и вашим. Значит, лишнего не сказал? Сейчас придумаем что-нибудь получше.

— Что именно?

— Не перебивай! Сколько подвод у нас подготовлено на сегодня?

— Десять.

— Когда они пройдут у Чучян-худука?

— К полудню, пожалуй... Все-таки тридцать верст.

— Отлично! Тогда сейчас же пошли на пристань нарочного: нужно прибавить к этому десятку еще пять подвод для усиления обоза...

Церену пока не все было ясно из задумки секретаря улускома. Тем более что Вадим особо предупредил, чтобы не посылали с обозом ни одного чоновца.

— А вот это уже мне совсем непонятно, — заявил Церен почти с раздражением.

Когда распоряжения о подготовке дополнительного транспорта были отданы и Церен с Вадимом уверились в том, что обоз по-настоящему складывается и будет готов принять весь полагающийся улусу груз продовольствия, оба засели за разработку более подробного плана уничтожения банды.

3

Нарма Точаев приехал из ставки улуса под вечер и долго не мог успокоиться. Слишком прибавилось у него забот с тех пор, как стал председателем аймачного¹ Совета.

Коммуна в Хагте образовалась вскоре после взятия последней банды — Шанкунова. Люди потянулись к по-

¹ Поселкового.

кою, теперь им никто не мешал заниматься привычными для скотоводов делами. Руководить коммуной, по настоянию однохотонцев, согласился Гаха Улюмджнев. Жнлье для коммунаров привезли из хурула, скот собрали по степи. То было странное для степняков хозяйство, где людей оказалось больше, чем коров, коз и лошадей... Удивлялись нмушне — беднякам же все было понятно: к совместному труду тянулись те, у кого этого скота никогда и не было. Сплошь батраки да обездоленные лихолетьем войны бывшие красноармейцы, сироты, старики. Однако даже эта немногая живность, что все же удалось собрать в опустевших помещичьих усадьбах, пала в бескормицу зимой.

Хороший человек никогда не посмеется над другими, попавшими в беду. Но коммунаров обзывали по-всякому, упрекали в лени, советовали оставить эту непонятную затею с коммуной, а разбрестись-ка снова по дворам зажиточных хозяев, где хоть покормят досыта.

Наслушавшись такого, кое-кто из слишком доверчивых коммунаров разворачивал оглобли в другую сторону. Гаха садился на коня и спешил в аймак к Нарме, а то и к Семиколенову или к Церену, спрашивать, как быть, что делать с «дезертирами» из общественного хозяйства, польстившимися на кулацкий приварок. Но помочь коммуне пока могли лишь словом:

— Продержитесь там как-нибудь до Нового года!.. Ждем помощи, вас не обделим! Получите товары, инвентарь, скот для обзаведения... Держитесь! Не сдадимся мироедам.

Нарма был ближе к коммуне, беднота не выводилась у него в доме, табунщики часто не разбирали и не хотели разбирать, где служебное помещение у председателя аймака, а где его жнлье. Вот и сейчас, вернувшись из ставки, Нарма застал у себя дома младшего сына Азыда Ходжигурова из хотона Чоносов. Звали мужчину Бюрча. Был он худ и высок, подобно отцу, лет ему сравнялось сорок, а на вид — куда старше. Прибаливал Бюрча после того, как потрепало бураном в степи, долго хворал, теперь вот поднялся.

— Нужда подняла на ноги! — объяснил пастух, садясь у порога, расправляя длинные негнувшиеся ноги. — Детей пятеро да двое стариков, совсем дряхлых, а работник один.

Бюрчя вздыхал, покашливал в кулак, кряхтел по-старниковски, не торопился начать разговор. Медлил и Нарма, тая обиду на пастуха: однажды Гаха уже предлагал Бюрче записаться в коммуны, даже помощь выделил голодающей семье, как другим коммунарам, но Бюрчя не сказал ни да, ни нет. Нарма знал об этом разговоре. И теперь не торопил главу многодетного семейства: пусть решает сам...

После гибели Серятра Цеденова, бывшего председателя аймака, от бандитской пули, Нарму избрали руководить аймаком. Выделили под жилье пустующую саманную мазанку, и Нарма позвал к себе на хозяйство ту самую вдовую соседку, которая в свое время известила его тайком о приезде на околицу Налтанхина Саяхна...

— Как там жизнь в Чоносе? — спросил Нарма, когда надоело слушать пустые вздохи Бюрчи.

— Дрянь дела! — буркнул тот, не поднимая головы.

Услышав его ответ, Нарма насторожился: при встрече калмыки никогда не говорят так друг другу. Как бы ни пришлось человеку худо, сперва он скажет: «Му-биш»¹. И вдруг такой резкий, отчаянный ответ.

— Прости, Нарма, — тут же исправился Бюрчя. — Дошел до края, заговариваться стал. Ты меня поймешь, я знаю. Старик наш совсем сдал. Чаю и того давно в семье не видим, пьем отвар листьев. Спасибо Онгашу: вчера принес четверть плитки... В доме шаром покати — даже мыши разбежались. Бергясов Лиджи задолжал полпуда муки, не отдает. Не знаю, что с ним и делать.

— Коммуна рядом, там — паек, — сдерживая досаду, проговорил Нарма. — Туда люди и посостоятельнее идут.

— Ой, не говори, друг! — взмахнул руками Бюрчя. — Не все ли равно для меня, где за скотом ухаживать: у Лиджи или в коммуне... Лишь бы кусок лепешки детям на обед! Да ведь отец уперся, а послушаться старших, ты сам знаешь, не в наших обычаях.

Нарма не нашел, что ему сказать насчет упрямого Окаджи. «Может, самому поговорить со стариком?» Мысли его перебил новым вопросом Бюрчя.

— Оно бы ничего... Пусть — в коммуны... Только как

¹ Му-биш — соответствует русскому: ничего, жить можно.

же быть со старшей дочерью? Ей скоро семнадцать. А в коммуне женатые мужчины или старнки вроде меня... Что же ей? Ложиться под общую кошму с дедами?

Нарма с возмущением уставился на растерявшегося отца семейства.

— Не пойму, при чем тут ваша взрослая дочь? Пусть себе ухаживает за дойными коровами, как все. А с кем ложиться — это уж ее дело.

— Как же так? — упрямо твердил Бюрчя. — Все говорят, если пойдешь в коммуну, то дети твои могут вступать в брак только со своими, тамошними, что едят за одним столом и спят впокат.

Нарма коротко всохотнул. Тут же окоротил себя.

— Кто так говорит?

Бюрчя передернул плечами:

— Все.

— Так уж и все? Может, скажешь: хором говорят?

— Мне Лнджи говорил, а тому Богла-багша толковал недавно при встрече.

— И что же тебе посулил Лнджи, если ты останешься у него батраком?

— Двадцать рублей, три пуда муки, барашков пару.

— На бумаге записал или так просто пообещал?

Батрак снова замахал руками перед своим лицом:

— Боюсь я этих бумаг! Да и читать не умею... Но он что-то записывал, я это сам видел.

Нарма почесал у себя в затылке. Он уже давно получил в улуском указание: проверить, все ли батраки имеют письменные договоры с хозяевами об условиях найма. Договора эти полагалось заверить в аймачном Совете. В степи океан единоличных хозяйств и все не объедешь сразу.

— Ну, вот что, Бюрчя! — проговорил председатель как можно веселее. — Скажи своей старшей и тем, что подрастают: в коммуне никого насильно не женят и замуж не выдают. И нет этой самой общей постель... Придет время обзаводиться семьей, пусть идут за любимых, и хоть на край света.

— Не задержите? — изумился Бюрчя.

— Ни на один день! — весело выкрикнул Нарма.

— А бумагу с печатью насчет этого дадите?

— Бумаги не дадим, — Нарма скривился.

— Почему?

— Потому что это глупость!.. Выступлю на собрании и все разъясню. А слово на людях, как ты знаешь, сильнее бумаги.

Бюрча вроде бы успокоился. Но ему не хотелось возвращаться домой без бумаги. Так велел ему отец, почти совсем согласившийся на вступление в коммуны. Только очень уж сокрушался при том дед о судьбе любимой внучки.

— Эх, не понял ты меня, Нарма! — заговорил сызнова Бюрча, нерешительно переминаясь у порога. — Разве мне нужна та бумага? Старик изводит: говорят, вернуть можно только бумаге с печатью! Мол, председатель сегодня один, завтра другой. Один пообещал, другой — не помнит. Если, говорят, не выдадут бумаги, уедем на Дон... Там у меня еще два брата и сестра. Только не хотел бы старик сниматься с насиженного места... А мне хоть надвое разрывайся: и старика ублажай, и дочь спаси.

Пришлось написать справку. Лишь тогда Бюрча, извиняясь и проклиная свою темноту, всплакнув от досады, распрощался.

— Ну и бестолковый же мужик тебе попался! — почувствовала Нарме жена, принеся еду на стол. — Сорок лет, а в толк не возьмет, что никакая баба не поддастся мужчине, если не пьяная и сбережь себя хочет.

— А ты сказала бы ему об этом! — шутливо упрекнул женщину председатель.

— Была охота мне вступать в ваши разговоры!

Наскоро поев, Нарма прилег, задумался. За два последних года он стал многое понимать в людях. Охотно тянулся к газете, добыл кое-что из книг. Иногда спорил с Нохашкиным и Семиколеновым, но больше из-за того, чтобы самому стало яснее. И все же непонятного было еще ого как много! Зачем, например, даже врагам распускать небыллицы, что девушек в коммуне приневоливают спать под одним рядом со стариками? Где эти девушки или женщины, испытавшие на себе «коллективное счастье»?

Не успел сомкнуть глаз, сильно загромыхало в окно. Нарма нащупал под подушкой револьвер, стал в простенке. С надворья знакомый голос Нохн Улюмджиева:

— Ахлаци!.. Поднимись-ка, выдь на минутку!

— Чего колготишься среди ночи? — недовольно про-

кричал, все еще стоя у окна, аймачный председатель. — Кричишь, как ограбленный!

— Нет, все богатство цело! Я возле коперяц¹!... — И ушел, постебывая киутом по голенищу сапог.

Год назад в Хагте было создано общество кооперативной торговли. Его организовали, чтобы помочь с распределением товаров среди бедняков-пайщиков. Но в пайщики калмыки шли неохотно, боясь подвоха. В аймаке имелось две частные лавки, хозяева их драли с покупателей три шкуры за привозной товар. Коллективная лавка, созданная на паях самих покупателей, могла бы составить конкуренцию лихоимцам.

На средства исполкома построили рядом с конторой небольшую глиняную мазанку, красиво отделали ее изнутри, попросили кредит в Госбанке для приобретения товаров. Сначала все шло как нельзя лучше: занимали соль, керосин, спички, появились даже хомуты и сбруя... Другой раз продавали пайщикам мыло и крупу... Совсем забогатели, когда появились рулоны мануфактуры. Это был настоящий праздник в аймаке: все так пообносились за годы войны, что у иных и латки-то были разноцветные. А тут кому перепало на штаны, кому на сарафаны... Товары, однако, распределялись только по паевым книжкам. Это вызывало зависть у остальных, кто по разным причинам поскупился на пайевой взнос, а теперь жалел. Прошел слух, что на «общественную» лавку собираются напасть ночью... Не по этому ли поводу будоражит председателя Ноха?

Нарма догнал Ноху у груженных подвод. Оказалось, возницы все доставили без потерь. Нохе просто повезло и на этот раз: загрузили доверху целых две подводы, и он не мог утаить своей радости, решил похвалиться перед председателем удачей.

— Ах вы, дети, настоящие дети! — дружески упрекнул Нарма добычливого кооператора. И принялся разгружать подводы, радуясь сам не меньше, чем Ноха.

Откуда-то появился Гаха, будто ждал возвращения брата с товаром.

Мужчины принялись стаскивать с телеги бочки с керосином, ящики со спичками, какие-то мешки. И опять два рулона ситца!

— Уж не обобрал ли ты кого сам в дороге? — смеясь,

¹ К о п е р я ц — искаженное: кооперация.

допытывался Нарма, взбрасывая себе на плечи мешок с мукой.— Не Церей ли порадел землякам?

Ноха лишь посмеивался счастливо, торопясь понадежнее упрятать свой добыток под замок.

Перетаскав все это добро в помещение, принялись тут же при свете керосиновой лампы распределять щедрые пока дары новой власти между самыми бедными. Не забыли и тех, кто не вступил в кооператив.

По настоянию Нармы пайщики отмеряли-таки из коллективного рулона отрез на платье взрослой дочери Бюрчи — будущей коммунарке. И два пуда муки, словно бы в возмещение убытка, нанесенного доверчивому батраку злоязыким, жадным Лиджи...

4

В пасмурный осенний день на пристани Черного Яра с утра было оживлению: возницы покрикивали на лошадей, подгоняя телеги поближе к распахнутым дверям складов, грузчики грубовато отгоняли прочь ребятину, синовавшую у пакгауза с надеждой, что из оброненного ящика выпадет кусочек сахара или из мешка просыпется пригоршня пшена... Работы сегодня и грузчикам и возницам выпало много. Пятнадцать пароконных подвод были заставлены ящиками, мешками, крепко увязанными тюками.

Наконец старший обоза подал команду трогаться, и цепочка подвод потянулась к мощенному булыжником тракту, ведущему в степь... Лошади споро перебирали ногами, выбравшись на полевую дорогу, обозные весело переговаривались между собою, чтобы скоротать неблизкий путь. Случалось и подобрать притомившихся в дороге попутчиков, и тогда разговор на время еще больше оживлялся. Так верстах в двенадцати от Черного Яра к конным людям прибились два богомольца, шедшие в Дуид-хурул для сотворения обряда. Не отказались подвезти. Смиренные почитатели веры оказались любопытными: «Что везете? Куда?» Вслух подивились беспечности возниц: время беспокойное, а они в такую даль без охраны да и у самих ни ружья старенького — отпугнуть грабителя. Возницы дружно высмеивали богомольцев: или сам будда не защитит их в святом деле — голодающих спасать едут?!

На развилке дороги у хотона Халуха попутчики, по-

благодарив за добрую услугу, отстали. Обоз продолжал следовать своим путем, растянувшись на полверсты. При въезде в глубокий лог за Халухой передние возы остановились, чтобы дать возможность отставшим подтянуться ближе. В лог спускались плотной чередой, так что морды лошадей доставали вперед идущую подводу.

Со склона коней пустили на рысь, чтобы легче выскочить на взгорок — в сыкотную погоду здесь часто застревали подводы. Иной неопытный хозяин намучается, помогая выбившимся из сил лошадям. Все спешились, готовые подталкивать телеги сзади.

Опасный лог остался позади, отмахали еще верст пятнадцать. Впереди темнел глубокий овраг.

Передние десять подвод уже шли по самому дну оврага, а замыкающие обоз только начали спускаться, когда из далекого отрога, заросшего ветвистым лозняком, с гиком выскочили восемь всадников. Они устремились наперерез ведущей упряжке, а еще семь ринулись на хвостовые подводы. Обоз как по команде замер. Но не весь. На пяти задних подводах в одно мгновение был сброшен брезент, полетели вниз набитые травой мешки. Грузные, медленно ползшие до этого возы превратились в тачанки с тупорылыми стволами пулеметов, а запыленные возницы — круто разворачивали коней...

Минуто, другую стоял непрерывный грохот выстрелов. Ржали вздыбленные на всем скаку откормленные кони бандитов, кто-то вопил, прося пощады, другие навсегда смолкли, выбитые из седла пулями, разбросав по земле руки. Трое всадников рванулись было обратно в степь. Но чоновцы на тачанках тоже знали свое дело — выскочив из оврага, они вновь развернулись, посылая вдогонку короткие очереди.

Двух уцелевших и оторвавшихся от погоняющих окружила полусотня Шорвы, шедшая на рысях навстречу обозу.

Среди убитых и пленных не оказалось Цабилова. Посылая на рискованное задание послушную ему свору, он остался с двумя телохранителями в хотоне.

В ярости от боли и неудачи один из раненых бандитов указал место, где ждет их с богатой добычей главарь. Конники Шорвы окружили последнее пристанище Цабилова. Сдаваться в плен главарь не пожелал и был прикончен в перестрелке.

Приезжая в Астрахань, Вадим нередко заглядывал на чашку чая в дом Калмыцкого училища, где в то время поселился Араши Чапчаев с домочадцами. А теперь вот — Москва!.. Добро, что запасся новым адресом друга...

Два года назад Араши отправился в Москву на курсы в «Свердловку». Для Араши, пришедшего в революцию через страдания народные, без теоретической подготовки, курсы казались открытием мира заново. Он с головой влезал в науку... Чапчаевым дали небольшую квартирку в Спиридоньевском переулке.

Все эти годы Вадим получал от друга письма, иногда совсем короткие, а в другой раз побольше. Но разве на листке бумаги передашь все, что на душе? Другое дело — поговорить в добром застолье. За годы совместной работы они сошлись так, что понимали друг друга с намека. Вадим всякий раз воливался перед встречей. Ему вспоминалось их первое знакомство в хотоне Чоисов и долгий разговор сразу после Октября, когда Чапчаев прибыл за разъяснением, как быть с горластым атаманом Босхонджиевым, поселившимся по велению строптивного князя Туидутова в земской управе. «Да, за эти годы Араши вырос, стал заметен издали! Мог ли я думать об этом четырнадцать лет назад, когда судьба свела нас в кибитке Бергяса! С каждой встречей мы становились сильнее от нашей дружбы... И смелости прибавилось!»

При первом знакомстве Араши напоминал только что оперившегося орленка. Однако еще желторотого, которому вполне могли обломать крылья! И не пощадили бы, долго не стали терпеть его правдолюбства. Степь любит сильных — это известно каждому. Народ давно лишили этой силы. И лишь единицы, подобные Араши, не шли на поклон к власти имущим. Араши тогда не сробел, а тут подошла помощь... «Без таких, как Чапчаев, — размышлял теперь Семиколенов убежденно, — не скоро в степь пришло бы обновление!»

С такими светлыми думами о друге Вадим Семиколенов теперь отмеривал километры по столице, отыскивая Спиридоньевский... Наконец замелькали близкие номера домов. Дверь перед гостем распахнула Булгаш — невы-

сокая ростом проворная калмычка с радушием выражением лица и приятно-певучим голосом.

Хозяинна дома не оказалось. «На занятнях!» — объяснила Булгаш. Как всегда веселая и общительная, одетая по-московски модно, женщина предложила гостю чашку чая. Вадим помнил о возрасте супруги Чапчаева, было ей немногим больше тридцати. Однако короткая стрижка делала Булгаш совсем девчонкой. На шум в прихожей выбежал из другой комнаты пятилетний Анатолий, кинулся к дяде Вадиму, а восьмилетний Борис, сидя за книгой, наблюдал из-за стола, как дядя в гимнастерке с двумя орденами причесывается у зеркала... Сели за чай. Но вскоре стремительно вошел сам Араши. Дружья обнялись, постукивая друг друга ладонями по плечам.

— Сегодня весь день, — признался Араши, — не давало покоя предчувствие... Так и влекло к очагу! Поэтому раздумал идти в библиотеку после лекций...

Булгаш принесла мужу и гостю большие пиалы крепко заваренного чая.

— Давай, брат, рассказывай, как там у нас?

Через пять минут они уже сидели на диване, забыв обо всех остальных в доме. Булгаш пыталась напомнить мужу:

— Человек с дороги, пусть поест, а времени на разговоры хватит.

— А вот я его помучаю сначала, пусть он с большим аппетитом поужинает!

И он опять принимался тискать друга в объятиях, будто пробовал свою силу.

Вадим очень любил Араши вот таким: распахнутым, неугомонным, резко размахивающим руками. Тот в свою очередь, слушая гостя, не забывал покрикивать на жену:

— А ты, Булгаш, свое дело твори: про ужин мы помним!

Вадиму он сказал, когда стол был уже накрыт со всей щедростью, на какую была способна заботливая калмычка:

— У наших предков, ойратов, был трогательный обычай братания. Мальчики и юноши обменивались подарками и становились аидами, названными братьями. Содружество считалось выше кровного родства. Аиды —

как одна душа, никогда не оставят один другого в беде, выручат, хоть свою голову надо сложить. Если ты сотворил зло анду, то тебя ждало презрение со стороны ближних и дальних. Вот и мы с тобою, Вадим, хотя и не побратались по обычаю, но оказались близкими по духу. У нас что ни на есть самое неизбывное братство,—говорил возбужденно Араши.—Ты помог калмыкам, да и мне ведь не однажды подавал руку в нелегкую пору...

— Было кому подать руку! — заметил Вадим. — Другому и подашь, но он ее тут же уронит, а то и запачкает!

— Немало прекрасных русских людей, бескорыстных, щедрых сердцем, пало за счастье других... Ты вот уцелел, Вадим, в той кровавой сече. И я вдвойне счастлив быть рядом, идти вместе дальше!

Араши не мог удержаться от простых и душевных слов, радуясь этой очередной, совсем не случайной их встрече.

— Ну, ладно! — остановил его Вадим, слегка хмурясь от избытка добрых слов. — То же самое, если не больше, я мог бы и о тебе сказать... Пусть лучше хорошие слова остаются в сердце. Не забывай, Араши: я ведь не женщина...

Араши взял стопку.

— Э-э, Вадим! — остановил его хозяин дома. — У нас пьют прежде всего за здоровье гостя.

Вадим не стал спорить. Он поднялся и поклонился хозяйке.

На столе появились рыба, мясо, овощи и фрукты. Араши сам удивлялся: как все это удалось раздобыть супруге курсанта? И тут же с нежностью подумал о Булгаш: «Ради гостя выложит и последнее! Но ведь какой он гость в этой семье? Кажется, никогда с ними не расстанусь, всегда в моем сердце».

— Знаешь, Вадим! — вспомнил вдруг Араши. — Был такой восточный философ, Шакьян-Муни, создал он учение о том, что все беды в человеке от пресыщения и соблазнов... Всякие желания — источник страданий и даже смерти. Отказавшись от соблазнов, человек избавляется и от мук душевных. Даже от смерти!.. А вот коммунисты доказали инсе! Лишь тот, кто одухотворен высокими помыслами, стремлением делать жизнь

прекрасной не только для себя, но и для других, не казнятся муками совести, а достойные свершения делают имя человека бессмертным.

Гласный спор новоявленного философа Араши Чапчаева с древним Шакья-Муни, видимо, уж не однажды звучал в застолье этой гостеприимной семьи. Булгаш попыталась остепенить мужа осторожным напоминанием о том, что еда остывает.

Вадим поддержал хозяйку, завзято орудуя вилкой и ножом.

— Папа, а какой он из себя, этот Шакья-Муни?.. Ты его хоть раз видел? — прозвучало с края стола.

— Я его не видел, сынок... Но его учение проповедовали богачи. Они призывали бедных к воздержанию во всем и покорности судьбе. Эта наука отбросила развитие всего народа на несколько столетий назад, мutilа самосознание других.

— Араши, ты сейчас действуешь несколько не лучше Шакья-Муни: угощаешь гостя проповедями, — напомнила Булгаш.

Вадим сказал, прекращая трапезу:

— Очень даже любопытно! Я вижу, учишься ты прилежно, как в свое время наставлял грамоте юных калмыков.

Араши промолчал. Поковырявшись в тарелке, сказал:

— Булгаш права! Давай поговорим о том, что нам ближе сейчас... Сколько мы с тобой не виделись? Два года. Много за это время переменилось. Вот и тебя, Вадим Петрович, год назад перевели из улуса в Астрахань, ты теперь в обкоме... А как Церей Нохашкин там? Он ведь избран секретарем. Выходит, вырастил парня себе на смену?

Булгаш не утерпела со своим вопросом:

— И о Нюдле не забудьте сказать! Учение она закончила?

— Работает детским врачом! — ответил Вадим. — А Церей, что ж? Возмужал, не узнаете... Район его из лучших.

— Я всегда почему-то боялся: вот-вот переведут тебя в Москву, и тогда мы не устоим, — соизлился Араши.

— Сам никуда не напрашиваюсь, но в работе нашей все может случиться, — спокойно отнесся к своему будущему Вадим. — Не только меня, и тебя могут задер-

жать здесь в Москве... Столица теперь для каждого стала близкой.

Араши заметил озабоченно:

— Мне осталось учиться месяц... О назначении пока не говорят. Но скорее всего уедем домой... Как хотелось бы, хоть немного, вместе поработать!

— Поработаем! — воскликнул Вадим. — Обычно по окончании «Свердловки» выпускники идут в распоряжение Совнаркома. Но для национальных кадров делается исключение. Многие рассылаются по домам... Умелых людей еще недостает на местах.

— Думаю, что это правильно, — заключил Вадим. — Калмыки заждались тебя, Араши! Намечаются большие перемены в степи. Надо учить людей жить оседло, пахать землю, растить хлеб. Но и о скоте не забывать. Да и учиться всем крестьянам пора! Революция должна принести культуру в джолумы. А там и джолумы на слом... В общем, нужны толковые люди в руководстве, чтобы народ за ними пошел. О тебе вспоминают степняки, Араши! Не забывай и ты о них.

Взволнованный словами друга, Араши заходил по комнате, но тут же остановился и опустил руки на плечи Вадима:

— Зажег ты меня, друже! Хочу в степь! Ой как хочу!

Они сели на диван, закурили...

Всю дорогу, пока ехал до Москвы, Вадим перебирал в памяти события последних лет, свои поездки по аймакам и хотонам, разговоры с людьми, непростые наблюдения. Теперь все это будто выстраивалось в один ряд. И мысли, и дела высвечивались в напряженном сознании... «Уже девять лет, как свершилась революция, но мироеды цепко держатся за старое, опираясь на вековые обычаи. Разбежались зайсаны, но расплодилось, будто кочек на болоте, кулачье. А эти отлично познали законы бытия, диктатуру «голодного желудка» и держат бедноту в покорности. Выходит, нужно снова готовиться к схватке? Но изменения в психологии людей происходят не так скоро...»

Заговорил Араши:

— Мне вспомнилась сейчас, Вадим, наша первая встреча, в двенадцатом году. Ты рассказал тогда про

мальчишку, размечтавшегося о небесной корове. Ребенок надеялся: та корова напонт молоком всех и досыта.

— Не зря мечтал об этом Церен! — обрадовался словам Араши Вадим. Страшно подумать: мы тогда не в состоянии были помочь и одной обездоленной семье! А сейчас? Целые народы, отсталые, полудикие, возродились, словно из небытия, и, опираясь на руку русского брата, делают новую жизнь!

— Как недостает нам всем Ленина сейчас! — закончил Вадим.

— А у нас есть карточка, где папа рядом с Лениным! — похвалился вдруг возникший в проеме дверей старший сын.

Возбужденный собственными словами, Араши уставился на сына, потом рассмеялся:

— Кто ни заявится к нам, он непременно достанет тот единственный снимок! Большевикам растут сыны! А снимок-то и в самом деле памятный: когда мы возвращались после подавления Кронштадтского мятежа, Владимир Ильич сфотографировался с группой бойцов. Забыл я уж о том эпизоде минувшего, а тут вдруг в прошлом году разыскал меня фотограф и сам вручил!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Пожухлая осенняя трава еще колышется под набегами ветра-низовика. До туч, набухших как коровье вымя к вечеру, можно рукой дотянуться. И пастушок Анджа весело замахивается на свесившиеся с неба тучи кнутом, отгоняя их. Андже хочется пригнать отару в хотон до того, как обрушится ливень. Паренек намаялся за день, но его нынешняя усталость ничто по сравнению с тем, что пришлось ему перенести. А сейчас, хоть и устал, хочется кричать от радости, петь... И вся его голосистая натура так и рвется наружу: он то и дело покрикивает на коров, напевает себе незатейливый мотивчик, хлестко щелкает кнутом.

Анджа высок, гибок, словно прутник, со скуластеньким ясноглазым лицом. Ему пятнадцать.

А когда Аидже сравнялось восемь, отец отвез его в Дунд-хурул послушником. Тяжела ноша майджика в хуруле! Вставать ему полагается раньше наставника-гелюнга и делать все, что прикажет монах.

И таких бедолаг, как Аиджа, было в монастыре немало. Каждому гелюngu положено держать при себе бесплатного служку, зорко приглядываясь к мальчику: достаточно ли он покорен, внимателен ли слову божьему, чтит ли молитвы... Но молитвы потом, когда мальчик заматерееет в кости и окрепнет духом. А пока его дело: мыть полы, стирать белье, приносить из степи свежую полынь, чтобы вытравливать из кибитки блох. Какое-то время отводилось и на изучение обрядов, заучивание канонов. Годам к двадцати послушник уже мог самостоятельно отправить обряд, и тогда его посвящали в сан.

Аиджа удался подвижным, всякая работа ему в охотку. Куда хуже, когда престарелый монах начинает талдонить на непонятном языке наущения будды. Чтобы не забыть, их нужно бесконечно повторять. А если станешь заговариваться, получишь оплеуху от наставника. Для занятий с такими мальчиками-майджиками, подобно Аидже, имелся в хуруле гевгю, законоучитель, толстый, совсем облысевший, с крупными мясистыми губами. Он часто зевал, икал от переедания, и тогда речь его становилась смешной и невинной. А повторять ее следовало в точности, с паузами и вздохами... Если не перескажешь в точности, получишь столько ударов палкой по голому задку, сколько слов пропустил. Даже тех слов, какие пропустил, заикаясь, сам гевгю.

Маленького Анджу привезли в хурул в голодном двадцать первом году.

Отец отдал в монахи, чтобы спасти от голода. В многодетной семье Бюрчи было три дочери и два сына. Ребята уже не вставали от недоедания. Но дедушка Азыд Ходжигуров видел в судьбе внука доброе предзнаменование — будет кому замаливать грехи всей семьи.

Анджу принял на воспитание один из влиятельных гелюнгов хурула по имени Гуизуд, выходец из рода Чоюсов. В ту пору в подчинении у Гуизуда было восемнадцать мальчиков разного возраста, потом их осталось трое. В числе их неизменно пребывал Аиджа,

хотя его давно подмывало удрать в школу, которая открылась в Хагте, а то и дать стрекача домой. Анджа не мог не заметить, что хурул больше чем наполовину опустел, не так охотно уже везли сюда свои дары окрестные скотоводы. Прежние гелюинги, отрекшись от сана, меняли изображение бурхана в руках на пастуший кнут, обзаводились собственным хозяйством.

Отец Анджи вступил в коммуу, сестренки заневестились, младший братишка бойко читал книги. Но дед Азыд не позволил Андже отрешиться от монастыря.

Помощь пришла Андже, откуда и не ждал. В прошлом году старшую сестренку засватал переехавший в Хагту из дальнего хотона Кукаи комсомолец Бамбыш Очиров. Парень организовал в хотоне комсомольскую ячейку. А весной этого года, когда на базе Хагтинской коммуны создали колхоз и назвали его «Уралаи»¹, приглянувшегося своей сиоровкой в делах, покладистого характером Бамбыша избрали в руководители артели. Гаха Улюмджиев стал его заместителем.

Колхоз объединил более ста хозяйств.

Войдя в семью Бюрчи,— Бамбыш вспомнил не без подсказки своей молодой жены о томящемся в монастыре подростке. Дед по-прежнему противился, но уже не так, как прежде. Наконец столковались и с дедом.

Сначала Бамбыш привел юного монаха в школу, где преуспевал в науках его младший брат Нядвид. В школе-интернате Андже все нравилось, но сидеть вместе с девятилетним братом в одном классе он стыдился.

Начинать пришлось с азбуки. Анджа семь лет уже долбил одну грамоту в монастыре — то была тибетская, пригодная лишь для чтения буддийских книг. Теперь — все начинать сызнова... Учитель Доржи Балдуевич Антонов вручил бывшему послушнику красивую книжку с картинками — букварь. Младший братишка Нядвид разом с десятилетним Мокоюном, братом нынешнего председателя колхоза, ходили к Андже в степь, натаскивали его там по грамматике и правилам счета. Так было лучше: все же с двумя, а не на виду у целого класса.

¹ У р а л а и — вперед.

Анджа ходил по этим самым наукам не лучше, чем корова по льду... Но учеба не стояла на месте. Анджа старался все хорошенько запомнить, а Нядвид с Моконом не смеялись, когда рослый паренек, хорошо читавший по слогам, никак не мог понять, откуда берется «туча», если «ту» приставить к «ча».

Отец их, Бюрчя, пас свою отару поблизости, поэтому мог на какое-то время подменить Анджу, когда появлялись его юные учителя с книгами за ремешком пояса. Зато к осени следующего года Анджа уже мог спокойно сидеть в третьем классе, где учились дети хотя и помоложе его, но все же не с такой разницей в годах.

Кочевые скотоводы почти не заготавливали сено впрок, держали скот круглый год беспривязно. К зиме коров и овец пригоняли поближе к озерам, где было много камыша. Здесь животные могли в бескормицу дать работу зубам, пусть и бесполезную для желудка, но все же... В этом году председатель Бамбыш Очиров дал указание — заготовить на зиму сено. И вот в погожие дни начала лета шесть внушительных скирд отменного лугового сена поднялись душистыми курганами в степи. Что ни говори, сенцо получше камыша. Застоговали и вроде бы забыли до черного дня. Но заметил ту скошенную травку Лиджи Бакуров... Колхозный скот приходит на ночь в хотон, а полсотни буренок да двести овец единоличника Лиджи, оберегаемые наемными пастухами, бродят в это время вокруг общественных скирд. И запас этот, давшийся очень непросто артельщикам, неловким в обращении с косой, заметно тает...

Старший пастух артели Бюрчя Азыдов, как-то возвращаясь поздно, наехал случайно на злоумышленников, приструнил батраков Лиджи.

— Проезжайте, дядя, своей дорогой! — не без наущения своего хозяина отвечали те. — Земля общая.

Дело кончилось тем, что один скирд пастухи Лиджи развалили совсем, и сено затоптала отара...

— Ишь ты, раз всем принадлежит — значит, надо добро в дерьмо переводить! — кричал, ошетинившись, Бюрчя. Он готов был изрубить нерадивых пастухов

малей, но Бамбыш остерегал его от опрометчивого шага.

Председатель все еще надеялся уговорить Лиджи слить свою отару с общественной — как заметно прибавилось бы сразу и коров и овец в колхозе! Но Лиджи, не говоря ни да, ни нет, продолжал вести свои дела наособицу. И так же воровски гонял стадо к скирдам. Вот и сегодня общественное стадо — домой, а буренок Лиджи пастух потихоньку погнал от хотона. У Бюрчи все в душе клокотало: «Если Лиджи пренебрегает нашим мнением, придется проучить, хоть плюну в его бесстыжие глаза — и то отрада», — размышлял он, разворачивая коня. По знаку отца, Анджа погнал колхозных овец в хотон, а сам Бюрча направился в отдаленную ложбину.

Подъехав к стаду у колхозных скирд, Бюрча молча ткнул кнутовищем в плечо пастуха.

— Эй, парень, проваливай, пока до беды не дошло.

Пастух вроде струсил, прикрикнул на буренок, но повел недобрым глазом и на Бюрчу:

— А катитесь вы все!.. И Лиджи хорош, и ты не лучше!.. Нет бы с самим хозяином поговорить, ты на меня кнутом замахиваешься!

Пастух явно хлебнул араки: ни старших, ни уважаемых для него сейчас не существовало.

— Где твой хозяин?

Пастух махнул рукой в конец лога. На маковке небольшой копны восседал человек, подобрав под себя ноги. И уже кричал что-то Бюрче, подзывая его рукой.

Бюрче никто не поручал охранять заготовленное впрок сено. Чабанской работы по горло! С отарой в пятьсот голов едва справляются трое. А Бюрча правит стадом на пару с сыном, да и не очень-то крепок в кости еще паренек, считай — мальчишка! Но не мог он стерпеть бесхозяйственности. Характером Бюрча был добрый работник, не любил людей, что стоят у дела с прохладцей... Ходил в батраках у Бергяса, после у Лиджи, вроде бы не за свое кровное радел, да не утерпит, бывало, выговорит такому же пастуху, как он сам, если тот поленился перегнать стадо на свежую травку или задержится напоить овец в жару...

— Скотина — тоже душа живая, — увещевал он напарника. — Есть, пить хочет...

Лиджи восседал на колхозной копне, будто на ковре у себя дома. Бортха рядом и деревянная чаша. Ощерив крупные зубы в деланной улыбке, он знаком приглашал Бюрчу приложиться к чаше с аракой.

Смолоду Лиджи считался во всем роду Чоносов самым дюжим. Тучный, в шесть пудов весом, но был необыкновенно проворен и побеждал в единоборстве любого. Этот толстяк вскакивал на необъезженного коня с такой ловкостью, что молодые только ахали от удивления. Сграбастает кого цепкими толстопалыми лапищами, не отпустит, пока противник не запросит пощады.

Как-то подвыпив в кругу гостей, Лиджи попытался вставить слово в застольную беседу, и вышло это на редкость нелепо. Гости взорвались смехом. Бергяс не стал потешаться над младшим братом, сказал строго:

— Сила есть, ума не надо!.. Бог не может наделить одного человека сразу двумя достоинствами.

И поучил и защитил от насмешек.

Сейчас Лиджи под шестьдесят, но сам он еще не замечает в себе старости, хотя лицо его потемнело и осунулось, а на темени разрослась большая плешь.

Бюрча привязал своего коня рядом с конем Лиджи, сладко похрустывавшим сеном, и пробормотал привычное «мендевт» своему бывшему хозяину.

— Здравствуй, Бюрча! — раздельно и громко крикнул Лиджи с копны. — Лезь ко мне, здесь посуше... Хвати глоток с устатку!

— Благодарствую! — недовольно ответил Бюрча. — Забыл, что ли, не пью!

— Все пьют, а Бюрча отказывается, — насмешничал Лиджи. — Ты же сейчас большой человек, колхоз чилиян! А раз так — должен быть сильным! Понимаешь, сильным! А откуда силы взять, если не пить чай и араку?

— Зачем мне лишняя сила? За отарой ходить силы достанет... А бороться на кругу — мои годы вышли! — с неприязнью проговорил Бюрча.

— А-а, боишься? — захохотал во всю глотку Лид-

¹ Колхоз чилиян — искаженное: член колхоза.

жи.— Силы нет, а пришел драться! Прогонять меня пришел от скирды? Да я вас всех с грязью смешаю, и тебя, и твоего зятя!

Бюрча молчал, раздумывая: вступать ли ему в дальнейшие разговоры с пьяным человеком. А Лиджи, подняв лежавший рядом прутик конского щавеля, сломал его о колено, сложил прутик вдвое и снова сломал, и, когда остались одни обмусоленные обломки, протянул их Бюрче.

— Вот что сделаю с тобой и Бамбышем!

У Бюрчи дыхание зашло от негодования. Коленки его противно задрожали. Калмыки говорят: «Выложенный верблюд боится мертвого верблюда-самца». Для Бюрчи нынешний Лиджи значил не больше, чем тот самый верблюд-кастрат. Лиджи только на словах страшен, только на словах его спесь. Но ведь не всякий табунщик видит Лиджи таким. Вон те двое, что живут пока на подачках мироеда, да и еще кое-кто оглядывается на Лиджи. «Эх, надо бы сбить с него спесь,— лихорадочно соображал в эту минуту Бюрча,— но как? Он против Лиджи что комар. В молодые годы тот на спор убил кулаком телеика...»

Бюрча постепенно справился с дрожью, которая будто отголосок давней боязни, болезни страха перед Бакуровыми, охватила его тело. Нерешительность Бюрчи была истолкована Лиджи по-своему.

— Прикусил язык? Вот так бы и давно! — сказал он, чуть подвинувшись в сторону, словно освобождая Бюрче место на копие.— А теперь садись, будем говорить.

Не дождавшись, когда Бюрча сядет, Лиджи рванул его за ворот шубейки и потянул к себе. Бюрча, потеряв равновесие, суиулся иосом в сею.

— Э, да ты уже хватил где-то,— хохотал Лиджи.— Чуть тронул — и ты уже с копыт долой.

Бюрча влез на копиу, сел не рядом, напротив.

Лиджи иалил из бортихи в чашку, хлебнул.

— На! — ткнул чашку в руки Бюрче.

Бюрча отказался.

— Ну вот что, товарищ колхозный скотарь!.. Будешь пить или нет — дело хозяйское... Станешь разговаривать со мною или будешь нем, как рыба,— мне тоже плевать, главное — слушай мои слова: не смей трогать мой скот! Где хочу, там и пасу!

Бюрча смотрел на Лиджи и чувствовал, что их разделяет какая-то зыбкая завеса. «Страха», — подумал Бюрча. Слова Лиджи доходили до его сознания, он понимал всю их невозможность, но руки и ноги сами собой рвались выполнить приказ. Бюрча в эти минуты переживал какое-то состояние отрешения от прошлого... Он видел перед собою лицо Лиджи — повелительное, злое... Когда-то этот самый Лиджи мог не только словом, а одним жестом послать его, куда хотел. Страшны и сейчас подернутые красными жилками глаза Бергясова брата, а слова еще страшнее. И в руках достаточно силы!

Только сам он весь — с глазами, руками, голосом как бы перестал быть опасным для Бюрчи. Пусть споткнулся Бюрча. Ладно — оробел перед властным взглядом прежнего господина... Но что-то было и в самом Бюрче уже иным!.. Ему хотелось сбросить с себя остатки страха. Хотелось не бояться!.. Вот взял и не выпил! Не выпил же, хоть ему приказали эти сжатые в полосу злые губы. «Сейчас... встану, — внушал сам себе Бюрча. И действительно встал. — Возьму и плюну ему в рот!.. Ну-ка, Бюрча, — подбадривал он себя. — Не робей!»

Однако не плюнул поднявшийся над прежним хозяином Бюрча. Что-то помешало ему поступить так.

— Будешь прогонять мой скот? — сузив глаза, прошипел, ухмыляясь, Лиджи. — Отвечай! Дай зарок!

— Буду! — четко ответил Бюрча.

Лиджи даже вскочил от неожиданности и с размаху ударил Бюрчу по лицу: он часто бил его прежде. Бюрча узнал в этом ударе прежнего хозяина.

— Уходи с копны! — проговорил Бюрча, сжимая кулаки. — Прикажи отогнать скот!

Лиджи снова дернул его на себя. Они оказались лицом к лицу. Вздогнула копна, опрокинулась бортва.

И тогда Бюрча решился. Подскочив, он боднул своего врага по-бычьей головой. Голова Бюрчи угодила в подбородок, и Лиджи опрокинулся.

— Ты что делаешь? Спятил? — выкрикивал испуганно Лиджи, барахтаясь в сене, и норовил ударить Бюрчу ногой в пах.

Ударил! Бюрча взвыл от боли и вцепился длинными, костлявыми пальцами в толстую мягкую шею. Вся сила Бюрчи перешла в его пальцы, и Лиджи не мог разжать

рук, беспощадных, будто волчий капкан. Лиджи захрипел, и голова его безвольно повисла...

А Бюрчя все не решался разомкнуть пальцы, не мог превозмочь опьянения своей победой над ненавистным врагом! Попадись в эту минуту ему под руку железная цепь, он, кажется, порвал бы и цепь... А может, он и рвал ее — ту самую цепь, что сковывала батрака все сорок пять лет его жизни!

Да, Бюрчя — маленький, щуплый, тщедушный — мог лишить жизни своего тучного, не знающего пощады врага. Но этого не случилось. Заметив, что Лиджи не дышит, Бюрчя не без усилий над собой разжал пальцы и принялся трясти его, тормошить. Лиджи был недвижим. Бюрчя от страха чуть не лишился рассудка. И тут на глаза табуищика попала поваленная набок бортха. Он направил струйку самогона в приоткрытый рот, но едкая влага угодила сначала в ноздри. Лиджи зашевелился, чихнул, посиневшее было лицо его оживело. Он сел и обалдело уставился на Бюрчю.

— Дай сюда бортху! — потребовал Лиджи. Голос его был хриплым, будто чужим.

То были недобрые слова, произнесенные угрожающим тоном, но для перетрусившего табуищика они казались самыми желанными. Значит, Лиджи жив, а Бюрчя — не убийца!

— А? Бортха? Вот она! — Бюрчя совал ее в руки Лиджи, не очень-то соображая, зачем она ему, пустая.

— Ты ее уже опростал? — прорычал Лиджи, отшвыривая сумку.

— Если хотите... если хочешь, я съезжу в хотон, наполю ее до краев аракой?

— Ладно тебе! — проворчал Лиджи, съезжая на толстых ягодицах с копиы. Опершись обеими руками о землю, он медленно поднялся на ноги и стоял так с минуту, дрожа и пошатываясь. К нему медленно возвращалась память. Лицо и шея стали совсем багровыми. Сошел с копиы и Бюрчя. И тут сознание Лиджи, видно, совсем прояснилось. Он подошел к Бюрче, молча схватил его за воротник шубы и ударил в скулу. Удар был еще не сильным, но когда он приложился кулаком второй раз, в ушах у Бюрчи зазвенело.

Бюрчя не защищался, он считал себя виноватым: чуть не лишил жизни человека!.. Но с каждым очеред-

ным ударом Бюрчю все сильнее мотало из стороны в сторону. Наконец он почувствовал, что по лицу течет кровь, а правый глаз уже не видит. «Степь... Темно... — потрясенно думал Бюрчя. — Он меня здесь запросто может прикончить...» И, собрав все силы, Бюрчя схватил Лнджи за ремень, вцепился в толстяка словно клещ... Потом он дал подножку — и через мгновение сидел на Лиджи верхом. Но тот смог перевернуться и стряхнуть с себя легковесного седока, и, намертво сцепившись, они покатались по стерне.

И в эту минуту, когда Лнджи подмял под себя выбывшегося из сил Бюрчю и завозился в кармане, что-то отыскивая, со стороны хотона раздался громкий лай — длинными прыжками степь пересекала овчарка Галзан, собака Бюрчи. Послышался тревожный крик Анджн.

Галзан с ходу ударил Лнджи передними лапами и сшиб на землю. Но Бюрчя, видя поддержку, уже не мог остановиться. Клубок тел завертелся снова. Собака отчаянно лаяла, кромсала клыками бешмет на Лиджи... Челюсти зверя наконец сомкнулись на чем-то живом, и Лнджи отчаянно завопил на всю степь. Подоспевший Анджа оттащил собаку в сторону.

— Ях! Ях! — причитал Лнджи, пока его вели в хотон. — Люди добрые! Посмотрите, что эти изверги надо мной сделали! Я буду жаловаться властям, я этого так не оставляю...

— А наше сено в покое ты оставишь? — хмуро спрашивал его каждый раз Бюрчя.

2

На другой день погода разведрилась. Солнце взошло яркое и чистое, и утро обещало теплый и погожий день. Осень — всегда загадка, вчера было пасмурно, все небо затянуто тучами, а ночной ветерок развеял тучи и хмарь, небо стало высоким и прозрачным, а земля заблестела золотом.

Солнце еще и на два пальца не оторвалось от земли, а со стороны улуса к Хагте приближалась пароконная рессорная повозка, в которой сидели двое. Правил лошадьми Церен Нохашкин, секретарь Шорвинского улускома партии, а рядом с ним сидел Чапчаев Араши Чапчаевич, ответственный работник вновь созданного

Нижне-Волжского крайкома партии, куда с лета двадцать восьмого входила и Калмыцкая автономная область.

Давно не ездил по этой дороге Араши Чапчаевич, и его частые вопросы к Церену говорили о том, что многое здесь изменилось.

В Хагту они ехали, чтобы посмотреть новый колхоз, созданный лишь в этом году. Хагтинский колхоз был в улусе вторым, а по числу дворов, вступивших в него, самым крупным.

— Название-то колхозу хорошее придумали. А сколько дворов? Больше ста? И все вступили добровольно? — спрашивал Араши Чапчаевич. — Ты не перегнул здесь палку, Церен?

— Нет, Араши, — улыбнулся Церен. — А с названием помучиться пришлось. Сначала мы назвали «Вперед, к мировому коммунизму», а потом подсократили немного: просто «Уралан».

— Правильно. Зачем длинные названия, их трудно запоминать, — подхватил Араши.

— Так что теперь здесь больше ста дворов. Тридцать пять — коммунары, очень надежные люди, в основном батраки, — говорил Церен. — Хозяйство у них уже большое. Около двух тысяч овец, триста голов крупного рогатого скота и около ста лошадей.

— Да, крепкое хозяйство. Только бы туда хорошего руководителя, умного, чтобы не испортить наше новое дело, — сказал Араши Чапчаевич.

— Председателем избрали комсомольца Бамбыша Очирова из хотона Кукан. Дельный парень, с работой справляется неплохо, — охарактеризовал его Церен.

Так вели они спокойную беседу, пока не увидели на дороге транспарант, написанный на красной материи: «Да здравствует XI годовщина Октября!»

— Вот и транспарант этот председатель написал собственноручно, — с гордостью сказал Церен.

— Это хорошо, что он инициативный, — задумчиво произнес Араши Чапчаевич. — Но хорошо ли, как ты думаешь, если он будет сам в каждой бочке затычкой. Ведь организовать значительно сложнее, чем самому все сделать?

— Дело в том, что здесь сложнее с вопросом напи-

сать, чем организовать, — горько усмехнулся Церен. — Неграмотные или полуграмотные...

Давно остались позади купола двух дунд-хурульских храмов, а сейчас уже отчетливо видно и селение, из труб валил бледный кизячный дым.

Въехали в село, празднично убранное. На всех общественных зданиях лозунги, на крышах красные флаги.

— Что я вам говорил? — обрадовался Церен.

— Молодец твой молодой председатель! — похвалил Араши Чапчаевич. — А это что за строение? — показал он на приземистый серый домишко. На небольшой площади толпилось десятка три нарядно одетых людей.

— Там исполком аймака... Но почему народ? Ведь сегодня только шестое ноября, — пожал плечами Церен.

Действительно, возле исполкома гудела веселая толпа.

— Может, раньше хотят отпраздновать одиннадцатую годовщину Октября, — заметил Араши Чапчаевич.

На крыльце стояли: председатель аймака Нарма Точаев, председатель сельского кооперативного общества Ноха Улюмджиев, учитель Дорджи Антонов, молодой председатель колхоза Бамбыш Очиров и его заместитель Гаха Улюмджиев — словом, все местное начальство. Здесь же были: Бюрча Азыдов с перебинтованной головой, его сын Анджа, овчарка Галзан — сторожевая собака Бюрчи — и раздосадованный Лиджи Бергясов. К крыльцу не пробиться, за гамом и смехом люди не услышали даже подъехавшей повозки.

— По какому случаю собрались, земляки? — крикнул Церен, и все мигом обернулись в их сторону.

Радости не было конца. Многие из молодых видели легендарного Араши Чапчаева впервые.

— Так что же случилось у вас? — спросил Араши Чапчаевич, когда поутихло.

— Это все из-за меня. — К нему подошел грузный человек с перевязанной ногой. — Нет, то есть из-за этого прохвоста Бюрчи...

— А не из-за его собаки? — крикнул кто-то шутливо. Все опять весело засмеялось.

— Уважаемый Араш-ахэ, я брат известного во всей Шорве Бергяса Бакурова. И они смеют... — человек неожиданно всхлипнул. — Вы к нам приезжали, давно. Помните, наверное?

— Да, помню и брата вашего и вас, — сказал Араши.

— Но не думайте, что я кулак плохой, я хороший кулак. Налог всегда плачу. Хотя меня лишили голоса, я говорю: «Хювин йоси сян»¹. Если бы голос вернули, сказал бы еще лучше — во всех хотонах, всем малым и старым. Батрак есть, и договор тоже есть. Я никого не обижаю. А наоборот, меня обижают. Вот он, Бюрча, бил меня, чуть не убил. Мог бы придушить, — и Лиджи заплакал.

— Что вы говорите? Кто вас обижает? Прошу вас, не плачьте, — успокаивал его Араши.

— Вот он! — сказал Лиджи, утерев грязным рукавом глаза, показывая на Бюрчу, стоявшего в стороне с перевязанной головой. — Чуть не задушил меня, а потом натравил собаку...

Араши Чапчаевич смерил взглядом обидчика и обиженного и невольно рассмеялся:

— Что вы говорите, Лиджи? Да как же он, такой тщедушный, мог вас побить? Просто не верится.

— Он не один. С ним был его сын, между прочим, бывший послушник! И пес его, Галзан. Вот он, проклятый богом, и искушал меня, — жаловался Лиджи.

— А расскажите, за что покусал-то! — раздался молодой голос из толпы.

— Да не слушайте его, Араши Чапчаевич. Вот уж правда истинная — «у вора голос сильнее, чем у пострадавшего», — сказал молодой председатель колхоза. — Пойдемте в дом, там и расскажем. Вы подождите, аава, — сказал он Лиджи.

— Мне некогда ждать, мне работать надо. Это вы митингуете целыми днями, — ответил Лиджи и обиженно зашагал к своему хотону.

В кабинете Нарма рассказал о схватке Бюрчи с Лиджи.

— Это здорово, что бывший батрак пересилил свой страх перед бывшим хозяином, увидев в нем прежде всего классового врага! — одобрил Араши Чапчаевич. — Но учтите, кулак — он не дурак. Денежки поднакопил, оперился, теперь через экономнку будет давить на сознание отсталых людей. Кулак начинает активизироваться, будьте бдительны, — добивал он.

¹ Хювин йоси сян — Советская власть хорошая.

— Эх, сослать бы их куда-нибудь всех вместе. Пусть сами пашут, сеют. Все кичатся они, мол, мы хозяева хорошие, а вы добро на назем переводить только и горазды. Вот и посмотреть — много они сами-то своими руками наробят. Да и беднякам спокойнее станет — ведь не каждый батрак пойдет против своего бывшего хозяина. Привычка-то, она, как шкура, ее с себя не снимешь, — сказал председатель аймака Нарма Тоцаев. Все оживленно поддержали Нарму.

— Пока никаких решений на этот счет нет. Так что самодеятельностью прошу не заниматься. Да, товарищи, чуть не забыл. Вам передает привет Вадим Петрович Семнколенов. Он теперь в Саратове, один из руководителей Нижне-Волжского крайкома партии, — сказал Араши Чапчаевич, прощаясь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Сегодня Церен Нохашкин не смог уснуть всю ночь, хотя пришел с работы раньше обычного. В другой раз возвращался чуть не под утро, а сегодня ему выпала спокойная ночь, и он прометался в постели без сна. Ннна клала руку ему на лоб, спрашивала, не заболел ли. Но он, односложно ответив ей, опять созерцал потолок, не зная, как начать этот непростой разговор.

— Говори же, что случилось? — потребовала наконец Ннна. — Я вижу, тебе что-то страшно сказать мне.

И Церен сказал, как прыгнул в прорубь: в список семей, подлежащих выселению, местными активистами занесены ее сестра Зинанда с мужем.

— Церен, родной! — взмолилась Ннна. — Ты же знаешь, от всего куста Жидковых осталась у меня одна эта веточка — сестра... Пусть кривая веточка, ничего не скажу, но — одна! Одна, последняя! Да, у Зины хранились кое-какие вещи отца. Кому это неизвестно? Но какая же она кулачка? Пожалуйста, не торопись с разъяснениями. И муж у нее ветеринар! Когда-то на моего отца работал, был управляющим! Своего ничего не имел. — И закончила она совсем неожиданно: — Нет, нет! Это просто невозможно. Вот что — возьму я детей и вместе с Зинной отправлюсь в Сибирь. Укрепляй здесь Советскую власть без нас.

Чтобы он ни на минуту не сомневался в ее решении, Нина тут же сняла с кровати матрас и ушла в другую комнату к детям.

Церей был совершенно раздавлен этой ссорой. Все годы Нина оставалась для него нежным и преданным другом. В ее любовь и семейную самоотверженность он уверовал, как в самого себя, и эта уверенность делала его сильным, уравновешенным, мудрым. Приходя домой после изнурительно долгих заседаний, служебной маеты, возвращаясь из поездок по улусу разбитым, усталым, он попадал в уют семьи, любящей его, и это возрождало его силы, возвращало его самого к жизни. Нина лелеяла его, как ребенка, даже по имени звала ласковее, чем детей. По первому взгляду она угадывала настроение «своего муженька», превращалась в рабыню его прихотей, друга, осторожного советчика; брала, если нужно, всю горечь момента на себя, могла умереть за своего Сиреньчика, за детей, за семью. Чотын уже ходил во второй класс. Лидочка тянулась за братом и умом, и в росте. И вдруг всего-всего этого лишиться. Все в Церене оцепенело.

Не спала в эту ночь и Нина, ушедшая в детскую комнату. Она тихо плакала, понимая и жалея Церена: «Ну что он может в этих обстоятельствах». И все-таки вывод напрашивался сам собой: с выселкой сестры в Сибирь отношения между нею и Цереном будут уже какими-то иными, худшими. Зина проклянет и Церена, и ее, и это ее черное слово повиснет непроглядной тучей над всей их семьей.

Расстояние от ставки улуса до хутора Жидковых не более двух часов езды на лошадях, но Нина ни разу не навестила сестру на хуторе. Оттуда, в свою очередь, уже лет восемь не показывали глаз в улус. Родственники открыто презирали Нину, вышедшую замуж за человека не их общества. Кроме того, Зина считала: Борис сбился с пути только потому, что Церей в свое время не порадел ему в беде, как подобает родственнику, а отправил под трибунал... Борису удалось спастись и ничего не оставалось, как мстить Церею.

Да, виделись они с сестрой очень давно, было это в те злосчастные дни, когда Церен догонял банду Бориса.

Зина с мужем заявили в улус на рессорной линейке. Привезли большую корзину яиц, тушу барана, заморскую банку конфет для детей.

Нина не ждала гостей, была одета по-домашнему: в застиранном платье, переднике — кормила во дворе кур и поросенка. Животину она держала вопреки запрету мужа. Чотын рос слабеньким, его иужно было поддерживать свежениной. Да мало ли для чего годится поросенок: отходы от стола приберет, и то польза.

Зина была одета изысканно и модно: платье и обувь сшиты по заказу. Увидев сестру в выцветшем платье, в залатанном передничке, сестра возмутилась:

— Неужели твой муж, такой большой начальник, не может поприличнее одеть свою жену? Ты же похожа на огородное чучело, а не на жену председателя улуса! Да он должен всю жизнь тебе ноги целовать... — И все в том же духе. Она ииогда рисовалась перед Сергеем: вот, мол, как иужно с вами, мужчинами...

Нина потерянно, как провинившаяся школьница, слушала эти жестокие упреки. Обида на сестру довела Нину до слез:

— Какое тебе дело до наших отношений с Цереном? Если ты приехала, чтобы поносить мужа и над сестрой издеваться, поворачивай назад!

— Зачем ты так? — робко заступился за свояченицу Сергей. — Когда ты работаешь, выглядишь не лучше.

Теперь уже Зина хохотала — она так могла: мгновению перемениться, стать доброй и даже пустить слезу.

— Прости, я — любя. Мы же с тобой остались совсем-совсем сиротами!..

— Ты что-нибудь узнала о маме и папе? — испугалась Нина.

— Нету их в живых! — запричитала Зина. — Всех погубили красные.

— Может, ты толком скажешь? — тормошила ее Нина. — Говори же, слышишь?

Зина подобрала припудренным платочком слезы с лица, принялась рассказывать.

Вчера, на ночь глядя, к ним заезжал Борис. И все рассказал. Родители благополучно добрались до Новороссийска. Ждали парохода. Бориса в это время назначили командиром полка, он со своим полком выступил на Кубань, чтобы остановить наступление красных.

Родителей оставил с обозом, и их порубили красные конники.

— Борис врет! — отрезала Нина. — Не верю.

— А я готова ему верить! — отрезала сестра.

— Это невозможно, — глядя на нее с иенавистью, сказала Нина.

— Да успокойтесь вы, — вмешался Сергей.

Нина тут же представила себе, чем может обернуться для Бориса встреча с сотией Церена в каком-нибудь хотоне. Нине, несмотря на страшную обиду на брата, было очень жаль Бориса, все же родная кровь! Но не дай бог что случится с Цереном! Она не может представить себе жизни без него!

Нина, наконец, позвала гостей в дом. Выставила на стол, что могла. Сестра успокоилась, повели свои жеинские разговоры.

Зина хвалилась новыми нарядами, вслух подсчитывала нажитое, гордилась, что с мужем живут хорошо.

Нина слушала ее вполуха. Она знала, что сестра не любит Сергея... Вышла за него только потому, что не было другой партии, а в девках засиживаться не хотелось, да и время на дворе было такое, что лучше поскорее определиться в жизни. А сейчас она злословит по адресу Церена, выхваляется своим благополучием. Нина ловила себя на мысли, что ничуть не завидует сестре.

С этой встречи сестер прошло уже восемь лет. Нина совсем отвыкла от сестры. Но Зина оставалась последней из Жидковых.

Было о чем подумать и Церену и Нине в эту бессонную ночь.

2

Раю утром Церен собирался ехать в хотоны Довдон и Бирмис. Там он должен был принять участие в изъятии имущества у кулаков. В этих хотонах подлежали выселению шесть семей. Местные бедняки поддержали решение комиссии исполкома.

Он уже садился на коня, когда прискакал рассыльный и сообщил, что в хотоне Чоносос настоящий бунт, не дают подступиться к подворью Бергяса, чтобы описать наличный скот и инвентарь.

Церен вместе с Шорвой, начальником улусной милиции, выехали в Чоносы. Приехали туда ранним вечером. Хотон Чонос бурлил, как водоворот. Комиссию от улускома здесь возглавлял заведующий отделом народного образования, человек молодой и нерешительный. И Нарма, как председатель аймачного Совета, не мог рта раскрыть — собравшиеся сразу упрекали его в личной предвзятости. Кроме того: Бергяс провел большую подготовительную работу — преданные люди говорили о его добродетелях у каждого порога, старых должников он простил, не скупился на посулы, половину скота раздал тем, кто тянул за него руку. И эта обласканная бывшим старостой половина хотона противилась выселению Бергяса. Собравшись вместе, они шумели теперь у землянки местного Совета... Когда комиссия направилась к дому Бергяса, толпа, растянувшись во всю длину хотона, преградила ей путь. Комиссия подошла к дому, но он был окружен плотным кольцом людей, сгрудившихся у самых ворот, чтобы не пропустить приехавших из улуса в поместье Бергяса. Те, что были за забором, с крыльца выкрикивали что-то в защиту бывшего старосты, галдеж нарастал. Под градом злых слов члены комиссии стояли в растерянности, не решаясь протиснуться сквозь толпу. Но были в Чоносе и такие, что, отойдя в сторону, молча наблюдали происходящее. Этим Бергяс порядком насолил, они охотно избавились бы от недоброго главы рода, но ведь вместе с Бергясом уйдет и Сяяхля. А Сяяхлю наказывать не хотел никто.

В разгар перепалки между защитниками Бергяса и теми, кто не прощал ему обид, в хотон и въехали Церен с Шорвой.

Те, кто не собирался уберечь от справедливого возмездия Бергяса, не польстился на его посулы, расположились подальше от дома; по другую сторону проезжей дороги, отделявшей поместье старосты от кибиток бедноты.

Еще в пути Шорва высказал решение: вместе с Бергясом арестовать и крикунов, тянувших руку за мироеда. Церен предложил поступить осмотрительнее. Если не удастся накинуть узду на Бергяса сейчас, можно отложить это дело, пока не поговорит с людьми.

Церен издали увидел разделившуюся надвое толпу

у дома бывшего старосты и сразу все понял. Поравнявшись с теми, кто был у дороги, он сошел с коня.

— Дорогие земляки! — обратился к выжидательно уставившимся на него одиохотонцам Церен. — Я знаю: многим из вас жаль старосту. Каждый из вас приходил к Бергясу в трудную минуту и что-нибудь да получал из его рук. Пусть не даром, но получал...

— Верю говоришь, Церен! — крикнули от крыльца. Люди стали сходиться, окружая приехавших. Вскоре хтоницы сбились в одну большую кучу, впрочем придерживаясь каждый своей стороны.

— Вот вы, уважаемый Окаджи, — обратился Церен к худому, с жиденькой бородкой, гнutenькому старику, который минуту тому назад стоял у входа в дом старосты. — Разве не чувство благодарности Бергясу за две коровы, полученные в голодный год, привело вас сюда?

— О чем говорить, Церен? Ты ведь и сам все знаешь, — развел руками Окаджи Бораев.

— А разве вы, аава Окаджи, забыли, сколько лет сын и сноха ваши отработывали за два куска кошмы и пять отрезов на платья, которые дал к свадьбе Бергяс.

— Забыл уже! Забыл! — упрямо твердил Окаджи. — Да и время ли считаться с этим? Работа — удел бедняков... Хорошее тоже следует помнить.

— Может быть, тогда вспомните, что получили вы за выпас двухсот телков дружка Бергяса, Жидкова? — снова спросил Церен. — А ведь деньги от продажи стада Жидков поделил не с вами, с Бергясом.

— Пусть их покарает бурхан! — промолвил старик убито. — Не мой то был скот. Не мне сводить счеты...

— Скот был ваш, Окаджи! Вы его пасли, принимали приплод, растили, готовили к продаже. Так что же выходит: вы пасли, земли общинные, а скот Бергясов?

— Может, скажешь, что твой? — издевательски кричали справа.

— Наш скот! — возражали те, что плотнее стояли ближе к темным кибиткам.

В это время из дома вышла Сяхля — в правой руке небольшой узел с одеждой, рядом с ней робко ступала вытянувшаяся за последние годы, бледная от испуга дочь, Нагала.

— Мы готовы, — сказала Сяхля с покорностью. —

Везите, куда скажете. Я не хочу, чтобы люди хотона враждовали из-за нас.

— Как тебе не стыдно, Церен? — слышался истошный крик. — Сяяхля ухаживала за тобой и за матерью!

— А кто угробил мать Церена? — грозно спросил другой человек из толпы, что за дорогой.

Крики смешались. Церен видел: вот-вот начнется потасовка.

Он подошел к жене Бергяса.

— Сяяхля, вернитесь с ребенком в дом! Никто вас не ставит в один ряд с мироедом!.. Вы сами — пленница Бергяса. Советская власть освобождает вас из этого плена.

— Спасибо! — с нескрываемым гневом ответила Сяяхля. — Я законная жена Бергяса, и мой долг разделить с мужем его судьбу.

Шорва, спешившись, взбежал по крутым ступеням крыльца в дом. Вериулся возмущенный.

— Мы здесь митингуем, а Бергяса и след простыл!

— Не может быть!.. Мы его только что видели в окне! — сказали из толпы.

Церен, Шорва и все члены комиссии принялись искать Бергяса по комнатам, на чердаке, в сарае. Церен заглянул и на сеновал...

Толпа в молчаливом раздумье стала между домом старосты и кибитками.

Сяяхля запрягла коней в линейку, погрузила кое-какую поклажу. Как ни упрашивали ее женщины, она отказалась остаться в хотоне. Долго в присутствии понятых переписывали имущество Бергяса: в доме, в сараях, в амбарах... Той же ночью Сяяхле с дочерью разрешили уехать в центр улуса. Она не хотела больше оставаться в усадьбе, которую могли поджечь в любую минуту недовольные Бергясом.

Одновременно тронулись в путь Церен с Шорвой и комиссия — на своей подводе.

Была глубокая осень, однако ночи еще оставались теплыми. На чистом небе сияла полная круглоликая луна. Степь отдыхала в покое, лишь изредка слышалось ржание отбившейся от табуна лошади да суслик или лиса перебегали дорогу. Пронеслась стайка сайгаков, а за ними матерый волчище. Шорва вскинул было винтовку, но Церен остановил его, сказав:

— Не пали!.. Так тихо и спокойно в степи, что только думать да думать в дороге.

А думать Церену было о чем. Не все происшедшее в родном хотоне было ясным для самого Церена.

«Ну собрались у дома кулака люди, ну защищали своего работодателя... А где же он сам: жена с дочерью едет в ночь, в неизвестность... Готова смерть принять за своего мужа! А муж в это время шкуру спасает!.. Жидок оказался этот волк на расправу!»

Когда прощались с однохотонцами, к Церену подошел старик Окаджи и, сивя облезлую заячью шапку, сказал:

— Сынок! Не поругай нас за глупость! Я знал твоего отца и мать. Они были добры. У тебя тоже, надеюсь, не злое сердце. Спасибо за то, что приехал, поговорил с нами. А Бергяса нет! Это плохо — прятаться мужчине, когда увозят жену и дочь...

Старик, приложив руку к груди, стал пятиться, то и дело кланяясь.

Церену его стало жаль до слез. А сколько таких чутких к чужой беде людей в хотонах! И многие из них всю жизнь страдали из-за доброты и покорности.

По калмыцкому обычаю прощаться с высокими гостями — дело старейшины рода, но старейшины нет, и старик Окаджи выполнил это за Бергяса.

Долго еще придется втолковывать забитым нуждой скотоводам, что они — свободные люди, а советский руководитель — не господин над ними!

Вспомнив об унижительных поклонах Окаджи, Церен глубоко вздохнул.

— Что-то ты завздыхал, друг мой! — с легкой насмешкой подколот его Шорва. Будто непосильную тяжесть несешь. Возвращайся-ка к нам в милицию! Тебя до сих пор мои парии добром вспоминают. Нам проще: враг с оружием — и у тебя не пустые руки!.. Сошлись и — кто кого!

В это время слева от дороги, с той стороны, где сидел Шорва, хлопнул одиночный выстрел. Шорва, удивлению вскинув брови, стал медленно приваливаться к Церену и уткнулся головой ему в колени, неловко поднимая под себя правую ногу.

При лунном свете Церен заметил: по левой щеке Шорвы стекала кровь! Из-за кучи курая, сбитого в ка-

наву ветром, кто-то выскочил, мелькнула по склону балки тень человека.

— Стреляйте! Быстро! — крикнул Церен, а сам, выхватив из полевой сумки индивидуальный пакет, который возил по привычке, принялся перевязывать Шорву. Сяхля соскочила со своей подводы, помогла положить Шорву поудобнее. Кровь сочилась сквозь биит. Выстрелы гремели в темноте ночи, но, видно, бесцельно. Церен, оставив Шорву на попечении Сяхли, выпряг лошадь и помчался к балке. Но оттуда уже слышался топот удаляющегося коня.

Поняв бесполезность преследования, Церен вериулся. Шорва был без сознания. Сейчас все зависело от того, как скоро они доставят раненого в больницу.

3

...Бергяс целый день просидел дома, напряжению оценивая обстановку. Ему были слышны отдельные фразы членов комиссии и выкрики однохотоицев в его защиту. Каким бы ни оказался исход перепалки у крыльца, Бергяс радовался этой защите. Может, именно в тот день он впервые в жизни осознал, как несправедлив был к своим сородичам, как помыкал беззащитными бедняками! В сущности, неважным отцом рода он был у Чоиосов!.. Сколько мудрости и доброты в этих непритязательных табунщиках, что готовы простить все или почти все, заслонить от беды вожака рода! Понимал Бергяс и другое: половодье расставленными ладонями рук не остановишь. Рушится нечто большее, чем власть Бергяса в Чоиосе. На иной лад теперь пойдет вся жизнь. Древний род Чоиосов обойдется без старосты. Вот сел же вместо зайсана пастушонок Церен в улусе? «Как жаль, что я его тогда не добавил вместе с его матерью!» — вспыхнуло у него в мозгу.

Сяхля не раз окликала мужа:

— Идите к людям, Бергяс! Чему быть, того не миновать! Там небось тоже живут люди, и мы как-нибудь проживем! — Жеищина деловито готовилась в дорогу, складывала в узелки вещи: Бергясовы, свон, дочери.

По окнам хлестко, будто маля, ударила фраза:

— ...Все равно приедет Церен с милицией и выселят!

Мысли Бергяса сосредоточились на Церене. «Да, не было бы этого щейка, может, все как-то пошло бы ина-

че. Вон в соседнем хотоне староста согласился пойти в табунщики, в коммуны просится... Пересидит человек лихолетье между другими, а там еще повернется судьба. В конце концов есть у меня покладистая жена — не белоручка. Есть дочь. Навыки ухода за скотом у меня не хуже, чем у других... Дом заберут — туда ему и дорога. Прожить можно и в кибитке... Все зло в Церене! Мстит он мне за мать!»

Когда появился Церен и Шорва, староста был уже готов к решительным действиям:

— Сейчас выйду на крыльцо и застрелю Церена! — объявил он, хватаясь за ружье.

Сяяхля повисла у него на руках:

— Умоляю! Ради дочери!

Бергяс на какое-то время опомнился. «В самом деле, нельзя рисковать жизнью жены и ребенка!» Но решение было уже принято. Закладывая фундамент дома, Бергяс велел вырыть ход между домом и сараем. А оттуда в свою очередь имелся потайной лаз к оврагу. В сарае хранился револьвер с запасом патронов. Имелось кое-что и другое, закопанное в степи.

Прощавшись с женой и дочерью, Бергяс спустился в подполье. К его крайнему удивлению, револьвера на месте не оказалось. «Выследила жена», — догадался он. Бергяс был в отчаянии: убегать в степь без оружия, где тебя может любой сопляк засечь плетью, как загнанного волка? Если револьвер перепрятала Сяяхля, то сейчас она ему оружие в руки не даст — характер жены он знал.

Года три тому назад Бергяс нашел в камышах брошенную винтовку. Свою находку староста привез домой, хорошенько вычистил, смазал несоленым барсучьим салом, закутал в овчину, а ночью зарыл у небольшого курганчика неподалеку от хотона. Там обычно хоронили покойников. К могилам калмыки редко ходят...

Мысль Бергяса работала четко: дождаться темноты, и когда у него в руках будет кое-что, не с пустыми руками в белый свет... Он даже похвалил Сяяхлю за находчивость. Зачем пугать толпу, если то же самое можно сделать без лишних свидетелей?

Бергяс последние годы одряхлел, осунулся. Сморгнул он не возраст — болезнь и непрестанные думы о буду-

шем, от этих невеселых дум — все немощн в теле, но глаза еще видят и руки держат ружье и плеть.

В балке, неподалеку от дороги, он привязал коня. Было в голове и такое: порешить Церена и тут же сдаться, чтобы оставили Сяхлю в покое. Но потом страх перед неминуемой расплатой взял верх над остаткам рассудка.

К осени, когда сникнут травы, вызревает перекасти-поле. Могучие кусты его, гонимые ветрами, носятся по степи, сбиваются в кучи, образуют валы в оврагах и канавах. Но сильный ветер-низовик выдувает эти ошестинившиеся острыми стеблями валы и гонит дальше, разъединяя и сбивая снова в кучи... За такой кучей курая и спрятался Бергяс.

Ночь выдалась светлой, лунной. С низины балки потягивало свежим ветерком. Застоявшийся конь вздрагивал всей кожей, позвякивал уздечкой.

Но вот со стороны Чоносов показались подводы: одна, две... Третья чуть сзадн. По белому платку Бергяс понял, что на третьей подводе Сяхля. Слышится глуховатый, но решительный голос Церена с первой подводы. Рядом другие мужчнны... Не промахнуться бы.

Бергяс напряженно вел едва различимую под бледным светом месяца мушку ствола, чуть опережая движущегося с подводой Церена. Нажал спуск курка, но мгновением раньше Шорве вздумалось перекинуть запавшую за оглоблю вожжу — он вскинулся: Пуля угодила в Шорву... Стрелять второй раз Бергяс не решил: на подводе пятеро, все вооружены. Скорее на коня — и в дальний отрог балки... Запоздалые выстрелы с подводы были неточными.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Не зря говорят: беда не ходит в одиночку. В то раннее осеннее утро двадцать девятого года, когда в улус привезли истекающего кровью Шорву, Церен узнал: дом его опустел — Нина с детьмн уехала. Церен был настолько потрясен гибелью Шорвы, что личная трагедия как-то не сразу дошла до его сознания. Несколько дней он ходил словно оглушенный.

«Церен! — писала Нина на листке, вырванном из тетради Чотына. — Десять лет я жила только любовью к тебе, больше ничего и никого знать не хотела. Сейчас я наконец разобралась в твоих чувствах. Для тебя существуют только твои проблемы, которым ты готов подчинить всех. Чувства близких людей тебе чужды. Я не хочу тебе мешать. Живи как знаешь. Дети — это единственное, что остается у меня как память о любви к тебе. Теперь они — моя надежда. Ко мне не приезжай, пощади меня хоть в этом. Прощай!»

Церен мог ожидать от жены чего угодно, только не бегства вместе с детьми! И куда? На хутор? Зачем? «Безрассудство! Неистовство! — вздыхал он, бродя по комнате. — Как жаль, что нет рядом сейчас Нины! Она так помогла бы Кермен перенести страшную утрату», — думал Церен, то и дело сокрушаясь собственной бедой.

Шорву похоронили. Прошла еще неделя. Нина не появлялась. Не выдержав одиночества, Церен приехал на хутор. Нина приняла его холодно, даже сурово:

— Все во мне отболело, Церен... Я уже не смогу быть такой, как прежде. Пусть за нас решает время. Если я почувствую, что меня влечет к тебе снова, я в тот же день вернусь. Сейчас — видеть тебя не могу!

— А дети? Они же и мои! — пытался настоять Церен.

— Пока дети маленькие, будут со мной. Вырастут — их воля, где им жить и с кем.

— Нина, милая! Насколько ты была нежна со мною прежде, настолько жестока сейчас! Это несправедливо...

— Не хочу быть дочерью богача! Не хочу быть женой секретаря улускома. Хочу быть равной со всеми!.. Семья распалась... сначала родительская, затем и наша с тобой. Хочу заслужить уважение людей своим трудом. Понимаешь, чтобы меня, как самостоятельного человека, а не как жену или дочь уважали. Я уже член коммуны, доярка на ферме. Ну, что ты на меня так устался? Уходи!

2

Прошло еще полтора года. Нина не изменила решения. Не собирался менять своего образа жизни и Церен. Он жил один, все больше уходя в работу.

...Не успел он согреть на примусе воду для бритья,

как с шумом распахнулись двери. Вбежали два мальчика, бросились ему на шею:

— Дядя Церен! Здравствуйте! Санал говорит, что вы приедете завтра, а я сказал, что сегодня. Вышло по моему! Ура! — ликовал младший сын Шорвы. Церен слегка прижал хрупкое тельце малыша к себе, бережно опустил на пол.

— Ну что, Санал, поспорил ты насчет моего приезда? Вот что, ребятки, — отодвинув в сторону прибор для бритья, Церен распахнул чемодан. — Что, вы думаете, я вам привез? Отгадайте, — сказал он, роясь рукой среди бумаг.

— Конфеты! — младший аж подпрыгнул на месте, прихлопывая в ладоши.

— Э-э, брат, не угадал! — подшучивал над ним Церен. Он очень скучал по своим детям и потому ребятню друга баловал, как мог. Когда они появлялись здесь, дом ходил ходуном, звенел от смеха.

Церен вручил ребятам по пачке печенья. Зашелестела в руках мальчишек упаковка. Когда страсти вокруг встречи улеглись, а пачки заметно опростались, Церен извлек две пары сандалий. Новый прилив радости охватил обоих братьев. Какие сандалии: легкие, с блестящими пряжками, с дырочками для воздуха! Да еще красные! В разгар невообразимого шума и гама вошла совсем молодая женщина. Блестящие, иссиня-черные волосы были подстрижены чуть ниже мочек ушей. На круглом лице затаилась печаль. Одета она была в легкое и короткое платье с мелкими кленовыми листочками по полю. Она казалась невесомой и свежей, как весенний воздух за окном. Когда вошла, лицо ее озарилось радостью, но лишь на одно мгновение.

— Ах, вот вы где, сорванцы! — накинулась Кермен с упреками на детей. — Дядя Церен устал с дороги, а вы его уже оседлали!

Мальчишки, оставив ее упреки без внимания, наперебой хвалились обновкой, крутились на месте, пританцовывали.

— Церен Нохашкович! — серьезно проговорила Кермен. — Если все это будет продолжаться, я уеду в Чоносы к родителям Шорвы или в Шар-Даван к матерн.

— Мама, не ругай его. Он хороший! — захныкали ребята, почуяв в голосе недоброе.

— Ну, что с ними поделаешь! — устало опустилась она на стул.

— Мама, мы пойдем побегаем в сандалиях по улице, — попросил младший, Баатыр.

— Идите, но ненадолго. Саналу нужно успеть приготовить уроки.

— А Санал со мной не играет, — захныкал меньший. — Он все ждет Чотына.

Дети ушли.

Слова Баатыра резанули по сердцу Церена.

— В самом деле! — воскликнула Кермен. — И детей разлучили! Не ожидала я этого от Нины. Ведь любит она, любит!

Церен промолчал. Он не хотел говорить о семейных делах ни с кем, даже с близкими. Разве что с Шорвой, но его нет.

— Не нужно ребят моих баловать, ладно? — попросила Кермен. — Я сама зарабатываю неплохо, пенсию они получают за отца. И родственники нас не забывают. А потом, ведь я калмычка, привычна к самостоятельности.

— Не в сандалиях дело, Кермен! Как ты не поймешь? Трудно мне без детей. Увижу твоих — о своих вспоминаю... Да и все вы не чужие для меня... Ведь пуля-то мне была послана.

Рядом с Шорвой Кермен прошла настоящую школу мужества. Жене начальника милиции в то беспокойное время тоже досталось немало бессонных ночей.

Когда в начале двадцать первого года Шорва перевез жену в центр улуса, она была неграмотной. Но в том же году Кермен пошла в ликбез и с малым ребенком на руках училась читать по букварю. Окончив ликбез, стала посещать школу крестьянской молодежи. Именно посещать, потому что ее, взрослую, не вызывали к доске, не проверяли выполнения домашних заданий. Одноклассниками Кермен были пионеры. Они резвились, шались, не обращая на нее внимания. Чтобы успевать за этими шалунами, Кермен недосыпала ночей. Перевезла из хотона мать, чтобы помогла ухаживать за малышом. В одну из двух комнат их квартиры она поселила молодых русских учителей — мужа и жену. Они учили ее грамотно писать и правильно говорить, одарили нужными книгами. Начался второй год

ее обучения. Она опять сидела на задней парте, но уже в шестом классе. И наконец однажды она пришла к директору и попросила, чтобы к ней теперь относились без скидок, со всей строгостью проверяли задания, ставили оценки. Кермен окончила семилетку. Она была первым председателем улусного женского Совета, а теперь работала секретарем улусного комитета комсомола.

Глядя на нее, Церен всегда поражался ее выдержке, энергии в работе, обаянию. Как иногда сочетается в одном человеке столько редчайших достоинств!

— Я вчера была в Шороне, — заговорила Кермен, объясняя истинную причину своего появления. — Там бедствует три семьи. Этим людям нужно помочь.

— Поможем, Кермен, поможем, — почти машинально ответил Церен, думая о Нине и детях.

Накануне коллективизации в Калмыкцию снова вернула жесточайшая засуха, которая дополнилась небывалой за полстолетие зимней бескормицей. Степь утонула в заносах. Люди от изнеможения падали рядом с животными. Были созданы команды по спасению степняков.

И снова Россия протянула руку помощи калмыцкой бедноте. В степь поступал хлеб, была выделена безвозмездная ссуда деньгами, присылали скот на обзаведение.

— Сегодня у нас назначено объединенное заседание исполкома и бюро. В Элсте создан областной штаб оказания культурной помощи скотоводам.

— Что значит: культурная помощь?

— А это значит — не хлебом единым жив человек... Так говорят русские. Нам тоже это понятно. Будем учиться и грамоте и основам научного земледелия.

— А где набраться учителей на всю степь?

— Из Саратова, Астрахани, Элсты и Ростова выезжают бригады студентов, учителей, комсомольцев и учащихся старших классов — всего пять тысяч добровольцев!

— Вот это хорошая весть! — воскликнула Кермен. — Да и мы всем улусом комсомола тоже двинемся в степь! Сколько еще в отдаленных хотонах закрепощенных невежеством наших ровесниц!

— Хорошие слова говоришь, Кермен! Ты будешь за-

местителем начальника штаба культпохода комсомоли в степную глубинку.

— А кто будет начальником штаба?

— Скорее всего секретарь укома...

— Может, не нужно меня в заместители? — замялась Кермен.

— Как это не нужно? — удивился Церен. — Нужно! До женщин в улусах грамота еще совсем не дошла. И тебя они охотнее послушаются, чем любого из нас.

Кермен согласно кивнула и вдруг переменяла разговор:

— Соберите грязное белье! — приказала она. — Завтра приду постираю.

— Но, Кермен!.. Разве ты забыла, что я солдат и всему обучен?

— Ну, а мне не полагается забывать, что я женщина, — ответила Кермен с обычной своей мягкой улыбкой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Бергяс будто в воду канул. Улусная милиция установила наблюдения за наиболее вероятными местами появления бывшего старосты. Присматривали за домом, где поселилась Сяхля с дочерью. Но Бергяс не давал о себе знать. Со временем в улусе стали думать, что убийца Шорвы уехал из Калмыкии. Однако Бергяс и не думал отбиваться от дома. Жил он в дальнем, заросшем лесом отроге балки, жил тихо и незаметно, как притаившаяся мышь, подогревая собственное тело и ненависть, клокочущую в его душе, слабым костерком. Так, греясь целыми днями и раздумывая, он искал пути выхода из этой его жуткой, полузвериной жизни в полутемной норе. Сначала он хотел бежать, прокравшись в дом и забрав с собой золотишко. Когда же первый страх прошел и он обжился в земляном жилище, когда ненависть ко всем иохашкам заговорила с прежней силой, он решил довести до конца свою задумку — убить Церена. И чуть ли не убил, прокравшись ночью к освещенному окну. Палец уже потянулся к курку, но, словно выстрел, пронзила его мозг виезапная мысль: «А как же Сяхля, а дочка?» Нет, он не станет причи-

ной их горя. Совсем раздавленный бессилием, плелся Бергяс к своей норе, и звезды, как волчьи глаза, колюче смотрели с неба, и обманули они в ту ночь Бергяса, завели далеко, совсем в другую сторону, отощавшего в засаде человека. Сморил Бергяса сон, а когда проснулся на заре, то увидел, что весь заиндевел, и встал с трудом, пристыла спина.

Долго сидел он в своей норе, не выходя, подъедавая потихоньку припасы, грелся, дремал, впадая в бред. И тогда в воспаленном мозгу его родилась последняя мысль о спасении — и от этой осклизлой зловонной дыры, и от самого себя. Единственное, что останавливало его на пути к этой свободе, это дочурка. Остарев, Бергяс уже не так остро переживал разлуку с женой, как с меньшей дочкой Нагалой, которая будто точный слепок повторяла свою мать. Спрятавшись за кучей курая на краю хотои, он наблюдал за ней часами, вспоминая юную Сяхля, прекрасную госпожу, какой он увидел ее впервые.

Была уже полночь. Луна стояла на ущербе, но на небе ни облачка. Выпал первый снег. За полночь, когда Сяхля с дочерью уже спали, в окно к ним осторожно постучали. В клубах морозного пара в дом ввалился заросший сгорбленный старик.

— Сяхля, не пугайся, это я, — проговорил сырым простуженным голосом Бергяс.

Сяхля бросилась разжигать плиту, сварила чай. Бергяс жадно выпил пиалу горячего чая, затем наполнил водкой и медленными глотками опустошил ее. Налил второй раз, снова выпил, не закусывая. Ему хотелось поскорее опьянеть — это поняла Сяхля и следила за ним настороженно: как бы не занес в дом новой беды...

— Вы меня не бойтесь, — жалко усмехаясь, проговорил он. — Обузой для вас не стану. Сейчас же иду к Церену! Надоело скитаться... Чуть волки не загрызли, — буровил заплетающимся языком Бергяс.

— О чем раньше думал! — упрекнула готовая заплакать Сяхля. Но ее слезы были не из жалости к мужу. Детей осиротил, наблюдался, вшей покормил в землянках? А конец все тот же?

— Бей, бей меня, Сяхля, и ты! — клонил облысевшую голову Бергяс. — Видно, таковы люди от рожде-

ния! Зла в душе больше, чем добра! Всю жизнь думал, что умней всех я, сильнее других, богаче... Хитрил, хапал в карманы и за пазуху... А к чему пришел? Ведь я все это время в волчьей норе скрывался, в балке. С волками по ночам ходил за добычей в хаты... Итак, отжил свое, если все это можно назвать жизнью... Живите с дочуркой иначе, Сяхля. Пусто у меня в душе! Ох, как пусто и тяжело! И не осилить мне больше этой тяжести! Не одолеть! Когда Саран узнает, что меня больше нет, он вернется и станет вам опорой. Прощайте же!

Бергяс жалостливо покосился на жену, поцеловал ее, приложился губами к спящей девочке.

— Может, до утра останешься? — предложила, всхлипнув, Сяхля. — Церену поздний гость тоже не в радость.

— И до утра нельзя!.. Эх, Сяхля, Сяхля!.. Знала бы ты, кого зовешь в свой дом до утра... Ведь Хембюто я утопил!.. Чтобы с тобою быть! Вот чем все это обернулось!.. Для всех нас!

— Ой! — вскрикнула Сяхля, зажав рот ладонью. Сама она попятилась или подкосилась ног — шагнула и села почти в беспамятстве на лавку, гася рвущийся из горла крик.

— Уйду, пока ночь! А то утром могу передумать! — Бергяс махнул рукой и перевалился через порог, сильно наклонясь, будто нырял в омут...

Сяхля с минуту сидела в оцепенении, затем неверным шагом подошла к окну, откинула занавеску. Бергяс, сильно качаясь, шел серединой двора к занесенной снегом телеге. Он дотронулся рукою до заднего колеса, постояв так, выпрямился, развел полы полушубка. Что-то блеснуло у него в руках, и в сонной тишине улуса прогремел резкий, как удар грома, выстрел.

2

Похоронили Бергяса тихо и незаметно на родовом кладбище, на кургане.

Случай свел как-то недалеко от кургана Церена с Сараном Бергясовым, прнехавшим повидаться с матерью.

— Э-э, да ты, друг, совсем отбился от гурта! — упрекнул его Церен, обхватывая смущенного Сарана за

раздавшиеся мужские плечи. — Где же ты был? Сколько лет о тебе ничего не слышно!

— Завербовался. В Донбассе жил.

— А как же медицина?

— С медициной покончено давно, еще в двадцать третьем году.

— Но ведь Вадим Петрович...

— Да, тогда Вадим Петрович, не без твоего участия, конечно, помог мне восстановиться в университете. Да ненадолго! Ох, видно, и насолил батя людям!.. Опять последовала жалоба. Да такая длиннющая и все о том же: мол, кого зачисляете в высшую школу? «Волчонком» называли. Подумал я крепенько и решил — надо куда-то подаваться. Написал Вадиму Петровичу письмо, сказал душевное спасибо за веру в меня и поистине отеческое участие в судьбе... Нет, прежде прочитал в газете объявление о вербовке людей на шахты, а уж потом написал ему, кажется, в тот же день.

— Ну, а дальше что?

Саран вздохнул без грусти.

— А дальше — завербовался! Приехал в Донбасс... Подучили на курсах, обушок в руки — и валяй, парень, в забой вместе с такими же молодыми и горячими, понаехавшими с Орловщины, Курска, Смоленска... Пять лет рубал алмазные пласты в самой преисподней! Со всеми чертями перезнакомился... Ну, брат, и лиха хватил поначалу! Особенно тяжело было, пока мускулы не нарастил на руках. А когда силушки поднабрал, пошло дело с прибытком. Только спишь после смены — и снов не видишь.

Ты меня помнишь, Церен: рос барчуком, рук ни во что грязное не обмакнул. Завидовал я тебе, Церен, жил ты в скудости, но цель у тебя всегда ясная была. А у меня как будто и не было судьбы своей, от всего лишнего берегли: как же — сынок старосты!

Пяток последних годков перекроил меня по новой мерке, как неудавшийся бешмет. И хотя работал я под землей, Донбасс меня вывел к свету, по-настоящему научил уважать и людей и себя самого. А в доме родном был для меня лишь один проблеск — мама! Ты ведь знаешь: очень люблю я ее! Так люблю, что хочу что-нибудь успеть сделать для нее хорошее! Увезу с собой!.. Да ты не гляди на меня такими грустными глазами!..

Там тоже есть где учиться, я уже, считай, заканчиваю вечерний техникум по своей специальности, горным мастером ставят.

Церен не пытался скрыть своего восхищения.

— Да ты знаешь, кто ты?.. Ты просто молодец! — И все же он был огорчен решением Сарана увезти мать. — Конечно, ты прав... Она очень сдала за последний год. Заглядывал я к ним, не часто, правда, но чтобы совсем упустить из виду, не позволял себе такого.

— Мама так благодарна тебе! — взволнованно сказал Саран. — Крепко поддержал ты ее в такое нелегкое время! Мужское спасибо тебе за это!.. Стыдно оглянуться на прошлое из-за той гнусной выходки Таки! Исказили всю вашу семью они с отцом! — Саран медленно пошел с кургана. Церен, едва сдерживая слезы, следовал за ним. — Столько горя пережили все вы из-за нашей семьи, а ты превозмог обиду, поборол в себе чувство мести! Поднялся выше всего этого! Я бы, пожалуй, себя так пересилить не смог, — проговорил Саран. — Физической силенки поднабрал, но душевных сил, чувствую, для настоящего человека все еще недостает. Нередко задумываюсь: не от рождения ли благородство человеку дается? Так сказать, от деда-прадеда?

Церен уже справился с волнением, вызванным воспоминанием о своей матери, Булгун, затравленной не знавшим пощады Бергясом.

— Хорошо, что ты много думаешь о жизни, критически относишься к прошлому, — одобряюще сказал Церен. — Опыт дается лишь тому, кто способен находить ошибки не только у других, но и у себя...

— Между прочим, какое-то чувство справедливости во мне жило с детства... Таку я ненавидел, как ходячее зло... И отыскал тогда злополучный кошелек с часами. Не помню уже, что толкало меня на недетскую войну со злом: ненависть к Таке или желание сделать тебе что-нибудь хорошее.

— Ты, Саран, пошел в мать, а не в отца! Этим все и объясняется... А ведь твои поиски кошелька могли обернуться бедой для всех вас. О, я помню, как разъяренная толпа окружила Бергяса и плевала ему в лицо... Еще миг — и его разорвали бы в клочья... Люди и тогда понимали, где зло, а где добро... Слушай, — вдруг предложил Церен, — не завернуть ли к вам на огонек?

— Смелый ты, Церен, не боишься идти в такой поздний час в дом жены кулака? — спросил Саран.

— То дом Сяхли! — строго напомнил Церен. — А Сяхлю здесь все знают и худо о нас не подумают!.. Пленницей в своем доме была твоя мама, хотя и значилась женой Бергяса. К тому же, Саран, клеветы боятся слабые или чем-то замаранные людишки. Меня не запугать, хотя, конечно, оплести грязными словами можно всякого по принципу: хоть капля из поганого ведра, да пристанет.

Они были уже у калитки дома, навстречу выбежала черная дворняжка, лениво тявкнула, но, узнав Церена, радостно вильнула хвостом.

— А, Барс, ты меня еще помнишь? — Церен потрепал собачонку по спине.

Даже к этой заурядной дворняжке Церен имел кое-какое отношение. После похорон Бергяса Сяхля забоялась оставаться в прежнем доме. Ей все время мерещилось, что Бергяс жив. Она видела тогда, как он извлек из-под полы обрез. Думала в тот страшный миг, что муж пальнет в нее, стоявшую у освещенного окна. И отшатнулась... Узнав о ее переживаниях и страхах, Церен привел во двор Сяхли шуструю звонкоголосую собачонку.

Мужчины постояли у порога.

— А знаешь, Саран, — проговорил Церен решительно, — оставайся в улусе! Ты настоящий калмык! И жизнь побил тебя, и у рабочей гвардии ты хорошую школу прошел! Здорово все это, а теперь за работу! Ой как нужны здесь такие люди, как ты!

— Долго еще людское проклятье будет висеть над нашей семьей, как глыба в забое! — вздохнул Саран.

Мужской разговор их прервал возглас из коридора:

— О, какая радость! Саран привел Церена! — на пороге показалась Сяхля.

Церен с грустью отметил: в волосах женщины, всегда черных, как смоль, появились ниточки седины, хотя во всей ее фигуре было еще достаточно силы и обаяния. Она тут же принялась выкладывать гостью свои материнские заботы.

— Третий день, как Саран прнехал, но никуда ни шагу. Вижу, заскучал. Навестил бы, говорю, Церена. А то подумает, что чураемся его. Что ни говори — од-

ного рода люди. Церен зла на нас не таит... Вот вы и встретились!

Саран по-сыновьи доверительно успокаивал мать:

— Не хотел мешать председателю. Я ведь сам в шахтном комитете, знаю, сколько у руководителей забот. Конечно, попрощаться я все равно зашел бы.

— «Прощаться»! — с иронией в голосе повторил Церен. — И за то спасибо!

Сяхла уже хлопотала у плиты.

Разговор, начавшись задушевно, так и продолжался, приобретая порой совсем неожиданные направления мысли.

— Мне иногда думалось там, в Донбассе, — заговорил Саран, когда они уселись за стол. — Спрошу-ка я у Церена при встрече: завидовал ли он мне когда-нибудь, как удачливому ровеснику, сыну богача?

— А ты возьми да и спроси! — подбадривал его Церен и тузнул ровесника под бок. Потом сказал вполне серьезно: — Очевидно, завидовал в мальчишеские годы! И долго!.. Когда мы переехали с Дои, ты учился в улусной школе и привез много книжек с картинками... Как я тебе завидовал тогда, Саран! Ни стада коров, ни табуны жеребят, ни богатая белая кибитка не вызывали во мне такой зависти, как твои книги!.. Ты доволен ответом?

— Горько мне от твоих слов, Церен!.. — признался Саран, распахиваясь всей душой перед гостем. — Так вот знай и мою тайну: — Я тоже тебе завидовал! Ты никогда не сдавался! Даже слез твоих видеть не довелось! Ты жил и одолевал беду за бедой, как зултургаитрава, которую я снова сегодня увидел у подножия кургаи. Ей не страшии ни зной, ни холод, потому что корни глубоко ушли в родную землю...

Они помолчали, наблюдая за веселым огнем, мелькающим под кружками плиты.

— Ладно, Саран, — попросил Церен приятеля. — Ты у нас — гость... Немало лет прожил в тех краях, которые совсем незнакомы калмыкам. Расскажи нам с мамой, как на тех шахтах люди живут?

— Много добрых людей встречалось и на моем пути, — облегченно вздохнув, начал Саран. — Только там до меня дошло: люди сложены из разных материалов, как пласты в забое: слой породы, затем слой горючего

минерала... А иной человек — пыль, ничем не подожжешь: дыма много, а тепла нет. Есть пласты, как драгоценные камни сверкают. И горит тот уголь — железо плавится. Не скрою: многому я научился, многое поправил в себе... И хотя тяжела моя работа, но и она приносит удовлетворение и радость. И выходит — не сама работа трудна подчас, а дума о ней!

— Выговорился? — спросил, будто поторапливая, Церен.

— Предположим, да.

— Тогда вот что: не заставляй меня объясняться в любви к тебе, скажи сразу — остаешься?

— Нет, Церен... Не обижайся: степь из меня ушла... Я приехал, чтобы исполнить сыновний долг перед матерью: забрать ее и сестренку в Донбасс... Но мама не хочет никуда ехать. Для нее степь — все...

— Права твоя мама! — воскликнул Церен. — Давай же выпьем за ее здоровье.

— И за твое здоровье, зултурган, — сказал Саран.

Мужчины сдвинули рюмки, на секунду замерли. И лишь затем выпили.

Сяхля, помолодевшая, в темном платке с синими мелкими цветочками сновала между плитой и столом. Взгляд ее, обращенный то на сына, то на гостя, был счастливым.

— Вот что, Церен, — заговорил Саран, подвигая к гостю миску с мясом. — За пять последних лет я ни одному человеку не рассказывал об отце. Боялся... Но однажды горный мастер случайно зашел в общежитие и увидел на столе книгу, конспекты.

— Почему вы, такой образованный человек, спустились в шахту? — спросил он.

У меня был готов ответ: «Хочу побольше заработать!» Мастер покачал головой. Внизу, не очень убедил его мои слова. Но больше не приставал с расспросами... Если бы ты знал, друг, как тяжело на душе, когда приходится лгать честному человеку. А все потому, что нагадил отец!

Дверь распахнулась, и на пороге появилась младшая сестра Сарана, Нагала. В правой руке девочка держала сумку с книжками. Она радостно затараторила:

— По географии — отлично! По истории — хорошо!

По диктанту... — Нагала для своего возраста была слишком даже высокой. Стройная, с большими глазами, она уже сейчас была достойным повторением матери.

— Ну и умища ты у меня, сестренка! — похвалил ее Саран. — Но лучше бы начать с того, что поздороваться с гостем? Ты знаешь, кто этот дядя?

— Здравствуйте, Церен Нохашкович! — выпалила девочка, покраснев. — Вы к нам приходили на сбор пионерской дружины...

— Да, приходил! — подтвердил Церен. — И знаю, что ты председатель пионерского отряда... Рад твоим успехам.

Церен встал и погладил Нагалу по голове. Девочка покорно приняла ласку гостя. Обернувшись к Сарану, Церен сказал с гордостью:

— В этом году в улусной школе набралось семь пятых классов. Так велико желание степняков учиться! Но вот беда: недостает классных комнат. Приходится учить детей в три смены. В отдельных классах по пятьдесят вот таких девчушек и пареньков. И учителям нелегко, и детям.

Сяяхля придвинула на подставочке к столу чугунный котелок с калмыцким чаем. Приятно защекотало ноздри мускатным орехом. Проворная Нагала забежала в другую комнату, принесла фарфоровые пиалы. И лишь тогда все уселись за столом.

— А где сейчас Араши Чапчаевнч? — спросил Саран. — Давно ничего о нем не слышал.

— Араши наш в Москве, — сказал Церен. — Недавно отметили его орденом Красного Знамени. Сейчас в Совнархозе. Вадим Петрович тоже в Москве. От Нюдли вчера письмо было...

3

Церен ушел из гостей далеко за полночь. Саран вышел его проводить. Шли улицей, состоявшей сплошь из глинобитных домов бывшей улусной ставки.

— Далеко не ходи! — зябко повел плечами Церен. — Живу я рядом, да и дома без тебя не лягут... О нашем разговоре, Саран, еще раз подумай. Нам действительно нужны здесь толковые парни. Слишком мало грамотных пока.

Крепко пожав руку товарища, Церен хотел уже уходить.

— Пойми меня, Церен, — остановил его Саран. — Сказать по правде, Донбасс мне очень лег на душу! Народ там простой, душевный, бескорыстный... Прошу и меня понять: мать и сестра здесь как бельмо на глазу. И свон, и чужие — понимай всяк на свой лад. А там я свой человек для всех... И добыто уважение Сараном Бергасовым — собственными руками.

Так что не только подумать, но и задуматься есть о чем. И о ком — тоже... Ну, ладно, не сердись. Уеду не уеду — еще раз встретимся! Идет?

Сказав это, Саран шагнул в темноту.

Церен, не торопясь, прошелся мимо деревянного, серого в густых сумерках, детдома. Отсюда рукой подать и до его жилья. Повернув за угол, он вдруг увидел свет в окнах своей квартиры. Почти бегом заторопился на свет: «Кто так поздно может хозяйничать у меня? Ключ только в моем кармане да у Кермен. Но она так поздно никогда не приходила. Неужто Нинна?» Сердце учащенно забилось... Что ни говори, а возвращения Нинны он ждал. Каждый день!..

С ходу рванул на себя наружную дверь, внутренняя сама подалась, едва коснулся ключом замка.

Яркий свет ударил в лицо.

— Милый, Сиреньчик! — кинулась ему на грудь, целуя в губы, Нинна. Еще раз, еще...

— Как хорошо, что ты пріехала! — проговорил Церен, подхватывая жену на руки.

— Прости меня, Церен! Глупость мою прости! Не могу больше без тебя! Не смогла!

— Я вернул, что ты вернешься! Если бы ты знала, как я хотел этого!.. Где дети? — он шагнул к двери в другую комнату.

— Не разговаривай так громко! Соседи уже спят давно. Ребят оставила дома, а пришла одна. Вот так, взяла и пришла! — Нинна опять прильнула к Церену.

— Ты больше не станешь казнить меня разлукой?

— Никогда!.. А ребят привезем завтра! Да ты не волнуйся, они под присмотром, ведь с нами все время живет тетя Дуня. Узнала, что я с ребятами на хуторе, перебралась к нам.

— Давно ты здесь? — спросил Церен.

— Нет... Может, с полчаса... А где ты, муженек, так поздно загулялся? Может, я уже лишняя здесь? — Зажав между ладонями лицо мужа, Нина беспокойно всматривалась ему в глаза.

— Не волнуйся, пожалуйста! — улыбнулся Церен. — Объявился младший сын Бергяса, мой ровесник и дружок когда-то. Вот мы и заговорились допоздна.

— Сын того самого Бергяса, что убил твою маму? Как? И ты еще можешь с этими волками спокойно разговаривать?

— Не все они — волки, Нинок! — возразил Церен. — Эти, у кого я был, — люди, хотя и жили со зверем.

— Ну, ладно! — согласилась Нина. — Теперь меня послушай. Правление колхоза решило дойных коров перевести в Грушовку, а овец разместить на хуторе. После обеда мы, доярки, перегнали коров в новое помещение. Вернулась я к вечеру усталая, и так мне тяжело на душе стало. Села и реву. Тетя Дуня подошла ко мне, как маленькую погладила по голове. «Плачь, плачь! — говорит. — Это, девушка, не ты, а любовь твоя обиженная слезами исходит». Отругала я ее, еще пуще заплакала и пошла было спать. Лежу, перебираю в памяти хорошее и плохое в тебе. Тяжко складывалась эта жизнь, почти ненормально. Но лучшей доли не было и ждать неоткуда... Думала так, думала, и вдруг рванулось что-то во мне! Крылья опять за спиной почуяла! Поднялась, давай напяливать на себя, что под руку попало! А тетя Дуня молча поглядывает, толкует: «Правильно сделаешь, если сейчас же и пойдешь к нему... А то утром передумаешь!» Рванулась я, Сиреньчик, в ночь и через ночь, не разбирая дороги... В общем, узнавай свою Нинку, дорогой! Принимай такую или гони обратно, если...

— Узнаю! — воскликнул Церен, обнимая жену.

— Дети заморили расспросами, — продолжала Нина счастливо. — Чотын, как только ложится спать, непременно напомнит: «Начнутся каникулы, уйду к папе. А ты останешься с мамой!» — дразнит Лиду. А та ему в отместку: «Ты пойдешь пешком, а мы с мамой на дрогах, у бригадира попросим!» Знал бы ты, каково мне было все это выслушивать!

— Успокойся, милая! — Церен нежно прикоснулся к

ее волосам, тихонько провел по шее, по такой знакомой голубой жилочке. — Завтра с утра поеду за детьми.

— Я и сама не меньше детей соскучилась по тебе...

Это был разговор между близкими и очень нужными друг другу людьми.

Не скоро потухнет огонь в их окне.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	3
Часть вторая	233

Алексей Балдуевич Бадмаев

ЗУЛТУРГАН — ТРАВА СТЕПНАЯ

Роман

Редактор *Т. Машовец*

Художник *Ю. Болрский*

Художественный редактор *О. Червцова*

Технические редакторы *В. Федорова,*
Л. Демьянова

Корректор *Г. Панова*

ИБ № 4384

Сдано в набор 07.08.86. Подписано к печати 30.10.86. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать аысокан. Бумага тип. №1. Усл. печ. л. 23,63. Усл. кр.-отт. 23,68. Уч.-изд. л. 24,27. Тираж 100 000 экз. Заказ 205.

Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

